

Криста ВОЛЬФ

.....
От первого лица
.....

Несостоявшиеся романы
Франкфуртские лекции



Составитель *Е. А. Кацева*
Предисловие и комментарии *А. А. Гугнина*
Художник *В. Б. Гордон*
Редактор *Л. Н. Григорьева*

Вольф К.

В 72 От первого лица: Пер. с нем./Сост. Е. А. Кацева; Предисл. и коммент. А. А. Гугнина.—М.: Прогресс, 1991.—416 л.: ил.—(Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза).

ISBN 5-01-002519-1

В сборник публицистики Кристи Вольф (р. 1929), произведения которой широко известны как в немецкоязычном регионе, так и в Советском Союзе, вошли размышления писательницы о роли литературы в жизни современного общества, о месте художника в битвах времени, литературные портреты близких ей по духу писателей, а также Франкфуртские лекции, вобравшие в себя материалы периода работы над «Кассандрой», — своего рода комментарии к роману, запечатлевающие связь далеких и новых времен.

В 4703010400—097 76—91
006(01)—91

ББК 84.4 Ге

- © 1983 by Hermann Luchterhand Verlag GmbH & Co KG,
Darmstadt und Neuwied
© Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1986
© Составление, предисловие, комментарии,
перевод произведений, кроме отмеченных *,
и художественное оформление издательство «Прогресс», 1991.

ISBN 5-01-002519-1

Романы, повести и рассказы Кристи Вольф в большинстве своем известны советским читателям — они публиковались в журналах и сборниках, выходили отдельными книгами. Публицистика и эссеистика писательницы — за исключением нескольких статей — была для нас практически недоступна. В то же время многие читатели, интересовавшиеся не только литературой, но и политикой, знали, что бурные события, развернувшиеся в ГДР с осени 1989 года, имеют длительную предысторию и достаточно глубокую подоплеку. В том числе и культурно-политическую. Речь идет о мужественной борьбе значительной группы интеллигенции ГДР против авторитарного антидемократического режима, особенно обострившейся с осени 1976 года, после лишения гражданства ГДР поэта-песенника Вольфа Бирмана. В этой борьбе писательская интеллигенция выдвинула своих лидеров, одним из которых стала, безусловно, Кристи Вольф. И было, конечно, соблазнительно составить настоящую книгу из наиболее актуальных вещей, то есть прежде всего из статей, выступлений и интервью последних лет, когда накал борьбы и резкость полемике достигли большой остроты. Составитель сборника, Е. А. Кацева, избрала более объективный и, видимо, более правильный путь. Ведь если исходить только из сегодняшнего дня и лишь из характера современных дискуссий, то нелегко понять, почему строительство социализма в ГДР активно поддерживали не только антифашисты довоенного призыва (И. Р. Бехер, Б. Брехт, А. Зегерс, Э. Вайнерт, В. Бредель и др.), но и многие крупные писатели военных и послевоенных поколений: Ф. Фюман, Э. Штриматтер, Х. Мюллер, Г. де Бройн, Г. Кант, К. Вольф, Ф. Браун и др. Социализм вставал перед ними (как и перед миллионами жителей страны) не как

внешняя антитеза немецкому фашизму, но как вполне реальная и достижимая возможность действительно социально справедливого и подлинно гуманного демократического жизнеустройства. О таком социализме они мечтали и работали для него, стремясь запечатлеть его черты в своих книгах. Рано или поздно они вступали в противоречие с той авторитарно-партийной структурой государственной власти, которая, к сожалению, сложилась не только в ГДР. Отсюда очевидно, что для понимания творчества самих этих писателей и развития ситуации в ГДР одних сегодняшних дискуссий недостаточно, необходим и более основательный взгляд в прошлое.

В сборнике представлены эссеистика и публицистика К. Вольф, начиная с середины шестидесятых годов, когда уже известная писательница была в то же время кандидатом в члены ЦК СЕПГ, и до осени 1989 года. Внимательный читатель и сам увидит, как развивались ее общественные и эстетические взгляды в названных хронологических границах. Задача настоящих заметок в другом: попытаться — насколько это сейчас возможно — рассмотреть *всю* жизнь и творчество К. Вольф с сегодняшних позиций и расширить общественный и литературный фон, с которым связаны в том числе и публикуемые здесь тексты.

Криста Иленфельд родилась 18 марта 1929 года в небольшом силезском городе Ландсберге (ныне Гожув-Велькопольски, Польша) в благополучной семье мелкого торговца. «Я любила родные места, любила вид из своего окна на город, на озера, на сосновые леса, я любила весь этот, может быть, неяркий ландшафт. Я не могла вообразить себе иного фона жизни. И так далеко, как занесла меня пятнадцатилетнюю наша судьба беженцев, я прежде никогда из дома не уезжала». Так вспоминает К. Вольф свое детство в очерке «Кое-что о моей писательской работе» (1965). По характеру отношения к детству и по той огромной роли, какую ранние впечатления и их последующее осмысление сыграли в творчестве писательницы, невольно напрашивается сопоставление с Францем Фюманом, уроженцем Богемии, вспоминавшим свое детство в книге «Над огненной пучиной» (1982): «Мое детство было удалено от меня на пятьдесят лет и было мне, столь непостижимо иное, теперь вдруг ближе, чем мое сегодня, из которого я вступил в прошлое...» Речь в данном случае идет даже не столько о внешних аналогиях (хотя и они, безусловно, прослеживаются — ведь и К. Вольф и Ф. Фюман относятся к категории так называемых переселенцев), сколько о внутреннем духовном родстве двух крупных писателей, каждый из которых в своем неутолимом стремлении дойти до истины, до сути вещей снова и снова приходил к необ-

ходимости возвращаться к истокам, то есть и к своему детству, все глубже, разностороннее и диалектичнее осмысливая эти истоки. «Самое страшное — это были песни, они так трудно забываются, — с большой долей автобиографичности говорит К. Вольф устами молодой немки в своей первой повести «Московская новелла» (1961). — Вы представляете себе, каково это, когда недоверчиво следишь за каждым звуком, который хочет сорваться с губ».

Читатель, знакомый с романом «Образы детства» (1976), знает, как пристально, дотошно, прибегая к различным ракурсам и различным временным дистанциям, вглядывается К. Вольф в свое детство, в те годы, которые были для нее самыми счастливыми (ведь это было хорошее, сытое, обеспеченное, богатое шалостями и дававшее простор воображению детство — и К. Вольф этого вовсе не отрицает!) и в то же время самыми несчастными, потому что тоталитарная система национал-социалистского «воспитания» именно на детей и на школьников действовала практически безотказно. Книга «Образы детства» необычайно важна и поучительна именно в силу спасительной тяги ее к правде, а значит, и к отказу от одних лишь чернотных тонов, к которым мы так привыкли. Роман «Образы детства» был переведен к началу 1988 года на двенадцать языков. На русском языке книга вышла лишь в 1989 году, но зато без неизбежных в прежние времена купюр...

Сохранилась фотография Кристи Иленфельд, датированная примерно 1948 годом. Внимательный, вдумчивый, сосредоточенный и в то же время открытый и ясный взгляд. Глаза ожидающие, чуть настороженные, но не пугливые. Резко очерченные и густые брови. Высокий и чистый лоб. И удивительно пышные, красиво, хотя и строго уложенные волосы. По стигу руки и напряженному наклону плечей — почти девочка, чего никак не скажешь, снова вглядываясь в глаза, далеко уже не по-детски серьезные... За плечами у этой девочки несколько лет переселенческой жизни в разных местностях, кое-какая работа, учеба, серьезное легочное заболевание.

В 1949 году будущая писательница (она уже и в самом деле пишет, но пока еще безжалостно рвет и жжет свои творения) оканчивает школу, вступает в СЕПГ и поступает в университет города Йены — в тот самый, где более полутора веков назад читал свои лекции Ф. Шиллер, а чуть позднее Г. Фихте и где сложился йенский кружок романтиков. В 1951 году Криста Иленфельд выходит замуж за такого же, как и она, студента-германиста Герхарда Вольфа; в том же году в ожидании прибавления семейства они перебираются в Лейпциг, где Криста про-

должает учебу у всемирно известных профессоров (Г. А. Корф, В. Краус, Т. Фрингс, Э. Блох, Г. Майер), а Герхард устраивается литературным редактором на радио. В 1952 году родилась дочь Аннетта, в 1956-м — Катрин. К этому времени молодая семья уже живет в Берлине, а К. Вольф становится главным редактором молодежного издательства «Нойес лебен».

Такова внешняя канва трудной, насыщенной заботами, но и большими надеждами молодости. Каким же образом произошла перековка юной воспитанницы национал-социалистской школы в убежденную коммунистку? Это — наиглавнейший вопрос для честных писателей ГДР, и не только из поколения самой Кристи Вольф. И ответы, устраивавшие общественность на одном этапе развития, были в дальнейшем отвергнуты самими же писателями, по крайней мере наиболее честными и талантливыми из них. И в этом плане поиски К. Вольф оказываются необычайно близки к тому мучительному пути, по которому до самой своей смерти продолжал идти Ф. Фюман¹. Опыт Ф. Фюмана был, пожалуй, в чем-то еще сложнее — и потому, что он был старше (и уже поэтому успел сделать больше ошибок), но прежде всего, конечно, потому, что он всю войну прослужил в гитлеровской армии, впитал в себя огромную массу непосредственных жизненных фактов и побывал в советском плену. Что же касается «перековки сознания», то К. Вольф так характеризовала эти процессы в своей речи на присуждении ей антифашистской премии сестры и брата Шолль в Мюнхене в 1987 году: «В пятнадцать-шестнадцать лет мы должны были пытаться возродиться заново — милость судьбы, бесспорно, но прежде всего обязанность ко второму рождению, которое продолжается всю жизнь. Быстрее и легче могли мы разглядеть ошибочное учение, идеологию бездуховности, чем преодолеть нашу глубокую неуверенность, нашу доверчивость к власти, склонность к черно-белому мышлению и к завершенным интеллектуальным построениям. Мне кажется, что у многих представителей моего поколения — по-разному сформировавшихся в зависимости от различных свобод и принуждений на Востоке и Западе — от их прежних стереотипов осталась тяга к растворению в массе и к подчинению, привычка к четкому исполнению своей функции, вера в авторитет, стремление к согласию с большинством, но прежде всего — страх перед выражением своего несогласия и сопротивлением, перед конфликтами с большинством и перед возможностью исключения из группы. Нам было очень трудно стать взрослыми, обрести самостоятельность и независимость,

¹ Помимо анализа творчества обоих писателей, я опираюсь здесь и далее на высказывания самой Кристи Вольф, а также на материалы книги: Hörnigk Th. Christa Wolf. Göttingen, 1989.

а также социальную позицию в самом хорошем смысле. Все это известно мне изнутри и до сих пор никем не описано — еще один невозмещенный писательский долг».

«Невозмещенный писательский долг» — так сурово и честно сказала Криста Вольф, многие годы разрушавшая в себе самой, а затем в своем творчестве и общественной деятельности примитивные клише, иллюзии и стереотипы, то самое «черно-белое мышление», которое и до сих пор почти непреодолимым препятствием стояло на пути всяких действительно великих реформ, и не только в ГДР. Да разве и сейчас оно напрочь ушло из нашей действительности?..

Криста Вольф начинала свой творческий путь как литературный критик. Первая ее рецензия на роман писателя-антифашиста Э. Р. Гройлиха «Потайной дневник» была опубликована в «Нойес Дойчланд» в 1952 году. Критиком она была строгим и нелицеприятным, склонным к анализу и к четким формулировкам, что было в духе времени. Способности К. Вольф сразу же обратили на себя внимание.

В 1953 году молодая семья переехала в Берлин, где К. Вольф сначала работала научным сотрудником в Союзе писателей ГДР, а с 1955 года стала и членом его правления. Это были годы активного общения со многими писателями старшего поколения (Ф. К. Вайскопф, Л. Фюрнберг, Куба, А. Зегерс, В. Бредель, Э. Клаудиус и др.), а также знакомств со своими сверстниками и будущими коллегами по профессии. После недолгого пребывания на уже упомянутом посту главного редактора «Нойес лебен» К. Вольф перешла в журнал «Нойе дойче литератур», где и работала до переезда в 1959 году в Галле. Ее активная литературно-критическая деятельность продолжалась вплоть до выхода в свет «Московской новеллы», рукопись которой была передана в издательство уже в 1959 году.

В 1972 году в беседе с писателем И. Вальтером К. Вольф подчеркивала, что в своих статьях и рецензиях она «исходила из широко распространенного в те годы взгляда на литературу, из непродуктивной, полностью идеологизированной германистики. Эти статьи я не стала бы сегодня перепечатывать, но я не хочу и не могу их отвергать, они составляют часть моего развития». Далее она называет их «честным заблуждением». Справедливости ради надо отметить, что в 1954 году К. Вольф первая заметила несомненные художественные достоинства романа «Тинко» Э. Штриматтера, а в 1962 году увлеченно написала о романе «Мы не пыль на ветру» М. В. Шульца.

Что же касается повести «Московская новелла», то над ней давно уже как дамоклов меч нависает суровая и однозначно не-

гательная оценка самой писательницы. Со времени первых публикаций К. Вольф эту повесть не переиздает. И все же, представляется, своя доля правды есть и в широком читательском интересе к ней в шестидесятые годы, и в весьма лестных эпитафиях тогдашней критики. Полагаю, все же права Тереза Хёрнигк, исследовательница творчества К. Вольф, утверждая, что «Московская новелла» — самостоятельный и важный этап в развитии таланта писательницы, и находя в ней бесспорные художественные достоинства, а главное — продуктивный и до сих пор не исчерпавший своих литературных возможностей конфликт: любовь между представителями двух смертельно враждовавших, ныне же идущих дружбы и сотрудничества народов. Вслед за К. Вольф на ту же тему писали немцы К. Давид и М. В. Шульц, серболужицкий писатель Ю. Брезан и многие другие. Глубже всех в сложную проблематику межнациональных отношений проник Иоганнес Бобровский, по сути все свое творчество посвятивший уяснению исторической вины немцев перед славянскими и балтийскими народами. В стихотворениях и прозе он воссоздал огромный историко-культурный фон: от мифологических времен и времен реального истребления германцами пруссов и полабских славян до второй мировой войны. Как духовный и художественный эталон И. Бобровский сыграл в литературе ГДР необычайно важную роль, роль своеобразного нравственного и эстетического камертона, по которому писатели до сих пор могут сверять свою лиру. Его раскованная и лирическая манера письма оказала определенное воздействие и на технику письма К. Вольф. Но это выявилось уже позднее, в период работы над «Размышлениями о Кристе Т.».

В 1959—1962 годах семья Вольф жила в Галле, в одном из стремительно развивавшихся в ту пору промышленных центров республики. Герхард, уже известный литературовед и эссеист, активно работал в издательстве «Миттельдойчер ферлаг». Криста помогала ему в составлении целого ряда антологий, ожидала выхода в свет «Московской новеллы», собирала материалы и делала наброски романа, который первоначально мыслился как *производственный*, ибо этот жанр, как считалось тогда, в высшей степени отражал сущность и потребности времени.

Оценивая ретроспективно общественную и литературную жизнь в ГДР с середины пятидесятых годов, нельзя не замечать ее противоречивости, противоборства различных тенденций. С одной стороны, явные успехи в восстановлении экономики, повышение жизненного уровня, внушавшее надежду и уверенность в будущем. Эту уверенность укрепляли и решения XX съезда КПСС, нашедшие широкий отклик среди интеллиген-

ции ГДР. «Речь шла о реализме, — говорила впоследствии К. Вольф. — По крайней мере начиная с XX съезда КПСС я была на стороне тех, кто считал, что всякие попытки не замечать и не анализировать имеющиеся общественные противоречия грозят большими опасностями. Я хотела знать, где я живу». С другой стороны, в идеологической и духовной сферах общественной жизни продолжались бесплодные и унижительные для интеллигенции попытки унифицировать общественное сознание, не позволить ему выйти за рамки догматического и сугубо утилитарного направления. Уже в преддверии венгерских событий 1956 года началась борьба с ревизионизмом, а также против влиятельного в ГДР венгерского критика Д. Лукача, борьба чисто внешняя, идеологически-административная, потому что по существу концепция Лукача (его культурно-политическая ориентация на «веймарский классицизм» Гёте и Шиллера, критический реализм XIX века и практически полное отрицание немецкого экспрессионизма, раннего философского романтизма и модернистских течений в философии и литературе XX века) оставалась в культурной политике ГДР незбылемой до начала семидесятых годов.

Кризис в культурной политике ГДР в середине пятидесятых годов, следствием которого явились аресты писателей и деятелей науки и культуры (Э. Лёст, В. Харих и др.) и начавшийся в эти же годы выезд многих из них в ФРГ (Ф. И. Раддац, А. Канторович, У. Йонзон, Г. Майер), был обусловлен прежде всего несовместимостью саморазвития литературы и культуры с утилитарной и авторитарной политикой В. Ульбрихта, продолжавшей оперировать по существу одними и теми же лозунгами и призывами. Важнейшая модификация этих утилитарных лозунгов была произведена в 1959 году в ходе I Биттерфельдской конференции, идеи и решения которой весьма созвучны пафосу известного доклада Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» (1957). В ГДР работа по «сближению писателей с народом» развернулась в двух направлениях: писателям рекомендовалось «закрепиться» за определенными предприятиями, устроиться там работать (что должно было дать им знание жизни рабочего класса и крестьянства), работать же и крестьяне, желающие стать писателями, объединялись в кружки пишущих рабочих (крестьянские кружки, по понятным причинам, создавать было труднее). Дело приняло поистине государственный размах — на I конференции выступал сам В. Ульбрихт, и на II Биттерфельдской конференции в 1964 году было свыше 1000 делегатов, представлявших 300 кружков пишущих рабочих. Однако III Биттерфельдская конференция так и не собралась — время все же показало, что попытки подменить серьезный профессиональный труд (и глобальные задачи лите-

ратуры как ничем не заменимой формы самосознания общества) побочными для литературы просветительскими и другими утилитарными целями (написать романы о заводе, о верфи, о кооперативе и т. п.) не могли выдержать даже относительно недолгую проверку временем — сами писатели вскоре осознали это. «Письмо министру культуры» Ф. Фюмана, написанное накануне II Биттерфельдской конференции, хорошо отражало эти новые настроения. «Биттерфельдский путь» мог способствовать пробуждению первоначального интереса к литературе среди рабочих и крестьян, но никак не мог дать самой литературе «качества, качества и еще раз качества», о чем справедливо напоминал Ф. Фюман. С резкой критикой «Биттерфельдского пути» выступил и М. В. Шульц.

В такой общественной и культурной ситуации вызревал у К. Вольф замысел романа «Расколотое небо». В 1960—1961 годах она руководила кружком пишущих рабочих на вагонном заводе в Аммендорфе и даже сама некоторое время была членом рабочей бригады. Постепенно, отвергая один вариант романа за другим, она приходила к выводу: «Удивительно, что эти банальные процессы и события, «взятые из гущи жизни», на страницах рукописи возводят свою банальность до невыносимой степени. Я знаю, что настоящая работа начнется лишь тогда, когда будет найдена сверхидея, которая сделает банальный материал поддающимся изображению и достойным изображения». Эти слова написаны в 1960 году, а сама жизнь скоро подсказала и «сверхидею».

13 августа 1961 года за одну ночь была возведена стена между Западным и Восточным Берлином, и тем самым была закрыта последняя возможность относительно свободного общения и относительно свободного выбора местожительства для граждан *одной* национальности, но живущих в разных немецких государствах. В политической ситуации того времени ужесточение пограничного режима было, скорее всего, шагом неизбежным — пускай и временным, но все же конкретным и объяснимым выходом из непростых и неоднозначных обстоятельств. Но что означало это для миллионов немцев — в плане нравственном, мировоззренческом, житейском? Эта «сверхидея» и легла в основу романа «Расколотое небо», опубликованного в 1963 году, вызвавшего бурную дискуссию и переведенного сейчас уже более чем на двадцать языков мира. В этом романе К. Вольф впервые вышла на уровень общенациональной постановки проблем, ибо вопрос о «расколоте неба» в равной мере был интересен немцам по обе стороны границы. В то же время важно помнить, что «Расколотое небо» выражало отчетливо социалистические позиции автора, еще не ожесточенного борьбой с догмами и партийной бюрократией...

Криста Вольф согласна с тем, что «период между 13 августа 1961 года и XI Пленумом ЦК СЕПГ в 1965 году был временем новых надежд, когда в сфере культуры происходило много позитивного». Напомним, что в 1963—1967 годах она сама была кандидатом в члены ЦК СЕПГ (в 24 года!). Молодость, литературный успех и активное участие в общественной жизни, видимо, внушали ей уверенность в возможном преодолении негативных тенденций в идеологии и культурной политике. А между тем в 1962 году был отстранен от руководства журналом «Зин унд форм» Петер Хухель, известный антифашист и один из крупнейших немецких поэтов. Он был обвинен в пропаганде «идеологического сосуществования», лишен возможности публиковаться и в 1971 году покинул ГДР. Эти события напрямую К. Вольф не коснулись. Однако кампания «против либерализма и скептицизма», развернувшаяся на XI Пленуме ЦК СЕПГ в конце 1965 года, задела ее уже непосредственно.

Поводом для начала этой культурно-политической акции стала опубликованная глава из романа Вернера Бройнига «Железный занавес» — о совместном советско-немецком урановом предприятии, где писатель сам работал некоторое время. Полностью этот роман до сих пор не опубликован, но в контексте всего творчества писателя видно, что он стремился отказаться от героизма трудовых будней, от предписываемого поиска «новых людей» и «новых героев» (о которых все еще шли длительные дебаты) и изображать жизнь такой, какой он ее видел. В «скептицизме» и «совершенно ложном изображении событий» был обвинен С. Гейм за рукопись романа «День X» — о событиях 17 июня 1953 года в Берлине. Кроме Бройнига и Гейма, резкой критике были подвергнуты Х. Мюллер, В. Бирман, М. Билер, Х. Грабнер, Р. Хавеманн... Были сняты министр культуры Г. Бентцин и В. Йохо, главный редактор журнала «Нойе дойче литературер». За В. Бройнига пытались заступиться А. Зегерс и К. Вольф, но им это не удалось. В январе 1966 года из состава правления Союза писателей ГДР вышел Ф. Фюман — не согласившись с тем, что правление Союза писателей не выступило против решений XI Пленума.

Криста Вольф произнесла на этом Пленуме импровизированную речь, о которой впоследствии отзывалась следующим образом: «Наверняка я могла бы сформулировать проблемы точнее, если бы у меня был заготовленный текст. Не очень-то легко ораторствовать в зале, который настроен против тебя, прерывает тебя выкриками... Своим выступлением я хотела убедить присутствовавших, что врагов надо искать не среди нас... Я не могла уже больше уклоняться от дискуссии, когда на моих глазах делались попытки вменить в вину писателям и режиссерам трудности, которые появились в различных сферах обществен-

ной жизни и которые стали находить свое отражение в кинофильмах и рукописях». В эти же годы, когда, по словам К. Вольф, «в тюрьмы в ГДР снова стали попадать люди, сидевшие в концлагерях при нацистах», и когда в разговорах с друзьями (в том числе и с советскими) душевная боль «зачастую превосходила всякую возможность ее вынести», писательница стала активно искать возможности для более откровенного разговора со своими теперь уже многочисленными читателями. Такой разговор мог состояться лишь на новой идейно-эстетической основе. Поиски К. Вольф нашли отражение в «Самоинтервью», приуроченном к выходу в свет романа «Размышления о Кристе Т.», и особенно в большом и гораздо более откровенном эссе «Уроки чтения и письма», написанном тогда же, в 1968 году, но опубликованном в 1972-м.

«Если ты начал жить по-новому, то через какое-то время тебе захочется и писать по-новому. Слух, зрение, обоняние, вкус становятся совсем иными...» — так начинаются «Уроки чтения и письма». В первых строках романа «Размышления о Кристе Т.» (в качестве эпиграфа к которому стоит многократно варьированный К. Вольф вопрос И. Р. Бехера из «Дневника 1950 года»: «Как это понимать: приход человека к самому себе?») курсивом выделена основная тема размышлений: «*О попытке быть самим собой*».

Криста Вольф рассказывает и размышляет в романе о жизни и судьбе незаурядной по своим душевным качествам и творческим возможностям женщины, так и не реализовавшей свои лучшие духовные качества — но только ли потому, что женщина эта, Криста Т., в тридцать пять лет умерла от рака? Подспудный же вопрос, который волнует писательницу, захватывает проблему глубже: может ли считаться по-настоящему гуманным общество, ставящее перед своими членами какие угодно цели, кроме главной жизненной цели каждого отдельного человека: *познать и осуществить самого себя?* Что значат такие высокие слова, как «трудиться на благо общества», если это абстрактное «общее благо» перестает реально соотноситься с насущными жизненными интересами каждого конкретного человека, живущего в данном обществе?

Стоит ли после этого удивляться, что подобная книга и подобная постановка вопросов вызвали в момент публикации гнев и возмущение не только в официальной критике, но и у многих привыкших с ролью «винтиков» читателей? Сама К. Вольф вспоминает об этом так: «Обиднее всего было, что отдельные мои коллеги из страха позволили запрячь себя в кампанию против меня, но особенно горько, что издательство, опубликовавшее книгу, публично от нее отреклось. Мое существование в этой стране в качестве общественного существа было поставлено под вопрос, и понадобилось довольно значительное время, пока

я опять смогла взять в руки перо». (Сейчас этот роман переведен на шестнадцать языков мира и в самой ГДР всегда был настольным чтением. Таким в «доперестроечном» социалистическом обществе был страх перед печатным словом.)

Кардинальный поворот, совершенный в эстетике и творчестве К. Вольф в период работы над романом «Размышления о Кристе Т.», состоял не столько даже в смещении акцентов с социально-политических вопросов на нравственные проблемы личности, сколько в попытке вообще рассматривать общество сквозь призму личности, в том числе и личности писателя. Начиная с этого романа, К. Вольф все больше укрепляется во мнении, что современный писатель уже не имеет права строить из себя «всезнающую» или вставать в позу незаинтересованного наблюдателя, он должен раскрывать свое субъективное отношение к событиям, делиться с читателями своими сомнениями и оценками, вовлекать его в сам процесс поисков истины. Перечитывая писателей прошлого в поисках литературных предшественников подобного метода письма, К. Вольф натолкнулась прежде всего на Георга Бюхнера; внимательное прочтение повести «Ленц» привело ее в «Уроках чтения и письма» к следующему выводу: «Теперь уже больше нельзя закрывать глаза на открытие Бюхнера, как это делали современники и потомки; оно состоит в том, что у повествовательного пространства есть четыре измерения: три фиктивные пространственные координаты вымышленных персонажей и четвертая, «подлинная», координата рассказчика. Это координата глубины, чувства времени, неизбежной сопричастности, определяющая выбор не только сюжета, но и его окраски. Ее осознанное использование — основной метод современной прозы. Отсюда сложные повествовательные структуры, не имеющие ничего общего с произволом, со случайностью, как не случайно и то, что от «он» в одном предложении Бюхнер может вдруг перейти к «я» в другом — метод, и поныне еще вызывающий удивление».

Позднее все эти размышления ассимилировались у К. Вольф в особой эстетической категории, которую она назвала «субъективная аутентичность» (достоверность, доподлинность) и с необыкновенной последовательностью воплотила в романе «Образы детства», где события развиваются сразу в *трёх* временных плоскостях. Но в романе все три временные координаты нарочито разделены, они соприкасаются, но практически не сливаются — видимо, это диктовалось совершенно специфическим замыслом честной антифашистской книги. Иначе поступает К. Вольф в повестях «Нет места. Нигде» (1978) и «Кассандра» (1983). Несмотря на значительную удаленность во времени от своих героев (в первом случае Генриха фон Клейста и Каролины фон Гюндероде, во втором — мифологического сюжета о судьбе до-

чери троянского царя Приама Кассандры), голос самой К. Вольф порой так сливается с ними, что почти уже неотличим от них. И дело здесь не только в смене предмета изображения и иных эстетических установках. Гораздо важнее оказалось то, что, погружаясь в историю и мифологию, К. Вольф обнаружила «повторяемость мотивов» человеческого поведения, типологическую схожесть определенных исторических эпох, но, главное, то, что «некоторые способы реагирования человека на обстоятельства очень глубоко коренятся в самой человеческой натуре»¹. Подобное историческое измерение значительно расширило творческий поиск и эстетику писательницы.

С 1962 года К. Вольф подолгу жила в небольшом местечке Кляйнманхов под Берлином, с 1976 года — в Берлине. Довольно много путешествовала, в том числе неоднократно бывала в СССР, США, ФРГ, Франции... Участвовала в дискуссиях со своими читателями, встречалась с коллегами-литераторами. С некоторыми из них ее постепенно связала дружба, сходное направление идейно-эстетических поисков или общие позиции в культурно-политической борьбе. Даже из опубликованных в данном сборнике текстов ясно, что сближало ее с Францем Фюманом и Генрихом Бёллем, что притягивает ее к Максу Фришу и Гюнтеру де Бройну. Совершенно особо ее отношение к писателям-женщинам: Анне Зегерс, Ингеборг Бахман, Вирджинии Вулф, Марии-Луизе Фляйсер и др.

С Анной Зегерс К. Вольф регулярно общалась с пятидесятих годов, брала у нее интервью, написала о ней около десяти серьезных эссе, которым может позавидовать любой литературовед. Отвечая в 1983 году на вопрос о своих литературных предшественниках и о той традиции, из которой она выросла, К. Вольф начинает свой довольно солидный список именно с А. Зегерс: «Особое значение имело мое отношение к Анне Зегерс и мои многолетние попытки осмыслить ее творчество»². В отношениях двух писательниц были заметны моменты притягивания и отталкивания; при несомненной дружбе им приходилось все же соблюдать и определенную дистанцию: поражает, например, то, как тактично и бережно высказывает свое мнение А. Зегерс, замечая, что творческий поиск ее младшей современницы принимает иное направление, чем, может быть, хотелось бы этого ей самой, старшей.

¹ Так выразилась К. Вольф на встрече с группой литераторов и издателей в Москве 19 июля 1987 года.

² Wolf Ch. Die Dimension des Autors. Essays und Aufsätze, Reden und Gespräche 1959—1985. Bd. 2. Berlin und Weimar. Aufbau-Verlag, 1986, S. 479.

Для К. Вольф на первых порах очень важно было и то, что в лице А. Зегерс она видела прежде всего *женщину*, сумевшую сохранить и развить свое дарование в необычайно сложных житейских обстоятельствах¹. Уже в первом интервью, приуроченном к выходу в свет романа «Решение» (1959), по характеру задаваемых вопросов, по дотошности и профессиональной настойчивости, с какой К. Вольф стремится проникнуть в творческую лабораторию А. Зегерс, хорошо видно, что речь идет не просто о журналистской любознательности и добросовестности. К. Вольф — тогда еще, может быть, и не до конца осознанно — готовилась стать преемницей всемирно известной писательницы, правда в совершенно новых исторических условиях и со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В статье «Седьмой крест» (1963) и интервью с А. Зегерс (1965) К. Вольф настойчиво обращается к речи пролетарской писательницы на Парижском конгрессе в защиту культуры от фашистского варварства в 1935 году. Речь А. Зегерс называлась «Любовь к отечеству»: именно в эти тяжелейшие для своей родины годы А. Зегерс ставила вопрос о непрерывности гуманистических традиций в Германии, вспоминая в том числе и о трагически сложившихся судьбах писателей, уже в прежние эпохи «окровавивших свои головы о стену общественной действительности» и сошедших с ума или покончивших с собой при столкновении со стеной непонимания и равнодушия. Из большого списка этих писателей (Ф. Гёльдерлин, Г. фон Клейст, Я. М. Р. Ленц, К. фон Гюндероде, Г. Бюхнер и др.), как призналась впоследствии сама К. Вольф, ей была совершенно неизвестна Каролина фон Гюндероде. «Тогда я начала собирать все, что можно было узнать о ней. В одной из историй литературы я прочитала, что Клейст и Гюндероде, возможно, встречались на Рейне, в начале XIX века. Внимательно изучая их жизнь, я обнаружила, когда это могло произойти: в 1804 году. Я представила себе, что они могли бы встретиться в Винкеле...»² Из этого интереса к Клейсту и К. фон Гюндероде, разбуженного Анной Зегерс, родились впоследствии повесть о Клейсте и Гюндероде «Нет места. Нигде», два великолепных эссе о Беттине фон Арним и Каролине фон Гюндероде и, наконец, прекрасная статья ««Пентесилея» Клейста» (1983), выводящая анализ творчества Клейста

¹ Наглядное представление о сложности жизни и работы А. Зегерс в эмиграции во Франции и в Мексике дают ее эссе «Женщины и дети в эмиграции» (1939, опубл. посмертно) и письма из Мексики. См. в сб.: Встреча на Эбро. Немецкие писатели в борьбе против фашизма (1933—1945). М., Прогресс, 1989.

² Wolf Ch. Die Dimension des Autors. Bd. 2, S. 425.

в большой круг новых идейно-эстетических проблем, связанных с работой над «Кассандрой». Но и к творчеству Георга Бюхнера, например, К. Вольф обращалась неоднократно — в том числе и в яркой речи о нем, произнесенной на присуждении ей премии имени Г. Бюхнера в 1980 году в Дармштадте (ФРГ).

В широком литературном контексте оказывается, что на новом историческом витке, в начале семидесятых годов, К. Вольф и А. Зегерс (вместе с Ф. Фюманом, Г. де Бройном и др.) уже как соратницы вступили в активную борьбу с односторонней и догматичной точкой зрения на культурное наследие. Почти параллельно они написали сборники рассказов: А. Зегерс — «Странные встречи», К. Вольф — «Унтер-ден-Линден. Три невероятные истории». В каждом из этих сборников по три рассказа, и каждый из них сыграл по-своему важную роль на новом этапе эстетического самосознания литературы ГДР. Сама К. Вольф так говорила о своей книге в интервью с Г. Кауфманом в 1973 году: «Эти три истории, написанные в 1969—1972 годах, точно обозначают ту фазу в моей работе, когда я уже писала по-другому и уже начала размышлять над большой книгой (романом «Образы детства». — А. Г.). Не случайно две из них несут на себе сильный налет сатиры, здесь выдвигаются и явно провоцирующие тезисы, и я надеюсь, что «невероятность» этих историй, перенесение конфликта в сон, утопию, гротеск могут способствовать созданию эффекта отчуждения по отношению к процессам, состояниям и стереотипам мышления, к которым мы настолько привыкли, что они уже не бросаются нам в глаза и не мешают. Но они должны нам мешать — это я говорю в уверенности, что мы можем изменить то, что нам мешает...»

В рассказе «Опыт на себе», завершающем сборник «Унтер-ден-Линден», К. Вольф рассказывает о фантастическом эксперименте — о превращении женщины в мужчину с помощью чудодейственного средства, разработанного в Институте гормональных проблем. Рассказ этот не вызвал особой сенсации, хотя и сейчас читается с интересом — прежде всего из-за обилия точных наблюдений над особенностями мужской и женской психики в момент их «сосуществования» в героине, над которой осуществляется эксперимент. Но для самой К. Вольф этот рассказ ознаменовал начало многолетних раздумий, постепенно приведших ее к созданию новой — условно говоря, «женской» — эстетики и поэтики. Размышления писательницы об этом новом измерении своей эстетики (переросшей постепенно в целую философию) отражены прежде всего во Франкфуртских лекциях о поэтике (1983), суть которых никоим образом нельзя сблизить с феминистскими взглядами на историю и современную цивилизацию, хотя К. Вольф досконально изучила имеющуюся на этот счет литературу.

К. Вольф, по существу, стремится создать «поэтику», с помощью которой можно было бы опознать и описать ложный путь человеческой цивилизации, заведший ее к концу XX века в почти безысходный тупик. «Варварство нового времени. Была ли, есть ли альтернатива этому варварству? — вот какой вопрос гложет меня», — пишет она в первой лекции о «Кассандре». И понятие «мужская цивилизация», которое использует К. Вольф по отношению к истории и современности этого «варварства», носит, на мой взгляд, скорее символический, нежели абсолютный характер, ибо она в равной мере отвергает и «женскую цивилизацию», когда убежденные феминистки начинают на ней настаивать. Понятие «мужская цивилизация», обстоятельно анализируемое К. Вольф на протяжении нескольких тысячелетий ее развития, скорее все же заостренный полемический прием, помогающий ей обнажить существо раздражающих мир противоречий.

«Существует ли на самом деле «женская» литература? — вопрошает К. Вольф в третьей лекции. — Да, поскольку женщины в силу исторических и биологических причин переживают иную действительность, нежели мужчины, переживают ее иначе, чем они, и именно это выражают. Поскольку женщины принадлежат к числу не властвующих, а подвластных, и это на протяжении веков; они — объекты объектов, объекты в квадрате, очень часто объекты для мужчин, которые сами являются объектами; стало быть, они в силу своего социального положения, по необходимости принадлежат к другой, второй культуре. Они ее создают в той мере, в какой отказываются от изнурительных попыток сжиться с безумием господствующих систем; в той мере, в какой они писаниями своими и жизнью своей добиваются автономии. И тут они сталкиваются с мужчинами, добивающимися автономии». Чтобы отвергнуть всякие мысли о «феминизме» Кристи Вольф, приведу еще цитату из той же лекции (изданной в свое время в ГДР с большими купюрами), цитату, на мой взгляд, очень важную: «Но мы ни на шаг не приблизимся к зрелости, если на место мужской мании господства придет мания женская, если женщины, идеализируя дорациональные этапы развития человечества, выбросят за борт все достижения разумной мысли только потому, что это достижения мужской мысли. Род, клан, кровь и почва — это не те ценности, к которым сейчас должны апеллировать мужчины и женщины; уж кому как не нам знать, предлогом для какого страшного регресса могут служить эти лозунги. Нет иного пути, кроме как через воспитание личности, через рациональные модели решения конфликтов, а это значит также — через дискуссии и сотрудничество с инакомыслящими и, само собой разумеется, с существами иного пола. Автономность — это задача, стоящая перед каждым, и женщины, за-

мыкающиеся в феминизме как единственной ценности, поступают, в сущности, так, как их выдрессировали: на требования, которые реальная жизнь ставит перед ними как цельными личностями, они отвечают обходным маневром, хоть и задуманным с размахом». Как видим, К. Вольф никак не заподозришь в симпатиях к феминизму.

Франкфуртские лекции — произведение значительное, если не сказать даже больше — великое. Прежде всего потому, что дает массу импульсов для работы мысли в самых различных направлениях, заставляет еще и еще раз приглядываться к тому, где, казалось бы, все было уже вроде бы ясно... Сложное дело обстоит с новой «женской» поэтикой, размышления о которой сконцентрированы прежде всего в четвертой лекции, с отдельными конкретными утверждениями которой так и хочется спорить (что успешно и безуспешно делали отдельные критики). Но необходимо прежде всего подчеркнуть главное: К. Вольф действительно — и во многом успешно, причем опираясь больше даже на поэтов и мыслителей — мужчин, чем на женщин, — выдвигает принципы поэтики, базирующейся на некоей новой нравственности, отдельные черты которой, конечно же, легко обнаруживаются и в прошлом, хотя в своей разветвленной совокупности поэтика эта представляет собой качественно нечто совершенно новое. И безусловно, подкупает, что К. Вольф формулирует свои раздумья осторожно, без категоричности, в виде отдельных подступов. Вот она говорит, например, о постепенном переломе в современном общественном сознании, равносильном новому Ренессансу: «В чем тогда суть этого перелома? Может быть, в отказе. В отказе от покорения и обуздания природы, отказе от закабаления других народов и континентов, но также и в отказе от закабаления женщины мужчиной? В радости жизни (когда ты уже не властелин мира и не стремишься им быть)?» Или в другом месте — с опорой на Макса Фриша — говорит о новой функции слова в рамках ее поэтики: «Такое слово не будет снабжать нас ни историями героев, ни историями антигероев. Оно будет скорее неброским и рассказывать будет о неброском, о драгоценных буднях, просто и конкретно. Гнев Ахилла, смятение Гамлета, ложные альтернативы Фауста будут вызывать у него всего лишь улыбку. Ему придется пробиваться к своему материалу поистине «снизу» — и тогда, может быть, этот материал, увиденный с доселе неведомой точки зрения, все-таки еще откроет доселе не распознанные возможности». Большое место в четвертой лекции занимают размышления о творчестве крупнейшей австрийской писательницы Ингеборг Бахман, трагически погибшей в Риме в результате несчастного случая...

Но как воплощается эта новая «поэтика обыденности» в творчестве самой Кристи Вольф? Мы можем судить об этом на

основании повестей «Кассандра» и «Авария», написанных вскоре после Чернобыльской катастрофы. Но нагляднее всего новые нравственно-эстетические позиции писательницы отразились в последней ее книге «Летний этюд» (1989). Произведение это, как подчеркивает сама К. Вольф, создавалось в три «захода». Отдельные главы возникли уже в конце семидесятых годов — параллельно с работой над повестью «Нет места. Нигде». В 1982—1983 годах существовали уже завершенные варианты текста. Окончательный текст для печати был подготовлен в 1987 году (после вынужденного перерыва для написания «Аварии»).

Новые мировоззренческие позиции К. Вольф нашли в этой книге яркое художественное воплощение; ее поэтика, провозглашенная во Франкфуртских лекциях, впервые убедительно подтверждается здесь на современном материале и сюжете: повесть «Авария» писалась все же по слишком злободневному поводу (что само по себе вовсе не является минусом), и эта очевидная злободневность вступила в определенное противоречие с сюжетной конструкцией, которая является все же заданной, далёкой от спонтанного воспроизведения событий. Сюжет «Летнего этюда» мало что может сказать о самой книге — он предельно размыт и расплывчат, являет собой маленький фрагмент из большого потока обыкновенной, ежедневной, будничной жизни. Непросто разобраться и во взаимоотношениях многочисленных героев, которые появляются, вступают в разговоры и конфликты и уходят со сцены, словно бы воспроизводя ничем особенным не примечательное течение самой жизни и никак не подчиняясь строгому художественному замыслу. «С какой это стати предложения и фразы должны быть важнее, чем вычищенная плита?» — упорно размышляет Эллен, под образ которой, скорее всего, «маскируется» сама К. Вольф, хотя она и предупреждает, что все действующие лица этой книги — вымышленные. Да и все события происходят в некоем летнем домике, о покупке которого и обо всех соседях тоже подробно рассказывается; одни персонажи приезжают, другие уезжают, как бы мимоходом поясняется, что одни из героев уже умерли, других судьба разметала по разным странам, да и сам-то дом в конце концов сгорел от случайного пожара. Поистине «летний этюд» или «летняя фантазия», как, на мой взгляд, можно было бы назвать эту вещь в русском переводе (по аналогии с «Ночными фантазиями в манере Калло» Э. Т. А. Гофмана), фантазия, которую К. Вольф по-своему переводит в реалистический и современный план...

И все же «этюд» этот необычайно серьезен, хотя серьезность его нигде специально не выпячивается. Во Франкфуртских лекциях К. Вольф писала: «...я уже убедилась, в какой тупик неиз-

менно заводит сектантское мышление, исключаящее все другие точки зрения, кроме той, которая санкционирована собственной группой...» В «Летнем этюде» она пытается средствами художника-реалиста указать выход из этого тупика: показывая попытку *очень разных людей* жить все-таки вместе, не поступаясь своими индивидуальностями, а, напротив, уважая их и способствуя их раскрытию. При внимательном чтении обнаруживается, что книга вдоль и поперек пронизана конфликтами, и не только бытовыми. И сельский домик, и маленькая деревня тысячу зримых и незримых нитей связаны сегодня со всем миром, и эти связи тоже дает почувствовать К. Вольф. «Что, собственно, так терзает меня? — размышляет Эллен. — Не то ли, что я, как и все, привыкла никогда не делать в точности того, что мне хотелось бы делать? Так, что я уже, по всей вероятности, не замечаю того, что я даже больше и не думаю так, как мне бы хотелось думать. Или как я должна бы думать...» Иначе, спокойнее и рассудительнее, говорит о тех же проблемах Ян, муж Эллен: «Все это — излишнее самокопание. Всему свое время: во что-то верить и вступаться за это; почувствовать ограниченность собственных иллюзий; одуматься, найти новые ориентиры и попытаться жить в соответствии с ними». Эти размышления героев можно трактовать по-разному: в личном, общественном и философском планах. Так это и делается в книге. Но ясно лишь, что в преддверии драматических событий в ГДР, которые К. Вольф прозорливо, повторяя, может быть, в чем-то свою героиню Кассандру, увидела, она размышляла о своей стране и о судьбе социалистического идеала, в который она сама когда-то так искренне верила...

Летом 1990 года была опубликована повесть «Что остается», в которой К. Вольф воспроизвела некоторые доподлинные эпизоды конца семидесятых годов, когда она находилась уже в оппозиции к партийно-бюрократической верхушке. Не выпячивая и не пресувеличивая свое личное мужество, она описывает полицейскую слежку за ней, воссоздает атмосферу угроз, прослушивания телефонных разговоров, перлюстрации писем и прочее, показывает, как вели себя тогда разные люди, изображает дух и стиль тоталитарного режима, перешагнувшего не только разумные, но и всякие мыслимые пределы. Именно эта повесть, законченная, как помечено в рукописи, в ноябре 1989 года, помогает сегодня понять, почему события в ГДР развернулись столь стремительно — волна ненависти к партийно-бюрократическому аппарату перехлестнула чувство страха, на котором последние годы (особенно после апреля 1985 года) держался режим Э. Хонеккера...

Что же остается в подобной ситуации писателю? Прежде всего, конечно, возврат к общечеловеческим, общегуманистиче-

ским идеалам и ценностям, но возврат, естественно, не механистический, а уже скорректированный осознанным взглядом на всю историю человечества. «Вот он, опасный вывод, с неопровержимостью следующий из всех моих работ последнего времени, — пишет К. Вольф в статье «Ответ читателю» (1981). — Меня гнетет мысль о том, что наша культура, которая лишь с помощью силы могла достигнуть того, что она именует «прогрессом», через подавление внутри, через уничтожение и ограбление других культур, сузив, в преследовании материальных интересов, представление о реальности и низведя ее до утилитарного уровня эффективного средства, — что такая культура должна была прийти к той точке, к которой пришла». «Точка», о которой говорит К. Вольф, — это экологическая и ядерная пропасть, усилившиеся межнациональные распри, сектантская твердолобость и претензии на владение абсолютной истиной отдельных политических и националистических группировок, дегуманизация наших ежедневных взаимоотношений. Какой же выход предлагает она своему читателю: «Все, что игнорируется и отрицается, мы должны создать: приветливость, достоинство, доверие, раскованность, непосредственность, очарование, аромат, звучность, поэзию. Непринужденность жизни. Все, что улетучивается первым, когда недобрый мир грозит вылиться в войну. Истинно человеческое. Дающее нам силы отстаивать мир».

Очередная иллюзия? Или теперь уже окончательно осознанное стремление приковать наши взоры к единственному объекту и субъекту, который только и может спасти человечество, — к самому человеку? Ведь, по сути, мы имеем на сегодняшний день не так уж и много: человека, создавшего в ходе своей исторической эволюции современную цивилизацию, Землю, которую этот же человек и созданная им цивилизация подвели на грань катастрофы, и по-прежнему далекий и малопонятный человеку Космос, хотя и сам человек, и его современная цивилизация тоже являются законной частью этого Космоса. Таким образом, и в самом деле, все замыкается на Человеке, на человеке, то есть на нас самих...

Когда-то, еще в начале семидесятых годов, Крису Вольф глубоко взволновал вопрос Иоганнеса Бобровского: «Как этот мир должен быть устроен для морального существа?» — вопрос, восходящий к общим юношеским раздумьям Гельдерлина, Шеллинга и Гегеля в их бытность студентами Тюбингенского университета. Сама К. Вольф давно поняла: «Аморальным является все то, что нам, всем людям, мешает из объекта истории стать ее субъектом»¹. То есть пока масса людей, поддающаяся почти любым манипуляциям под воздействием подкрепленных

¹ Wolf Ch. Die Dimension des Autors. Bd. 2, S. 349.

силой лозунгов («Хайль Гитлер!» или «Да здравствует Сталин!»), не станет коллективом осознающих свое достоинство и ответственность перед человечеством *личностей*, все угрозы нашей цивилизации сохраняют свою силу, какими бы умными и гибкими ни были те или иные *возеги*. Поняв это, К. Вольф отдает весь свой талант и гражданское мужество достижению главной своей задачи: сохранению моральной и нравственной памяти человека (как она это прямо сформулировала в романе «Образы детства») и возрождению цельной и нравственной человеческой личности. Разумеется, эти проблемы волновали раньше и волнуют сегодня многих крупных писателей — да и разве одних только писателей! Но специфика жизненного и эстетического опыта Кристи Вольф, те особые и неповторимые художественные «измерения», которых она достигла в своем творчестве и эссеистике, помогают понять постоянно возрастающий интерес к ней во всем мире. Настоящий сборник, несомненно, приблизит ее и к советскому читателю.

Июль, 1990

А. Гугнин

О себе



КОЕ-ЧТО О МОЕЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Недавно моя маленькая дочка призналась мне в странной привычке. Вечером, ложась в свою кроватку, она тотчас превращается в принцессу, живущую в роскошном замке, и переживает самые удивительные приключения; и принц к ней является, чтобы спасти ее, и целая стая разных зверюшек прислуживает ей. Использовать людей в качестве слуг (даже в фантазиях) ей мешает чувство социальной справедливости — она вкладывает в эти мечты нечто, чего все же не хватает ей в ее веселой и до краев заполненной детской жизни. А днем эти мечты находят свое отражение в ярких рисунках в ее альбоме.

Это настойчивое желание раздваиваться, видеть себя в ином облике, делать из одной жизни много разных, одновременно оказываться во многих местах — это, как мне кажется, один из сильнейших, хоть и редко называемых толчков к писательству. Мои детские фантазии тоже часто были связаны с превращениями. Иногда они радовали меня, а иногда пугали: а что, если я вдруг однажды проснусь ребенком других родителей, проснусь другой? И я очень рано стала пытаться осуществить это превращение — на бумаге: так удавалось смягчить боль от неповторимости и уникальности собственной жизни. Однако потом мы слишком быстро забываем то, о чем могли печалиться еще детьми...

Но я не могу забыть, как нам, кому в начале войны было десять лет, хотели привить фальшивую печаль, фальшивую любовь и фальшивую ненависть, как это почти удалось и каких усилий стоило нам вырваться из этих пут, какая огромная помощь понадобилась, от скольких людей, сколько раздумий, какая серьезная работа и сколько горячих споров. Вот тогда нам пришлось вспомнить и наши детские мечты.

Я выросла в небольшом, можно сказать, маленьком городке по ту сторону Одера. Я любила родные места, любила вид из своего окна на город, на озера, на сосновые леса, я любила весь этот, быть может, неяркий ландшафт. Я не могла вообразить себе иного фона жизни. И так далеко, как занесла меня пятнадцатилетнейшестнадцатилетнюю наша судьба беженцев, я прежде никогда от дома не уезжала. И так близко не сталкивалась с войной. Я узнала, что видеть мертвые изувеченные тела «врагов» в кино на экране — одно, совсем другое — держать на руках мертвого окоченевшего младенца и протягивать его матери, одно — слышать произносимое шепотом слово «коммунист» всегда в сочетании со словом «преступник» и совсем другое — в одну холодную ночь после многодневных скитаний по дорогам Германии, поведав такое, что прежде казалось невыносимым, оказаться у костра рядом с немецким коммунистом в полосатой одежде узника концлагеря.

И в последующие годы мы ощутили, насколько легче выговаривается «нет», чем новое «да», которое должно опираться на знания, а не на новые ошибки и иллюзии, насколько легче, узнав всю правду, испытывать стыд за свой народ, чем заново научиться любить его. Нашему поколению было очень трудно найти в литературе адекватное выражение пережитого. К этим основным впечатлениям нашей юности надо было присовокупить новые, не менее интенсивные переживания — те, что не обрушились на нас и не были нам навязаны, как первые, — нам нужно было самим приобрести этот новый опыт: наш путь в жизнь, наши поиски своего места в этой жизни совпали — уникальная ситуация! — со становлением нового общества, с его поисками форм существования, с его ростом, с его ошибками, с его консолидацией. С тех пор как мы научились свободно и уверенно двигаться в этом обществе, вместе с ним и одновременно сохраняя критическое к нему отношение — как можно критически относиться лишь к делу собственных рук, — с тех пор книги нынешних тридцати-тридцатипятилетних стали живее, правдивее, полнее отражать реальность (в том числе и книги о конце войны).

Моя собственная жизнь? С 1945 года я девять раз переезжала из одного города в другой: была писарем у бургомистра в маленькой деревушке, закончила школу, изучала германистику в университетах Йены и Лейпцига, работала научным сотрудником в Союзе писателей ГДР, редактором в различных издательствах, в журнале «Нойе дойче литератур». Я писала критические статьи и эссе, посвященные нашей новой литературе, некоторые вместе с моим мужем, он тоже редактор и критик. У нас двое детей — две дочки, — которые в свою очередь критикуют нас за частое отсутствие.

Некоторые считают, что от германистики и литературной критики ведет прямой путь к «настоящей» литературе; я не стану отрицать, что знание путей литературного развития и отчетливое понимание тех проблем, с которыми сталкиваются молодые писатели, полезны мне и, быть может, помогают избежать многих окольных путей. С другой стороны, чем дольше занимаешься литературой, тем тяжелее печатать что-нибудь свое. Для меня самым важным в эти годы было то, что я столкнулась с самыми разными людьми, познакомилась со всеми слоями формирующегося нового общества. Точное знание еще «сырых» и «жидких» переходных форм от старого к новому обществу трудно переоценить.

Но я всегда знала, что хочу писать «по-настоящему», и писала. Сейчас я очень рада, что все эти рукописи стали жертвой цензуры. Первой через собственный шлагбаум я пропустила «Московскую новеллу», небольшую повесть, которая была напечатана в 1961 году. Я написала ее после своей второй поездки в Москву, тема ее давно меня занимала, она была усилена новыми впечатлениями и прежде всего желанием раздвоиться, быть здесь и там. Я попыталась затронуть проблематику послевоенной жизни наших народов на примере трудной истории любви между немкой и русским, бывшим офицером, прошедшим войну, — эти два человека спустя полтора десятилетия после их первой встречи увиделись снова в новых обстоятельствах и теперь должны принять решение, как им жить дальше.

Когда я писала повесть «Расколотое небо», мы жили в Галле, городе с тысячелетней историей, когда-то центре солеварения, где скрещивались многие торговые пути, а нынче одним из наших крупных промышленных центров: химия, машиностроение. Это многослойный город, в котором беспокойно перемешиваются традиции и современность, покрытый копотью, на первый взгляд некрасивый, являющийся клубком многих противоречий. Кое о чем я попыталась написать в своей книге, о том, что постепенно раскрывалось мне самой. Мне было ясно тогда (ясно и теперь), что, только обладая точным знанием, можно проникнуть в суть интереснейших процессов, которые именно в те годы вносили существенные изменения в человеческие отношения. Вначале я потерялась в этом кажущемся хаосе, я оказалась втянутой в круг вопросов, совершенно новых для меня, я познакомилась с новыми людьми, с некоторыми подружилась. Благодаря им во мне проснулся интерес к сухой науке — экономике, которая прямым образом определяла жизнь моих новых знакомых, стала ключом ко многим человеческим драмам, конфликтам, борьбе, победам и поражениям. Мы вместе сидели над цифрами и статьями, над призывами, заявлениями и отчетами. Очень часто я не могла понять, почему то разумное, что долж-

но быть очевидно каждому, с таким трудом пробивает себе дорогу.

Тогда каждому здравомыслящему человеку на любом предприятии должно было быть ясно, что ключ к решению многих проблем — в повышении производительности труда. И именно потому, что я видела людей в трудных, сложных ситуациях, я поняла: социализм в нашей стране спустя пятнадцать лет после разгрома немецкого фашизма стал для миллионов реальностью, сутью повседневной жизни, целью их труда. Он стал в одной части Германии формирующей человека силой. Именно это и придает нам уверенность, помогает свободно чувствовать себя в этом материале, шире использовать те преимущества, которые предоставляет писателю наше общество: он поставлен в такое положение, что имеет возможность получать необходимые знания и впечатления для воссоздания общей сложной картины современного индустриального общества.

Я так много говорю об объективных условиях писательской работы потому, что моим жанром была и останется главным образом проза (хотя меня привлекают также кино и театральная драматургия). Я убеждена, что и в прозе субъект автора играет большую роль, но социалистический прозаик, как мне кажется, должен насколько возможно расширять свое субъективное видение, чтобы охватывать реальность возможно глубже и шире, снова и снова стремиться перерабатывать факты, осмысливать их.

В основе работы писателя должна лежать научная картина мира — именно тогда он сможет использовать самые сложные и субъективные художественные средства, не впадая при этом в произвол и в манерность.

У меня вызывают восхищение романисты, которые в наше время сумели дать широкую цельную картину своего общества: Арагон, Анна Зегерс, Томас Вулф. Важная тема нашего времени — как из старого мира рождается новый. Это как нигде отчетливо, резко и противоречиво происходит в нашей стране. Будучи писателем, это надо «всего лишь» видеть.

Кажется, я позабыла о своем первоначальном толчке к писательству — о тоске по превращениям — и перешла на весьма трезвые, повседневные импульсы — экономику, политику, мировоззрение... Взрослые люди отнюдь не всегда имеют дело с заколдованными принцессами и другими обычными вещами из мира нашего детства. И все же еще и сегодня некоторые люди кажутся мне заколдованными. И я часто мечтаю, чтобы литература превратилась в нечто похожее на волшебную палочку, чтобы расколдовать мертвые души, пробудить к жизни, внушить им желание стать самими собой, смелость поверить в свои, часто неосознанные мечты, стремления и возможности.

1965

ДНЕВНИК — ОРУДИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПАМЯТЬ

На одной из последних страниц моего дневника помещено стихотворение Брехта, написанное в 1944 году.

ЧТЕНИЕ НЕ БЕЗ ВИНЫ

В своих дневниках военного времени
Упоминает поэт Жид* огромное платановое дерево,
Которым он долго восхищается — его огромным стволом,
Его могучими ветвями и его равновесию
Благодаря равномерности его тяжелой кроны.

В далекой Калифорнии
Я, качая головой, читаю эти заметки.
Народы истекают кровью. Никакой естественный план
Не предполагает счастливого равновесия.

Дневник! Эта тема нуждается в пояснении. Кто бы мог, кто бы хотел тридцать минут говорить о своем дневнике? Но писатель и чужие дневники — с этого можно было бы начать. Самое лучшее — с дневников тех, кто не принадлежит к писателям...

Люди, которые будут жить через сто лет, быть может, заинтересуются своими предками, у них, я думаю, найдется время, чтобы удовлетворить любопытство любого рода. Им будет не слишком легко представить себе нас. Они станут вчитываться в книги, в которых мы сами себя описываем, но потом в растерянности отложат их в сторону и скажут: неужели они больше о себе ничего не знали? Или: а больше им нечего было сказать? Может быть, они лучше, чем мы сами, поймут, сколь много всего вклинивается между автором и простым правдивым рассказом о его мире. Но как бы там ни было — сведения о внутренних процессах середины этого века им придется искать в документах этого времени.

Как это делаем уже и мы сами. Я не могу сказать, что наиболее захватывающим чтением для меня в последние годы были романы. Мы сделали недоверчивы к вымыслам на тему внутренней жизни наших современников. Кроме того, действительность оказалась непревзойденной. Правда, отнюдь не непревзойденно прекрасной. «Как эти стихи, замирает сердце», — сказано в одном стихотворении Стефана Хермлина, в котором есть и такая строчка: «Время чудес прошло»*.

Мы читаем документы, переписку, мемуары, биографии. И еще: дневники. Мы хотим аутентичности. Мы не желаем, что-

бы нас поучали, мы хотим, чтобы нам рассказывали. Нельзя отмахиваться от ключевых вопросов, которые должно ставить искусство. Что же, как не искусство, должно синтезировать все, часто труднообъяснимые типы поведения людей в наши дни? Что же, как не искусство, должно внести разумный, достойный человека порядок в хлынувшую лавину так называемых фактов?

Четыре дневника лежат передо мной. Самый ранний из них по времени и самый поздний почти на одинаковое время удалены от магической даты — от середины века. Те, что их написали, были или являются нашими современниками. Все они жили или живут на небольшом пространстве в тысячу квадратных километров. Читая эти записи, возникает вопрос: сколько пластов у времени? Сколько существует возможностей жить в нем?

Давиду Рубиновичу — еврейскому мальчику из деревни Крайно в Варшавском воеводстве — исполнилось двенадцать лет, когда он начал записывать свои мысли и рассказывать о своих впечатлениях в школьных тетрадках с желто-коричневой обложкой. В четырнадцать его записи оборвутся на полуслове. А предпоследнее слово, во всяком случае в немецком переводе, значит «кровь». Последнее же — он не сумел его дописать — страшное слово «смерть». Точнее, «убийство». Убийство в Треблинке. А перед этим антисловом мы можем прочесть несколько тысяч других слов Давидека.

Он начинает:

«Рано утром я пошел по деревне, в которой мы живем. Изда-лека я увидел на стене лавки приказ и быстро подошел, чтобы прочесть его. В новом приказе говорилось, что евреям запрещается ездить на повозках (по железной дороге ездить уже давно было запрещено)».

«...Всю ночь я не мог заснуть, такие странные мысли приходили мне в голову».

По воле случая имя этого мальчика не стало широко известным в отличие от имени Анны Франк*. Но как и у большинства случайностей, у этой, вероятно, есть свои причины. Возможно, для Западной Европы не столь близка история гибели бедного деревенского мальчика из далекой польской деревни? Может быть, страдания такого рода меньше притягивали, были слишком далекими и потому воспринимались отчужденно и слабо, не годились для того, чтобы вызвать эпидемию коллективного самоощущения?

Давидек, способный, тонкий и храбрый мальчик, рассказывает с непреложной подлинностью и точностью об окружающем его мире: о деревне, природе, семье — мире, который за эти два года сужается в одну страшную точку — в неотвратимость преследования и гибели.

«...Потом они пришли, сначала сделали обыск у одного крестьянина и снова уехали. Когда они были возле нас, я думал, что у меня сердце выпрыгнет из груди, так оно стучало».

Все мечты и желания, которые возникают в этом возрасте, прескакает возможность смерти: «Если иногда вдруг и появляется хоть краешек надежды, засветит хоть самый маленький лучик, тут же налетает вихрь и все уносит... Я не могу поверить, но все возможно. Эта девушка была как цветок, и, если они могли ее застрелить, значит, скоро будет конец света...»

Перед ним вырастает стена, а за ней то, что невозможно высказать: «Но сейчас такое время, когда ничего нельзя говорить, надо сидеть тихо и все терпеть... Мне трудно описать то, что рассказывал отец...»

Судьба Давида Рубиновича не могла быть рассказана иначе, чем это в субъективной и одновременно строго документальной форме записано в его дневнике. Чудовищные факты звучат издевкой над любым пресувеличением, рождаемым фантазией. Документы из архивов убийц, чиновников, состоящих у них на службе, и дневники жертв противостоят друг другу красноречивее, чем это смог бы выразить роман или стихотворение. Дневник — «личный» по самой своей сути, часто пишется тайно, без расчета на какого бы то ни было читателя; в страшную эпоху с ее чудовищными преступлениями он берет на себя роль неподкупного, правдивого и справедливого свидетеля.

Дневник слагает с себя эту роль, когда время преодолест кошмар или забывает его, скрывая или перемещая в отдаленную часть нашей планеты, и показывает обычного человека с его обычными проблемами. Происходит прорыв нормального, само собой разумеющегося в тот мир, в котором уже «не было ничего само собой разумеющегося». Иоганнес Р. Бехер описывает этот процесс в своем дневнике 1950 года: «Бесчеловечное узурпировало само собой разумеющееся». Но сколько же понадобилось мужества, чтобы само собой разумеющееся снова «уразумело» само себя.

Спустя почти шесть лет с того дня, как оборвался дневник Давида Рубиновича, летом 1948 года возник «Буколический дневник» Вильгельма Лемана*. В нем есть следующая зарисовка, посвященная бабочке:

«...Я подхожу ближе и замечаю у старика на лавкане пиджака бабочку, которая машет крыльями. Он видит мой просящий взгляд и отдает ее мне... Дома я сажаю бабочку на букет ирисов... И если я осуждаю усталость и поверхностность людей современной цивилизации, то внимательности тех, кто был до нас, я благодарен. Ничего нет важнее доброго имени: пятна на нижних крыльях, спрятанные под верхними, прежде всего поразили меня, ибо я увидел бабочку на лавкане пиджака. И этот

внимательный человек Некто, который, по Вольтеру, умнее, чем каждый взятый в отдельности, глядя на эти пятна, подумал о павлиньем глазе и назвал бабочку в отличие от распространенной дневной «вечерний павлиний глаз»... Хотя я и остерегся называть насекомому свою человечность, оно все равно умерло, задохнувшись в воздухе моей комнаты. Его прелестный трупик лежит на бумаге, и я люблюсь им».

Разумеется, это тоже повседневность, бытие, природа. И если угодно, это то, на что человек имеет «полное право». Но будет ли несправедливо, если я скажу, что дневник Давида Рубиновича превращает такие строки в антиприроду? Хотя один ничего не знал о другом?

Значит, ничего не получается и тогда, когда сентиментальная идиллия подменяется скрупулезно фиксирующей идиллией. Но что же остается, если мы все же обращаемся к обыденности? Почему так быстро растет мое удаление от этого искусного заклинания бабочки под названием павлиний глаз? Почему эти строки неумолимо погружаются в массу «несовременного»? В то время как голос Давида Рубиновича звучит все ближе, словно мы только сейчас оказались способны услышать его — именно его, а не самих себя. Этот голос ни в чем нельзя упрекнуть. Он просто звучит. Человеческий голос из времени, в котором бесчеловечное стало само собой разумеющимся.

«...Даже у самого незаметного человека есть своя история, — говорится в дневнике Бехера спустя два года после буколических идиллий Вильгельма Лемана. — Отдадим человеку то, что ему принадлежит: историю незаметного и безымянного, — и мы сделаем открытие, которое превзойдет все наши ожидания и самую смелую фантазию, мы увидим, какие откроются бездны, какая богатая событиями и конфликтами, какая детективная история у каждого человека и как раз у самого незаметного, которого мы привыкли отодвигать в сторону как фигуру незначительную и неинтересную, считая, что все это серая безымянная масса. Каким очагом беспокойства является человеческая душа; чтобы умиротворить ее, мы не отказываемся ни от каких средств, но к каким средствам мы ни прибегали бы и друг другу ни прописывали — этого беспокойства не унять, снова и снова в человеке поднимается буря... Потому, что это глубокое беспокойство человеческой души есть не что иное, как предощущение, предчувствие того, что человек еще не пришел к самому себе. Как это понимать: приход человека к самому себе?»

Литература, которая хоть в какой-либо форме не ставит этот вопрос — будь то жалоба или крик отчаяния, — подпадает под вердикт стерильности. Прорыв к проблемам нашего времени, во всяком случае в прозе, если она не хочет превращаться просто в сравнение, связан с повседневностью. Банальность этой повсе-

дневности, кажется, ставит многих прозаиков перед неразрешимым противоречием. Макс Фриш в своем дневнике пишет: «Наши творцы эпического уже не в состоянии создать цельный мир, принципиально иную terra incognita, которая могла бы существенно изменить нашу картину мира»*.

И в самом деле, современный западный роман не может вырваться из замкнутого круга вариаций на тему, которая еще двести лет назад была открыта в литературе — кстати, в литературе, прибегавшей к дневниковой и эпистолярной форме, — человек оказывается перед выбором: быть уничтоженным обществом морально или физически. Наше поколение, кровно связанное с новым обществом, поколение, которое росло вместе с этим обществом, теперь, когда пора первой молодости уже позади, когда утрачено счастливое состояние юной непосредственности, оглядывается: где наша terra incognita и как выглядит она в беспощадном дневном свете, освобожденная от иллюзий?

Вот сейчас наконец, по крайней мере две последние минуты, я уже говорю о своем собственном дневнике. И все же я еще раз использую цитату из чужого дневника, который ведут те, кто не пишет сам, потому что это не их профессия. В дневнике бригады на бурогольном комбинате Дейбен под Биттерфельдом есть такая запись:

«Собачий холод, ветер бушует так, что дышать трудно, а тут еще эти дрязги.

Я напишу подробно, почему наш коллега К. не получил премии, и потом решайте сами. Мы должны были спускаться в шахту, как только была подготовлена наклонная плоскость. Но кабельный барабан оказался не в порядке. Он крутился быстрее, чем двигался снаряд. Кабель при этом так намотался на барабан, что нам пришлось остановиться, чтобы привести его в нормальное положение. А что сделал в этой ситуации коллега К.? Он ушел, потому что боялся опоздать на свой автобус. А коллега Т. оставался на рабочем месте на полчаса дольше, чем К., и все-таки успел на свой автобус».

Очень легко и вместе с тем легковесно было бы назвать эту запись банальной. И ответ коллеги К., который спустя семнадцать дней появился в том же дневнике, человеку, лишенному фантазии, может показаться банальным: «...Ладно, я признаю, что мог бы задержаться еще на полчаса. Но я всю смену пробыл внизу и страшно промерз. И потому я переоделся и ушел. Это было неправильно. А разве правильно, что коллеги Ф. и Р., начальник смены Д. сами распределяли премии, словно других членов бригады не существует? Это разве в духе коллективизма?!»

Мне вовсе не кажется банальным то, что должно было происходить в этом человеке, наоборот, представляется крошечной

частицей большого процесса, и потому это заслуживает внимания в том смысле, что достойно литературы. О «банальности зла» заходит речь в связи с Эйхманом*. Но разве это затасканное слово «банальность», если мы лишим его снисходительно-негативного оттенка, не протянет самым удивительным и внушающим надежду образом ниточку между бригадной книгой и дневником Давида Рубиновича? Банальность добра, добро как банальность или, как мы теперь говорим, обыденность, повседневность — только это прочная и действительная гарантия от Треблинки. А может, это снова иллюзия? Как там сказано у Бехера? «...Высшая ступень творческой фантазии видеть вещи такими, какие они есть...»

О форме собственного дневника ничего нельзя написать, одновременно не обнаруживая что-либо из его содержания. Преимущества такой формы для писателя очевидны. Во-первых, в дневнике еще совпадает естественная человеческая потребность самовыражения с литературой как художественной формой.

А во-вторых, я уже говорила: в «нормальные времена» дневник становится зеркалом обыденной проблематики обычных людей, к которым причисляет себя автор; дневник может, освободившись от давления формы, стать достоверным выражением внутренних и внешних впечатлений. В-третьих, дневниковая форма благодаря своей непосредственности сохраняет близость к материалу, который в конечном итоге является основным источником и для искусства, то есть к жизни. Если этот дневник прошел связанные с определенным возрастом стадии самоисследования, он может открыться для отражения всех возможных видов реальности. Вопросительный знак встречается в нем чаще, чем восклицательный, и особенно ценится точка как признак спокойного делового высказывания. Волшебство реальности, поэзии, без которой не может жить ни один человек, обнаруживается в самих вещах, каковы они есть, а не в их маскировках, выступающих под разными именами. Только после этого можно будет дать этим вещам названия. Дневник собирает материал, анекдоты, истории, разговоры, наблюдения за людьми, городами и ландшафтами, отрывки из книг, мысли по поводу актуальных событий, сообщения, новые слова и выражения, имена. Но он вовсе не обязан, наоборот, он остерегается препарировать все это, разжевывать, делать слишком поспешные выводы. Это предварительная работа, полуфабрикат, поэтому его так трудно цитировать, но это все равно работа, тренировка, средство оставаться активным, противостоять искушению подкрадывающегося вялого потребительства.

Кстати, у него есть свои законы — приливы и отливы. Есть дневниковая усталость и дневниковое возбуждение (которое часто находится в обратной пропорции к литературной продук-

тивности). Но никогда не возникают мысли о публикации, и никогда не надо об этом думать: как раз это и является основой его существования (потому так тяжело цитировать дневник). Внутреннее напряжение он приобретает — как и существование сегодня каждого сознательно живущего человека — от двух полюсов. В моем дневнике это, вероятно, наиболее отчетливо выражено в двух записях (они были помещены на большом расстоянии друг от друга, и лишь впоследствии оказалось, будто между ними есть связь). В письме Томаса Манна от августа 1945 года есть удивительные строки: «Мы уже дошли до того, что Земля может быть с помощью взрыва выброшена из своей траектории, так что она не будет больше вращаться вокруг Солнца, — но по этому поводу хочется просто сказать: «Ну и пусть!» Все же постыдно, что жизнь вынуждена будет искать себе другой космический приют, потому что на Земле ее развитие пошло в совершенно неправильную сторону». А Брехт в 1955 году — я чуть было не сказала: «в ответ» на это письмо — писал: «В эпоху, когда наука так может изменить природу, что мир кажется уже почти обжитым, человеку нельзя дольше описывать человека как жертву, как объект неизвестной, но зафиксированной окружающей среды. Нельзя же выводить законы движения, оставаясь в роли футбольного мяча!»

Объективный цинизм (если нечто подобное существует), который заложен в этой ситуации, в этом, как никогда, опасном противоречии между уровнем развития науки и отсталым состоянием общества, приводит к самым разнообразным формам циничного поведения, но их общий источник — неверие в изменимость мира. А вопрос об изменении встает перед нами вновь и вновь; мы ищем новые формы развития, изучаем новые возможности, препятствия, которые возникают на их пути. При этом мы считаем необходимым сохранять живыми и действенными революционные принципы.

Вот таков круг проблем. И дневник пытается к нему приблизиться с помощью ключевых слов, коротких записей. При этом постоянно возникает один и тот же вопрос: как надо сегодня писать?

Но дневник отнюдь не всегда сохраняет эту горькую серьезность. Туда попадают и маленькие бытовые истории, развлекательные или не слишком, но, во всяком случае, без морализаторства. Вроде этой: «Б. рассказывает о своей подруге-студентке, которая влюбилась в молодого женатого доцента. Пока его жена в отъезде, она проводит с ним медовый месяц в его квартире. В это время она совсем не посещала лекций, и ее вызвали в деканат. Испугавшись, она с помощью матери Б., которая работает медсестрой в поликлинике, достает медицинскую справку. В последний момент мать Б. отправляет ей телеграмму: «Справку не

предъявляй», но телеграмма приходит слишком поздно. Обман раскрывается, девушку на год исключают из университета. Против матери Б., которая является образцом порядочности, заводят дело. Проходит время, девушку восстанавливают на факультете. И теперь она со смехом вспоминает эту любовную историю».

Тут нет никакой морали, говорит я? Можно было также сказать, что тут есть несколько разных вариантов, на выбор.

Я очень люблю детские истории, истории моих собственных детей. Тут все дело в том, что никакие это не истории, а маленькие этюды с какой угодно концовкой. Или это все-таки история, когда пятилетняя девочка рисует красивую картинку, на которой цветными карандашами изображены дом, луг, небо, двое детей, и в каждом углу неба — солнце, «чтобы у каждого ребенка было свое собственное солнце»? Или дверь с двумя ручками, одна помещена высоко, другая пониже, «чтобы маленькие дети сами тоже могли открывать дверь...».

Иногда в дневнике попадают описания какого-нибудь одного дня. Вот, например: «Тинка громко поет своей кукле песню, которую теперь очень любят дети, последний куплет в ней такой:

И однажды в подвале вечером
они сли из одной тарелки вдвоем,
и однажды ночью
аист принес им дочку...»

«Завтра у меня день рождения, мы уже сегодня можем радоваться», — говорит она. «Ты забыла, что я уже сама умею одеваться!» — «Нет, я не забыла, я просто думала, что у тебя нога болит». Мы идем к врачу. Она боится перевязки. И говорит не умолкая: «Когда я буду большая, а ты маленькая, я тоже буду так быстро сбегать по ступенькам. Я буду еще выше тебя. И прыгать буду совсем высоко. Ты можешь через дом перепрыгнуть? Нет? А я могу. Через дом могу и через дерево. Прыгнуть?» — «Давай!» — «Я запросто смогла бы. Но я не хочу». — «Ах, не хочешь». — «Нет». Молчание. Спустя какое-то время: «А на солнце я очень большая, до самых облаков!» Наши тени очень длинные, потому что солнце не поднялось. Высоко в небе плывут легкие облака».

Иногда я записываю короткие монологи людей, услышанные в магазине, в парикмахерской, в трамвае. Как они говорят? О чем? Что для них важно? Все это никогда не будет использовано — дневник ведь, к счастью, пишется не для конкретной пользы, но нужен он всегда. Вообще многое забывается. Я не могу положиться на свою память. Природа, пейзажи — эти впечатления очень легко расплываются, переходят в настроения, их потом

уже невозможно воспроизвести. Мне нужна опора, хотя бы в форме короткой, ни на что не претендующей записи: Вердер, 1961 год, зимний ландшафт. «Солнце, на которое нельзя смотреть. Белые инверсионные следы самолетов, как меридианы по льдисто-голубому своду неба. У озера на каждом стебле тростника ледяная манжета, они сверкают, как хрустальные, и, сталкиваясь друг с другом, тихонько звенят. Резкий ветер. Весь ландшафт словно продувается. Но это пространство, не подавляющее своей шириной. Фруктовые сады, которые кажутся заброшенными, совсем близко — новенькие дачи на другом берегу озера. Сухой прозрачный воздух.

Как сконцентрировать все это в цельное впечатление, которое стало бы чем-то большим, чем просто картина природы. Голые заросли ивняка. Стая щеглов с пестрыми головками и зелено-желтыми грудками поднимается в воздух из сухих кустов у края дороги; сухие серо-блестящие листья.

Разговор о влиянии пейзажей на писательскую работу».

Но самыми захватывающими остаются наблюдения за обществом в обоих германских государствах, у которых уже было достаточно времени выработать свои характерные черты. Стадия брожения уже позади. Свободные места заняты. Человеческие типы сформировались, и противоречия выявились достаточно четко. Во время поездки во Франкфурт-на-Майне я записал фразу, сказанную одной молодой женщиной-социологом: «Мне нравится жить здесь, во Франкфурте. Тут хоть ясно, где находиться. Как только выйдешь из здания вокзала, сразу рекламы страховых компаний, потом по улицам, где размещаются банки, и отчетливо бросается в глаза: здесь речь идет о деньгах, и ни о чем ином. В других городах это пытаются замазать культурой. Тут это невозможно».

У нас в ГДР мне, конечно, легче увидеть возникающий новый человеческий тип. Мне интересно, что за люди спустя десятилетия будут нажимать на кнопки автоматов?

Я записываю даты биографий тридцатипятилетних директоров заводов. Выясняется, что у моего поколения уже есть своя биография. И когда я листаю свой дневник, то у меня перед глазами отчетливо всплывают и погружаются фигуры в большой реторте общества. Как трагическое снижается до банального, опасное до комического, как незаметное вдруг — на том же витке движения — громко заявляет о себе; это всегда может служить источником эстетического удовольствия.

Время от времени, спустя какое-то количество лет, на сцену дружно выступает новое поколение. Менее года назад я заметила появление вот такой новой группы. Берлин, 1964 год: «Наверное, самая холодная неделя в эту зиму. Весь Берлин в меховых шапках и в модных коротких сапожках, которые невозможно

достать. Люди, бегущие по улицам, казалось, чувствуют себя совершенно беззаботно в этом странном городе. Мы часто спрашивали себя: как можно из этого нагромождения жилых кварталов, новых домов, руин, пустырей и помпезных административных зданий снова создать город? Эта невозможность по-старому и еще несумение по-новому, которое бросается в глаза во внешнем облике города, кажется, сидит и в людях. Одни становятся нетерпеливыми, другие напуганными... В театрах большинство зрителей — молодые мужчины и женщины нашего поколения. А рядом с нами двадцатилетние. В брехтовском театре их особенно много, они всюду, и надо сказать, редко вызывают неприязненные чувства, вроде той четверки наглых подвыпивших мальчишек в городской электричке, громко обсуждавших достоинства и недостатки разных ночных ресторанов. У всех на головах одинаковые пошлые кепочки.

И если сначала мы обращали внимание на иностранцев, которые выделялись подчеркнутой свободой и раскованностью поведения, то вскоре мы стали оглядываться лишь на берлинскую молодежь. Появился определенный тип девушек — стройных, с длинными прямыми волосами, просто одетых, красящих глаза сильнее, чем рот. Они умеют создать некую ауру романтики — главным образом загадочностью взгляда. Ушел в прошлое мальчишески спортивный типаж прежних лет. Молодые мужчины менее приметны. Они аккуратно одеты, вежливы, ловки, однако несколько пасуют перед насмешливым напором девушек... Они кажутся мне гильдией, тайным орденом, к которому не имеет доступа тот, кто не знает пароля. А они, даже если бы и захотели, никому не могут его выдать...

Как проникнуть во внутреннюю сущность этого города? Как долго еще мы будем замечать лишь маленькую верхушку айсберга, а шесть седьмых по-прежнему останутся неизведанными, неназванными, неописанными?

Что это такое: время? Что изменяет за несколько лет его ткань?

Что толкает ее, заставляет двигаться, то медленно ползти, то снова мчаться сломя голову? Что каждые несколько лет рождает ее новые мечты? Движение времени. Но что же это такое: время?»

На этом я хотела бы остановиться. Тот, кто спрашивает собеседника о его дневнике, должен быть готов к тому, что ему расскажут немного, а большую часть скроют. Нельзя, например, говорить о своих планах, которые — все это можно точно увидеть в дневнике — рождаются, меняются, не удаются или вдруг неожиданно, якобы сами собой осуществляются. Невозможно было рассказывать о своих попытках напряжением мысли создать дистанцию по отношению к очень близкому по времени жизненно-

му материалу. И о заблуждениях, которые возникали в ходе этих попыток. И конечно же, нельзя называть имена тех, кто один раз или часто упоминается в дневнике.

Кто знает, может быть, эти рассуждения подведут итог тому времени, когда я получала удовольствие от ведения дневника. Потому что в конце концов дневник остается средством, как на него ни смотри, орудием производства, способом запоминания. Он может годиться на то, чтобы выявлять «доброту повседневно-сти», обнаруживать «банальность позитивного». Это зерно действительности, которое вылушивает художественное произведение, может обнаружить только произведение искусства.

В моем дневнике есть запись маленького анекдота, который, как уверяет Анна Зегерс, она слышала от Брехта. «Не знаю, — рассказывает она, — выдумал ли он его или просто пересказал старую китайскую шутку: знаменитого старого китайского мастера спросили, что можно нарисовать легче и быстрее всего, и он, ни на минуту не задумавшись, ответил: «Драконов и призраков». «Почему?» — спросили у него. «Потому что никто не сможет проверить их сходство, — ответил он и добавил: — Совсем другое дело, если я вдруг наберусь храбрости и рискну взяться за портрет сапожника на углу, которого знает вся наша улица»».

Декабрь 1964

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ РОМАНЫ

На них наталкиваешься на каждом шагу. На романы, имеющие для действующих в них лиц начало, кульминацию и развязку, неожиданные повороты, коллизии, мотивы и антимотивы, но только не для нас — случайных наблюдателей. Жадное любопытство к чужой жизни заставляет наострить уши и вытянуть шею, но все напрасно: объявляют твою остановку, и приходится выходить. Выпит кофе, расплачиваешься и покидаешь кафе. А чужой роман остается, и тебе никогда не сыграть в нем какой-либо роли.

Иногда бывает достаточно просто снять трубку. «Нет, нет, — слышишь ты. — Нет, фрау А. Не надо меня уговаривать. Я приняла твердое решение. Я больше участвовать не смогу. Вы же знаете мои семейные обстоятельства». «Боже мой, — восклицает фрау А., которую я представляю себе сидящей в каком-то учреждении, — но ведь именно на вас мы твердо рассчитывали. Вся комиссия по культуре разваливается!» Фрау Б., кажется, выслу-

пивает это не без удовольствия, хоть и уверяет, что ей очень жаль. И все же «после недавних событий» этого следовало ожидать. «Да нет же, — снова произносит та, что сидит в учреждении, — коллега Ц. готов принести свои извинения!» «Пусть так, — отвечает фрау Б., — но он опять станет навязывать нам свои планы... Да о чем говорить, вам же известны мои семейные обстоятельства. Я просто больше не смогу». По какой-то причине семейные обстоятельства фрау Б. должны были в корне пресечь всякие возражения. «Понимаю, — говорит голос из учреждения, — но все-таки очень жаль».

Поздний вечер, поезд, который едет из Загреба в Мюнхен. Кроме нас, в купе еще трое мужчин. Вначале они тихо беседуют между собой по-сербски. Потом один засыпает, другой заводит с нами разговор, а третий, как мне кажется, с насмешкой наблюдает за нами.

Все они, объясняет наш собеседник — худой человек с очень красным лицом, — из села под Любляной и едут в Мюнхен работать. Тяжелая работа, на стройке, но оплачивается хорошо. Он косится на своего насмешливого товарища: конечно, они немного отметили отъезд, но ведь их можно понять. На душе легче становится.

— Тяжело из дома уезжать?

— А вы как думали? — говорит он. — Неужели легко? Жену оставил, четверых детей. Но ведь жить-то надо.

Центр Берлина, книжный магазин. Продавец подбегает к кассирше. «Ты видела? Сплошь гробы». — «Гробы?» — «Штук двадцать повезли. И почему-то на мусорных машинах!» — «Ну и что? Тебе-то какое дело до этих гробов? Они же наверняка были пустые». — «Ну и нервы у тебя! Ты только подумай — на мусорных машинах!» — «А что такого? На чем-то их ведь надо везти». — «Среди бела дня. Мне чуть плохо не стало. Как только представлю себе...» — «А ты не представляй. Выпей рюмочку и забудешь про гробы».

Кафе-автомат на Александерплац, обеденное время. Трое молодых парней за соседним столиком едят гороховый суп. Они чересчур парадно одеты для этого места и времени суток. Один из них допивает уже третью кружку пива. «Хватит тебе, — уговаривают его два друга. — Ты ведь спиртного-то почти не употребляешь, а сегодня чего доброго напьешься». «А меня сегодня жажда мучит». — «Да как же ты под кайфом на экзамена-

ционную комиссию пойдешь?» — «Значит, не пойду». — «Но ведь мы специально ради этого приехали. Жену твою уломали. Ты же сам хотел на эти курсы поступить». Их приятель опорожняет уже четвертую кружку. «А может, я теперь расхотел. Плевать мне на эти курсы и на комиссию. Плевать, и все!»

Никакого финала, никакой развязки. Я не знаю ничего про семейные обстоятельства фрау Б. Я не знакома с господином Ц., который обидел комиссию по культуре. Я никогда не узнаю, что обещал, прощаясь, своей жене мой попутчик из села под Любляной и сдержит ли он обещание. Я могу только догадываться, почему продавца из книжного магазина так напугали гробы и какие видения возникли у него среди белого дня, так что ему даже плохо стало. И нужно было хорошо знать парня, который напивался, чтобы понять, какие преграды встали вдруг между ним и учебой.

Но ничего этого я никогда не узнаю. Ведь нельзя приставать с расспросами к людям, которых просто подслушала. Из таких вот эпизодов и складывается наша жизнь. Иногда вдруг какой-нибудь роман наберется храбрости, подхватит все эти оборванные нити и свяжет их друг с другом и начнет плести клубок. И тогда его автор превратится в женщину из учреждения, в рабочего, едущего в ночном поезде, в испуганного продавца, в упрямого паренька с кружкой пива. Да, скажет один из них, если случайно прочтет в книжке что-нибудь похожее на свою историю, да, такое бывает.

Но чаще всего они не узнают себя.

1965

САМОИНТЕРВЬЮ

Вопрос. Что вы читаете?

Ответ. Первые страницы новой повести, работу над которой вряд ли скоро завершу. По всей вероятности, она будет называться «Размышления о Кристе Т.».

Вопрос. Могли бы вы что-нибудь сказать о теме этой повести?

Ответ. Едва ли. То, что мне хотелось изобразить, не назовешь «темой», нет здесь и той «области нашей жизни», которую я определила бы словом «среда», нет «содержания», нет «сюжета», которые легко передать в нескольких словах. Признаюсь, взявшись за перо меня побудило личное чувство: умер близкий мне человек, умер слишком рано. Я защищаюсь от этой смерти. Ищу для защиты надежное средство. Пытаясь его найти, я пишу. И мне становится понятно, что я должна зафиксировать именно процесс поиска, по возможности — честно, по возможности — точно.

Вопрос. Хорошо. Но какова суть вашего поиска? Чем заполняются страницы рукописи?

Ответ. Я переносюсь в мир умершей, который, как мне казалось, я знала и сохранить который для себя смогу лишь в случае, если постараюсь действительно познать его. Основываюсь я не только на обманчивых воспоминаниях, но и на документах — дневниках, письмах, набросках самой Кристины Т., ставших доступными для меня после ее смерти. В потоке моих размышлений, словно островки, плавают конкретные эпизоды — такова структура повести.

Вопрос. Одним словом, вы создаете своего рода посмертное жизнеописание?

Ответ. Сначала я так и думала. Потом заметила, что объект моего повествования отнюдь не однозначен: это не просто была и есть Кристина Т. Вдруг передо мной встала я сама, чего никак не могла предвидеть. Отношения между «нами» — Кристиной Т. и личностью рассказчика — произвольно заняли главное место: различие характеров и точки их соприкосновения, конфликты между «нами» и их разрешение или отсутствие такового. Будь я математиком, я бы, вероятно, говорила о некоей «функции»: ничего реально осязаемого, очевидного, материального, но нечто исключительно действенное.

Вопрос. Тем самым вы признали, что выступают две подлинные фигуры — Кристина Т. и некое «Я».

Ответ. Разве? Вы были бы правы, не будь обе фигуры вымышленными...

Вопрос. Вы говорили о материале, которым воспользовались. О воспоминаниях.

Ответ. Материал не связал мне рук. Воспоминания я дополнила вымыслом. Документальной точности я не придавала ни малейшего значения. Мне хотелось во всей полноте передать предстательство, возникшее у меня от нее, Кристины Т. Поэтому и она, и то «Я», пренебречь которым было невозможно, претерпели изменения.

Вопрос. Вы подчеркиваете субъективные моменты. Однако не могли бы вы хотя бы наметить идею?

Ответ. Уже в процессе работы, когда весь материал, все факты стали для меня привычными и снова чужими, постепенно я увидела если не саму идею, то нечто подобное девизу. Формулировку мысли я нашла у Бехера и поставлю ее эпиграфом к своей повести: «...это глубокое беспокойство человеческой души есть не что иное, как предощущение, предчувствие того, что человек еще не пришел к самому себе. Как это понимать: приход человека к самому себе?»

Мысль о том, что человек до тех пор не обретет покоя, пока не придет к самому себе, поистине замечательна. Именно в этом

я вижу корни соответствия между настоящей литературой и социалистическим обществом: у них общая цель — помочь человеку стать личностью. Внимание литературы, как и нашего общества, обращено именно к натурам беспокойным. Изображать людей, которым чужда неудовлетворенность, — самодовольных, пошлых, умеющих держать нос по ветру — мне кажется делом скучным и бесполезным. Впрочем, и такая необходимость может возникнуть. Например, чтобы изобразить фон, на котором выделяется беспокойный, деятельный человек, или показать особый характер его неудовлетворенности. Или чтобы понять причину того, почему неудовлетворенность не покидает человека — ведь может случиться и так, — почему она не перерождается, не превращается в действенную силу.

Вопрос. Видимо, это случилось с Кристиной Т.?

Ответ. Вы так полагаете потому, что она слишком рано умерла? Что плоды ее жизни нелегко подвести и выставить напоказ? Нет. Я пришла к убеждению, что в то время, которое ей было отпущено, она жила полной жизнью.

Вопрос. Выходит, и печалиться не стоит?

Ответ. Нет, стоит. Но не надо отчаиваться или разочаровываться. Я считаю высшим проявлением антирациональности, когда человек не хочет мириться со смертью, когда он восстает против нее.

Вопрос. Значит, во время работы над повестью вы стремились узнать что-то, чего не знали раньше?

Ответ. Да.

Вопрос. Откуда у вас уверенность, что это заинтересует и других?

Ответ. Такой уверенности у меня нет. Я могу лишь пытаться ставить проблемы. Я могу положиться лишь на то, что моя жизнь, мой опыт активного участия в развитии нашего общества пробудили во мне интерес к проблемам и вопросам, важным и для других людей. Быть может, жизненно важным, но утверждать это я не берусь.

Вопрос. Кажется ли вам жизненно важной литература?

Ответ. Не думаю, что человечество веками принуждало бы себя к тому колоссальному усилию, которое мы называем искусством, что даже во времена величайших материальных лишений оно высвобождало бы для него силы, не обладай искусство способностью приносить в жизнь что-то необходимое и новое. Не обязательно в материальном плане, хотя порой я спрашиваю себя, не художественное ли совершенство образа сделало Анну Каренину почти материальной...

Вопрос. Вы знаете стремление нашего века к научности, документированности.

Ответ. Знаю, ценю и разделяю его. Но наш научный век по-

Наблюдение

платится чудовищной катастрофой и не станет таким, каким он может и должен стать, если искусство не решится поставить перед современником, к которому оно обращается, серьезных вопросов, если оно не предъявит высоких требований к нему. Искусство должно воодушевить человека стать личностью, иными словами, постоянно, всю жизнь совершенствовать себя в творческой работе.

Вопрос. Нет ли противоречия между названной вами целью и конкретным результатом? Можно ли мерить такой меркой иногда очень интимные, личные конфликты Кристи Т.?

Ответ. Я понимаю, что вы имеете в виду: нет ли в повести какого-нибудь намек на уход во внутренний мир, на бегство в сферу личной жизни? Не нахожу. Нелепую точку зрения, будто социалистическая литература не способна передать тончайшие оттенки чувств, сугубо индивидуальные различия характеров, будто ее удел — создание типов, действующих по заранее данным социологическим схемам, — эту нелепую точку зрения никто уже не выдвигает. Годы, когда мы закладывали основы социалистических производственных отношений, когда мы обеспечили индивидууму реальную возможность самосовершенствоваться, уже позади. Наше общество становится все более дифференцированным. Более дифференцированными становятся и вопросы, которые ставят перед ним его члены, в том числе и в форме искусства. Развивается и способность многих людей к восприятию дифференцированных ответов. Личность живет в своем обществе все более суверенно, воспринимая его как свое собственное творение — не только разумом, но и *чувством*.

Вопрос. Таким образом, вы ратуете за чувствительность в литературе? Как же молодежь с ее склонностью смотреть на вещи трезво будет реагировать на это?

Ответ. Чувствительность не есть слезливость. Наряду с другими качествами литература с давних времен пытается развить в человеке впечатлительность. Подлинных чувств юность не отвергает. Почему бы не вспомнить старый принцип: чувствовать, думая, и думать, чувствуя?

Вопрос. Итак, работая над повестью, вы поняли, как теперь должны писать?

Ответ. Напротив. Я испробовала путь, которым не смогу пройти еще раз. Другие авторы, разумеется, сочтут его неприемлемым для себя. Но мне стало ясно, что любой ценой следует пытаться прорвать и перешагнуть пределы того, что мы сами о себе знаем или мним, что знаем.

1966

Если ты начал жить по-новому, то через какое-то время тебе непременно захочется и писать по-новому. Слух, зрение, обоняние, вкус становятся совсем иными, чем были еще совсем недавно, и промежутки между этими переменами словно бы сокращаются. Иным стало само восприятие мира, и даже к памяти, к неприкосновенной памяти, прикоснулись эти изменения; ты опять видишь мир — впрочем, что эта за штука такая «мир»? — в новом свете, и все ощущения, кажется, теряют прочность, которую они обладали когда-то; нарастает тревога.

Потребность придать отчетливость этому смутному чувству обуревает тебя и пересиливает со временем соблазнительное желание пренебречь им. Так что же прикажет сделать? Перечеркнуть все достоинства старой манеры разговора об издавна знакомых вещах? Неужели добрые, испытанные средства в один прекрасный день стали вдруг непригодными, а добытые с их помощью результаты — ложными или никчемными? С размаху бьешь кулаком, но ударяешь по воздуху, и печальная получается картина, разгадку которой долго ищешь потом, оставшись наедине с собою. Можно, скажем, закрыв глаза на собственную немощь, с напускным безразличием или, наоборот, со слезами в голосе утверждать, что литературному жанру, именуемому прозой, пришел конец.

А можно и впасть в молчание, сделав *честный* вывод из собственной несостоятельности; можно признать, что благодаря каким-то обстоятельствам (их следует упоминать как можно более расплывчато, ибо если дашь определение, то опять пишешь) ты лишился дара речи. Но такая позиция, как и всякое отсутствие позиции, вряд ли была бы кем-то принята в расчет и, вероятно, вскоре выродилась бы в рисовку. Кто начинает отрекаться от самого себя, попадает в ложное положение. Ему приходится выуживать из окружающего мира все новые доводы для оправдания своего отступничества, и *честности* как не бывало!

И наконец, третья возможность: с помощью собственных произведений попытаться заявить о своем существовании. Но кому, спрошу я вас, заявить? И еще: зачем?

Случилось так, что тревога, еще до той поры, когда, сгустившись, она позволяет облекать себя в отчетливые формы, завела меня в места, увидеть которые я не предполагала и не стремилась: нельзя стремиться к тому, о чем не ведаешь. Но теперь я уже не могу существовать без того, к чему не стремилась ранее по неведению: без волжского города Горького*, без гостини-

цы «Россия», без этой светло-зеленой комнаты с ее пыльным письменным столом, без балкона, на котором я стою и с которого, как и из обоих окон, открывается вид на низменный берег Волги. Я спрашиваю себя, почему этот вид сегодня, на второй день, уже не совсем такой, каким он был вчера, сразу же после моего приезда. Описать его невозможно. Скажу лишь: не изменились ни погода — жара, не спадая, плывет по-прежнему над рекой и расстилающейся за нею огромной низменностью, — ни краски. Ни одной новой черты в облике этой местности не появилось, и в глазах моих тоже ни один самый дотошный врач-окулист не нашел бы никаких изменений.

Не застала ли их дымка миража? Нет-нет, просто прошло время, всего лишь небольшая частица времени: день, ночь и утро. Молодая переводчица, которая, безуспешно сражаясь со своим микрофоном, показывает нам из автобуса город; красный угол в домике Кашириных, перед которым часами стояла на коленях бабушка Горького; сундук, с которого мальчик Алексей Пешков следил за нею с замиранием сердца: он боялся, что на него упадут большие часы; влюбленные парочки, плывущие, словно на ленте конвейера, по дорожке парка, близ которой мы сидим вечером, слушая, как под открытым небом поет артистка в платье с золотыми блестками, таком узком в талии, что только чудо спасает ее от удушья; глаза журналиста, бывшего офицера оккупационных войск в Мекленбурге, произносящего имя немки, разыскать которую он нас просит: Берта Копп; босая женщина с подоткнутым подолом, полощущая белье у колонки возле своего дома, — все это оставило след, ничто не исчезло. Не исчезла и церквушка с золотыми луковками куполов, к которой мы устремляемся сквозь уличный водоворот и которой никак не можем отыскать; не исчезло даже бесчисленное множество серых собак, стремглав выбегающих из подворотен и ведущих, как кажется, свое происхождение от одних и тех же родителей. Никуда не девались все эти впечатления (как подходит здесь слово «впечатление»!), будто кто-то произнес над ними заклятие: «Да останется все как есть!» И вот теперь, стоя все там же, перед той же самой местностью — прошлые века назвали бы ее «грандиозной», — я *вижу* все по-другому.

Как часто произносим мы эту фразу, не проникая в ее «глубину». А чтобы нырнуть туда, нужно набраться мужества, закрыть глаза и встрепенуться. Они снова здесь, берега Волги, проходят мимо меня медленно и неотвратимо; внизу, под ногами, подрагивают судовые механизмы, я на пароходе, еще не прибыла в чужой город, но знаю уже, как все это будет: прибытие, этот вид с балкона гостиницы, влюбленные пары... Знаю, во что превратится все, став прошлым: отъезд, многое забыто, но только не это мгновение, которое я, перекинув мост от своих

прошлых чувств к будущим, делаю основой еще не родившегося воспоминания, испытав затем ценою хорошо нам знакомого легкого головокружения невесомость и свободно передвигаясь в пространстве и во времени, отталкиваюсь и продолжаю погружаться в то, что мы за неимением более подходящего обозначения именуем «прошедшим». Так подбираюсь я ко всем подобным мгновениям, открываю для себя образец переживания, иногда нахожу его истоки, сравниваю его с иными известными мне образцами и узнаю, чего доброго, кое-что доселе неведомое про собственную персону.

И вот я проникла в глубины фразы.

Как видите, я невольно пользуюсь сравнениями из области водолазного дела; это, наверное, оттого, что меня привлекает проблема глубины, как ни многострадально это туманное, толкуемое на разные лады понятие, каковое иные теоретики романа не только презирают, но даже и ненавидят. Да и в самом деле, *глубина* ведь не свойство самих вещей. Приобщение к ней связано с человеческим сознанием. Мне вспоминаются банки сгущенного молока фирмы Либби из моего детства, сводившие меня с ума: расплывшаяся в улыбку медицинская сестра на этикетке, протягивающая тому, кто ее созерцает, банку молока, у которой на этикетке красуется все та же проклятая, только на этот раз уже очень маленькая медицинская сестра, опять-таки с вездесущей банкой на ладони... И так до бесконечности, до бесконечности, до неразличимости, и все-таки там — в этом и проявлялось коварное могущество внушения — крохотные сестрички по-прежнему протягивали потребителю банки сгущенного молока. От этого видения мне делалось худо, потому что, как ты ни напрягаешь воображение, это не приводит ни к чему и воронка, в которую загоняешь свою фантазию, выводит ее в пустоту.

Я пишу эти слова, сидя за пыльным письменным столом в гостинице «Россия»: осознавая *настоящее*, например эту реку там, внизу, и все истинные и пригрезившиеся переживания, соединяющие меня с нею, пишу о *прошлом* событии, во время которого, идя ощупью вдоль цепи ассоциаций, я вспоминала не только то, что случилось еще раньше, но и былые мысли, вспоминала *воспоминания* и полагала к тому же, что однажды в *будущем* (в данный момент оно является настоящим) все эти переживания каким-то образом станут значимыми. Например, когда я их опишу.

Нет, это вовсе не выдумка маньяка, а вполне доказуемые плоды не очень сложного, доступного каждому наблюдения, которое мы делаем не так уж редко. Для психики современного человека такая ситуация является обыденной: он ощущает относительность времени, на какой-то срок перестает воспринимать его как нечто объективное и делает вывод, что мгновение может

растягиваться чуть ли не до бесконечности и что оно чревато огромным количеством многослойных возможностей переживания, тогда как пять минут продолжают оставаться все теми же скромными пятью минутами.

Наш мозг обладает достаточной способностью к дифференцированию, а потому он в состоянии почти беспредельно углубить линейную протяженность времени — назовем ее поверхностью — с помощью воспоминания и предвидения. Когда общество не использует в должной мере этой массовой способности своих членов, нас одолевает скука. Но дело не только в скуке, такое вообще должно тревожить.

Глубина. Если она не свойство материального мира, то, значит, она проистекает из жизненного опыта и является способностью, которую люди приобрели в течение долгих лет общественного сосуществования и которая была не только сохранена, но и развита, ибо она оказалась необходимой. Итак, ей причастны мы, субъекты, живущие в объективных условиях. Она результат неудовлетворенных потребностей, вытекающих отсюда трений, противоречий и невероятных усилий людей, старающихся перерасти себя или, вернее, дорасти до себя. В этом должны состоять смысл и задача глубины нашего сознания, и потому не имеем мы права приносить ее в жертву поверхностности.

Пять минут протекли. В пути у меня недостает времени, чтобы воссоздать их по-настоящему в каком-то куске прозы. Но одно наблюдение должно быть закреплено пером, и это будет частичным ответом на вопрос о том, что может заставить человека писать литературное произведение: пишущий, по всей видимости, надеется, что его руке удастся начертить на бумаге кривую, которая окажется интенсивнее и ярче, чем так часто отклоняющаяся в сторону кривая человеческого существования, и будет ближе нее к истинной, подлинной жизни.

И так как даже в самые трудные времена писатели не отказывались от своего нелегкого ремесла, то напрашивается вывод: для жизни недостаточно только ее самой, голой жизни, не описанной, не унаследованной, не истолкованной, не обдуманной.

Жалоба

Допустим, этот вывод был справедлив раньше, но как обстоит дело сегодня? Ведь ни в описании, ни в наследии, ни в истолковании, ни в обдумывании нет недостатка в нашей нынешней действительности даже за пределами литературы и без ее содействия. За сомнениями, которые вызывают у прозаиков мысли о будущей судьбе их жанра, скрывается не что иное, как

подозрительное отношение к самим себе, боязнь анахронизма. Проза чувствует себя в опасности, и у нее имеются все основания для этого: чем решительнее она отвергает эзотерическую позицию наблюдателя, с одной стороны, и банальную роль поставщика развлекательного чтения — с другой, чем больше она претендует на право сказать что-то, тем отчаяннее ее атакуют.

Первый удар, по-видимому, нанесли газеты: они отделили информацию от прозы. Техника современных средств связи создала суперинформацию, сутью которой является темп. Если каждое сообщение о переменчивом течении Троянской войны, достигавшее спустя несколько лет далеких окраин тогдашнего мира, воспринималось там как свежая новость, то ныне в самой глухой деревушке уже через несколько часов знали бы все о такой кровавой бойне и каждое известие быстро вытеснялось бы сообщениями о новых бедствиях. Проза с ее некоторой тяжеловесностью и медлительностью довольно легко перенесла эту разгрузку — освобождение от обязанностей передатчика новостей. Она пережила и отделение ее от историографии, ставшей предметом особого ведомства, изгнание из цеха летописцев. Так, оципанная, но зато и ставшая более гибкой, изящной и элегантной, вступает она в гражданскую фазу своего существования и вначале, в порыве чувств, ищет возможностей оказать важные услуги вновь открытому ею субъекту, чтобы под конец, обессилив от тоски, все чаще и чаще задумываться над правомерностью собственного бытия.

Ибо шаг за шагом продвигаются вперед наука и техника: радио, кино и телевидение берут на себя задачу поучать, занимать и развлекать любознательную, но и вечно скучающую публику. Каковы бы ни были заслуги образов, движущихся на белом и голубом экранах, они щадят нашу силу воображения и обобщения, которой смело бросают вызов крохотные абстрактные символы, мчащиеся по страницам книг. Исконное человеческое любопытство, порождающее интерес к историям, которые могут случиться и с нашим братом, — этому свойству Гомеры были обязаны своим успехом — теперь удовлетворяется в полной мере и даже сверх всякой меры. То количество любопытства, которое утоляют теперь изо дня в день ученые мужи из мира техники, не в состоянии выработать ни один человек на свете. Надо отвратить опасность такой ситуации, когда пассажир перед поездкой, которая на несколько часов оторвет его от средств массовой информации, жадно хватается в вокзальном киоске очередной детектив.

Но не о подобной прозе идет сейчас речь.

Науки тоже постепенно вытесняют прозу из ее владений. Приятное щекотание в груди, вызываемое обещаниями наук, не

заменить тем, что не столь осязаемо и не столь сенсационно. Обилие самых невероятных даров, которые нам собираются вручить до истечения нынешнего тысячелетия, превращает число 2000 в число магическое. Мне очень не хотелось бы, чтобы в 1999 году, в новогоднюю ночь, мы попали бы в такое же положение, в какое попала я ребенком однажды под рождество: аккордеон, главный подарок, в самом деле красовался под елкой, но сюрприз не состоялся — одна из родственниц уже давно все выболтала, — предвкушение встречи с подарком и нечистая совесть поглотили радость, и, кроме того, я понимала теперь, что вовсе не из любви к музыке хотела получить этот инструмент и что я никогда не научусь легко и свободно играть на нем. И все-таки мой долг по отношению к себе самой и к родным обязывал меня, лицедействуя изо всех сил, изображать нечаянную радость, и я даже перестаралась, играя эту роль.

Неподходящее сравнение. Разве мы не взрослые люди, способные решать судьбу подарков, которые собираемся подносить самим себе, и дожидаться такого момента, когда мы будем в состоянии играть «легко и свободно»?

Суть дела именно в этом. Кто, кроме небольшой группы физиков, мог в свое время «желать» расщепления ядра? Жаждем ли мы наступления того дня, когда биологи, подвергая различным манипуляциям структуру гена, смогут повлиять на свойства наших потомков? Мечтаем ли мы в самом деле о совершенной модели нашего мозга, к которой стремятся кибернетики? О дополнительных пятидесяти годах жизни, обещанных медиками? О препаратах, вырабатывающих счастье и несчастье? Или о том времени, когда можно будет на долгие годы замораживать людей?

Кто честен, тот не ощутит потребности сказать решительное «нет» даже этому тенденциозно составленному списку предзнамененных нам благодетелей. Хочешь не хочешь, а восторг перед чудом берет свое; что возможно изобрести, непременно будет изобретено, что можно сделать, будет сделано — эту истину начинаешь волей-неволей постигать; многому учит мысль о том, что любознательность в мире технической мысли неистребима и что бесполезна жалоба, с каждым днем становящаяся все более анахроничной: того, кто не готов сопровождать человечество в построенное таким образом будущее, оно с собою не возьмет.

Так что давайте лучше набросимся на научно-популярную литературу, будем читать утопические романы, документальные издания, репортажи из лабораторий и операционных, интересоваться историями болезней из психиатрических клиник, социологическими исследованиями, историческими монографиями и экономическими прогнозами. И кто же, если не люди нашего

поколения, по собственному опыту знает, что философская брошюра может волновать кровь, как никакое другое печатное слово! Даже социальный анализ жизни общества, в прошлом вотчина романистов, ныне планомерно осуществляется целыми штабами ученых, и другого пути здесь, вероятно, нет. (Если только речь идет не о каком-то обществе, правящие слои которого заинтересованы в том, чтобы задержать развитие социальных наук, — в этом случае их функции должен взять на себя прозаик, хоть он и окажется в положении человека, лишенного методов и материальных средств, находящихся в распоряжении специалиста.)

И наконец, последнее замечание. Сама действительность нынешнего века восстает против прозаиков. Она фантастичнее любого продукта фантазии. Никакому вымыслу не превзойти ее в отношении жестокости и чудесности. Поэтому тот, кто хочет прочесть «правду», то есть узнать, как *все это* было на самом деле, хватается за биографии, сборники документов, дневники, мемуары и прочие книги, построенные на фактическом материале.

Пирог под названием «Действительность», от которого раньше прозаики со спокойной душой отрезали себе кусок за куском, теперь поделен. И ни к чему злобствовать, дескать, перепало и тем, кто его не заслужил. Крепко сколоченные коллективы зорких и проницательных исследователей, которым не стоит никакого труда доказать свою полезность, рвут друг у друга куски этого пирога и спорят из-за крошек.

Ну, а проза... О чем должна она рассказывать этим трезвым людям, быстро шагающим вперед по своей прямой как стрела дороге?

Прозаик, «этот колдун, шепчущий свои заклинания в глагольной форме прошедшего времени» и привыкший считать самым важным на свете борьбу, победу или поражение неприкосновенной личности, что может он поведать современникам, собирающимся конструировать человека обтекаемой формы, приспособленного ко всем требованиям цивилизации? Поведасть современникам, не чуждым мысли, что в будущем даже идентичность индивидуума не будет гарантирована, и считающимся с возможностью гибели рода человеческого, причем не в какую-то там невообразимо отдаленную от нас эпоху в результате остывания планеты, а во времена, до которых доживем и мы, гибели не по воле природных сил, а от нашей собственной руки.

По сравнению со всем этим исторически обусловленная смерть вида литературной продукции, именуемого прозой и возникшего также при определенных исторических условиях, была бы всего лишь детской игрой. Разве мы не должны считаться с этой возможностью? Не подлежит сомнению, что проза,

может быть временно, попала в затруднительное положение. Мы снисходительно наблюдаем за ее мимикрией — за тем, как, борясь за свое существование, она рядится в одежды детективов и различных боевиков. Это значит, что она вкусила ядовитого плода самоотречения. Это значит, что у нее только тогда будет надежда остаться в живых, если она будет способна на что-то, чего не могут совершить теснящие ее силы. А полностью она была бы спасена, если бы мы могли усвоить, что нам важно, и, может быть, даже жизненно важно, добраться до той цели, к которой она нас ведет.

Неясно только, помогаем ли мы ей добиваться того, на что она способна.

На этом, естественно, жалоба заканчивается.

Tabula rasa

Однако не будем впадать в экзальтацию. *Проза* — ведь это не что иное, как идея, представление, абстракция. Ее воплощение поставляется на рынок в виде товара — книги. Нам следовало бы больше изумляться этому процессу, протекающему почти бесперебойно, — мы уже давно привыкли к тому, что нам предлагают покупать изобретения, практическое применение которых весьма сомнительно, если не полностью исключено. У некоторых людей хватает смелости строить свое существование на столь несерьезных манипуляциях: к этим храбрецам принадлежат не только издатели, полиграфисты, книготорговцы и пропагандисты, но даже и авторы.

Давайте проведем мысленно такой эксперимент. Предположим, что какая-то сила — не станем ее точно обозначать — одним взмахом волшебной палочки стирает все следы, которые оставило в моей голове чтение книг.

Чего мне будет тогда недоставать?

Ответ оказался бы убийственным, да только сформулировать его невозможно. Но ежели все-таки кто-то сумел бы ответить на этот вопрос, мы узнали бы много нового о воздействии литературы на человека.

Если я убиваю в себе чистую, безвинно страдающую Снегурочку и злую мачеху, которой в конце концов приходится плясать в докрасна раскаленных железных туфлях, то я тем самым уничтожаю столь важный для жизни прообраз, твердую веру в неизбежность победы Добра над Злом. Итак, мне неизвестны никакие легенды, я никогда не мечтала вместе с Роговым Зигфридом выйти на бой с драконом; никогда не вздрагивала я от шелеста в дремучем лесу: «Это Рюбецаль, дух Исполиновых гор!» И басен я тоже не читала и не понимаю, что значит «хи-

трый, как лиса» и «храбрый, как лев». Уленшпигеля я не знаю и никогда не хохотала, читая о хитрых уловках слабых, побеждающих сильных. Семеро швабов, шильдбургеры, Дон Кихот, Гулливер, прекрасная Магелона — прочь, прочь! Сгиньте и вы, Зевс, в бессильной злобе извергающий гром, священный ясень Игдрасиль*, Адам и Ева и рай небесный! Никогда из-за женщины не осаждали и не брали города по имени Троя. И доктор Фауст никогда не сражался за свою душу с чертом.

Обедненная, ограбленная, оголенная и неочарованная, вступаю я в десятый год своей жизни. Невыплаканными остались горючие слезы, невыцарапанными — глаза ведьмы в книжке; я не испытала торжествующего облегчения, которое приносит с собою спасение героя; ничто не побуждало меня рассказывать себе самой в ночной тьме фантастические видения. Мне неизвестно, что народы столь различны меж собой и все-таки столь похожи друг на друга. Моя нравственность не развита, я страдаю духовным истощением, фантазия у меня чахлая. Мне трудно сравнивать, трудно выносить суждения. Прекрасное и безобразное, доброе и злое — это какие-то расплывчатые понятия.

Дела мои плохи.

Откуда мне знать, что мир, в котором я живу, густ, красочен, пышен? Что его населяют примечательнейшие фигуры? Что в нем на каждом шагу таятся приключения, ждущие именно меня?

Словом, паломничество к истокам не состоялось, не пришлось припасть губами к чистым родникам, меры для людей и вещей найдено не было. Упущенных потрясений не наверстаешь. Мир, который не был вовремя зачарован и затемнен, с обретением знаний не прояснится, а высохнет. Чудеса, уверовать в которые ты еще не успел, анатомический скальпель сделат безвкусными и бесплодными.

Наш опыт подсказывает нам чрезвычайно ценный вывод, что жизненное изобилие не исчерпывается теми немногими действиями, совершать которые нам случайно дано.

Любая жизнь, которая не обнаружит в себе ничего, на чем могли бы научиться другие жизни, и которая не найдет своего места в беспримерном походе человечества из диких зарослей к долгожданному порядку — назовем его добрым дедовским словом «благонаравие», — станет унылой, опустошенной.

Вот такой необразованной в самом глубоком смысле этого слова я вижу себя, когда вспоминаю о том особом этапе нашей истории. Вымышленному эксперименту, от которого мы с вами с полным основанием в ужасе отшатнулись, мое поколение было подвергнуто в действительности. Трудно представить себе более полное отлучение от литературы, чем то, жертвой которого

были мы вплоть до шестнадцатилетнего возраста. Очень возможно, что этим не в последнюю очередь объясняется явно запоздалое созревание моих сверстников. Ибо в том, что нам давали читать и что мы проглатывали в лошадиных дозах, — в «прозаических произведениях», которые, кстати, не сохранились в моей памяти, словно они погасли во мне, хоть это и не отрицает их подспудного действия, — во всем этом снаружи были шовинизм, воспевание войны и извращенные картины прошлого (в школьной библиотеке я брала главным образом чудовищные исторические книги), а то, что находилось внутри, тормозило наше повзросление, созревание критического мышления и здоровых чувств, не изувеченных злобой и вреднейшими предрассудками.

Что было когда-то — прошлое, — окутывали кровавым туманом, что происходило в наше время — настоящее, — показывали сквозь очки с крайне деформирующими стеклами. Такие времена не знают трезвого взгляда рассказчика. Не было никого, кому мы могли бы внимать. Страшное одиночество этих молодых людей еще никем не описано. Одиночество, хотя с ними возились маги, находившиеся на государственной службе и все время потчевавшие их небольшими порциями дурмана собственного изготовления. На первом месте был дурман смерти: один человек не стоит ничего; *народ* — так именовали книги нашей юности свой бессмертный миф.

Я часто спрашиваю себя, что же все-таки убергло нас от самого дурного исхода, — ведь моральные инстинкты врожденными не являются, а контактов с высокообразованной нравственностью нас лишили полностью. Почему же им не удалось истребить в наших душах все проявления человеческих чувств? Откуда брались силы для сопротивления в тех немногих врезавшихся в память случаях, которые я теперь считаю решающими? Как объяснить, что, несмотря на полную немоту моего окружения, раз пять какой-то внутренний, не совсем понятный голос бросал три предупреждающих слова: «Только не это!»

Так было, например, когда я читала одну книгу: о Кристине Торстенсен*. Эта девушка, полноценная представительница нордической расы, фанатичка времен Тридцатилетней войны, целует и обнимает группы своих соотечественников, погибших от чумы, а затем пробирается в стан врагов и отдается им, убивая их губами и телом. Героиня, какой полагалось быть. А я читала и думала: «Только не это!»

Наверное, все-таки истории и сказки моего детства, которых я только что лишила себя в экспериментальном порядке, сделали свое дело. И пусть развеются в прах те, другие книги, все эти Виндинги*, и Елузики*, и Йосты*, и Гансы Гриммы*, как они того заслуживают. Но медаль имеет и другую сторону: у того,

кто не погиб от яда, выработался иммунитет, спасающий его даже от самого слабого раствора этого зелья.

Куда тяжелее жертвовать Штормом и Фонтане! А как неохотно расстанусь я с книжкой в заплесневелом картонном переплете, которая, долгое время оставаясь для меня загадкой, лежала на комодке моей бабушки, никогда ничего не читавшей! Она называлась «На Западном фронте без перемен» и, как и все интересное, была «не для ребенка». Я читала ее, сидя на бабушкином диване, и до сих пор ощущаю шершавость потертой плюшевой обивки, в которую упиралась вспотевшей рукой. Я узнала из книжки, что на войне немец тоже может умереть жалкой смертью от пулевого ранения в живот. Наверное, это был первый покойник в моей жизни, чья судьба вызывала у меня невольный протест... Но пусть сгинет и он, как это ни грустно.

Нет, не могу я продолжать поименный перечень жертв; нет сил заявить, что Зеленый Генрих, Вертер, Вильгельм Мейстер не встретились мне на пути, что с Жюльеном Сорелем, госпожой Бовари и Анной Карениной я так и не познакомилась. Но когда-нибудь ее все-таки придется написать, эту диковинную, скачкообразную историю книг, которые читало мое поколение; надеюсь, она поможет разрешить загадку нашей неуравновешенности и неуверенности.

И впоследствии у меня не появилось потребности наверстать упущенное. Меня, «нечитателя», не оглушали списки имен и главний, о которых я никогда ничего не слышала. Я не вгрызалась в неприглядно оформленные книжки послевоенных лет. Так чему же я отдавала тысячи часов свободного времени, внезапно появившегося у меня, раз книги для меня не существовали? Раз не существовало тех озарений и встрясок, к которым, собственно говоря, и сводилось в те времена чтение (может быть, отсюда и наша нынешняя серьезность в общении с книгами), раз не было вокзальной скамейки, сидя на которой я так неохотно читала одну из тех страшных книг, а потом поняла: то, что там написано, не может не быть *правдой*.

Исчезла и вся ранняя советская литература, огромная кипа книг, беспримерный сигнал к свершениям, которые покорили бы меня на всю жизнь, если бы... если бы я их прочла. Пусть исчезнут и книги-мертвецы, балласт некоего отрезка истории, тома, начиненные уступками дурному вкусу и нечестности. А вслед за ними пусть отправится гряда пособий из семинара по германистике: книги для экзаменов, книги для жизни — отличать всегда было трудно.

Tabula rasa. Со мною все кончено. Из меня вытравлено, вырвано с корнем одно из самых важных переживаний, доступных нам: возможность постепенно — сравнивая, испытывая, отгра-

ничивая свою личность — учиться видеть самого себя. Примерять себя к самым заметным фигурам всех времен. Ничего подобного нет. Поблекло чувство времени, ибо его никогда понастоящему не пробуждали. Собственные очертания не проступили более четко, а, напротив, стерлись окончательно; сознание не прояснилось, а расплылось.

Одичание усилится.

Ибо теперь мы пойдем дальше по тому же пути — постараемся уничтожить тончайшие, едва доказуемые последствия длительного общения с книгами: тренировку и дифференциацию психического аппарата; обострение чувств; пробужденные интересы к наблюдениям; появление способности видеть комические и трагические стороны ситуаций; извлекать радость из сравнения с прошлым; ценить героическое как исключение, каким оно является, а обычное, постоянно повторяющееся спокойно принимать к сведению, но если удастся, то и любить. И прежде всего — удивляться, беспрестанно удивляться себе подобным и собственной личности.

Но я не читала.

Не только мое прошлое изменилось в мгновение ока — мое настоящее уже тоже не то. Осталось сделать последний шаг — пожертвовать и будущим. Я никогда не прочту ни одной книги. Ужас, которым веет от этих слов, меня, «нечитателя», не охватывает.

Ибо я без книг — не я.

Медальоны

По-видимому, нам для жизни нужны одобрение и поддержка со стороны фантазии. Иными словами, игра без всяких правил. Но в нас совершается и нечто другое: ежедневно, ежечасно идет, крадучись, едва ли предотвратимый процесс окостенения, окаменения, привыкания. Его главной жертвой становится наша память.

Каждый человек носит с собою целую коллекцию многоцветных медальонов с подписями под ними. Медальоны бывают либо забавные, либо жуткие. При случае их достают и показывают другим людям, потому что мы нуждаемся в том, чтобы кто-то проверил наше собственное успокаивающее однозначное ощущение: красиво или безобразно, хорошо или дурно. Для памяти эти медальоны то же самое, что для больного туберкулезом обезвещенная каверна или для нравственности предрассудки, некогда бурные, но теперь остановленные запрудой жизненные токи. Раньше мы не прикасались к тому, что заключено в оправу медальона, боясь обжечь себе пальцы, а сейчас перед нами про-

хладные и гладкие, иногда искусно отшлифованные изделия, над наиболее ценными из которых пришлось работать долгими годами, ибо нужно многое забыть и многое переосмыслить, прежде чем удастся всегда и повсюду видеть себя в истинном свете. Вот для этого-то и необходимы они нам, эти медальоны. Читатель поймет, что я имею в виду.

Но когда мы выносим на чужой суд эти красиво выглядящие произведения кустарного промысла, чтобы они обнаружили свою рыночную стоимость, были оценены по достоинству с точки зрения требований, предъявляемых торговлей, и, при соответствии этим требованиям, причислены к подлинному искусству, мы называем это «воспоминанием».

У меня тоже есть свои медальоны. Один из них, особенно удобный и впечатляющий, собственно говоря, несколько кадров из фильма. Вероятно, сначала кинокамера стояла в спальне моих родителей на месте тумбочки у одной из кроватей. Осветители экономят киловатты; раннее зимнее утро, затемнение. Возмущенный голос из радиоприемника, стоящего рядом, в столовой, называет дату; нам ясно: последний год войны. Упакованные чемоданы, мешки, в которые суют постели; чернобурку оценивающе подкидывают на руке и швыряют обратно в шкаф — символ, потерявший смысл. Радиоголос из столовой настойчиво и обиженно советует всем гражданским лицам покинуть город, враг, мол, у ворот. Взрослые нервно подгоняют детей. Со всех сторон эта сутолока окружает нелепую фигуру, не поверившую в случившееся, оторопевшую и оттого неспособную действовать; по-видимому, ее нужно называть «Я». Это «Я» подталкивают со всех сторон.

Перемена декораций. Второй съемочный план. Камера у нижней ступеньки лестницы того дома, где живет «Я». Поворот камеры к улице: грузовик. Грузят чемоданы и мешки, которые только что упаковывали, потом людей, которые были в спальне; их толкают, пихают, поднимают; среди этих людей «Я». Спорящие голоса, стоны, рыдания. Вопросы, ответы. Слезы, кивки. Грузовик трогается, остается несколько соседей.

Так в те времена заканчивалось детство. Этому медальону верит каждый, от частых рассказов он отполирован до блеска, светится печально и занимает прочное место в ящике, где хранится вся коллекция. На медальоне подпись: «Конец детства».

Примечательно, что все это легко поддается кино съемке, за исключением некоторых мелочей, сохраненных памятью вопреки моей воле: удивления, вызванного серым однообразием города, где жизнь моя была так цветиста, что иногда города я и знать не желала, и внезапного прозрения, молнией отскочившего от серых стен домов в рыбацком поселке, не покидавшего меня за-

тем в пути и делавшего одинокой среди одержимых, ожидающих чуда людей: «Этого ты больше никогда не увидишь!» И тогда я, не успев начать, перестала ждать.

Может случиться, что однажды я захочу узнать, откуда она пришла, эта абсурдная мысль. Возможно, она уведет меня назад, в глубины моего детства, в зоны, которых избегаешь, изготавливая медальоны, в края, куда, если я не обманываюсь, кинокамера не сможет последовать за мной. А язык, я все-таки надеюсь, сделать это сможет: он последует за мной в любом направлении, избрать которое у меня однажды достанет мужества, и этой уверенностью я живу.

Когда вспоминаешь, плывешь против течения, и когда пишешь, тоже преодолеваешь якобы естественный поток, именуемый забвением, и тут приходится напрягать все силы. Куда же нас мчит? Едва знакомая местность. Неясные краски постепенно определяются: синева, которую ребенок впервые увидел высоко над собою в разгаре лета, чтобы запомнить на всю жизнь, что означает слово «синий». Картофельные поля слева и справа, под телом нагретый солнцем песок борозды, прекрасное, самое желанное ложе. Жара. Почему я здесь лежу? Не знаю. Не знаю, как это я вдруг, силой подавив привычку к повиновению, не ответила на зов, несущийся из моего дома. Пришла наконец тишина. А через некоторое время ящерица забирается ко мне на живот, чтобы погреться на солнышке. Я затаила дыхание. Ну вот и я счастлива. Знаю, что не имею права на счастье и что всегда буду вспоминать об этой минуте. Ночью будет воздушная тревога. Заставляю себя думать о людях, которых убивают в этот миг. Мучительно размышляя, признаюсь себе, что не могу испытывать угрызений совести по поводу своего счастья — безобидный предвестник тех смешанных чувств, которые больше всего другого знаменуют взрослость.

Не слишком плодотворная сцена, сцена без подписи. Нет здесь материала для медальона, нет ничего, что пригодилось бы кинокамере. Всякий режиссер, не прибегающий к внутреннему монологу, должен был бы прийти в отчаяние, так же как он должен был бы отказаться от той сцены с балконом на волжском берегу.

А писатель? Сам он лежит в борозде, сжался до размеров четырнадцатилетней девочки, видит картофельные поля слева и справа и огромнейший кусок неба, пугается ящерицы, лежит затаив дыхание; и в то же время он вырос и смотрит на девочку сверху. Полагает, что стоит вспоминать через двадцать пять лет: «Тогда ко мне пришло счастье, но не было у меня права на него». Держа в руках перо, пыгается служить истине и приходит к выводу: двадцать пять лет оставили следы своей работы не только на авторе, но и на той ранней сцене. Вынужден при-

знать: он не рассказал ее «объективно» — такое невозможно. Это не обескураживает его. Он решается начать свое повествование, то есть на основе собственного опыта создавать правдоподобный вымысел.

Проза должна стремиться к тому, чтобы быть непригодной для экранизации. Она не должна пускаться в обращение медальоны и монтировать готовые детали — от этих опасных занятий ей следует отступить. Она должна держаться единого и неповторимого опыта, оставаясь неподкупной и не позволяя себе насильственного вмешательства в жизнь других людей, но она должна вдохновлять их на умножение собственного опыта.

А что это нам даст?

Небесная механика

Именно в этом месте мне хочется допустить несколько тенденциозное употребление прекрасного слова «романический». И я прошу держать его в голове, читая нижеследующую цитату:

«Я вежливо навалился локтями на барьер в приемной и посмотрел в счастливое лицо молодого человека с галстук-бабочкой в мелкий горошек. Потом я перевел взгляд на девушку, сидевшую возле шкафа с откидной дверцей у боковой стены. Чувствовалось, что она привыкла к свежему воздуху. На ее лице поблескивала косметика, а сзади болтался белокурый конский хвост. У нее были красивые, большие, кроткие глаза, сверкавшие, когда она поглядывала на молодого служащего. Взмахнув конским хвостом, она подарила взгляд и мне».

Иногда наши опустившиеся коллеги помогают нам ткнуть носом в уязвимые места всего цеха, к которому они принадлежат. Мое глубокое уважение к почтеннейшим представителям романтической манеры повествования не мешает мне констатировать разоблачительный характер этой цитаты из первого попавшегося детектива. В какую сточную яму, в какую клоаку швырнули они открытия гениального Бальзака! У этих ремесленников любой подмастерье складывает фабулу своего романа из трех-четырёх кубиков, от которых некогда, при первом их применении, отшатывался испуганный читатель. «Нет, и еще раз нет, жизнь не такова!»

А между тем все, кажется, свелось к следующему. Лизкен и Карл Мюллер пришли к соглашению построить свою частную жизнь в виде истории с треугольником или четырехугольником, вволю возмущаются и обижаются, когда их обманывают, и блаженствуют, когда их любят, если это можно назвать любовью.

Снова и снова какому-то отцу приходится отрекаться от дочери, а заблудшему юноше меняться коренным образом под чьим-то облагораживающим влиянием, и лишь для поучений, которые во всех подобных случаях нужно протрубить в обязательном порядке, подбирают — частично — другие словеса.

Массовому изготовлению этих романов не воспрепятствует ни издевкой, ни той строгостью суждения, которую мы иногда позволяем себе, не нанося никому ни малейшего ущерба. Как ни удивительно это звучит, в свое время, сто сорок лет назад, именно эти истории были средством укрощения варварского мира. Нужна была особая смелость, чтобы навязывать свосравным умам размеренно текущие фабулы. Не забывайте: «Евгения Гранде», «Госпожа Бовари», для своего времени это были поразительные откровения.

Собственно говоря, открытие фабулы нельзя приписать ни какому-то одному определенному автору, ни даже целому столетию: она носилась в воздухе. Кто привык долго мыслить категориями Ньютоновой небесной механики, тот в конце концов сочтет естественным, что и общественный механизм функционирует подобным же образом. Твердые тела непрерывно движутся по вычисленным орбитам и взаимодействуют согласно законам, также поддающимся исчислению: отталкивая, привлекая, а иногда, при космических катастрофах, и разрушая друг друга. Под влиянием этого иному романисту может прийти в голову использовать роман как средство для перемещения во времени и пространстве известных тел, сиречь литературных героев. И сейчас еще продолжают вызывать у нас восхищение правила, созданные первооткрывателями романа, потому что правила эти значительно расходились с нормами реальной жизни своей эпохи и в то же время целыми десятилетиями ухитрялись вызывать у читателя иллюзию «естественности». Более того, неуверенным в себе слоям общества они пригодились как клише поведения (они создали возможность перевоплощения человека в читату).

Вся эта конструкция покоилась на поразительно прочной основе, и это отчетливее всего проявлялось в наиболее типичных для буржуазного романа фабулах, то есть с трагической концовкой. Даже погибая, герой оставлял своим наследникам постоянные величины: реальность, как ни многозначно это понятие, и пространство и время ее незыблемые координаты. Победоносный оптимизм этой механики, покорявший даже того, кого она давила своими колесами, очевиден: я, мол, погибаю, но она-то продолжает свое движение. Механика эта выполняла важную функцию, способствовала познанию и фантазии, поощряла деятельность, вскрывала противоречия, не повреждая самой субстанции, и рождала в каждом случае реальность.

Та же самая небесная механика продолжает действовать, подобно вертящемуся черпаковому колесу, большому и красивому, но неспособному зачерпнуть ни капли воды; а может быть, мы просто-напросто потеряли чувствительность и не замечаем плодов его труда. Фабулы, подчиняющиеся старинным законам Ньютоновой драматургии, проскальзывают по размытым путям в наши души, не встречая никакого сопротивления. Проза, задавшая целью воздействовать с новой силой, должна была поновому овладевать новой реальностью; должна была, в частности, распрощаться с закостенелой, допотопной «фабулой», изготовленной из передвижных декораций; должна была, и теперь все еще должна, стараться освоить диалектическое мировосприятие, преодолевая механистическое. Этот процесс, который сам становится объектом изображения в прозе и, между прочим, может неожиданно принести с собою новые виды прозаической фабулы, может также, если посмотреть на это с чисто технической стороны, привести к результатам, чреватых противоречиями. Одним из таких результатов является, на мой взгляд, «*poivre au roman*»¹ и его теория, сформулированная французом Роб-Грийе*.

Остро чувствуя главную проблему, с которой столкнулся жанр, он превращает «кризис романа» в кризис романистов, бросая им упрек в гордыне, якобы лежавшей до сих пор в основе их жизни: они-де смотрели на себя как на всеведущих и всемогущих богов, распоряжающихся своей самодельной вселенной по собственному усмотрению. Объективность автора — химера, поучает он.

Спор об объективности, правда, приносит романистам некоторое душевное смятение; их мучают угрызания совести, которые лучше всего можно выразить словами: «Просившим хлеба подавал я камни». Тонкие наблюдения Роб-Грийе, посвященные этому состоянию, приносят нам удовлетворение. Охваченный ужасом, он бежит прочь от клише буржуазного романа, усматривая — по-моему, вполне справедливо — новую опасность для этого жанра в том факте, что «мир больше не представляет собою наследуемой и превращаемой в деньги частной собственности», «ценности, которую не так важно было признать, как добыть». В этой фразе бросается в глаза ошибка — употреблено прошедшее время. «Мир», который имеет в виду Роб-Грийе, и по сей день еще частная собственность и добытая ценность: революция, уничтожающая частную собственность на средства производства, не произошла. Автор не считается с этим обстоятельством и благодаря такой манипуляции привносит в свою

¹ Новый роман (франц.).

теорию, может быть сам того не сознавая, кричащие противоречия: окольными путями он возвращается к тому самому методу, которому собирался дать бой.

Ибо новый образец, который он противопоставляет старому, тоже клише, в чем мы сможем сейчас убедиться. «Возможно, это и не свидетельствует о прогрессе,— говорит он,— но современная эпоха, вне всякого сомнения, эпоха опознавательных номеров». Итак, Роб-Грийе, который некогда с такой силой оттолкнулся от берега старого буржуазного искусства, опять унесен течением утомленной покорности, ибо что же иное, как не покорность, как не отступление от боевых позиций, скрывается за якобы спокойно деловым тоном этого суждения? Начав с желания «сконструировать реальность» с помощью «нового романа», он заканчивает практической попыткой дать скрупулезное описание вещного мира, на фоне которого почти не выделяется человек, «опознавательный номер», а не индивидуум, способный сопротивляться, возмущаться, бунтовать. Как будто вещи могут и должны существовать в романе сами по себе, без комментариев, как будто искусство может обойтись без посредничества художника, стоящего со своими личными конфликтами и личной судьбой между «реальностью» и чистым листом бумаги, исписать который он может не иначе, как только просецируя на него свои взаимоотношения с миром.

Отрицание этого факта означает не что иное, как создание еще одной небесной механики взамен старой, донельзя затрепанной; означает отказ от позиций овладения действительностью; означает капитуляцию перед господством «опознавательных номеров»; означает опять-таки конец романа — разве можно представить себе романы, сочиненные «опознавательными номерами»?

Или, быть может, автор со своей страстной, неистребимой потребностью в письме представляет собою исключение, возвышаясь над толпой читателей, с которыми он не может не иметь дела и среди которых его глаз различает лишь «опознавательные номера»? Но разве он не делит участь всех других людей? А может быть, он, одиночка, с пером в руках сражающийся за свою личность, только посылает сигналы, не находящие теперь уже никакого отклика? К чему же тогда изобретать новый роман, если ему суждено остаться столь же безрезультатным, что и старый?

На самом же деле поистине новые способы повествования изобретены давным-давно.

Картины мира

Георг Бюхнер, познакомившийся благодаря своим студиям с естественнонаучной идеей эволюции и с механистическим материализмом, развитым впоследствии его братом Людвигом*, а благодаря своей революционной деятельности — с народом и социальными вопросами Германии той поры, свыше ста лет назад положил начало современной немецкой прозе и — это можно смело утверждать — достиг ее вершин. Для новеллы о Якобе Ленце он, правда, ничтоже сумняшеся использует дневниковые записи пастора Оберлина*, содержащие рассказ о болезни Ленца, причем превращение этого материала в предмет искусства отдает колдовством. Но потом становится ясно, что писатель не щадил своих сил: пользуясь «скудными средствами», он приобщил к новелле самого себя, неразрешимый конфликт своей жизни, все беспокойство собственного существования, которое он хорошо осознал. В этом конфликте нагляднейшим образом отразились опасности, угрожавшие в эпоху Реставрации людям живым, ищущим правду и жаждущим развития: поэт поставлен перед необходимостью сделать выбор — он должен либо, губя свой талант, приспособиться к невыносимым условиям жизни, либо сам погибнуть физически.

Вариант с безумием, постигшим Ленца, для Бюхнера, хотя он родился уже после его смерти, не был абсолютно чужд. Может быть, он проиграл в уме этот вариант, пропустив его сквозь собственную душу, чтобы уйти от такой же судьбы. Дистанция холодного наблюдателя, которую предоставляли ему записи Оберлина, его вполне устраивала — выдавать себя он не желал. Тут было что-то от мимикрии. Теперь уже больше нельзя закрывать глаза на открытие Бюхнера, как это делали его современники и потомки; оно состоит в том, что у повествовательного пространства есть четыре измерения: три фиктивные координаты вымышленных персонажей и четвертая, «подлинная», координата рассказчика. Это координата глубины, чувства времени, неизбежной сопричастности, определяющая выбор не только сюжета, но и его окраски. Ее осознанное использование — основной метод современной прозы. Отсюда сложные повествовательные структуры, не имеющие ничего общего с произволом, со случайностью, как не случайно и то, что от «он» в одном предложении Бюхнер может вдруг перейти к «я» в другом — метод, и поныне еще вызывающий удивление.

Бюхнеровская новелла о Ленце, возвышающаяся над мутным потоком банальности, захлестнувшим после нее прозу, сочиненную на немецком языке, и сегодня еще так же смела и свежа, как в день своего создания. Новеллу эту, в то время не понятую и по

причинам объяснимым, но отнюдь не отрадным фактически долгие годы не существовавшую, ныне каждый в состоянии оценить по достоинству, отдав дань восхищения человеку, соединившему в себе писателя, естествоиспытателя и революционера и сумевшему написать такое в двадцатидвухлетнем возрасте, за два года до кончины. Человеку, для которого было бы нелепым занятием выдумывать тривиальные истории, которые можно в любое время изготовлять поштучно с применением большей или меньшей доли искусства и техники. И для которого сочинительство являлось средством сплавиться воедино с эпохой в тот момент, когда и она и он переживают наиболее тесное, богатое конфликтами и болезненное сближение. Велика масса энергии, которая должна быть израсходована, чтобы достигнуть точки плавления. Требуется ни больше ни меньше, как полнейшее использование своих моральных возможностей, и каждый раз заново. Такovy серьезные проблемы, таящиеся за игрой искусства. Бюхнер дает всю прозу будней — ситуацию, обстоятельства, психологию, анализ — и перевоплощает ее, добавляя к ней видение, которым он живет и от которого страдает. Даже если единственно явное подтверждение этого видения мы находим в тоне непревзойденной концовки новеллы: «Так он тащил свою жизнь...» Этими словами, можно считать, обозначено то, против чего с тех самых пор восставало и восстает человечество.

Завеса, прикрывавшая рой сочиненных чувствований, исчезла. Воцарились понимание, трезвость и знание, сочетаемые с повышенной чувствительностью: реализм. Не холодность конструкции и не натурализм, но и не избыток разгоряченных ощущений.

Нет, другое: фантастическая точность.

Мы вроде бы где-то уже встречались с нею. Если не ошибаюсь, в работах физиков. Им, должно быть, легче, чем сочинителям, определить, над чем они работают: они хотят выяснить, из какого материала состоит мир, но, как ни странно, чем мельче частицы, с которыми они имеют дело, чем труднее точные измерения, тем больше — в этом они признаются сами — они ощущают потребность в некоей неизмеримой величине: в творческой фантазии. И кто знает, не посещает ли их в сокровеннейшие минуты кощунственная мысль, что и мир-то, собственно говоря, изобрел не кто иной, как они сами. Во всяком случае, это было бы не удивительно. И если сокрушение прежней манеры письма мы поставим в связь с переворотом в мышлении физиков, это будет больше, чем просто механическое сравнение. Столкновение с эйнштейновским понятием неразрывной связи пространства и времени ввергло их в страшную бездну умирания. То, что считалось незыблемым — пространство и время, — стало относительным; с таким трудом добытый эфир, освещавший их мышле-

ние, растворился и исчез; мозг, который, казалось, был создан так, что мог видеть мир только трехмерным и никаким иным, уже не знал, смеет ли он и дальше доверять самому себе.

Не без волнения выслушиваем мы такого человека, как Гейзенберг*: «В современной физике уже больше не опишешь точно всех процессов привычным языком... Но мы *должны* говорить об атомах и элементарных частицах, ибо в противном случае мы не поймем наших экспериментов». Скрытой причиной волнения, вызываемого у нас подобными высказываниями, является, вероятно, полусознанная необходимость проявить свое отношение к деликатнейшим, труднее всего формулируемым вопросам нашей собственной работы. Ибо, вне всякого сомнения, здесь тоже придется вести речь о догадках, становящихся истинами только в результате их словесного воплощения при разговоре на данную тему. Мы чувствуем, что какие-то внутренние силы нас не пускают и в то же время гонят в ту неизученную область, где следует говорить о структуре морального мира сочленов человеческого общества; нечто похожее на это, вероятно, испытывают атомщики, когда, осмелившись с временными целями придать своим представлениям о внутриатомных процессах образную форму, они делают первые, робкие шаги в темноте. У нас есть основания восхищаться их нелегким предприятием, которое принимает форму точнейших и тончайших измерений, наверно наскучивших им из-за частого повторения, но которое, как мы слышим, дошло до той черты, когда старый язык классической физики больше не удовлетворяет и приходится «для описания мельчайших частиц материи то и дело использовать различные противоречащие друг другу образы». Гейзенберг называет это «словесной живописью», ставящей своей целью «с помощью образного иносказания вызвать у слушателя определенные ассоциации, которые укажут ему нужное направление без однозначных формулировок, понуждающих к уточнению определенного хода мыслей».

«Как у поэтов», — добавляет он.

Он мог и не говорить об этом с такой вызывающей откровенностью. Век науки. Брехт старался проторить ему дорогу в головах зрителей. «Эпическим театром» назвал он свое открытие, которое, кажется, служит чаще предметом подражания, чем серьезного изучения, и которое, побуждая к диалектическому мышлению моделями, меньше всего заслуживает роли клише, передаваемого из рук в руки. Что же касается предложения создать «эпическую прозу», то это, по-видимому, нелепость. И все-таки где-то теплится мысль, что не мешало бы существовать жанру, у которого есть мужество подходить к себе как к инструменту — острому, точному, действительному, многообразному — и который рассматривает себя как средство, а не самоцель. Как средство

двигать будущее в настоящее, имея в виду прежде всего конкретные частности, ибо прозу читает конкретный читатель, который, не обращая внимания на все соблазны современной техники, уединяется с книгой в руках.

Эпическая проза должна была бы быть жанром, отваживающимся непроторенными путями проникнуть в душу этого человека, склонившегося над книжкой. Проникнуть в сокровеннейшие уголки его души, туда, где формируется и крепнет ядро личности. (Вот и мы тоже, подобно атомщикам, употребляем образные перифразы, «неправильные», но необходимые для того, чтобы достигнуть договоренности с читателем.) В эту сферу может проникнуть голос другого человека, голос прозаического произведения; язык может коснуться и освоить ее — не для того, чтобы завладеть ею, а чтобы высвободить душевные силы, по мощи своих не уступающие энергии, таящейся в атоме.

Это означает, что проза может сочетать себя только с такими философскими и общественными течениями, которые дарят человечеству будущее, свободны как от вековых, так и от новопеченных заклинаний различных манипуляторов и не чужаются эксперимента. Это означает далее, что я вижу глубокую связь прозы такого рода с социалистическим обществом. Доказано, что никакое построенное на эксплуатации общество не в состоянии обеспечить человечеству будущее, достойное этого слова. Американский писатель, стреляющий из американской винтовки во вьетнамских борцов за свободу, не только совершает предательство по отношению к нравственным основам своей профессии, он доказывает также вредоносную для этой профессии неспособность к мышлению.

Поэтому будет целесообразнее, прежде чем перенести на область общественной жизни естественнонаучное понятие «относительность», подумать о том, какие тезисы можно считать доказанными. И с этой точки зрения нужно задать себе вопрос, не возлагает ли появление нового общественного типа как раз на того писателя, который поставил себя на службу этому обществу, новых задач, коренным образом отличающихся от прежних, закладывавшихся в простом видоизменении содержания старых литературных образцов. Нужно спросить себя далее, не требуется ли настойчивая, радикальная постановка вопросов, впервые ответы на которые будут тоже, как у физиков, носить лишь предварительный характер и с трудом поддаваться формулированию. Наконец, не относятся ли высказывания, при повторении которых в сознании читателя не вспыхивает ничего, разве что лампочка с надписью «неверно» или «правильно», — не относятся ли они к другим областям жизни, и не должна ли литература, проза, являющаяся предметом нашего разговора, набравшись мужества, отправиться на разведку.

Перед этим предприятием мы все еще робеем. Мы цепляемся за условности; вместо того чтобы искать новые объекты мышления, мы еще больше закрепляем старые. Мы не беспокоим и не активизируем, а успокаиваем. Создается впечатление, что в век науки проза еще не прибыла. *Вот что* должно тревожить, а не возможная гибель романа; погибнет лишь то, чем по-настоящему не пользуются.

Пользуются же услугами своей неподкупной и чуткой спутницы участники смелой и опасной экспедиции.

Реальности

Только тот может начать писать, для кого реальность больше не является чем-то само собой разумеющимся.

Реальность? Авторы романов — и это хороший признак — не придерживаются единых взглядов на предмет своей работы, который и впрямь не так просто назвать, как, например, предмет научных исследований физиков. Одно, во всяком случае, несомненно, мы знаем людей, которых литература трогает, волнует, подчиняет своему влиянию; мы видим ее воздействие и можем даже делать вывод о существовании фактора воздействия. Это воздействие оказывает не «сама жизнь» и не информация о фактах, но все-таки нечто такое, что имеет отношение к подлинности.

Подлинность живет и за пределами столь важного мира фактов. На этом кончается родство с естественными науками: прозаик может знать и применять их выводы, но открытия, которые он делает сам, исследуя естество сочлена человеческого общества, могут считаться «подлинными» и без предъявления доказательств «правильности» обязательных для любого естественнонаучного тезиса.

Так, значит, можно утверждать, что нашим пером мы заново изобретаем мир?

Недавно я провела долгий дождливый день в мире «Преступления и наказания» Достоевского. Когда бродишь по некоторым кварталам нынешнего Ленинграда, то можешь обнаружить этот мир как некий археологический слой. Дом старухи процентщицы стоит и поныне.

— По этой лестнице, — сказал старик, водивший нас по тем местам, — то был внук Достоевского, — по этой самой лестнице часто поднимался и Раскольников.

С замиранием сердца мы ступали шаг за шагом в запыленной обуви по следам Раскольникова.

— Здесь, — сказал наш провожатый, — на этой площадке он, как помните, помедлил. Вот тут справа работали маляры — к

счастью для него, ведь потом они ушли из квартиры, и ему удалось здесь спрятаться, а эта квартира, тут, слева, тоже стояла пустая. Сама судьба, можно сказать, помогала ему осуществить свой замысел.

Мы медленно поднялись еще на один этаж, и нам показалось, что вот-вот повторится кровавое деяние.

— Это произошло здесь, — строго сказал внук Достоевского, протягивая руку к тому самому колокольчику, к которому в тот несчастный день протянул свою руку Раскольников.

Квартира, порог которой мы собирались переступить, значится теперь под номером 72. Нам открыла дверь приветливая молодая женщина, которую нисколько не удивил приход незваных гостей. Она предупредила нас, что упоминаемых Достоевским узких сеней мы уже не увидим — перегородку, отделавшую их от кухни, сняли.

Мы вошли в квартиру. Через кухню нас провели в спальню. Белая, высоко взбитая постель молодой женщины. Ее платяной шкаф. Что нам здесь нужно? Я подошла к окну.

— Там, где вы сейчас стоите, там стояла старуха, когда Раскольников занес топор.

Невольно сделав шаг назад, я выдала себя: хаотическое смешение реальности и вымысла уже захватило меня в плен.

— А вам не страшно жить здесь? — спросили мы хозяйку.

Но она равнодушно ответила на этот уже ставший для нее обычным вопрос.

— Ничего. Привыкаешь.

Словно бы там, где теперь перед кроватью лежит коврик, и в самом деле была когда-то лужа крови.

Молча спустившись по лестнице, пройдя по двору и через старую подворотню, мы вышли на улицу. Наш провожатый вызвался доказать, что дворнику, которому Раскольников показался подозрительным, он назвал ложный адрес. Вы помните? Как всякого убийцу, его влекло к месту преступления. К нему обращаются, требуют, чтобы он сообщил свое имя и адрес. Захватанный врасплох, Раскольников называет себя, но у него хватает присутствия духа, чтобы выдумать ложный адрес: «Живу в доме Шила, здесь в переулке, отсюда недалеко, в квартире номер четырнадцать...» Мы, значит, собираемся сделать то, что не считал нужным сделать Достоевский, — уличить Раскольникова во лжи. Идем в тот переулочек, подходим к дому Шила. Становится как-то не по себе, когда внук Достоевского молча, одним лишь презрительным движением руки опровергает абсурдное предположение, что здесь «действительно» мог бы жить выдуманный Раскольников. И вот он ведет нас дальше, и, верные тексту романа, мы отсчитываем те семьсот тридцать шагов, которые приходилось сделать Раскольникову, чтобы от своего жилища доб-

раться до дома старухи. Это уводит нас далеко от дома Шила к одному перекрестку, к тому угловому дому, на стене которого можно прочесть надписи на немецком и русском языках, напоминающие о случившемся много-много лет назад наводнении, и увидеть отметку, показывающую уровень воды, и в подворотне которого старик обращает наше внимание на деревянную дверь, отворявшуюся ранее, то есть во времена Раскольникова, в другую сторону. Помните? Здесь складывали дрова, и Раскольников не обнаружил топора там, где рассчитывал его найти, но вдруг избранное им орудие убийства блеснуло ему в глаза из-под лавки!

И снова каменная лестница. Наконец мы у тех тринадцати деревянных ступенек, которые должны привести нас под самую кровлю дома, к каморке Раскольникова, хотя уже давно за счет нее расширили чердак для сушки белья.

— Здесь, — сказал нам старик, который нас не столько сопровождал, сколько подгонял, — только здесь, во всем этом районе, можно найти вот такие кухни с окнами, которые выходят на лестницу и мимо которых Раскольников, как помните, старался прошмыгнуть, чтобы квартирная хозяйка не стала напоминать ему, сколько он ей задолжал.

Но именно здесь, возле этих ступенек, реальности различной степени, вот уже несколько часов кружившие нам голову, слились друг с другом, образовав сложное и все-таки постижимое единство. Ибо в каморке Раскольникова искал спасения от кредиторов сам Достоевский, яростно работавший над своей книгой. Разыскания его внука не оставляют сомнений. Мы снова почувствовали почву под ногами. Здесь сто лет назад жил автор с документально подтвержденной биографией, историческая личность, человек из плоти и крови, и видел только один путь к вызволению из внутреннего и внешнего смятения: проецировать свои конфликты на вымышленный — уместно ли здесь это слово? — образ человека, который живет вместе с ним в той же убогой каморке, который носит свои заклады к той же процентщице и который оказывается в состоянии совершить то, что как замысел кошмарного эксперимента зародилось в голове автора и, наверно, не нуждалось в реальном осуществлении, потому что это было перепоручено его бестелесному заместителю и со всей силой обрушилось на плечи последнего: убийство существа, воспринимавшегося больным мозгом убийцы как неполноценное, отвратительное, достойное уничтожения.

Трудно представить себе более глубокое и более зловещее переплетение «сюжета» и «автора». Лишь это переплетение дало жизнь новому, третьему качеству — реальности книги, без труда приносящей с собой «подлинные» дома, улицы, квартиры и лестницы, но, конечно же, не нуждающейся в доказательстве,

что дома эти и комнатухи именно таковы, какими они описаны. Ибо реальность «Преступления и наказания» не исчерпывается топографией одного города. Санкт-Петербург? Да, конечно. Но разве станет кто-нибудь сомневаться, что не было бы никогда этого Петербурга, который все мы считаем так хорошо нам известным, не было бы этого мрачного Вавилона, если бы его не узрела разгоряченная фантазия несчастного писателя? Его наклонности, ужасная история его жизни, его чуть ли не болезненная чувствительность к нравственным противоречиям эпохи — все это заставило художника выделит из своего нутра человека по имени Раскольников, создать вокруг него мир, который только кажется построенным из кирпичей материальной действительности и в котором он, Достоевский, может как одержимый играть с призрачными фигурами, до известной степени преодолевая то, что в «подлинном» мире чуть не подвергло его уничтожению или самоуничтожению.

Вот так выглядят сюжеты прозаиков. Ошибочно представлять себе, что сюжеты разложены на каких-то полочках, откуда любой автор может их взять и отнести к себе домой («ведь сюжеты валяются на улице!»). Для определенного автора в определенный момент имеется лишь один-единственный сюжет. Если автор сведущ и прилежен, он найдет материал, необходимый для того, чтобы этот сюжет воплотить; если неистовство овладеет им в достаточной степени, то придет и выдумка, могущая организовать этот материал; от силы его таланта зависит, с какой интенсивностью будет создаваться видимость новой реальности. Если его видение в достаточной мере отличается смелостью, а вымысел фантастичностью, взволнованностью и «подлинностью», то он найдет читателей, готовых оказаться сопричастными им, активно подключиться к этой игре, отдать в ее распоряжение целиком свою личность, укрепив тем самым и сделав прочнее, надежнее тонкую, как паутина, ниточку, которая соединяет действительность с выдумкой и которую до сих пор не всегда уверенной рукой держал сам автор. Разве с Раскольниковым, Анной Карениной и Жюльеном Сорелем мы не живем так же, как, например, с Наполеоном или Лениным? Кто возьмется это отрицать?

Тусклые выдумки, бледные, робкие видения, неспособные «действительно» превзойти действительность, встречают тусклый и недолговечный отклик. И зачастую повседневные происшествия намного превосходят их.

Предоставим зеркалу делать свое дело — отражать. Ни на что иное оно не способно. Литература и действительность находятся не в тех отношениях, в которых находятся зеркало и то, что в нем отражается. Они сливаются воедино в сознании автора.

Автор, извольте ли видеть, персона немаловажная.

Штрихи к портрету некоего автора

Прозу в отличие от прочих литературных жанров все еще пишут в одиночку. И это вовсе не так уж понятно само собой, как многие привыкли считать. Вальтер Беньямин*, например, уже в двадцатые годы, после поездки в Советский Союз, без сожаления предсказал близкий конец одиночного производителя в литературе: он-де, подобно мелкому производителю в экономике, будет раздавлен коллективами, дающими массовую продукцию. Но как показывает жизнь, не все параллели между экономическими и духовными процессами правомерны.

И все-таки положение литературного производителя — одиночки в сегодняшнем и завтрашнем обществе проблематично. Финансовое ведомство причисляет его к «представителям свободных профессий». Издательство скупает у него и сбывает товар, который он, кстати, производит «с минимальной затратой труда», при помощи таких дешевых средств производства, как бумага и пишущая машинка, и выделяет ему, автору, из своей выручки лишь малую толику. С социологической точки зрения слой, к которому он имеет счастье или несчастье принадлежать, большого веса не имеет. Зыбкость положения писателя нередко делает зыбкой и его собственную позицию. Часто, правда, уверяют, что и у него, как у всех других людей, тоже есть профессия. Уже сам факт, что приходится произносить эти слова, доказывает их неверность: кому придет в голову утешать таким образом, например, инженера или токаря по металлу? Поэтому почти каждый писатель зачастую грозит переменить профессию. Угрозы эти редко приводятся в исполнение. Но писатель не может закрывать глаза на то обстоятельство, что он не принимает непосредственного участия в выполнении экономических задач, на которое направляет все свои силы его общество. В эпоху, главным знамением которой, кажется, является то, что все воздействующие факторы поддаются измерению, он, естественно, спрашивает себя, какова же его собственная эффективность.

Зачастую он не является специалистом ни в какой области. Благодаря своему образу жизни он резко отличается от большинства граждан современных промышленных стран: работа не привязывает его в определенные часы к определенному месту. Уже в самих условиях его производства таится для него опасность обособления.

Как же может тот, которого изготовили здесь, в реторте, что-бы из любой проблематики он извлекал самое главное, произносить слова, касающиеся всех и всех интересующие?

Никто не съедет свободы за пределами координат пространства и времени, за пределами истории, помимо нее, и больше

всего это относится к писателю. Его привлекает к себе место, имеющее географическую, а стало быть, и историческую данность. Игнорировать или отрицать это — занятие тщетное, бесполезное: почему он должен ничтоже сумняшеся отказаться от преимущества, заключающегося в том, что его общество стремится к самовыражению своих членов? Ведь одной из важнейших предпосылок возникновения литературы является как раз тоска по самовыражению; отсюда и вечная обязанность автора вести записи как единственное средство, помогающее двигаться в нужном направлении (это объясняет и то упорство, с которым пишущая братия даже в скверных обстоятельствах цепляется за свою профессию).

Итак, автор, чей портрет мы здесь набрасываем, использует преимущества нашего общества, из которых самым важным для него является то, что его мышление не сформировано жизнью в классовом обществе, раздираемом антагонистическими противоречиями, иными словами, он пользуется драгоценной свободой, вменяющей ему в обязанность устремляться гораздо дальше в будущее, чем это делает его коллега, живущий в классовом обществе. Он должен до дна исчерпать преимущества места, имеющего географическую и историческую данность, должен как личность подвергнуть себя всем ощущениям, приносимым жизнью, которой он так глубоко сопричастен.

Несмотря на все странности своего образа жизни, наш автор не становится на позицию стороннего наблюдателя, на которую, к их великому сожалению, обречены почти все буржуазные авторы.

Тот факт, что никакой вахтер, находящийся в услужении у концерна, не преграждает ему путь к крупному предприятию или научно-исследовательскому институту, уменьшает опасность умственной самоизоляции. Его деятельность стимулируется живым интересом активной и взыскательной читательской аудитории, но он не строит себе иллюзии, будто пишет «для всех».

Он должен бороться за условия своей работы — никто за него этого не сделает. Противясь соблазну, который приносит с собою общественный интерес, он должен быть суров к самому себе. Он старается содействовать упразднению барьера между производителями и потребителями в искусстве. Он — не что иное, как нормальный, заинтересованный член этого общества, и только таким он и хочет оставаться. Он не отрекается от своей ответственности, несет ее не жалея сил, но остерегается судорожно преувеличивать ее в своих глазах. Ибо не так просто упорно исходить из собственного опыта, оставаясь при этом верным правде. Хотя процесс этот для некоторых авторов превращается в испытание совести, от него на самом деле получаешь одну толь-

ко чистую пользу: любая манипуляция, которой автор подверг бы собственный опыт, сразу же разрушила бы контакт с живыми источниками вдохновения и заставила бы его производить на свет божий каких-то убудков, закатывающих глаза к небу и лгущих напрадалую.

Автор, которого мы имеем в виду, глубоко озабочен будущим рода человеческого, потому что он ему симпатизирует. Он любит жить и любит изобилие форм, в которые облекается жизнь. Он трезв и оптимистичен, а иначе он бросил бы писать. Его оптимизм может быть серьезным, а может — и гневным, но равнодушным — никогда. И лишь потому — ему это хорошо известно — время от времени он имеет право говорить «я». Таким образом, *письмо* — лишь одна из частей того более сложного процесса, для которого у нас есть простое прекрасное слово *жизнь*.

Здесь уместна скромность. Чего должен добиваться наш автор? Гении рождаются не часто, и он не может уповать на долговечность своей славы. Многие зависят от того, насколько радикально он будет ставить вопросы в своих произведениях, от активности его отношения к эпохе. От силы жизнеутверждения.

И скажем прямо, одним лишь бурных стремлений ему мало: необходима еще молчаливая договоренность с самим собою, понимание той истины, что нужно не только штурмовать небеса и не только все время рваться в необъятные дали, ибо и то, что находится ближе всего к нему, а именно он сам со своим самобытным голосом, тоже может оказаться кому-то полезным.

Воспоминание о будущем

Верно ли, что задача окружающего нас мира состоит в том, чтобы раскрывать нам нашу собственную сущность?

Конечно, нет. У мира нет никакой задачи. Поставить перед ним некую задачу, а именно эту самую, — таково решение, которое мы приняли добровольно. Во всяком случае, мы можем воображать, что оно принято добровольно, пока не поймем, что решение это продиктовано желанием сохранить человеческий род.

Выскажу вслух подозрение, таящееся в глубине души: а может быть, людям, живущим сейчас на свете, мало дела или вовсе нет дела до того, сохранится ли человеческий род? Может быть, им достаточно надежды на сравнительно спокойное существование в течение их собственной жизни? И не пользуется ли этим сравнительно спокойным существованием большинство людей, если убиение наций совершается за тысячи километров от их ро-

дины? А быть может, даже расстояние от них до этой границы спокойствия поддается сокращению? Но почему?

Гуманизм не коренится ни в «природе вещей», ни в биологической «природе человека». Он не присущ людям от рождения. Каждому индивидууму приходится заново усваивать истины, которые тысячелетиями добывало общество труднейшими и опаснейшими путями, — ведь инстинкт не запрещает ему, как большинству животных, умерщвлять своих собратьев по роду. Распространенный в позднебуржуазную эпоху циничный взгляд на гуманизм как на некий анахронизм и попытки ограничить его той эрой, когда человечество было настолько незначительно в количественном отношении, что безудержное применение насилия могло оказаться равнозначным его полному истреблению, таит в себе опасность. Мы сохранили в своей памяти воспоминание о доисторических временах, когда царил простой и естественный способ существования; это воспоминание наложило печать на нашу мечту о грядущих временах, но реально ли оно, это воспоминание о будущем? Сумеют ли те пять или шесть миллиардов живых существ, которые, судя по всему, будут представлять человечество около 2000 года, найти формы жизни, достойные старомодного слова «братство»?

Это отступление неожиданно возвращает нас прямо к предмету нашего разговора — к прозе. Не для того отправились мы в путь, чтобы поднять глобальные проблемы, а для того, чтобы найти хоть несколько доводов в пользу деятельности, которая нуждается в обосновании. Мы не только не отвергаем личных мотивов, но, наоборот, высоко ценим их за действенность. Именно в таких личных мотивах, в чисто личном интересе человека к самому себе нуждается мир.

Это означает, что в нем, в этом интересе, нуждается каждый человек в отдельности, тот, к кому обращена проза. Если все зависит от того, при каком общественном строе совершаются новые открытия в науке и технике, то давайте вспомним, что всякий фашистский «порядок» прежде всего гасит индивидуальность; что буржуазная идеология нашего времени придает большое значение тезису, будто с каждым человеком можно делать все, что угодно; что она считает «личность» устаревшим идеалом и верит в неизбежность создания конструкции человека объектной формы, у которого радость и печаль рождаются из раздражения определенных участков мозга и который не оказывает почти никакого сопротивления технике, отличается беспредельной приспособляемостью и беспредельной заменимостью и, наконец, воспринимает жизнь как некое огромное *будто бы*: потребление множества всяких клише и существование среди прописанных самому себе различных искусственных удовольствий.

Подобное состояние привело бы не только к торжеству вне-

историчности, но и к концу истории вообще, к отрыву человечества от своих корней, к отказу от всякой надежды на будущее. Социалистическая проза должна оказывать всем этим утверждениям сознательное и как можно более действенное сопротивление, не обращая внимания ни на какие контраргументы, ибо это «истины» такого рода, которые становятся «истинными», лишь если им удастся опустошать людей, проникая в их души. Ни словом, ни строчкой нельзя участвовать в этом тлетворном занятии.

Напротив, проза должна всеми силами поддерживать связь человека с его корнями, укреплять его самосознание, настолько пошатнувшееся, что в странах с высокоразвитой техникой многие люди заходят в тупики неврозов и самоубийств. Определенное направление в психиатрии пытается противодействовать этому процессу с помощью метода *десенсибилизации*, тренинга, беспощадно подгоняющего пациента к норме. Иные видят выход в лозунге «Назад к природе!», в романтической глупости, третирующей технику, которая, что ни говори, является единственным средством, дающим возможность кормить и одевать скачкообразно растущее человечество: наивное восприятие мира и жизни никак нельзя сохранять искусственным путем.

Итак, остается лишь узкая дорога разума, взросления, созревания человеческого рассудка, сознательный шаг из предыстории в историю. Остается твердое желание стать совершеннолетними. Если нужно, чтобы кто-то проложил нам путь и сопровождал нас, то это можно смело поручить прозе: она ведь продукт становления человечества, поздно развившийся, созданный для того, чтобы творить и выражать различные оттенки. Проза создаст человека, причем в двойном смысле. Она уничтожает убийственные упрощения, демонстрируя возможности существования, достойного человека. Она служит хранилищем опыта и в своем суждении о структурах человеческого общежития исходит из оценки их созидательных сил. Проигрывая на бумаге варианты экспериментов, стоящих перед человечеством, она может ускорять или замедлять время: здесь она мыслит масштабами социалистического общества. Грядущее покажет нам, как важно расширять просторы, открывающиеся перед людьми. Проза может далеко отодвинуть пределы наших представлений о самих себе. Она поддерживает в нашем уме воспоминание о будущих временах, от которого мы не имеем права отказываться, если не хотим погибнуть.

Она помогает человеку стать субъектом.

Проза революционна и реалистична: доброй рукою подталкивает она на достижение недостижимого.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Дать ответы на ваши вопросы я пытаюсь в доме отдыха, который находится под Ленинградом. Когда я была ребенком, название этого города встречалось лишь в сводках вермахта. Тогда мы не догадывались, что ненависть к другим народам очень часто проистекает из глубокого комплекса собственной неполноценности, из смутных догадок о своей неспособности разумно и мирно жить рядом с другими. Разрушительная и саморазрушающая демонстрация власти направлена на то, чтобы подавить эту догадку. Немецкая история дает, быть может, особенно частые свидетельства этого процесса, демонстрирует особенно ярко, к каким последствиям приводит слабая сплоченность протростоящих сил. Не случайно история нашей литературы полна трагедиями художников: за нашими писателями не стоял народ, не стоял сильный класс, который мог бы избавить их от понимания собственного бессилия, от крушения. Разочарование, пессимизм, цинизм или путь к идиллии были и остаются самой распространенной реакцией на убийственное осознание того, что ты являешься не субъектом, а объектом истории.

Поколение, к которому принадлежу я, пережило на пороге вступления из детства во взрослый мир крушение псевдоидеалов. Первая продуктивная фаза нашей самостоятельной жизни — это период, который более всего формирует человека, — совпала с очень бурными, богатыми событиями и продуктивными фазами развития нового общества. Сильные импульсы, исходившие от этого развития, определили наше мировосприятие и нашли, как мне кажется, свое отражение в наших книгах. Мне эта ситуация всегда казалась благоприятной. Но, оглядываясь назад, вероятно, можно сказать, что слом в развитии нашего поколения не прошел бесследно для его внутренней зрелости. Ему было трудно обрести новое, спокойное самосознание, а ведь это — наряду с другими факторами — является предпосылкой для истинных достижений в литературе. Старшее поколение социалистических писателей может предьявить классические произведения, которых у нашего поколения нет. Может быть, наш вклад в литературу и должен состоять в том, чтобы найти в себе мужество правдиво и беспощадно рассказать о собственном жизненном опыте.

Мне кажется, что сильное напряжение всех сил, ранняя необходимость брать на себя ответственность, возникшая возможность разнообразной деятельности и нравственное совпадение с основной тенденцией в развитии общества определили в нашей части Германии поведение и желание многих людей, которые оказались продуктивными, и вытеснили старую опасную тенденцию к безудержной агрессивности, как внешней, так

и внутренней. Я считаю этот процесс исторически очень важным, особенно когда представляю себе современное положение в мире и те зловещие возможности, которые заложены в новых открытиях и изобретениях науки и техники, если нам не удастся использовать их достойным человека образом.

Литература в наше время, если она вообще должна иметь какой-то смысл и серьезно воспринимать саму себя, обязана способствовать гуманизации использования созданных нами же приборов и инструментов. Но для этого надо сделать человеческие отношения такими продуктивными и разносторонними, как только возможно, и не допустить, чтобы техника и экономика превратились в самоцель и подчинились лишь своим собственным законам. Я убеждена, что эти задачи нашего будущего могут быть решены лишь в социалистическом обществе. Поэтом социалистический автор не должен соглашаться ни на какие заманчивые предложения о капитуляции, с какой бы стороны они ни последовали и как бы ни были обоснованы. Он должен, насколько может, эффективно активизировать своих читателей, способствовать тому, чтобы не осознанное обществом переходило в сферу сознания, быть правдивым хроникером.

В свете этих важных проблем вопросы жанра кажутся мне второстепенными. Выбор художественных средств, пожалуй, никогда не был столь разнообразен, как сегодня. Для себя самым подходящим мне представляется жанр прозы, возможности которой еще не исчерпаны и которая в состоянии передать многообразие и сложность нашего времени в интереснейших поворотах. Это тот жанр, который позволяет фиксировать поведение людей и одновременно размышлять над ним, жанр, где методически возможен синтез и анализ. Это жанр, целиком захватывающий автора как личность, не принуждая его, однако, к идентификации. Хорошая проза — событие волнующее.

После этого может, вероятно, показаться странным, что в этом году основной для меня была работа над киносценарием. В качестве материала я использую немецкую народную книгу о Тиле Уленшпигеле, я как бы заново леплю эту фигуру и помещаю ее в исторически очень интересную эпоху — начало XVI века в Германии, в эпоху Великой крестьянской войны. Это был момент, когда социальное движение в Германии в последний раз на много веков вперед имело возможность сломать старые, прогнившие общественные отношения. Разгром этого движения на долгое время определил ход нашей истории, но у меня Уленшпигель должен был действовать как раз в период многообещающего начала... Это настоящий плебей, человек из

самых низов, может быть, поэтому буржуазная литература занималась им менее интенсивно, чем другими фигурами из народных книг.

После этого я хотела бы снова вернуться к современности, к отражению собственного опыта. Думаю, что напишу несколько повестей. Больше всего меня занимает огромный и очень сложный пласт — это пережитое нашим поколением, во всех его противоречиях, напряжениях и конфликтах. А в какую форму выльется этот материал, который трудно спрессовать в обычные истории и сюжеты, я пока еще не знаю.

1970

О СМЫСЛЕ И БЕССМЫСЛЕННОСТИ НАИВНОСТИ

Ваша просьба, дорогой С.*, какой бы простой она ни казалась, доставила мне массу трудностей. Но если я все же отыщу, на что опереться, то, может быть, найду возможность удовлетворить ее. Мне с самого начала не хотелось писать эту маленькую статью, но, раз уж Вы получили мое согласие, Вы вправе ожидать ее от меня к назначенному сроку. Ведь с детства знаешь, что иногда надо заставить себя сделать что-то помимо своего желания, и я подумала, что это именно такой случай. А результат — как обычно, гора бумаг на письменном столе, кучка испитых страниц на полу — не вызывал у меня на сей раз чувства нетерпеливой уверенности, лишь ощущение неудачи. Только благодаря придуманному названию, которое и Вам, очевидно, покажется странным, я не прервала начатой работы, потому что это название, как мне показалось, давало возможность для общего и потому уклончивого ответа.

Тем временем мне стало ясно, что Вы добиваетесь именно тех сведений, которые я решила не давать, и вот это несовпадение было и есть причиной моего нежелания писать. Да догадываетесь ли Вы, чего хотите от автора? Рассказать историю написания какого-нибудь литературного произведения — ведь это значит ни много ни мало дать отчет о целом жизненном периоде, который этому предшествовал, значит проследить истоки определенных, «своих» мотивов, как бы осторожно они ни были намечены, вплоть до их возникновения, то есть обозначить пути их развития, отделить от чужого влияния и найти следы, ведущие к самому себе. Но кто мог бы это сделать и, главное, кто хотел бы этого? Ну, а как в таком случае, скажите, бога ради, отфильтровать намеки, на уровне которых надо было бы остаться, ведь это почти всегда и происходит?

Далее, разве не надо определенные вещи скрывать под покровом «любви к ближнему»? Ваше «первое произведение»? А его, кстати, вообще не существует. Вспоминаются ранние опыты в ранние годы, романы и пьесы, написанные наполовину и на две трети, дневники, стихи по случаю, частному или политическому, полная до краев чувствами переписка с подругами, вплоть до придуманных в детстве сказок, фантазий, даже планов мести, дневных и ночных мечтаний, вплоть до нахальных выдумок для повседневного пользования — те жизненно важные проформы наивного обращения к искусству, лишение которых имело бы для ребенка тяжкие последствия и из которых и может вырасти потребность выражать себя в писательстве. Это, правда, еще ни о чем не говорит, Вы как редактор, конечно, знаете, как широко распространена эта потребность, а также восприимчивость к таким основным ощущениям, как-то: слабость, бессилие, страх, боль, гнев, стыд, гордость, сострадание, горе, счастье, отчаяние, радость, триумф. Все эти чувства, если соглашаться с озабоченными родителями, можно испытывать, но не чересчур интенсивно, чтобы — боже сохрани! — из этого не возникла длительная привязка к разного рода фантазиям и мечтаньям.

Но детство, втиснутое между тривиальностью частной жизни и общественным фанатизмом, вероятно, не может найти никакого иного выхода, кроме тайного сумасбродства и попытки подавить его с помощью реально осязаемой профессии, например профессии учительницы, что я до двадцати одного года и писала во всех анкетах. После этого в течение нескольких лет я кружила по краю деятельности, на которую и в мыслях не считала себя способной, и это объясняется не только тем обстоятельством, что очень молодые люди редко могут писать прозу. Тут действовали внутренние преграды, о которых в другой связи обязательно надо будет сказать. Преодолеть их можно было лишь через сильные потрясения и далеко не сразу. Короче говоря, Вы, вероятно, знаете, как слабо выраженная потребность может превратиться в настойчивую необходимость, нарушающую все заповеди, которых ты еще придерживался, — просто тем, что она дает тебе в руки средство хотя бы для временного примирения с самим собой.

И никаких мыслей о читателе, наоборот, все ранние изделия хранятся в надежном тайнике, поскольку речь идет о самых что ни на есть секретных вещах, двойственность которых выдает себя тем, что они, с одной стороны, не обнаруживаются, с другой стороны, не хотят остаться невысказанными. Это весьма скверное противоречие нельзя воспринимать как нечто вполне безобидное, оно приводит в движение «перпетуум-мобиле», которое в неподсчитанных процентах случаев и порождает

создание, именуемое в Вашей анкете и «первым произведением».

Однако если бы пишущий человек сам назвал его таким образом, он, считайте, пропал, ибо автор оказывается в очень щекотливом положении, он находится между двумя ступенями наивности и должен остерегаться твердо ступить обеими ногами на ту или другую ступень, потому что прочность их весьма сомнительна. Кстати, тут возникает первый вопрос в длинной цепи мучительнейших вопросов: а писалась ли та первая работа, что имела счастье или несчастье быть опубликованной, в расчете на публикацию и изменяет ли намерение печататься позицию пишущего на этой уже знакомой ему ниве? На оба вопроса следует дать утвердительный ответ, причем на последний с оттенком сожаления. При переходе от любительства к профессионализму в пишущем субъекте, когда он превращается в автора, происходят изменения (назовем хотя бы утрату наивности в смысле невинности), которые тем опаснее, чем позднее их замечают, и противостоять им можно, лишь энергично и настойчиво двигаясь в противоположную сторону...

Теперь Вы сами видите, куда это может завести нас, если мы только попробуем задуматься над Вашим вопросом. Но Вам вовсе не надо оправдываться. Я прекрасно понимаю, какие сведения Вы «на самом деле» хотели бы получить: обычные. Какое из Ваших произведений было опубликовано первым? («Московская новелла», если не считать рецензии на книги и литературоведческие статьи.) Когда? (1961.) Где и при каких обстоятельствах она была написана? (В городе Галле на Заале, на тихой улочке под названием «Тропинка дроздов», куда проникала вонь с химкомбината Лойна и Буна, за письменным столом светлого дерева, который был придвинут к окну, чтобы видеть балкон и слегка заросший сад, где наши дети играли с соседскими и до меня доносились их громкие голоса; я могла бы Вам назвать имена соседей и соседских детей, но какое время года я видела тогда в окне, я позабыла.) Теперь самое главное: откуда Вы почерпнули материал для этой новеллы, то есть что в ней «пережитого» и что «придуманного», где любопытствующему читателю искать «автобиографический элемент», который, как известно, ложится в основу литературы? (Эту попытку вынудить меня к недобровольным, кроме того, несущественным и вводящим в заблуждение признаниям я отвергаю, ибо усилия по «переработке» оправданны лишь тогда, когда они потом не смазываются легковесным выбалтыванием.) Ну, тогда хотя бы: существовали ли для какой-нибудь фигуры прототипы в жизни, и если да, то какие? (Без комментариев.) Сколько Вам было лет, когда Вы это писали? (Почти тридцать.) Знали ли Вы Москву? (Знала плохо, что Вы легко можете установить по тексту, если Вы знаете

Москву так, как я теперь ее знаю, только мне не придет в голову писать об этом.) Ну тогда назовите хотя бы несколько наиболее существенных мотивов, которые привели Вас к этой истории!

Ваша навязчивость (даже если я ее только вообразила) настольконулась на такую надежную внутреннюю преграду, что мне долго вообще ничего не приходило в голову, и я уже решила на этом закончить, если бы не возникла злосчастная идея спустя четырнадцать лет перечитать тот продукт, о котором против моего желания снова должна идти речь. Нет нужды объяснять Вам, что это чтение было таким мучительным, как я и думала. Так же как и то, что я не хочу доставлять себе дешевого неудовольствия и сетовать по поводу очевидных для каждого слабостей мастерства, неловких фраз, неудачных образов, неестественных диалогов, натуралистических описаний — то есть всего того, что встречается и в хороших книгах и что наполовину справедливо называют «писательским ремеслом», которым якобы может овладеть каждый. Гораздо больше поразило меня тогдашнее стремление к закрытости и законченности формальной структуры, к переплетению характеров с ходом действия, которое напоминает звон заведенного часового механизма, хотя, как я хорошо помню, те события и переживания, что легли в основу некоторых эпизодов этой повести, были такими бурными и непредсказуемыми, как это только можно было себе представить.

На этой повести ясно видно то (а я уж было начала забывать), как хорошо я усвоила все, что внушалось нам на семинаре по германистике, что писалось во многих статьях, занимавших, как правило, целые газетные полосы, о вредности и полезности, реализме и формализме, прогрессе и декадентстве в литературе и искусстве, — усвоила так хорошо, что незаметно для самой себя стала смотреть на все через определенную призму и очень сильно отошла от реалистического видения мира и реалистического письма. Вот это-то и заинтересовало меня вне всякой зависимости от Ваших вопросов. Как можно было, дожив почти до тридцати лет, спустя девять лет после того, как наш век перебрался через свою середину, и, прямо скажем, не оставшись в стороне от его поразительных и поражающих событий, как можно было написать нечто, столь похожее на трактат? (Трактат в смысле распространения ханжеских взглядов, потому что этой истории любви немки и русского, которая аккуратно придерживается определенных рамок и допускается лишь в области душевных движений, нельзя отказать в ханжеской наивности. Да и не в отказе от всяких других форм тут дело, просто не надо вводить моральную мотивировку, если действовавшие законы — ведь то был пятьдесят девятый год — его и так навязывали.)

Но не бойтесь самообвинения и признания в неспособности.

«Природный, естественный» — таково, по словарю Германа Пауля*, первоначальное значение словечка «наивный» — может быть упомянутая выше потребность выражать себя в писательстве. А слово «талант» с древних пор обозначало не свойство, а определенный вес, затем определенную сумму денег, а после притчи о «закопанном таланте» (Матф., XXV, 18) оно стало использоваться в переносном смысле — талант надо было пускать в рост. Так что каждый, кому доверено хоть несколько граммов «таланта», должен сам думать — увеличит ли он их или даст им пропасть. Значит, талант — это процесс, это вызов, это шип, которому можно обломать острие.

Кстати, именно это, наверное, и произошло с тем текстом. На пути, который вел через голову, руку, карандаш, пишущую машинку на бумагу, произошло не только, как это необходимо в литературе, превращение, но и потеря энергии. Вероятно, из страха перед трудно управляемыми взрывными силами были призваны на помощь смягчающие средства, то есть конструкции, из которых можно было выстроить историю. Это час рождения фавулы (фавулы — в смысле вымысла в отличие от правдивого сообщения). Вымышленные фигуры находят в ней, если немножко протиснутся, хорошее убежище — теплое и надежное, они учатся прекрасно обходиться друг с другом и вырабатывать удобную мораль.

Не то чтобы я отрицала наличие тесных связей между литературой и общественной моралью, только общественная мораль автора не должна исчерпываться тем, что он по возможности утаивает от общества то, что о нем знает. Было время — слишком быстро мы все забываем, — когда изготовленные по специальным рецептам переводные картинки, снабженные штампом «партийность», получали широкое хождение, и мы (молчание — знак согласия) постепенно привыкли к небрежному обращению с этим штампом.

Но вернемся к нашей теме. А может, я тогда просто лучше не умела? Примечательно то, что смешанные чувства, которые возникли у меня, когда я перечитывала эту повесть, вызваны как раз полным отсутствием этих смешанных чувств в тексте. Преданность и вера, любовь, дружба, благородство, прямота — ну разве это не ясные, чистые, недвусмысленные чувства, которым не грозят никакие бездны и пропасти подсознания, чувства, которые так трогают нас в детях и веселят нас во взрослых как признак их наивности (это слово мы берем в его простом, а не измененном под влиянием Фридриха Шиллера значении: придурковатость, — в котором оно сегодня чаще всего и употребляется)? Так что же, ради бога, такого ужасного в том, что чудовищный кошмар мы старались превратить в исцеляющий?

А то, что тогда мы действительно не знали (во всяком случае,

многого не знали), но могли и должны были знать. В пятьдесят девятом году уже можно было иметь хоть какую-нибудь информацию о реальной жизни советской семьи, о трудностях во взаимоотношениях между двумя народами, один из которых за четырнадцать лет до этого хотел поработить и даже уничтожить другой, — и тут мало изобразить на одной стороне большую совесть, а на другой — великодушие. Как недостаточно совести, если она выступает лишь как больная, так же недостаточно самых благочестивых иллюзий, если они выдаются за реальность. Даже в любовной истории недопустимо было обойти молчанием XX съезд, лишь мельком коснувшись его в своей идиллии. Я могла бы и дальше продолжать эти безнадежные попытки снова влезть в ту историю и постоянно прерывать ее чтение возгласами, издательскими замечаниями, требованиями исправлений, если бы мой обогатившийся за прошедшие четырнадцать лет опыт в делах самоцензуры не помешал бы мне делать все это уверенным и непоколебимым тоном.

Одним знанием еще ничего не сделаешь, и как просто было бы, если бы лишь внешние обстоятельства могли помешать автору высказать все, что он знает; ведь если пишут для того, чтобы сказать о до сих пор не сказанном, то одновременно можно во всякой литературе — и даже у больших писателей — увидеть, что пишут и для того, чтобы скрыть. И именно этот спор автора с самим собой, который происходит между строк и между фраз, стремление подойти к границе того, что можно сказать, и даже перейти ее в каком-нибудь неожиданном месте или все же не суметь этого сделать, не позволить себе, потому что автор не может нарушать установленные им самим для себя табу, в сравнении с которыми любой запрет цензора — сущие пустяки, — это высокое напряжение и составляет притягательность писательской работы и притягательность чтения, хотя читатель и не обязательно должен осознавать, что именно его так захватило, помимо судеб героев романа.

Еще одна мысль: определенный резервуар самообмана наивности, который постоянно вычерпывается и постоянно наполняется заново, кажется нам жизненно необходимым. И здесь мы не будем оспаривать и не будем сетовать по поводу того, что в молодости этот резервуар должен быть больше, чем в более поздние годы, когда разочарования действуют отрезвляюще. Факт этот не должен вызывать сожаления. Но тридцать лет — это уже не юность. И я очень хотела бы разобраться в причинах поздней зрелости моего поколения, вероятно осознаваемой и Вами.

Услышь я это четырнадцать лет назад, я бы наверняка возражала. Но я думаю, что знаю, о чем говорю. Вы только когда-нибудь обратите внимание, о чем люди моего поколения сами

стараятся не заговаривать и какие темы, если их коснуться, чаще вызывают приступы раздражения, и Вы увидите неосвоенные залежи в наших жизненных судьбах, которые затрудняли взросление и становление личности.

Конечно, тогда я верила в то, что писала, верила, что «перевоспитание» поколения, к которому я принадлежу, уже «произошло». В самом деле, переворотом в прежних представлениях (это должна была быть первая ступень «перевоспитания») явился наш собственный переворачивающий, захватывающий человека целиком опыт, и у кого перед глазами вставали те преступления, которые нам предназначено было совершить, чего мы без всякой нашей заслуги избежали, тот, как всадник, прыгающий через Бодензее *, мог задним числом от ужаса провалиться сквозь землю. Но надо учитывать и то, что глубокая неуверенность и почти неискоренимое, хоть и часто неосознанное недоверие к самим себе сидит еще во многих людях нашего поколения и это должно проявляться в их общественном поведении, в том числе и в литературе.

Потому что одним непреходящим ужасом перед варварством, которое породила эта страна, этого еще не искоренить, и не поможет трезвый исторический анализ, который обращен исключительно в прошлое. Даже если гигантскими усилиями были обнаружены, осуждены и исправлены ошибки в мышлении, если радикально изменились взгляды и мнения, всю картину мира — способ мышления — так быстро изменить было невозможно; еще меньшим изменениям подвергались человеческие реакции и поведение, усвоенные в детстве, они и в дальнейшем продолжали определять структуру отношений человека с окружающим миром: привычку верить вышестоящим инстанциям, потребность боготворить какие-то личности или подчиняться их авторитету, стремление не замечать реальности, воинствующая нетерпимость. Все это объяснимо, я только охотно прочитала бы это объяснение глазами: прежнее гипертрофированное самосознание (в основе которого лежал глубокий комплекс неполноценности), справедливо разрушенное, нельзя было просто взять и заменить на новое. Но чтобы иметь возможность жить дальше, люди этого поколения хватались за эрзацы, за новую слепую веру и в наше время, когда от социалистов (я думаю, это не нужно Вам доказывать) требуется диалектическое мышление, провозглашали себя обладателями единственной правды, истины в последней инстанции.

О чем свидетельствует и текст новеллы, о которой мы до сих пор говорим, где предпринимается трогательная попытка с помощью рационального начала противостоять подспудной угрозе в виде страстей, горестей; в ней утверждается наличие перемен в жизни, а надо-то было еще доказать, произошли они

или нет. Все это порождает те трещины и швы в тексте, которые и обнадеживают.

Поверьте мне: это не самообвинение и не жалоба, это скорее желание понять себя. Это некая предварительная попытка сформулировать в абстрактной форме проблемы, которые еще предстоит конкретно разработать в литературе. Ведь проза — это тот жанр, которому необходима трезвость и суверенность оценок, где, кажется, не может быть места наивности. Но одновременно она, как и все так называемое искусство, живет за счет первоначального поведения, основа которого закладывается в детстве. Условия ее создания — прямая, спонтанная, бескомпромиссная реакция мыслей, чувств, действий, естественное (значит, именно «наивное») отношение к самому себе и к своей собственной биографии — то есть как раз то, что мы утратили.

Именно это противоречие и определяет, как мы живем и как пишем. Его можно игнорировать или отрицать, преуменьшать или преувеличивать, отгораживаться от него, жаловаться или проклинать. Можно спастись от него в непродуктивные жизненные механизмы, можно сломаться на нем, самому об этом не подозревая. Но как ни крути и ни поворачивай его (или себя) — свободного творческого отношения к нашему времени можно добиться, лишь переработав этот конфликт, ибо он дает возможность создания модели, затрагивая не одно поколение. И не для того, чтобы привязывать общественные силы к прошлому, а чтобы сделать их продуктивными для современности, должна начаться длительная, неутомимая работа над теми комплексами прошлого, прикосновение к которым болезненно. И если осуществлять этот процесс последовательно, то можно прийти к таким литературным открытиям, которые будут для нас полной неожиданностью.

Потому что четырнадцать лет — это случайный отрезок времени. И как нам сегодня догадаться, что в какой-нибудь далекий или близкий день мы с удивлением отнесемся к нашим сегодняшним высказываниям — например, с удивлением и недоверием посмотрим на эти строчки. Так и должно быть. Надежды, разрушенные в самом начале, уничтожали всякую продукцию, да и саму надежду, но сегодня, когда каждое слово подвергается более сложной и строгой проверке, вся работа стала труднее и длительнее, но отнюдь не невозможной. Новые события требуют новых решений и новой техники, с помощью которых можно эффективно вмешиваться в жизнь. Пока еще мы не находим слов, когда слышим, что почти двенадцатилетнее «военное присутствие» США в Индокитае однажды утром, «ровно в пять часов», «закончилось», и это после того, как на Вьетнам, Лаос и Камбоджу было сброшено 6,6 миллиона тонн металла стоимостью более чем 30 миллиардов марок, правда с «незначитель-

ным успехом». Тут мало помогает наше доброе старое слово «безумие», и это будет стоить тяжкого труда — убрать в таких фразах цитатные кавычки. Для любой, и не только механической, деятельности нам необходимо снова обрести доверие к самим себе.

Но к вашему и к собственному удивлению, я кончаю похвалой глупости. Той глупости, у которой много лиц, и среди них те, что хорошо созвучны благоразумию и опыту. Той глупости, на почве которой расцветают большие эксперименты, но не растут ни фривольность, ни цинизм, ни покорность. Той глупости, которая заставляет нас строить дома, выращивать цветы, рожать детей, писать книги — вообще действовать, пусть неловко, несовершенно, ошибочно, словом, так, как мы можем. И все же это разумнее, чем капитуляция перед различными, иногда трудно распознаваемыми, но безукоризненно действующими механизмами разрушения.

Август 1973

ПОЧЕМУ ВЫ ПИШЕТЕ? *

На этот вопрос я могла бы ответить, прибегнув к остроте: я пишу, чтобы выяснить, почему я должна писать. Действительно, писательство все больше и больше превращается для меня в ключ от ворот, за которыми находятся неисчерпаемые кладовые несознанного мною, в путь к складам запретного, очень рано недопущенного и вытесненного, источник основ, воображения и субъективности. Духовное приключение, выражающееся в писательстве, состоит для меня в том, чтобы вновь обнаружить в себе и, может быть, высвободить те силы, которые в течение моей жизни при наших исторических обстоятельствах были отброшены как бесполезные, лишние, вредные, ненужные, неподходящие, не имеющие значения, невыгодные, недозволенные, никчемные, анархические, аморальные, бессовестные, наказуемые, противозаконные, негодные, нехорошие, беспомощные, смешные, болезненные, глупые, дешевые, произвольные, вызывающие презрение, дурацкие, безумные, непристойные, безответственные, неверные, неподобающие, неуместные, разрушительные, эгоистичные, недопустимые, неблагодарные, радикальные, бунтарские, неразумные. Они вызвали подозрение как субъективистские и потому были осуждены, заморожены, вытеснены и парализованы. Ужас по поводу того, как в индустриальных обществах происходит селекция «полезных» сил и устремлений человека за счет его «беспольных» потребностей и желаний, глубокая печаль, вызванная по-

следствиями этого расчленения и ампутации, — все это, безусловно, находит выход в том, что я пишу.

Сегодня искусство — вероятно, единственный приют и одновременно единственное поле испытаний для представлений о цельности человеческой сути. Поэтому писательство для меня — некий эксперимент над собой. Сумеют ли люди в будущем в сегодняшних развитых индустриальных странах, организованных по принципу разделения труда, люди, чьи потребности извращены или удовлетворяются эрзацами, обратиться снова к своим корням, осознают ли всю полноту возможностей человека, и в том числе искусства, — этого я не знаю. Мне самой жизненно необходима связь с другим измерением во мне, необходима для того, чтобы не утратить чувства — мое место здесь. Вот поэтому я и пишу.

1985

О современниках

ДОПУСТИМАЯ ПРАВДА

Проза Ингеборг Бахман*

1. На этой темнеющей звезде, где мы обитаем, в отступлении перед усиливающимся безумием, при опустошении ближних стран, при утрате мыслей и исчезновении стольких чувств, кто же услышит — если он еще раздастся, если он прозвучит для него! — кто же сможет осознать, что это такое: человеческий голос?

Ингеборг Бахман. «Музыка и поэзия»

Приступая к чтению этой прозы, не надо рассчитывать на истории, на описание действия. Не надо ожидать информации о событиях, здесь нет героев в привычном смысле, так же как нет громогласных утверждений. Будет слышен голос: смелый и жалующийся. Правдивый голос, то есть опирающийся на собственный опыт, рассказывающий об очевидном и неочевидном. Голос умолкающий, когда ему недостает сил говорить.

Но и говорит и молчит он всегда по какой-либо причине. От отчаяния или надежды. Слово по более мелким поводам решительно отвергается.

Смелость? Но где же нам искать ее, если мы видим признание в отступлении перед превосходящими силами, признание в бессилии перед миром, который становится все более чужим? В самих признаниях? Да, конечно, ибо они сделаны не по привычке, не легко и не по доброй воле. Но главное, мы должны искать ее в сопротивлении. Писательница не отступает без боя, не умолкает без возражений, не покидает поля боя уничтоженная. Осознать то, что есть, и выявить то, что должно быть. А больших целей литература никогда и не могла перед собой ставить.

Жалоба? Но только не по поводу вещей незначительных и без всякой жалобности. Да, она жалуется на грозящую немоту. На возможный распад связей между литературой и обществом, который отчетливо видит каждый честный писатель в буржуазном мире. На перспективу остаться наедине со словом («ведь слово повлечет за собой лишь новые слова, одну фразу за дру-

гой»). На страшное искушение из-за приспособленчества, слепоты, соглашательства, привычки, обмана и предательства стать проводником тех смертельных опасностей, которым подвержен мир.

Храбрость? Она ранена, но не побеждена, она в горе, но лишена жалости к самой себе, она страдает, но не любит страдания. Мы словно видим поле брани. Видим, как собираются силы. Поэзия, проза, эссеистика — все движется в одном направлении: из несомненного в сомневающееся, из обычного в необычное, из необязательного в обязательное, из неточного в аутентичность. «За мной, слова!» Это своего рода боевой клич, достаточно смелый и достойный.

Представительство? Писатель как представитель своего времени? Ингеборг Бахман, скромная, но и гордая, решаете представить на это. Казалось бы, ее позиция должна вызвать возмущение, ведь литература современности решительно отказалась от репрезентативности. Она идет еще дальше. Она задает вопрос писателю, «желающему изменений», как будто на этот счет уже есть твердая договоренность и именно на ее широтах не отрицается категорически, что писатель стремится изменить мир, нет, она все-таки спрашивает: «Что он может и чего не может?» Это значит: может ли он в ее время, в той стране, где она живет, еще быть хозяином тех изменений, к которым он призывает? Но и тут она не дает себя обмануть, она остается неподкупной: «Ничего нигде не меняется, слышны лишь фатальные аплодисменты». И так, ничего нигде не меняется? Значит, художник говорил напрасно? Значит, притупление чувств публики, вызванное тем, что ее годами кормили «вызывающими шок актерскими эффектами», необратимо? И какой должна быть литература, чтобы в первую очередь изменить это?

2. Поэзия как хлеб? Этот хлеб должен хрустеть на зубах и, прежде чем утолить голод, должен вызывать новый. И эта поэзия должна быть острой в познании и горькой от тоски, чтобы пробудить человека ото сна. Мы ведь все спим, спим от страха, что придется реально воспринимать самих себя и наш мир.

Ингеборг Бахман. Франкфуртские лекции

Стать зрячей, сделать зрячими — вот основной мотив произведения Ингеборг Бахман. Это увязывает в единое целое стихотворение «К солнцу», ее речь «Правда допустима для человека» и прозу «Что я увидела и услышала в Риме». Мы наблюдаем,

как она начинает видеть, как у нее открываются глаза и как она поражена увиденным. Какую гордость черпает она из того, что могла увидеть («гордость того, кто и в темноте не отказывается от мира, не перестает искать правды»), счастье («нет ничего прекрасней под солнцем, чем находиться под солнцем») и понимания: «Я слышала о том, что в мире существует больше времени, чем понимания, но и что глаза нам даны для того, чтобы видеть».

Видеть, понимать, проникать: «Потому что пришло время понять голос человека, голос скованного существа, которое не совсем способно выразить свои страдания...» Классическое «дал мне бог, чтобы сказать, как я страдаю...» она снимает, подвергает сомнению, оспаривает без полемики. «Не совсем» — это фиксация другого, более позднего опыта. Но главное желание Ингеборг Бахман: она как художник честно стремится присовокупить к имеющемуся в мире опыту свой собственный. И ее задача — вновь и вновь пробуждать в себе мужество иметь этот собственный опыт и утвердить его в противовес подавляющей массе и пугающему господству пустых, ничего не значащих и ничего не говорящих фраз. Самоутверждение — это основной посыл ее творчества, и не от слабости, как самозащита, но как активное, направленное к цели действие. И еще: занять определенную позицию, заявить свое, даже собственную слабость, быть раненой, снова собраться с силами, вновь нанести удар по противнику, ощущать уязвимость в самой жизненной сути... Самоутверждение как процесс, в чистом виде представленное в ее прозе «Что я увидела и услышала в Риме», произведении, которое она, что достаточно странно, причисляет к эссе. Это попытка; но ведь так можно обозначить все. Это попытка присвоить себе город. Снова обрести суверенность, утраченную из-за того, что пришлось подчиниться. Назвав все, снова стать хозяйкой положения. Испробовать еще раз волшебную силу точного, чувственного слова — еще раз проверить, может ли оно сковывать или освобождать.

«В Риме я увидела, что Тибр некрасив, но он и не заботится о своих набережных, из них выступают берега, к которым никто не прикладывает рук». Уже в этой первой фразе взята определенная высота звука. Святая трезвость. Пафос внутренне напряженного описания. Это произносимые как бы про себя фразы, которые могут возникнуть из огромного внешнего внимания и огромной внутренней неподвижности. Это осторожность сомневающегося и захватывающая точность знающего. Фразы, которые всегда затрагивают суть действительности, но никогда не претендуют на то, чтобы повторять эту действительность или подменять ее. И все же не стоит обходить вниманием ту новую реальность, которую они воссоздают. Она, подчиняющаяся не-

ожиданной системе соотношений, является выражением неподаваемого и неутраченного стремления проникнуть с человеческими мерками в окружающий мир, природу и общество. Это как просека, которая с тяжким трудом прорубается в чаще: позади и впереди дикая, не поддающаяся рефлексии реальность.

И ей, этой реальности, не причиняется никакой урон: ни поспешностью, ни неуклюжестью, ни высокомерием, ни слабостью. На ней задумчивый, терпеливый, но отнюдь не всепрощающий взгляд. Настойчивый, но без навязчивости. Взгляд, который смягчает все слишком твердое, застывшее и укрепляет все, кажущееся слабым: «Они спят там, где раскинули для них тень платаны и натягивают небо себе на голову». И не нужны такие слова, как «бедность», «свобода», чтобы объяснить, что эти люди бедны и отмечены способностью и правом быть свободными. Только такого рода участие позволяет себе наблюдатель: поделиться с нами. Высочайшая субъективность, но ни малейшего произвола, даже в сострадании, а только крайне напряженная аутентичность.

Она использует элегию и гимн — лирические категории, характеризующие определенную позицию. Они иногда помещены рядом, на одной странице, не исключают друг друга, но и не смешиваются. Старики из гетто «вспоминали своих друзей, которых по весу выкупали за золото, но потом их все равно сажали на грузовики и увозили куда-то, и их никто больше не видел». Или, когда взгляд ее поднимается вверх: «Я увидела, где исчезают улицы Рима, где они приводят в город торжествующее небо». Она хвалит все, что достойно похвалы, не нарушая спокойного, взвешенного тона. И при этом никакого навязанного самой себе стремления быть скупой на слова. Эту прозу можно было бы назвать насыщенной настроением, если бы в немецком языке выражение это не употреблялось бы в значении чего-то смутного. В данном случае настроение возникает из реальных отношений, рождается на наших глазах из совпадения между чувственным рядом рассказчика и чувственным жаром города и из несовпадения с его ранами, с преступлениями, которые он совершает или допускает. Как одобрение в целом его чудесного существования.

И что удивительно — город нуждается в одобрении этого гостя, этого пришельца: он сам живет этим. Замечательно мужество и уверенность человека, который входит в этот город, погружается в него, позволяет делать с собой то, что можно делать, не закрывает глаза, даже когда ему хочется отвернуться; затем снова выныривает на поверхность, понимает, что это просто пауза, желание почувствовать почву под ногами. Человека, который здесь, перед нами, он произносит слово «я» без высокомерия, но с поднятой головой. И именно позиция человека, автора,

и создает эту прозу, делает ее конкретной и исполненной тоски, удерживает ее в труднодостижимом равновесии между претензиями и воплощением, между реальностью и видением.

Эта проза показывает, что и видений можно не стыдиться, что они не являются чем-то легковесным и вымороченным, а знаком того, что работа над материалом закончена, знаком, который не появляется, если усилия приостанавливаются — на полпути или за шаг до цели. Видение! — легковесно заявляют нам, что это такое видение? А просто внезапно видишь то, чего увидеть нельзя, но что должно быть, потому что подтверждает некое воздействие. Прошлого на настоящее, например. Или те всегда подавляемые безудержные желания, которые могут, никто не знает откуда, проснуться в каждом: «...но по утрам около трех выпадает роса. Кто мог бы проснуться, чтобы смочить в ней свои губы!» Но прежде всего это открывает взаимосвязи и значение самых незначительных и, казалось бы, никак не связанных событий. Это и открытие того, чем питаются эти видения и отчего они погибают в реальности.

Обнаруживается, что каждый город строит свое будущее на основании серьезных и честных видений, ибо он вынужден держаться за живое и жизнеспособное. За спящих рабочих на балюстрадах, за стариков из гетто, за кричащих рыночных торговцев, за малыша, который моет в баре чашки, за растающих на вокзале Термини, за мальчишек, ночью достающих из фонтана монетки, которые бросают туда покидающие город. Все они совершенно реальны. Но за рамками этой реальности фантастичны. Из-за них и с их помощью отступает разрушительное чувство, которое может охватить приезжего в этом городе, — отступает соблазн безответственности, который означает бессилие. Все это отстраняется и отвергается хотя бы на протяжении этих страниц. Зато на передний план выступает человек, который невероятно щедр по отношению к этому городу и к природе и на вызов, который город бросает его возможностям, отвечает, сохраняя достоинство.

3. Но что действительно возможно — это изменение и изменяющее воздействие, которое исходит от новых произведений, воспитывает в нас новое восприятие, новое чувство, новое сознание.

Ингеборг Бахман. Франкфуртские лекции

Ингеборг Бахман знает: «Поэтическое творчество не может быть вне исторической ситуации». А историческая ситуация такова, что в центре всякой поэзии должен стоять вопрос о воз-

можности нравственного существования человека. Эта постановка вопроса — один из основных импульсов бахмановской прозы, и часто он выступает в странном обличье, не сразу распознаваемом, как страх, как субъективный рефлекс, сомнение, угроза, у Бахман сказано: «Попасть под ток высокого напряжения действительности».

Ингеборг Бахман — отнюдь не прирожденная рассказчица, если под этим понимать умение непринужденно рассказывать истории, забывая себя. Она не рассказывает случаи, она размышляет над этими случаями и над «пограничным случаем, который заложен в каждом случае». Писательница не изменяет самой себе: и здесь обнажается человек, который достоин того, чтобы о нем рассказать. Достоин потому, что готов и способен вынашивать в себе важные конфликты времени.

Итак, другой медиум для тех же вопросов. «И мы по мере возникновения будем ставить их так, что они снова окажутся обязательными». И быть может, она стремилась именно к этой большей обязательности прозаического материала, тем более что в своем окружении должна была сталкиваться с очевидными прозаическими банальностями. И быть может, ее привлекала возможность своей прозой победить банальность. Композиция, стройная фабула, искусное драматическое построение, рассказы в строгом смысле этого слова — это не ее. За ее прозой, так же как за ее стихами, стоит необходимость говорить, так же как угнетенность, которая искренна и оправдывает ее. Мы напрасно будем искать у нее конкретные ситуации, так же как и реалистическое изображение общественных процессов. Тут мы имеем дело с историями чувств.

Как каждого пишущего, Ингеборг Бахман мучает проблема правды, возможности говорить правду. «Точно говорить о том, что произошло, — достаточно ли этого? В истории Вильдермута, где слово «он» заменяется на «ты» и «я», в которой анатомируется крушение попытки подменить правду болезненной точностью, опьянением деталями. Судья Вильдермут, чей образ, несомненно, связан с фигурой рассказчика, проходит весь путь сомнений до конца, после того как он осознал, что лишился своих добрых старых стабильных мерок. Он не знает больше, что есть правда, считает поиски правды невозможными, он потерял веру в ценность правды: «Но куда я, собственно, хочу добраться с помощью правды? До Букстехуде, до сути вещей, до самого неба или только за кудыкину гору? Нет, эти расстояния я не хочу преодолевать, потому что я давно уже утратил веру».

Это история расставания с иллюзиями, которое делает неспособным движение: паралич из-за, казалось бы, неизбежной утраты веры. Это модель в миниатюре типичного процесса среди буржуазной интеллигенции в этом веке, самоистязательно воз-

веденного в абсолюте. Единственный выход — действительная связь с реальными историческими процессами — кажется закрытым безнадёжностью, которая питается отчуждением от реальных процессов, за которыми наблюдает писательница. Круг замкнулся.

Ингеборг Бахман в высшей степени отдаёт себе отчет в том, что она находится в русле традиции, в кругу проблем, из которого она может черпать и с которым остается связанной, но она перерабатывает свой опыт так достоверно, так естественно и своеобразно, что тут никак не может возникнуть ощущение эпитонства. Она не играет с отчаянием, подавленностью и смятением: она действительно в отчаянии, подавлена, в смятении и потому действительно хочет спасения. И те знаки, которые она подает, — перестукивание в тюремной камере, попытки вырваться — они неподдельны. Усилия, которые она предпринимает, беспощадны и по отношению к самой себе.

Она делает свой внутренний опыт предметом прозы, и потому она снова и снова должна возвращаться к проблемам художника в наше время — таким, какими они ей представляются. Она знает все, что говорилось о сомнительности существования поэта в позднебуржуазном обществе, о падении литературной сцены до уровня биржи, о якобы непреодолимом стремлении «потомков» к эпитонству. Она проверила это, но противится самообману, следствием которого стала бы капитуляция. Она вновь возвращается к простым вопросам: для чего писать? «С тех пор как нет никакого заказа сверху и вообще нет больше никакого заказа и ничто больше не вводит в заблуждение. Для чего писать, для кого выражать себя и что выражать в этом мире?»

Она понимает, что это значит — чувство вины, «самообвинение» и это «падшие в молчание» или даже в смерть у поэтов прошлого и нынешних, она ощущает боль от того, что мир настроен не на ту волну, что ты сам. Она принимает этот опыт, но не соглашается с ним, для нее невозможно ни высокомерие, ни снобизм, ни все еще привычный формальный бунт. Не происходит того разрушения до основания веры, имя которому цинизм. В эссе, даже сильнее, чем в прозе, она выражает свое сопротивление: «Если мы это стерпим, это «искусство есть искусство», если мы снесем насмешку, если поэты это терпят, да еще поощряют своей несерьезностью и сознательным разрывом и без того висящих на волоске связей с обществом, если общество закрывается от поэзии, когда в ней царит серьезный, неудобный и стремящийся к переменам дух, то это будет похоже на объявление банкротства».

Она защищает не какие-то внешние сферы, а самую сердцевину. Стремление человека к самоосуществлению. Его право на индивидуальность и раскрытие личности. Его желание свободы.

«Более страстная в познании, толковании, понимании», чем другие, она натакивается на то, что жизнь ее противоречит спокойному, может, более пестрому, но пошлому буржуазному существованию. «Наслаждение обычным», по которому еще мог тосковать мезодой Томас Манн, стало в этом веке отправной точкой и резервацией преступлений и окончательно утратило всякую привлекательность. И конечно, разрушителен индивидуальный протест против технического совершенствования варварской банальности единственной цели, которая осталась у буржуазного общества: «Один номер с дрессированными зверями за другим». Разрушительно и чувство, что ты изгой, оно подкрепляется подозрением в анахронизме, которое она время от времени адресуется самой себе.

Исчезают и растворяются фигуры всех ее действующих лиц — всех мужчин зовут «Молль», и действуют они лишь в рамках клише, поскольку нет смысла придумывать индивидуумов для выполнения тех жалких функций, которые им еще остались. Таким образом, предпринимаемые автором в одиночку нормальные стремления осваивать все новые и все более трудные области действительности и проникать в их суть превращаются в сверхстремления, а необходимое поле напряженности между собственными возможностями и ставящимися требованиями в сверхнапряженность. Радикальное требование свободы — если ему не соответствует никакое общественное движение — превращается в разъедающую тоску по абсолютной, безграничной, ирреальной свободе; полное неверие в возможность следующих шагов превращается в иллюзорные требования «заново создать мир», уничтожив «все существующее». И отказ от этой радикальности, возвращение к нормальной жизни воспринимается как капитуляция, или остается, как в новелле «Тридцатый год», немотивированным и беспочвенным: «Я говорю тебе: вставай и иди! Кости-то у тебя ведь все целы!» Здесь доверие к самому себе, без которого невозможно жить, предстает как результат борьбы в одиночку.

Усталость от цивилизации, сомнение в прогрессе сильнее всего ощущимы в новелле «Ундина уходит». Мы находим здесь полное отчуждение человека от себя самого и себе подобных и романтический протест против этого отчуждения. Романтический не только потому, что используются мотивы из сказки Фукке*, тут дело в самой позиции — противопоставление плоскому стремлению к пользе «духу, который никак нельзя использовать», который предназначен для того, чтобы он сам себя использовал достойным человека образом, помог бы понять «время и смерть».

Ощущение конца мира? Да. Но не отчаяние. Вновь и вновь подтверждаемая вера в человека, которая трогает нас, потому

что во сто крат усиливает ранимость. Даже Ундина, героиня с явным авторским голосом, бросающая обвинение миру мужчин, верит «целиком и полностью», что «вы есть нечто большее, чем ваши слабые, тщеславные замечания, ваши жалкие поступки, ваши глухие подозрения». Но она обречена говорить «вы», расставаться, уходить. И поскольку она не видит возможности принять бой, она отступает под натиском недопустимых требований общества, в надежде сохранить саму себя. Однако это отступление все равно всегда заканчивается отказом от себя, ибо отрыв от общественной практики уменьшает силу внутреннего сопротивления человека.

Но есть и попытки избежать этого. В прозаическом произведении «Среди убийц и безумцев», которое более всего приближается к конкретному изображению общественных обстоятельств, писательница задается вопросом о смысле жертв и поэтому о смысле сопротивления. Молодой человек — от его лица ведется повествование — растерян, он в поиске, он испытывает отращение, он сбит с толку частой сменой ценностной шкалы. «Тогда, после 1945 года, я тоже думал, что мир раз и навсегда подделен на добро и зло, но уже сейчас мир снова делится по-другому». Он выражает основное переживание своего поколения: новое злое утверждение реакции. Но теперь он уже не готов при каждой новой смене становиться только «на сторону жертв»: «Это ничего не дает, они не указывают никакого пути». Вероятно, он мог бы себе представить, что окажется на другой стороне, откажется от беззащитности и начнет искать в обществе реальный путь, то есть подчинится законам реальности. Это только намек, это осторожный вопрос, направленный к границам той сферы, которую нельзя изменить лишь с помощью литературы...

Но в желании изменений отчетливее всего проявляется мыслительное, хочется даже сказать, человеческое достижение Ингеборг Бахман. Не приспособливаться к «средним температурам», не желать признаться, что все сводится к «вопросу об уступках и согласии». Это поиски «нового языка», поиски «мышления, которое стремится к познанию и с помощью языка и через язык хочет достичь чего-то. Пока назовем это реальностью».

4. Но некоторые обязательно выпивали чашу с ядом.

Ингеборг Бахман «Тридцатый год»

Она видит: нет больше никакой надежды на изменения в «рамках данного». Зайдя так далеко, она должна спросить

себя, в какой мере она как писатель может стать чем-то иным, а не просто институтом этого достойного изменений общества. И не присуждена ли она к тому, чтобы воспитывать вместе с ним «наполовину для волчьей практики, наполовину для нравственной идеи». Это самый безжалостный и страшный вопрос, который может задать себе пишущий. И если ответ всегда оборачивается против него, это может стать причиной наступления немоты. Тем более что решение этого кардинального вопроса зависит не только от самого писателя, но от тех социальных изменений, которые создадут новую основу для его профессии, а ему самому внушат новую ответственность.

Ингеборг Бахман ничего не ждет для себя от такого рода изменений. Ей никогда не приходилось искать связь с каким-либо прогрессивным историческим движением. Она скорее склоняется к тому — или склоняет к этому некоторые фигуры своей прозы, — чтобы выйти из этого общества и в крайней изоляции нащупать те условия, которые общество диктует человеку, найти цену жизни, которая выплачивается миллионами. Но для некоторых она всегда была слишком высока. «Некоторые обязательно выпивали чашу с ядом». Некоторые не продавались, их нельзя было соблазнить, заставить шантажом, они предпочитали смерть отказу от самих себя, чтобы остаться живыми в своем времени и иметь возможность продолжать жить в будущем. И кажется, на их моральном примере, у них ищет поддержки Ингеборг Бахман. Встать на их сторону она считает задачей своей литературы.

Литература — нравственный институт, поэт — адвокат новых нравственных импульсов, которые требуют своего выражения в его эпохе. Он сам выталкивает себя вперед, испытывая боль и наслаждение, он стремится дойти до крайности и дает обнаружить себя «выбором направления, выбросом на траекторию, которая уже не допускает ничего случайного ни в мыслях, ни в словах».

Строгость и целостность этой концепции не может, однако, скрыть того, что система соотносительных понятий, по которой измеряются пусть и весьма смелые пути отдельных личностей, остается неназванной и, очевидно, недодуманной. Литература — как утопия. Но чья утопия? Утопия на какой реальной почве? Смелый, глубоко трогательный проект нового человека. Но это одиночный проект, а не указание реальных путей выхода из нищеты действительности к этому прообразу будущего. Значит, всегда только самодвижение духа?

К этим вопросам, вопросам, которые не могут оставить нас равнодушными, мы подходим благодаря ее творчеству. Но вокруг Ингеборг Бахман они, кажется, образуют замкнутый круг. Этим она маркирует свою крайнюю позицию в сегодняшней

буржуазной литературе, свою попытку защитить гуманистические ценности от тотального разрушения в позднекапиталистическом обществе. Но по нашему опыту художник не может один разорвать этот круг и не может это сделать в области творчества. Подвергнуть фактически сомнению в высшей степени сомнительное буржуазное общество, то есть усомниться в нем благодаря фактам, — это значит «разрушить рамки данного». Только тогда на новой общественной основе действительно начнется «защита поэзии».

Через фильтр этого опыта мы читаем прозу Ингеборг Бахман. И может быть, таким образом — поскольку она серьезна и честна — эта проза приобретает новое измерение, которого не могла предугадать сама писательница, ибо каждый читатель работает вместе с ней над ее книгами. Ингеборг Бахман принадлежит к тем авторам, которые, несомненно, выстраивают эту свою зависимость от совместной работы вместе с ними их читателей. И потому ее притязания на современность правомочны и нашли свое воплощение.

Декабрь 1966

РАЗГОВОР С КОНСТАНТИНОМ СИМОНОВЫМ

К. В. Товарищ Симонов, мне хочется выделить несколько вопросов, меня сейчас занимающих, на которые мне любопытно было бы услышать ответ именно от вас. Мы люди разных национальностей и разного возраста, что не может не влиять на нашу с вами работу. Интересуют вас как писателя немцы?

К. С. Мне трудно разделять себя на писателя и просто на человека, прожившего определенную жизнь. Как у человека своего поколения у меня были разные периоды разных чувств к немцам и разного характера интерес к ним.

Если касаться личной истории этих интересов, надо отсчитывать время с детских лет, с семи, с восьми. Мои первые детские воспоминания о Германии, о немцах связаны с разговорами у нас в комнате, дома, между командирами Красной Армии, моим отчимом и его товарищами, насчет того, будем мы или не будем выступать на помощь Гамбургскому восстанию*. Речь шла о военной помощи.

Конечно, это именно детские воспоминания, и я не хочу их модернизировать. Но все-таки я отчетливо помню, что об этом говорили: что вот у немцев там, в Гамбурге, революция — как, сможем мы помочь или не сможем? И как все это будет дальше?

И вспоминаю уроки пения в школьные годы, и на этих уроках пения помню песню Эйслера «Коминтерн»: «Заводы, вставайте, шеренги смыкайте...»

А если вспомнить годы перехода из пионерского в комсомольский возраст (хотя я не был ни пионером, ни комсомольцем, а вступил прямо в партию в сорок первом году), я помню, как мы носили «юнгштурмовки» с портупеями — это была форма «Рот фронта»; помню, как носили «тельманки». Это конец двадцатых — начало тридцатых годов, время, когда ожидание того, где еще, кроме нас, произойдет революция, было для меня, пятнадцатилетнего, связано больше всего с мыслями о Германии.

Если говорить о моих тогдашних чувствах, если попробовать их восстановить, кто из зарубежных коммунистов был для меня тогда первый человек — конечно, Тельман! Тем сильнее было потрясение, связанное с приходом к власти фашизма и с тем, как это все произошло, как это вдруг все-таки произошло. Это было очень большое нравственное потрясение.

К. В. Насколько мне помнится, когда окончилась война, я еще не слышала имени Тельман. Мне тогда было шестнадцать лет.

К. С. Во время войны мы, я в том числе, очень яростно ругали некоторые наши предвоенные книги, где фашизм очень легко сокрушался нами после нескольких дней войны, а внутри фашистской страны власть брали в свои руки революционные силы. Скажем, роман «Первый удар» Шпанова или фильм «Если завтра война...».

Но, исторически подходу сейчас к этому вопросу, думаю, что быстрота, с которой побеждался фашизм в этих произведениях, а главное, легкость, с которой вспыхивало народное восстание против него изнутри, в какой-то мере отражали наши тогдашние надежды. И даже во время войны у нас где-то еще оставались надежды на то, что в Германии что-то произойдет, что-то случится...

Про войну все еще трудно говорить, даже сейчас. В общем-то мы были самой войной четыре года неразрывно связаны с немцами в самом страшном из всех мыслимых сочетаний. И я не помню такого дня на войне, чтобы я не думал о немцах. Другой вопрос — как? Если говорить с точки зрения моей тогдашней психики, немцы присутствовали в ней все годы войны со страшной и постоянной силой в качестве прежде всего врага. И однако, при этом все время возвращался вопрос: как же это могло получиться? Как все это вышло? Как фашизм пришел к власти? Почему он с такой силой подмал под себя нацию? Этот обращенный в прошлое трагический вопрос тоже присутствовал в моих мыслях о немцах. В конце войны меня глубоко интересовало, что

думают немцы обо всем происшедшем. Свидетельство этому — мои дневники сорок пятого года. Я попал в Силезию зимой сорок пятого года и разговаривал там с разными немцами — со священниками, с бывшими коммунистами, с обывателями, с мелкими буржуа — и тогда же подробно записывал эти беседы. Эти записи того времени я сейчас опубликовал, и может быть, вам было бы интересно, если бы вам просто с листа перевели два-три десятка страниц этих бесед. Книга эта называется «Незадолго до тишины». Там, конечно, не только разговоры с немцами, но разговоры эти свидетельствуют о моем тогдашнем огромном интересе и к Германии, и к немцам, и к тому, что будет с ней и с ними. В этих записях есть мои тогдашние выводы — почему фашизм пришел к власти, что такое немцы и как с ними дальше быть. В этих тогдашних выводах многое неправильно, в них есть крайности — но я все это оставил в тексте записок. А в примечаниях написал, что это сделано для того, чтобы наши немецкие товарищи наглядно представили себе сейчас, какую дистанцию нам в наших чувствах к немцам пришлось пройти от того времени до нынешнего.

К. В. Мне кажется, что теперь вы иначе подходите к использованию своих дневников. Прежде вы ими пользовались как сырьем для своих романов, перерабатывая их. Теперь же вы публикуете свои записи непосредственно как документ. Почему?

К. С. Этот метод был избран мною с самого начала. Кроме некоторых, главным образом личного характера, купюр, я делал в дневниках только литературную правку, совершенно необходимую, потому что обычно эти дневники были наспех расшифрованными стенограммами, не всегда удобными для чтения.

К. В. Да, но насколько мне известно, вы для своих романов пользовались своими дневниками...

К. С. Я использовал свои дневники, конечно, и для романов о войне. Для одних больше, для других меньше. Но сейчас я заканчиваю работу над тем, чтобы свести все свои военные дневники в два больших тома. Это как бы параллельная работа с работой над романами — от начала войны и до конца. В тексте дневников всюду будет ясно — где то, что я записал тогда, в дни войны, и где то, что я вспомнил и добавил сейчас. Романы, конечно, тоже в какой-то мере опираются на дневники — потому что ведь жизнь-то у меня была одна!

К. В. В этом-то и заключается мой вопрос: каково соотношение материала автобиографического, то есть того, что сохранила па-

мять и что записано не было, возможно, потому, что тогда что-то не хотелось записывать, с дневниками, к которым теперь можно обращаться как к своего рода чужому документу того времени. Думаю, что чем больше отдаляешься от той поры, о которой пишешь, тем усложненной становится этот метод.

К. С. Дневниковые записи для меня, когда я пишу романы, только подспорье. Я из них выбираю какие-то нужные мне эпизоды, мелочи, детали, ситуации, некоторые факты. Когда будут изданы все дневники, в ряде случаев читателю станет очевидно, «откуда что берется» в романах. Я уже издал одну саморазоблачительную в смысле литературной текстологии книжку — она называется «Записки молодого человека». В первой половине книжки напечатан мой военный дневник, а вторая ее половина называется «Три повести почти о том же» — в ней напечатаны три повести, написанные о том же времени и на том же материале, о котором рассказано в дневниках.

К. В. Я расспрашиваю вас так подробно потому, что именно сейчас меня это интересует для собственной работы. Вы вот сказали, что вам и по сей день тяжело говорить о войне. Так же как и нам по сей день тяжело говорить о фашизме, хотя и по другим причинам. Знаю, что мое поколение, детство которого прошло при фашизме, до сих пор еще не до конца «переварило» пережитое. О таком вот детстве я сейчас пишу книгу. У меня, конечно, нет дневниковых записей, я пытаюсь быть достоверной, опираясь на свою память, и эти воспоминания проверяю по доступным мне документам. И тут я порой делаю поразительные открытия, относящиеся к психологии памяти, — так что книга, чтобы стать «реалистической», должна иметь несколько планов.

К. С. Я с вами вполне согласен. Это, по-моему, правильный литературный ход и правильный метод. Мне, во всяком случае, он очень близок. Я именно так и делаю свою последнюю книгу — военных дневников. Хочу повторить, что мои дневники сорок пятого года, если вы их прочтете, дадут вам представление, насколько велик был тогда мой интерес к немцам, к Германии и к тому, что будет после войны.

После войны я был в первой нашей воксовской * культурной делегации, которая поехала в Германию.

И здесь у нас, в Москве, я занимался в Союзе писателей при- емом первой делегации немецких писателей во главе с Келлерманом. Тогда у меня возникли первые знакомства с моими немецкими коллегами, в том числе с Вайзенборном, Клаудиусом*,

Хермином. Здесь, в Москве, встретил Буша и впервые после войны слышал, как он поет. Таким было начало новых связей и отношений.

Если говорить о дальнейшем, то писатель есть писатель, и, когда ты чувствуешь интерес к твоим книгам, это возбуждает у тебя дополнительный интерес к твоим читателям. Для меня очень дорого и внутренне психологически очень важно, что немецкие читатели читают мои книги на такую непростую — и для них, и для меня — тему, как минувшая война.

Дело в том, что такой кусок жизни, как эта война, хотя связь тут, как говорится, не самая лучшая, но все же это общий кусок истории для нас и для немцев. Я думал писать свой последний роман о последних днях войны, о периоде Берлинской операции. В связи с этим я много разговаривал со многими немцами, участниками этих событий, — от фольксштурмистов, и молодых и старых, до тех немецких товарищей, которые были первыми районными бургомистрами, членами комитета «Свободная Германия» и которые в очень психологически трудной для них обстановке становились городскими властями.

У меня сохранилось много записей этих разговоров, очень интересных. Я многое записал, многие люди очень искренне со мной говорили, и записи очень откровенные.

Но потом, после долгих размышлений, я передумал. Я почувствовал, что не сумею психологически проникнуть в глубины того внутреннего трагизма, с которым были связаны последние дни Берлина там, на той — немецкой — стороне. А без этого роман о последних днях войны, с моей точки зрения, был бы неполон. И я, отказавшись от первоначальных наметок, решил завершить третью, последнюю книгу своего романа там, где у меня начиналась первая, — в Белоруссии.

К. В. Может быть, советской и немецкой литературам следовало бы дополнять друг друга... Правда, в определенных случаях возникает вопрос, настало ли время об этом писать. Самому автору тоже нужна внутренняя свобода для преодоления сложного и трудного материала. Я была сверстницей тех мальчишек из фольксштурма. Мне повезло: я родилась девочкой и мне не пришлось стрелять. В конце войны я оказалась под Берлином в колонне беженцев, уходящей на северо-запад, и битва за Берлин нам виделась как зарево огня на горизонте. Что мы тогда ощущали на самом деле, как мы восприняли встречу с Красной Армией — мне кажется, об этом до сих пор не написано с полной откровенностью. Не знаю, возможно, еще не настало время? А может быть, кто-то и справился бы с этим, если бы смог сочетать свое нынешнее отношение с тем, что было пережито тогда...

К. С. На это трудно ответить. Тут, наверно, у каждого из нас свое. Внутреннее ощущение, что тебе пора это сделать, все-таки главное для писателя. Мне пора это написать! Так садись и пиши, если ты так чувствуешь! А пора ли будет это отдать в руки читателю — это уже второй вопрос. Тут могут быть и споры, и разные мнения, и разные решения... Извините меня за то, что я не знаю этого, но ведь, наверно, когда вы написали свое «Расколотое небо», разные люди по-разному считали, пора или не пора говорить о том, о чем вы в нем сказали?

А вот для меня, например, как для читателя, для меня это было пора, в самый раз, потому что меня эта ваша книга многое заставила понять и, может, еще больше — почувствовать.

К. В. Бывают ли у вас проблемы, конфликты — для вас как для политического деятеля, — о которых вы не должны писать, не считаете возможным писать? Не потому, что вы как писатель не можете совладать с материалом, а потому, что вам кажется, что об этом вредно писать, либо потому, что, по вашему мнению, написанное не может быть опубликовано в данный момент, — словом, что-то вроде самоконтроля.

К. С. Конечно, были. Мне кажется, здесь стоит провести водораздел между романом и вообще между чисто художественным произведением и, скажем, дневниковой книгой или мемуарами. В случае с романом я сразу принимаю решение — или я его пишу, или не пишу. А с книгой мемуаров дело сложнее. Я очень боюсь таких воспоминаний, где человек одно пишет на бумаге, а другое оставляет «на потом», в голове. Я сторонник воспоминаний, где человек пишет подряд все, что он считает нужным написать, зная, что он не все из этого напечатает.

К. В. Касаясь литературы моей страны и моего поколения: меня не покидает ощущение, что самые важные события — внутренние и внешние, — самые важные решения и конфликты, определившие наше развитие и уже почти три десятилетия подряд нас волнующие, весьма слабо отражены или почти совсем не затронуты в нашей литературе. Хотелось бы знать, у вас такое же ощущение?

К. С. У меня тоже есть, например, ощущение, что нам бы надо пошире написать, скажем, о драматических для нас предвоенных событиях, думаю, много объясняющих в последующем. Надо написать всю картину времени и общества. В этой картине должна присутствовать и драма людей, не понимающих, что происходит. Но в этой картине должна быть показана и индустриализация страны в обстановке ожидания войны с фашиз-

мом, которая вот-вот должна начаться. И ощущение этой надвигающейся с запада войны, в то время как у нас на восточных границах люди уже по три года сидят в окопах, ожидая нападения японцев. А одновременно со всем этим — полеты через Северный полюс. А одновременно со всем этим — Испания, советские добровольцы, Интербригады, взрыв интернационалистических чувств и значение всего этого в жизни каждого из нас. Вот если дать весь этот конгломерат! Тогда все нашло бы свое место. Таких сочинений о том времени пока что у нас не хватает. И ощущение необходимости их появления у меня лично все усиливается. Может быть, и я, когда закончу с войной, возьмусь за книгу о том времени.

К. В. По-моему, это было бы очень важно. Вы как писатель-коммунист, дисциплина и чувство ответственности которого отличны от дисциплины и чувства ответственности буржуазного писателя, не считаете ли опасным, что порой вы слишком далеко заходите в самоконтроле? Не ощущаете ли вы опасность, что пишете лишь то, чего от вас ждут, и, возможно, *видите* лишь то, чего от вас ждут? Что уже не способны видеть и ощущать свежо и непосредственно, а ведь это и есть предпосылка для любого творчества.

К. С. Мне кажется, что я, в общем, довольно здраво смотрю на вещи, вижу реальность жизни и какой-то особой, суживающей избирательности в наблюдениях у меня нет. В то же время, конечно, с внутренней собственной цензурой мне приходится иногда бороться. Потому что сам иногда думаешь и колеблешься — надо ли об этом сейчас или не надо? Поможет это или не поможет установлению правильного взгляда на те или иные проблемы?

И так как почти на всякий подобный вопрос существуют разные взгляды в обществе, то как писатель к кому-то присоединяешься в этих взглядах, а с кем-то споришь. И я себя иногда упрекаю, когда у меня возникает ощущение, что я струсил перед решением какой-то проблемы, которую надо было поставить и решить. Я и бываю доволен собой, когда чувствую: не струсил, не дрогнул перед сложностями нашей жизни.

Скажу вам об очень важном для меня различии: когда возникает какой-то принципиальный и острый вопрос, который надо в жизни решить, и ты как писатель можешь помочь решить этот вопрос, то я считаю, что писатель должен сказать свое слово, не страшась правды, в том числе и трудной.

Но бывает и так, что много из нас, писателей, сам вопрос, существующий в жизни, мало интересуется. И писатель этот не видит реального пути помочь решению вопроса.

И, вмешавшись в него, всего-навсего хочет показать, какой он храбрый. Такого рода показной смелости я не уважаю.

Хочу добавить к тому, что я сказал в ответ на ваш вопрос о нас и немцах, что мне, без преувеличений, кажется, что историческое соседство наше с немцами заставляет нас все время думать друг о друге. И у меня такое ощущение не только от многих поездок в ГДР, но и от последних поездок в ФРГ, что этот интерес взаимен и весьма серьезен. Трудно представить себе будущее Европы, исключив из своих размышлений то, что связано для нас в нашем прошлом, в том числе в военном прошлом, с немцами, а для немцев с нами. Политические контакты могут быть те или другие, о них могут писать больше или меньше, но наш взаимный интерес — величина постоянная, исторически обусловленная и имеющая будущее...

К. В. Для нас, для моего поколения, вопрос об отношении к русским возник гораздо позже, чем для вас — к немцам. Не только потому, что вы старше, но и по другим причинам. Насколько я могу припомнить, само слово «русский» возникло для меня только в начале войны против Советского Союза и как обозначение страха. Русские — это устрашающая карикатура в газетах, на плакатах, весьма опасная порода людей, стоящая значительно ниже немцев. Первыми живыми русскими, которых я увидела, были военнопленные и перемещенные, мужчины и женщины. И только после войны, когда в небольшой мекленбургской деревушке, где я работала делопроизводителем у бургомистра, мне пришлось иметь дело с офицерами и солдатами советских оккупационных войск, только тогда русские стали для меня конкретностью. Трудно поверить, как много требуется времени, чтобы абстрактное представление о другом народе — пусть сперва как о пугале, пусть позже как об идеале — стало наконец живым, обрело разные лица, наполнилось отношениями, много для тебя значащими. Это долгий, к тому же переменчивый процесс; после множества самого разного рода встреч возникло новое, как мне теперь кажется, близкое к действительности отношение к русским, к русскому народу, к Советскому Союзу; и это одно из самых важных накоплений опыта вообще в моей жизни, не обязательно как некий «материал», но для моей работы этот опыт чрезвычайно важен.

А теперь, если позволите, я задам еще несколько вопросов о вашем методе работы. Я наблюдала вас в течение двух дней во время празднования 80-летия Маяковского. Вы помогли организовать очень интересную выставку, открыли ее, приняли участие в разных вечерах, выступали на них. И когда бы я вас ни видела,

вы были заняты, всегда окружены людьми — когда же вы работаете?

К. С. Наверное, у меня, как и у каждого из нас, работа, грубо говоря, распадается на два перемежающихся периода. Один период — это когда непосредственно пишешь, правишь, доводишь до конца книгу, и второй период — между книгами предыдущей и последующей, период, когда доделываешь заброшенные за время работы над книгой дела, готовишься к новой книге, собираешь материалы, делаешь заметки. В такие времена я работаю не особенно регулярно и особенно много времени отдаю при этом выполнению различных общественных обязанностей. А в те, главные для всякого из нас времена, когда пишется очередная книга, я работаю, в общем, регулярно, почти каждый день, начинаю работать с утра, иногда, если работа идет хорошо, работаю до позднего вечера. Общественные обязанности и различные другие дела не позволяют, конечно, и в это время иногда целиком сосредоточиться на книге. В этих случаях я стараюсь два дня проводить в Москве, занимаясь всеми другими делами, а пять дней сидеть за городом, работая только над книгой и не беря с собой ничего из другой работы, которая могла бы меня отвлечь от главного.

К. В. Говорят, вы весьма организованный человек. Значит ли это, что вы открыли метод справляться с такими бедствиями, как почта и телефон?

К. С. Слухи о моей организованности, которые иногда распространяют мои товарищи по перу, сильно преувеличены, что, впрочем, очевидно из моего ответа.

Проблема писем, наверное, — большая и трудная проблема для всякого писателя, если писем приходит много. Письма делятся, в общем, на две основные категории: письма, связанные с твоей писательской работой, так или иначе оценивающие ее или ставящие перед тобой в связи с нею те или другие вопросы, и письма, связанные с постановкой различных жизненных, общественных проблем, о которых тот или иной человек, читавший твои книги, хочет узнать твое мнение как писателя. К этой же категории писем, составляя часть ее, относятся письма людей, у которых произошли различные жизненные неурядицы, которые претерпели те или другие действительные или мнимые обиды и которые просят разобраться в их деле и помочь им своим авторитетом.

Иногда мне подолгу не удается взяться за разборку очередной партии писем, особенно тогда, когда я в разгаре работы над книгой. Рано или поздно в принципе я смотрю все присланные

мне письма; далеко не все они требуют ответа, далеко не всегда я испытываю чувство нравственной обязанности ответить на то или иное письмо. Во всех тех случаях, когда я испытываю чувство такой нравственной обязанности, во всех случаях, когда в письме поставлена общая житейская или личная проблема или когда поставлены принципиальные вопросы, связанные с жизнью общества или уже — отражением жизни общества в моих книгах, я отвечаю на эти письма, повторяю, иногда не сразу, потому что ответить на них сразу мне не позволяет работа.

К. В. Могли бы вы сказать мне о вашем отношении к литературам стран немецкого языка? Как вы относитесь к их традициям? Какие произведения старой или новейшей литературы произвели на вас наибольшее впечатление, оказали на вас влияние?

К. С. Как всякий человек, получивший гуманитарное университетское образование, я знаком с немецкой классической литературой — с Лессингом, с Гёте, Шиллером... Меньше с немецкими романтиками; из них прочел от доски до доски, пожалуй, только Гофмана. У Гейне для меня большее значение имела его проза, чем его стихи, может быть, еще и потому, что — боюсь это сказать, ибо его переводили у нас первостатейные переводчики, — все-таки в моем ощущении Гейне еще не нашел у нас такого переводчика, какого, скажем, в лице Маршака нашел Бернс. В новой немецкой литературе для меня самым важным писателем был Брехт. Я читал все, что переведено на русский язык, — пьесы и прозу, статьи и стихи. Дальше всего я от его стихов, потому что они опять-таки или не переведены, или вообще непереводимы, я не воспринимаю их непосредственно чувством, для меня они прежде всего ум, острота этого ума, почему-то в данном случае облеченные в стихотворную форму. А в общем, у Брехта я люблю все, с первого чтения он заставлял меня думать и заставляет думать и до сих пор над многими важными для меня вещами; кстати сказать, однажды, в сорок шестом году летом, я в течение нескольких часов сидел и разговаривал с Брехтом. Я был в это время в Соединенных Штатах, в Голливуде. Мы вместе завтракали у меня с Брехтом и Фейхтвангером. Фейхтвангер был для меня человеком, чьи романы я в юности читал с огромным интересом и к которому относился с большим уважением. Брехт оказался какой-то вспышкой света, какой-то шаровой молнией ума, остроумия, обаяния. Таким мне запомнилось это единственное свидание с ним.

Романы Ремарка, которыми у нас зачитывались очень широко в пятидесятые годы, мне тоже нравились, я не был исключением среди большинства русских читателей. Но они не заслони-

ли для меня «На Западном фронте без перемен», который все равно в моем сознании остался лучшей книгой Ремарка, даже неким верстовым столбом, от которого идут многие отсчеты и взад и вперед в европейской литературе двадцатого века.

Думая о немецких писателях, анализирующих возникновение фашизма, и его бытие, и его последствия, не могу под свежим впечатлением не сказать о том, как сильно заинтересовала меня в самое последнее время новая книга Генриха Бёлля «Групповой портрет с дамой». По моему личному убеждению, это не только лучшее из всего, что написано Бёллем, но и серьезная пища для размышлений, данная миллионам читателей, и вовсе не только немецких. Непримируемость к фашизму облечена в этом романе в форму такого сложного и глубоко аналитического повествования, которое заставляет думать над этой книгой, и чисто профессионально для меня составляет предмет глубокого интереса то, как она выстроена; по каким-то законам, во многом новым, возведено это удивительное литературное здание.

Эрнст Буш в моем сознании не только удивительный певец, но и явление, связанное со всей немецкой антифашистской поэзией, а эта антифашистская поэзия в свою очередь связана для меня с представлением о немцах, с оружием в руках сражающихся против фашизма и на земле Испании, и не только там. Вспоминая встречи с Бушем, я вспоминаю весь накал немецкой антифашистской поэзии, вспоминаю Бехера, вспоминаю Вайнерга, думаю о Стефане Хермлине, думаю об Анне Зегерс, которую глубоко люблю и за ее книги, и за нее самое, за то, какая она сама прекрасная и благородная.

Из книг немецких литераторов вашего поколения самое сильное впечатление на меня произвели две: первый том «Приключений Вернера Хольта» Дитера Ноля и ваше «Расколотое небо». Это не значит, что я не читал или не ценю других книг этого поколения литературы ГДР, нет, я просто хочу сказать: мой собственный жизненный опыт и моя духовная жизнь, очевидно, почему-то с особенной остротой и вниманием заставили меня взглянуть именно в эти две книги.

К. В. Если хотите, ответьте мне еще на один, последний и, может быть, назойливый вопрос: существует ли для вас своего рода опасность, которую порождает слава? Существует ли что-нибудь, что делаешь или не делал бы во имя того, чтобы не рисковать этой славой — популярностью, к которой, возможно, уже и привык?

К. С. Трудно отвечать на вопрос о славе писателя или о его популярности без притворства. Лучше вообще на него не отвечать. Но, как говорили у нас в старину, перекрещусь и все-таки

прыгну в воду. Опасна ли слава или ее синоним — популярность? По-моему, ответ может быть только один: конечно, опасна. Разумеется, писатель, сознавая, что его широко читают, должен больше многих других людей думать о том, как вести себя, должен с большей чуткостью относиться к возможности обидеть, задеть другого человека, должен привыкнуть к постоянному самоконтролю. Я думаю, со всем этим легче справиться, когда продолжаешь работать, продолжаешь писать, а не живешь на проценты с написанной когда-то давным-давно книги. Вообще, когда много работаешь, остается меньше времени думать о другом, в том числе о собственной славе или собственной популярности. В этом еще одно преимущество постоянной работы. Трудно ли отказать от своей популярности, если уже привык к ней? Должно быть, трудно, и если эта дилемма требует определенного шага, который зависит от самого писателя, то наверняка нелегко решиться на такой шаг.

И наконец: разве мы сами не содействуем каким-то образом собственной популярности, хотя бы время от времени? Мы то и дело именно так поступаем, порой сознательно, порой бессознательно. И в этом смысле я, вероятно, тоже не составляю исключения.

Июль 1973

ПЕРЕЧИТЫВАЯ МАКСА ФРИША, ИЛИ О ПОВЕСТВОВАНИИ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В принципе все записываемое нами в эти дни — не что иное, как отчаянная самозащита, непрерывно идущая за счет правдивости, ибо если кто останется правдивым до самой последней сути, то, вступивши в хаос, он уже не вернется назад. Или же только преобразив его.

А между этим и тем — одно лишь неправдивое.

Макс Фриш, 1946

Предположим,

справедливо то, что утверждает Макс Фриш: *Наши усилия направлены, вероятно, к тому, чтобы высказать все, доступное выражению.* Предположим, всякий автор стремится к совершенству, то есть, по Фришу, цель бесконечных писаний и духовных усилий, которым художник, вступая в литературу, подчиняет свою жизнь, — достигнуть, на собственный, ему доступный лад, аутентичности. Предположим, пыл этой страстной жажды не

оставляет ему выбора, возможности менее катастрофичного существования. Тогда возникает вопрос о характере болезненной травмы, об особенной природе конфликта, выгоняющего на поверхность одну за другою работы, слагающиеся понемногу в то, что получает затем наименование чего-то «творчества». Макс Фриш считает своего рода долгом отчитаться в этом.

Не время теперь для разглаговльствований от первого лица. И однако, человеческая жизнь реализуется либо не удается в пределах одного отдельного «я», а не где-то еще. Воздействовать на читателя сможет лишь тот автор, которому выпало счастье в себе самом переживать коренной конфликт своего времени и выражать его, сгнетая и делая видимым и понятным. Читателям представляется, что они находят в его книгах себя. Сомневаюсь. Фришевская проза обладает еще одним измерением, лежащим за пределами фабул, которые выстраивает, повествуя, и он. Чтобы найти себя и себя скрыть, он принимается за себя сразу с двух сторон, все решительнее и безжалостнее применяя язык в качестве точного инструмента: в «вымышленных» историях, все реже завершаемых, все чаще лишь в зачатке намеченных, прячет он глубоко личное; в дневниках ведет речь о материях объективно-политических, об «окружающем». Расслоение никогда не было, разумеется, абсолютным. Однако почти во всех его работах романного характера повествование идет от первого лица. В дневнике «я» становится редким словом. Ни одному из центральных персонажей в его романах не дотянуться по духовному охвату и независимости до «я» дневниковых заметок: *близкая скованность их «я»* прямо-таки бьет в глаза. (Дневниковое «я» появляется и как «он», как «ты», как «вы».) Автор не сумел либо не пожелал измыслить героя себе под стать. *Не хотелось бы мне быть тем «я», с которым происходят истории моих писаний.*

Автор такого не сказал бы. Гантенбайн, живущий в воображаемом мире своих вымышленных историй, говорит это. Ното faber, как мы знаем швейцарец, становится в результате сцепления случайных обстоятельств любовником собственной дочери, о самом существовании которой он ничего не знает, родившейся у его бывшей подруги, немецкой еврейки (конструкция, всегда не особенно мне нравившаяся); в дневнике читаем, в качестве реминисценции: *В 1936 году, когда я собирался жениться на студентке из Берлина, еврейке по национальности...* Это — в порядке примера глубинных скрытых переплетений вымышленного и биографического, художественного повествования и дневниковых заметок, наводивших на размышления при перечитывании круглым счетом двух тысяч страниц фришевской прозы. Есть особая логика в той закономерности, по которой этот автор заставляет устремляться друг к другу две линии своей работы. Не естественно ли предположить, что человек, неустанно обращающийся

к пережитому, окажется в некий день перед подлинной историей собственной жизни; что все обнаженно предстанет ему еще раз; что законность своего права, которым пользуется так же, как и в самом начале, он проверит теперь на том, как справится с этой задачей, с уяснением им самим пережитого? Нежелание выдумывать, щадя и оберегая себя, может подняться до той черты, где оно становится непереносимым и самоуважение зависит уже от того, выйдешь ли ты к читателю, не пряча лица. *Не то чтобы пишущий стал придавать своей персоне больше значения, а просто оттого, что поизветшила маскировка, он может оказаться вынужден явиться в абсолютной наготе повествовательного «я»,* пишет дневниковый «он».

Другой искус — полнейший камуфляж. *Я бы, пожалуй, не прочь написать сказки,* говорится в одном письме.

Допустим,

каждый автор с первых шагов ставит во взаимозависимость успех жизни и творчества. Признание Фриша в том, что он потому занимается своим делом, что ему *скорее дается писание, чем жизнь*, следует понимать буквально; писать, хотя ему были открыты и иные возможности, он должен был начать, по его словам, потому, что этот вид деятельности соединял в себе два жизненных аспекта, важных для него в ту пору: *покаяние и труд*; глубочайшее его стремление — не создать шедевр (ну, это, разумеется, тоже), а выжить; потребность раскрыться, фиксирует он, сталкивается с инстинктивной противодействующей силой стыда; принужденный к безостановочной исповеди, он тем не менее лишен радости освободительного отпущения, поскольку сознание греховной виновности немедленно восстанавливается; но и в ревностном стремлении к правдивости самонаблюдение раскрывает уловку: *быть правдивым до эксгибиционизма, лишь бы только обойти одно, самое большое место; а источник боли, всегда, глубоко залегающий страх: не дотянуться.* Отброшенный к себе самому, автор оказывается перед необходимостью исходить из собственной ситуации.

Для «больших тем» доступ в его прозу, его сокровеннейшее средство выражения, закрыт, желание искренности исключает возможность обращения к ним: они не принадлежат к его личному опыту. Вполне убедительны его уверения в том, что *социальная ответственность писателя открывалась ему лишь постепенно, следуя за успехом.* Человек не представительской складки, гражданин традиционно нейтральной страны, родившийся в 1911 году, он не примыкал к каким-либо политическим движениям из отчаянного, горячего стремления к чистоте, делающего политическую деятельность почти невозможной, и из страха перед собственной всякого рода организациям тенденцией к институализации. Он делает, думается мне, попытку научиться жить вне диктата альтернативных решений. *Навязываемые нам теперь аль-*

тернативы я считаю запоздалыми, а потому и ложными (Журманн). Но он живет вопрошая, а значит, и не без веры в грядущее (*Я спрашиваю*). Вопросы разрастаются в целые опросные листы, настойчиво требующие ответов, быть может, как отголосок скрытой надежды выйти на других спрашивающих. Таков, пожалуй, общий характер его представлений, тем более что и на историю, и на литературный сюжет он готов смотреть лишь как на суммирование процессов и фактов (*Вот такие дела*), а не как на оформление и выявление смысла, непременно им свойственного, от Бога ли либо по природе вещей. Но в его мироощущении нет ни абсурдности, ни трагизма.

Не склонный к чрезвычайностям, он живет в умеренной зоне скепсиса, грозящего перейти в резиняцию, однако открыто его проявлять он себе не позволяет, удерживаемый застенчивостью, чувством стыдливости (*Почему любой отголосок резиняции всегда отдает бесцеремонностью заголения?*), а также из скромности: кто я такой, чтобы рассуждать о собственной разочарованности? Его сомнения честны — он сомневается и в своей компетенции.

Он рано начинает сознавать, что для нас нет больше уже никакой *terra incognita* (представление, впрочем, которое вряд ли разделяет с ним писатели из социалистических стран, где преобладает ощущение непечатаемой полноты невиденного и невысказанного); не считая России, в скобках добавляет он, поскольку в ту пору еще не путешествовал по Советскому Союзу. И вынужден задать себе вопрос: *К чему тогда все эти побасёнки?!*

В работе, то есть с пером в руке, он дает ответ: чтобы стать в отношении к собственному, разумеется также и литературному, существованию, вызывающая на вопросы сомнительность которого отчетливо им сознается. Обе линии его прозы на протяжении десятилетий пересекаются (можно бы даже сказать — предательски) во все сызнова предпринимасмой попытке сформулировать и выразить в слове чувство боли, боли от разрыва между потребностью действительной жизни (жизни действительностью) и пронзительно ощущаемым обесплочиванием, выхолащиванием действительности. Это чувство отчуждения, узанное им, должно быть, намного раньше, чем обозначающее его словесное выражение, является корнем той личной драмы, к которой обращены все его «романы» и «рассказы»: человек (человек-мужчина), болезненно переживающий скудость собственного бытия без ярких впечатлений и сильных чувств, необусловленность своего существования вне ответственности и роли, страдающий от собственной неспособности любить и внушать любовь, — в непреодолимой отчужденности по отношению к ближнему, к женщине, которую он своим страхом, чувством вины, преклоением, ревностью удерживает на расстоянии.

Жизнь как длительность без настоящего. Доступное нам в пережи-

вании есть ожидание либо воспоминание. Парадокс, не поддающийся разрешению: быть аутентичным только тогда, когда удастся выразить главный итог всех исканий — недостижимость аутентичности.

Внимание повествователя отдано *сопфженности высказываний*. *Беллетристика* для него — слово ругательное.

Судьба большинства из вымышленных им персонажей оканчивается ранней смертью.

Наиболее пространный иноязычный фрагмент, включенный им в дневник 1966—1971 годов, взят из «Нью-Йорк таймс» и касается права на смерть с сохранением достоинства, вопроса об эвтаназии.

Он мог бы составить целые списки жизненных обстоятельств и людей, ставших объектом его попыток вытеснить их из памяти; и тех, к кому испытывает благодарность; объемистые каталоги радостей и чудес жизни.

Отчаяние не для него, слишком сильно в нем, выражаясь языком морали, чувство справедливости.

А ну как в один прекрасный день он почувствует, что уже сказал все, что дано ему было высказать? Если б потребность обнажить и потребность умолчать уравнились в успокоенной совести, вполне возможным следствием этого стала бы немота. Требуемое от автора усилие заключает в себе и нравственную составляющую.

Непосредственный

до прямолинейности, поскольку отказывают почти все средства и опосредования литературной техники предшествующих времен, автор вынужден пустить в дело себя самого. Впрочем, это, пожалуй, все-таки преувеличение, поскольку *если кто и останется правдивым до самой последней сути, то, вступивши в хаос, он уже не вернется назад. Или же только преобразит его.* И потому отдачи всего себя целиком, полной отдачи жизни, вне пределов литературы (или разве что в такой, которая преобразила бы жизнь), — такой самоотдачи не происходит, и чувство вины за это остается; отсюда — и самоосуждение в несправедливости, неведомое авторам старших поколений, поскольку их задача бывала выполненной, если они, даже под угрозой внешних опасностей, «говорили правду», которую, как полагали, знали. Место внешней угрозы у таких авторов, как Фриш, заступает самосомнение. *А между этим и тем — одно лишь неправдивое.*

И страх, и надежду, и катарсис я, сегодняшний читатель, переживаю, силясь проследить пути этого эксперимента, производимого автором над самим собой. Он желает хотя бы мысленно дойти до последних пределов. В явно бросающемся в глаза соответствии с теми прегрешениями мыслью, которые католическая церковь приравнивает к совершенным грехам, он подвер-

гает себя испытаниям мыслью, проверяет, может ли действовать бездумно, заставив молчать воображение, то есть в состоянии ли совершить преступления, изобретенные этим столетием. *Над небольшим городком, смотрящимся отсюда словно один из наших архитектурных макетов, я вдруг произвольно ловлю себя на мысли, что был бы вполне способен сбросить на него бомбы. (Удивительно [...], до чего мала сила нашего воображения.)* Желание *возвратиться к человеческому масштабу*, из которого нас повсеместно вырывают, к примеру полеты, да и другая техника, — вовсе не какая-то авторская причуда. Он пытается осознать выпавшую на его собственную долю часть тех видоизменений и деформаций, которым, зачастую не желая обращать на это внимания, подвержен каждый из нас, это его способ указать на них.

Едва ли, кажется мне, какие слова встречаются у него чаще, чем «не справиться», «потерпеть поражение», «оказаться не на высоте», «спасовать». Частью рефлектируя, частью также описывая, диагностируя, местами примериваясь осторожно к сюжету, кружит он вблизи этого центра. От работы к работе можно было бы продемонстрировать вызревание, взросление этого страха перед собственной недостаточностью (здесь нет противоречия, и страхи наши тоже умеют взрослеть), который он постепенно начинает понимать как реакцию обостренно впечатлительного человека-мужчины на непосильные сверхтребования общества, скроенного по мужской модели, — от раннего категорического самонеприятия (*лишь поскольку я знаю, что это никогда не было моей жизнью, я способен примириться с этим... как с моим собственным поражением.* «Штиллер») до более позднего, каждому из нас адресованного вопроса к дневниковому «я»: *Итак, вы довольствуетесь относительной собственной безвиновностью?* От страха неполноценности, прямо заявляющего о себе в первых книгах, отгоняемого работой и неизбежно сопровождаемого чувством подавленности (*после работы наваливается мрачное уныние*), — к решимости второго дневника пробиваться без околнностей через завесы самообмана, ставя недвусмысленные диагнозы. (Многочисленные свидетельства этого — фрагментарные наброски к рассказам, которые все обращены к миру неуверенного в себе либо приведенного в неуверенность мужчины.) От замороженности абсолютным, ошибочно принимаемой за радикальность, к пониманию значения практического, даже практицистского разума; от ужаса перед греховностью древнего соблазна — замкнуть в однозначном облике свое или чужое «я» (*создать себе кумира*), пусть даже и любовью, — к реалистическому усилению вступить в конкретные, точные, непрерывно меняющиеся взаимоотношения с таким, как он есть, миром.

Противоречия, возможно и не менее тяжкие, чем вначале, становятся проясненнее; позволю себе даже сказать —

значительнее. Странническая тяга к несвязанности, необусловленности, отличающая ранние персонажи, не клеймится и не разнечивается, не объявляется несостоятельной на фоне осознания того, что не поможет ни желание не быть тем, что ты есть, или игра в слепоту, ни разжигание в себе несбыточных стремлений и побег из реального бытия, — она снимается во все более глубокой постановке вопросов об истоках и обусловленности побдных форм жизнеотношения.

Пораженный,

видя *невозможность оставаться нравственным и жить (ее обострение в эпоху террора)*, глубоко обеспокоенный противоречивым расхождением собственных мыслей и поступков (*К примеру, вы жили в обществе, порядки в котором называюте гнусными. Вы поддерживали изменения и т. п., но все это следует из ваших многочисленных высказываний, а не из ваших действий*), Макс Фриш на протяжении всей своей жизни защищается от натиска молчаливого примиренчества с существующими условиями, не желая оказаться проглоченным. И как ни парадоксально, однако именно это неповиновение приводит его к некоему положительному смыслу, к глубокой внутренней необходимости верить только-так-а-не-иначе — не к недовольству, раздраженному отращению, скуке, а к трезвой уравновешенности, высвобождающей скрытую энергию, и к пониманию задачи, в выполнении которой он видит теперь свое личное назначение: ставить на пути происходящей в наши дни чудовищной деформации человека ее отображения. *Достижимая правдивость всегда будет нести нам одиночество, но она — то единственное, что мы можем противопоставить...*

Вот здесь-то и удастся ему (возможно, неведомо для него самого) открыть свою terra incognita; она — не страна, не тематическая «область» или какая-то местность, не идеологическая система, не человеческий тип или общественный слой. Отправной точкой остается, вполне естественно и к счастью, сугубо личное. Но какие здесь таятся возможности... И они реализуются, заставляя нас основательнее задуматься и предоставляя нам для этого продуктивный исходный импульс. Формируемые отправные модели выходят за собственные границы.

Модель осмысленной по отношению к другим жизни.

Проблематика, лежащая, как кажется, вне пределов литературы. Что же, я и держусь того мнения, что исходные мотивы литературы следует искать не в ней, а в нас. Однако можно было бы показать, насколько точно прозаические литературные формы, принимаемые Максом Фришем в традиционном виде либо создаваемые им самим (в особенности смешанный характер последнего дневника), отвечают побудительным мотивам, по которым он ориентируется. В данном случае завершенная целостная

форма представляла бы для автора (или для нас) наименьший интерес.

Сказки? Да нет, что-то не верится; пусть даже и в манере тех сказок, какие писал Кафка. Мне видится, как он, с прежней верно-стью следуя своим лейтмотивам, все наращивает уже и теперь необыкновенно высоко поднятое напряжение между обоими полюсами — *скромностью умолчания и нескромностью разглашения*, все снова и наново отвечая на почти нескромным ставший сегодня вопрос: в чем твоя вера? И можно не сомневаться, что боль, травма, о которых он говорит, не окажутся для нас чужими.

Август 1975

ВСТРЕЧИ

К 70-летию Макса Фриша

Дорогой Макс Фриш, места, в которых нам довелось встречаться, превратились в моих воспоминаниях в острова, поглощаемые приливом. Воспоминания в наших широтах все больше становятся своего рода службой по спасению ископаемых и реликтов. По сути, об этом-то мы, сами того не подозревая, и говорили, когда беседовали о Вашей новой книге — в Стокгольме, в мае 1978 года. Ваша новая книга тем временем вышла в свет — под названием «Человек появляется в эпоху голоцена», — и в посвящении Вы вспоминаете о том разговоре, в котором нам с Г. *, как мы имели некоторое право полагать, отводилась роль будущих читателей. С тех пор мы не виделись больше, те острова тонут, тонут, и где же, спрашивается, твердая земля, *дорога и в тумане — дорога*, уже многих засосала пучина нереального, несуществующего, живые превращаются в жажущих выжить, печаль вытесняется отвращением. Сначала боль сжимает сердце, потом большое сердце выходит из моды, и сердобольный автор обнаруживает, что потерпел крушение: *природа не нуждается в именах. Каменные глыбы не нуждаются в его памяти.*

Подобные фразы в нашем первом разговоре — за десять лет до упомянутого последнего — еще не вставали на горизонте. У природы были твердые имена: русло Волги, берег Волги — был май 1968 года — и пароход «Гоголь», везший писательскую братию на празднование юбилея Максима Горького. Мы говорили и говорили, сидя напротив друг друга в ресторане; медленно проплывали за окном берега, жара спадала, наступил вечер, потом ночь, погасла светлая полоска на западном берегу, а на восточном — уже под утро — затеплилась розоватая полоса,

и все детали исчезли, отступили в тень, отделились даже реявшие над береговыми кручами силуэты церквей с их луковками-куполами. «Церквей я насмотрелся», — сказали Вы... Мерное пыхтение парохода над притихшей темной водой, меж темных громад земли, под звездами северного неба — эта абстрактная ситуация уж могла бы заставить нас забыть, кто мы и где мы. Мы этого ни на секунду не забывали. Мы твердо помнили, что нам следует если не быть, то хоть казаться представителями.

Потом Вы напишете, что при нашем знакомстве ощутили во мне «настороженность». Как все-таки наши ожидания предопределяют наше восприятие! Настороженность — последнее, что могло бы мне прийти в голову, но откуда Вам было это знать? Нам приходилось до известной степени соответствовать шаблонам, прежде чем мы смогли их преодолеть. Мне, так сказать, по уставу полагалось быть настороже, Вам — козырять своими буржуазными свободами; я должна была доказывать Вам их ограниченность, Вы — упрекать меня в чрезмерном законопослушании. Но автоматизм этот функционировал отнюдь не безупречно. Вино и водка внесли свою лепту, но, думается мне, был тут замешан и иной дух. Пока наш «Гоголь» несколько раз останавливался в ту ночь, и прекращался встречный ветерок, и духота заползала в открытые окна; пока пароход входил в очередной шлюз и упорно — мы могли наблюдать это по снижавшимся в окнах цепочкам огней — преодолевал разницу в уровнях между Москвой и Горьким, он, похоже, незаметно (мы не могли бы уловить сам миг и сказать: «Вот!») преодолел и границы, нас разделявшие; дух Гоголя реял меж нами, после полуночи мы и сами, уже весьма оживившись, очутились под сенью безмолвных спутников из иного мира и вопреки всем правилам, без всяких переходов повстречались на почве утопии. То дуновение утра, подумали мы, но кто знает, что овесало нас тогда и заставило забыть все, о чем мы говорили, — так что, когда мы снова встретились уже позже, за завтраком, Вы осторожности ради спросили: «Ну что — беседуем дальше?..» Как обычный волжский пароход, вошел «Гоголь» в горьковский порт. Почва, на которой мы вроде бы так твердо стояли тогда, теперь основательно поколеблена. Не раз обнаруживали мы с тех пор, что все благие духи оставили нас, но беседу друг с другом не прерывали.

Попади мы еще раз на палубу «Гоголя» — что едва ли случится, — я могла бы указать Вам то место на ней, где Вы, опершись о поручни, упомянули имя Ингеборг Бахман *, сожалея, что она отказалась поехать, — упомянули очень по-личному. Потом мне не раз приходилось замечать, что Вы спешите как бы предупредить возможные мысли других на Ваш счет. Прогрессирующая открытость личной жизни — разве не свидетельствует она о том,

что границы, которые буржуазное общество провело между личным и публичным, распались? Что когда человека, призванного в качестве писателя быть посредником между этими сферами, лишают ответственности за публичные дела, он ощущает глубочайшую неуютность и в делах личных?

Вот о чем нам следовало бы побеседовать, когда мы встретились снова — в 1975 году, во Дворце искусств в Цюрихе. Но до этого дело не дошло, мы говорили о «Монтоке». Однако семью годами прежде мы вдруг вполне серьезно вознамерились дать определение «порядочного человека» — помните, на вечернем приеме в Горьком? — и то, что предложили Вы, можно теперь прочесть: порядочный человек в наше время — это смелый человек, человек, остающийся верным себе и своим друзьям. Боюсь, что мы за это даже выпили, но больше к вопросу не возвращались. Он вышал из числа возможных тем для беседы. Сознание того, что задача сформулирована неверно и, следовательно, не может быть решена, заставляет забыть все споры и умолкнуть. В 1975 году, обменявшись скучными замечаниями о «Монтоке», мы брели по Шпигельгассе в Цюрихе. Называли соответствующие имена — Бюхнер, Ленин, — без комментариев, просто по ходу дела. Рассматривали фронтоны соответствующих домов. Подошли к дому городского писца. Готфрид Келлер. Снова Бахман.

О моральных проблемах, насколько я помню, больше не говорилось. Не в том дело, чтобы чувствовать себя порядочным человеком, что бы это ни означало. Суть не в том. А вот то, что мы не можем и не имеем права перестать мучиться этим вопросом, — вот наша единственная подлинная привилегия, постоянное напряжение, которое порождает нашу жажду писательства, но все чаще и блокирует ее. Сегодня мне кажется, что мы, интеллигенция Восточной Европы, несколько раньше западноевропейских интеллигентов осознали, что практикуем свою мораль без всякой страховки, целиком на собственный риск. Встречаясь с Вами, мы вдруг почувствовали себя мудрее и опытнее. И тот наш ночной телефонный разговор между Нью-Йорком и Оберлином, штат Огайо, между номером в отеле на Пятой авеню и кабинетом ошарашенного в отлучке профессора, — разговор, который уже в момент его совершения принадлежал, собственно говоря, прошлому. Возможно, именно поэтому Вам так трудно было его закончить. Это был возврат к тем временам, когда каждому из нас приходилось отвечать за всю свою страну, меж тем как каждый был уже свободен от причастности к главнейшим проблемам своего общества и представлял только самого себя.

Я вспомнила, что накануне нашего разговора я узнала об отставке канцлера Федеративной Республики Германии* (на календаре год 1974-й): от молодого американского учителя, кото-

рый демонстрировал мне опыт группового преподавания в своей школе... Между прочим, ночью в профессорском кабинете было ужасно холодно. Добрых пятнадцать-двадцать минут Вы повторяли одни и те же фразы, а я отвечала одним и тем же вопросом: «Но что же Вы думали?» Я завидовала Вашему возмущению — но в зависти примешивался холод... В круге света от настольной лампы лежала «Волшебная гора»*; незадолго до этого я откопала ее в профессорской библиотеке и перечитала с жадностью — но так, как читают экзотический роман; и я боялась, что вопрос о том, как жить без альтернативы, отольется у меня в сухую формулу; а еще я вспомнила молодого учителя, который исключительно для того, чтобы наладить хоть какой-то контакт между черными и белыми детьми, сидевшими в классе неумолимо раздельно, задал им читать по ролям древнюю эскимосскую легенду о происхождении солнца и месяца: солнцем была черная девочка, месяцем — белый мальчик...

Скачок во времени. Формулы могут быть полезными, но жить по ним нельзя. Вы это, я думаю, поняли, когда пришли к нам на Фридрихштрассе в декабре 1976 года; пришли из чувства дружбы — и из чувства порядка, ничто из этого не устарело, и мы были благодарны Вам за это. Помню, было очень холодно, очень сумрачно, когда мы вчетвером пошли к контрольно-пропускному пункту. На этот раз речь шла о том, что остается, когда рушатся все вспомогательные конструкции, одна за другой, и какая позиция более всего причисляется к тому состоянию бессилия, в котором мы оказались. Отречение не обязательно означает капитуляцию, но как избежать того, чтобы безвестность не превратилась в новую весть, т. е. в обман? Как, проникшись сочувствием к самому себе, сжиться с разочарованием, — мы ведь говорили о морали? Как всем нашим пропитанием, телесным и духовным, все еще снова и снова подкармливать того обуреваемого жаждой деятельности подручного, который в нас сидит? И как быть со страхом, всякий раз охватывающим нас, когда мы пытаемся вступить с этим подручным в борьбу?

«Литература как маскарад» — такова была тема стокгольмского конгресса в мае 1978 года, и участников просили принимать ее всерьез. Бездонная тема. Литература как притворство: маскирующий, маскирующийся автор, уже не отличающий маску от лица и жаждущий приемов, которые не были бы художественными приемами. Чувствуя, что он исчезает как тип, он вынужден выступать как личность («лично!») — примечательное противонаправленное движение. Помню, Вы нервничали, когда нам надо было читать наши доклады в Стокгольмском университете: «Вы тоже перед выступлением не можете ничего есть?» — Я ела: салат и рыбу.

Когда приходит это «как» в нашу жизнь? Стокгольмские дома

с их четкими контурами, когда мимо них проплываешь по шхерам на пароходе (опять пароход!), выглядят так, будто они сложены из деталей конструктора фирмы «Мерклин». Старый Стокгольм, сказали вы, в летнюю предвечернюю жару напоминает итальянские города. В Италии мы не были. В таком случае, сказали Вы, нам надо раскататься и махнуть с Вами на несколько дней в Лапландию — потрогать там северных оленей. Это было сказано вполне серьезно, так что мы рассмеялись. И почему мы не поехали с Вами? Неужели заведомое «невозможно» так всецело поработило нас? Нельзя же ехать куда попало только потому, что пришла в голову такая блажь. Нельзя потакать своим прихотям. Всею нужно веское обоснование — даже перед самим собой. Бар, в котором мы сидели, был заполнен деловыми людьми и участниками конгресса. Никакой дух не реял между нами, не замешаны были тут никакие потусторонние силы. Даже если бы мы смогли выпить больше, мы остались бы трезвы как стекло: на почве фактов, за которыми не кроется ничего, кроме них самих. Бомба есть бомба — ссть бомба.

Этой фразы Вы не сказали, но лишь она объясняет другую Вашу фразу: *Муравьям глубоко безразлично, что кто-то все знает о них...* Вы уедете в Тессин, сказали Вы, будете работать. Для работы Вам понадобятся словари и энциклопедии. Старый человек в своем жилище, сказали Вы, отрезанный стихийным бедствием от остального мира, будет с помощью записочек — выдержек из энциклопедий — восстанавливать естественную историю жизни на Земле, в то время как вокруг поднимается потоп. Своего рода второе сотворение мира в голове старого человека, жить которому осталось недолго, — так мы это поняли. Очень конкретное происшествие, сказали Вы, описанное во всех деталях. «Но все-таки и с неким выходом за его пределы?» — спросили мы. Не станете же Вы ниспровергать естественно существующее, отрицать саму жизнь. Странное, удивительное бесстрашие под маской старческого упрямства... *Дорога и в ночи — дорога.* Не пора ли нам перейти на «ты», сказали Вы. И потом ты записал на сигаретной пачке несколько слов.

Декабрь 1980

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ

Гюнтер де Бройн

«Позвольте мне, уважаемые дамы и господа, и прежде всего ты, дорогой» Гюнтер, «позволь мне начать свое выступление с цитаты. Она гласит: “Кому мы ставим высший балл — тем, кто

повторяет чужие слова, или тем, кто самостоятельно думает, равнодушным или откровенным, прилежным или творчески мыслящим?»¹

А кто получает премии?»¹

Тот, кто рискует, подобно автору, которого я цитировала начиная с первого слова, за исключением имени, разумеется, поскольку у него значится «Пауль», — кто рискует озаглавить один из своих романов «Присуждение премии», тому следует быть готовым и к злопыхательству или по меньшей мере к усмешкам, если он сам оказывается объектом лауреатских почестей. Однако не стоит, наверное, быть глумливее, чем он сам. «Существует так много литературных премий, что со временем каждый может быть награжден», — читала я со злорадным удовлетворением и думала: здесь надо будет сказать несколько слов о том, что стыдно должно быть не автору, а институту присуждения премий, если награда, как, на мой взгляд, в этом случае, довольно-таки поздноавато приходит к тому, кто давно ее заслуживает. «И всегда держат хвалебные речи, — читала я дальше, — и ни один оратор не изводит себя, как, — тут я, впрочем, спотыкаюсь, — как он». То есть доктор Тео Овербек *, которому предстоит выступить с торжественной речью в честь своего друга Пауля Шустера * и в роли которого я не в силах себя вообразить: не только оттого, что все во мне восстало бы против перемены пола², и не то чтобы Гюнтер де Бройн не был моим другом — он мой друг, однако не бездну времени, «более семнадцати лет», и не только, смею надеяться, в том ядовито описанном им смысле, что друзей себе ищут таких, «чь характер и знания не постоянный упрек, а утверждение». Потому что именно знания этого моего друга для меня вечный упрек и повод для завистливых сравнений, ну, и кое-что в характере тоже: усердие, дисциплина, настойчивость, основательность, точность, сдержанность. Но вспомним, что, как говаривают в Пруссии, не спехом дело спорится, и вернемся к нашему германисту Тео Овербеку, в которого я не в состоянии перевоплотиться до такой степени, как мне хотелось бы ради некоторых дополнительных параллелей. Нас с ним разделяет уже и то, что я не отважилась бы явиться сюда в двух разных туфлях и с неготовой речью, но все это лишь внешние симптомы другого: оратор оказался в не-

¹ Здесь и далее цитаты из произведений Г. де Бройна «Присуждение премии» и «Жизнь Жана Поля Фридриха Рихтера» даны в переводе Е. Кацевой, «Бурданоф осел» — в переводе Е. Кацевой и Т. Иллеш.

² Несколькими годами ранее (1974) Криста Вольф публикует в составе своего сборника «Унтер-ден-Линден» рассказ под названием «Эксперимент на самой себе», героиня которого соглашается подвергнуться опыту по перемене пола. — *Прим. перев.*

завидном положении — он вдруг обнаружил, что, если быть честным, ему не за что похвалить отмеченную премией книгу. Мое положение тут как раз обратное; парадоксально, но факт: я вынуждена, по крайней мере в отношении данного конкретного случая, поддержать то, что поддерживает сомнению социально-критически ориентированный роман Гюнтера де Бройна, — практику подобного рода премирования. Здесь есть о чем поговорить, но не сегодня.

Сегодня я рассматриваю Тео Овербека в качестве того, что он, будем надеяться, собою и представляет, в качестве литературного персонажа. То есть одной из тех фигур, в которых — как, впрочем, и в образе его сюжетного партнера и оппонента, литератора Пауля Шустера — автор экзаменует себя, не впадая нигде ни в героизацию изображаемых фигур, ни в конструирование мужественно-деловитых, неустрашимых, нравственно образцовых вариантов. Ведь Тео Овербек сам, разумеется не в одиночку, «сделал» этого автора, прославлять которого не лежит у него теперь сердце, сделал, но и испортил, изгнав, следуя тогдашним подходам и меркам, из его первого литературного детища всякую индивидуальность. («Я знал, что в литературе правильно и что неправильно, но не знал, что такое она сама.») Он с тех пор поумнел, а вот автор не состоялся — такими сложно переплетенными открываются пути общественной, да и личной морали под взглядом непредвзятого, внимательного наблюдателя; кто возьмется здесь рассудить?

Об «автобиографическом ядре художественной литературы». Не ожидая, что вы мне непременно поверите, скажу, что и мои заметки после недавнего перечитывания некоторых из книг де Бройна понемногу сконцентрировались вокруг этой темы, поставленной растерянным Овербеком в центр его неудавшейся хвалесной речи: «Любой автор эксплуатирует в литературном труде свое «я», но значение автора определяется в числе прочего тем, сколько вообще можно поднять на-гора».

И еще, позволю себе добавить, тем, что можно поднять. Какого характера качества обнажаются, когда автор призывает себя к ответу и пристально просеивает свое «я». Трезвая объективность, к примеру, даже при такой суровой проверке, иногда скепсис, самопонимание и самоирония, которые, рада признаться, благотно, провоцирующие, плодотворно воздействуют не только при общении лично с автором, но и при знакомстве с его далеко не безобидными книгами. Психологическая деталь находится в гармоничном сопряжении с топографико-исторической, с убеждающей силой фактов, с чувством искренней радости, которую во всем открывает для себя де Бройн, и с его характерной деликатностью по отношению к читателю. Если ему что-либо и ненавистно, то прежде всего пустая бол-

товня, неопределенные общие декларации; его же собственные книги — декларация приверженности к конкретному, осязаемому, к чувственно воспринимаемой действительности. Отсюда его любовь к точно подмеченной, в наблюдении и изучении познанным деталям, к вполне определенным городам и городским кварталам, улицам, к определенному краю с его историей, к определенной человеческой складке, определенной флоре и фауне. А глядя в целом — любовь к определенному, неброскому и сдержанному, но неколебимо гуманному способу жить человеком на этом свете.

Оттого-то и освещена его проза не слепящим прожекторным светом, отбрасывающим огромную тень вздыбленного «я» на плоскость освобожденной от всего другого стены. Она собирает свой свет от множества разных источников, которые, каждый сам по себе, не тянутся в большие солнца, однако все вместе образуют по ту сторону слов тот отблеск, по которому легко распознать работы этого автора. Тот отблеск — если позволительно употребить подобное сравнение, — какой лежит иногда на бранденбургских сосновых лесах и на песках бранденбургской земли; ведь именно бранденбургский угол, Бранденбургская Марка, — тот край, о котором бесконечно и на разные лады может говорить и все сызнова воодушевляться которым может де Бройн, а более точно: территория, прилегающая к Оберзее и патриархальным городкам Бесков и Шторков, и еще город Берлин, говоря точнее — Берлин центральный. Там он родился и вырос, здесь он живет сегодня, у себя дома не только в буквальном смысле; и он не в состоянии жить, не говоря в своих литературных работах о все растущей привязанности к этому краю, о его колдовском очаровании, щедро расплачиваясь со своей литературной провинцией за то, что у нее берет, — не задумываясь, не слишком заботясь, кажется мне, о том, встречают ли его верность и привязанность (тоже своего рода «лишение свободы», как называется одно из его произведений) ответное понимание или подобающую оценку. Не из нечувствительности. Нет. Его нравственное удовлетворение находит себе достаточно пищи в самом деле, которым он поглощен без остатка. Ибо одержимость, с которой ведет свои бранденбургские изыскания исследователь-любитель Эрнст Пётч (последнее на сегодняшний день литературное перевоплощение де Бройна), в высшей степени свойственна и самому автору, и искушение раствориться без остатка в восторгах открытий, в изучении документов и источников, в мельчайших деталях и сведениях, добытых в скрупулезном расследовании на месте событий, знакомо, должно быть, и ему, но он смиряет его (и здесь ему уже надобна иллюзия, выдумка), ловким художественным приемом дистанцируясь от изображаемой фигуры: совсем чуть-чуть, на несколько градусов, смещает

перспективу, отодвигая сельского исследователя, занимающегося творчеством Шведснова, в диапазон провинциальности, чудаковатой несурьезности, гротескности и, наконец, нелепости, создавая образ-подобие (не отражение и двойника), даже и тогда достаточно привлекательный в качестве положительного контрастирующего персонажа рядом с рвущимся к карьере, подгоняющим результаты своих научных изысканий берлинским профессором, хотя персонажа и чуть-чуть комичного, вызывающего улыбку — до того момента, пока, совсем в конце, его судьба не обретает трагической окраски. Вопрос об обстоятельствах, которые выносят наверх стремящегося лишь к утверждению собственного авторитета, расчетливого профессора Менцеля и приводят к безумию отгесненного им простоватого и порядочного Пётча, — этот вопрос читатель должен задать себе сам.

Современная проблематика. О ней де Бройн всегда говорил, не обособляя ее от глубоко личного, никогда (после своей первой книги, объявленной им несостоятельной) не пытался создавать современника по некоему образцу, тем более по предписанию, откровенно и не обинуясь, — что, возможно, иной раз кого-то и раздражало, — предлагая читателю «только» то, за подлинность чего мог с чистой совестью поручиться, а именно себя самого: сколько бы ни было их, разных солнц, освещающих пространство его произведений, в зените всегда интерес к собственному человеческому «я», интерес, добавив к которому слово «застенчивый» мы сможем указать на соотношение жизни и творчества, между жизнью и творчеством автора подобного склада. Ну, а о том, что такой литературный подход, когда автор пишет «от себя» и «о себе», непременно связан с самообнажением, а следовательно, и с преодолением порога стыдливости, сам он говорил также. Но не внешние поводы и моменты реальности, становящиеся материалом писательского творчества, темой и предметом изображения, обеспечивают ему аутентичность — это все может быть и случайным, не пережитым внутренне; до аутентичности поднимается произведение, порожденное одержимостью, страстью, интимнейшим потрясением собственной души.

Здесь мы непосредственно выходим на разговор о тех переломных, которые, складываясь из ряда возобновляющихся мотивов, соединяющихся между собой и вовлекающих в свое движение персонажи, пронизывают все, написанное де Бройном. Порою ведущий мотив вступает незавуалированно и чисто: «Если шел разговор о провинции, или Бранденбургской Марке, или Пруссии, Карлу казалось, будто речь идет о нем, когда же его спрашивали, откуда он родом, он всегда отвечал: из-под Берлина». Так рассказывается в «Буридановом осле» о Карле Эрпе, тоже библиотекаре, как был им когда-то и сам де Бройн (здесь приоткрывается уголок писательского хозяйства, где ни-

чему не дано пропасть, затеряться, и тем более такому сокровищу, как доскональное знание одной из профессий); об Эрпе, который хотя и живет в отличие от автора не на Аугустштрассе, а в районе-поселке над Оберзее, однако же отыскивает фройляйн Бродер именно на Аугустштрассе, предоставляя таким образом автору случай увековечить улицу и даже один из ее домов, да сверх того совершить небольшой экскурс в историю Берлина. Да, конечно, в книге повествуется история любви, в которой Карл Эрп (опять-таки вовсе не бесплотный идеал) оказывается, увы, не вполне на высоте. Но уже по меньшей мере при втором чтении обнаруживаешь, что «повествуется» еще и о другом, о более глубоко скрытой душевной травме незадачливого любовника. «Детство — как родимое пятно, что увеличивается с годами» — слова, сказанные Карлом Эрпом после поездки в деревню своего детства и адресованные фройляйн Бродер; а она, «сама современность», «ничего не понимала во всем этом, то есть в напластовании чувств и мыслей, которые часто лишь громоздились друг на друга, а не взаимопроникали». Недостаток вполне, можно сказать, в духе времени, беда поколениа, от которой не может в отличие от многих других отгораживаться тот, кто относится к ней всерьез; от которой, не поднимая особого шума, он может не на шутку страдать; ущербности, в простом отрицании которой для него нет ни спасения, ни смысла и которую он старается преодолеть в лихорадочном поиске своих, наших, корней — в тесном, в более широком и в самом широком смысле слова; и отбрасывает при этом прочь все, что ни к чему в этой сугубо личной, но исторически обусловленной беде, и, становясь все увереннее, все тверже, подхватывает и удерживает то, что способно помочь сегодня выжить и выстоять в ней, справиться с ней. Разумеется, и книги, литературные прародители, также попадают в этот влекущий поток — де Бройн часто упоминает Томаса Манна, Теодора Фонтане («И все снова Фонтане»), и — наконец — произносится главное имя: Жан Поль.

Хотя я и старалась показать, что де Бройн во всех своих книгах переживает историю как современность, а в современности открывает историю, но то основное произведение, в связи с которым премия, носящая имя Фейхтвангера, так особенно точно ему подходит, несомненно, его книга о Жане Поле Фридрихе Рихтере, и мне пришлось бы зачитать здесь перед вами всю книгу целиком, если б я вздумала дать исчерпывающее представление об отношении де Бройна именно к этому великому романисту, чья судьба не давала ему покоя, пока он о нем не писал. Его с давних пор притягивал образ этого человека, в предшествующих книгах всплывают названия произведений Жана Поля, растерянные замечания: «Да и кто разберется в нем?» (Еще переплетение!) И если до сих пор он — будь я им, я проследила

бы однажды тайные мотивы и этого художественного приема — как автор и как личность (но разве проведешь здесь границу!) оставался *над* своими персонажами, то теперь уже за него самого берется такой, с которым ему надлежит стать ровень. Итак, идеальная ситуация, возможность создать фигуру, хотя и ничуть не вымышленную и далеко не идеальную, однако в такой степени богатую и сложную, противоречивую, неуемную, что, постигая ее, автор может и восхищаться, и преклоняться, и идентифицировать себя с нею (какое, должно быть, безмерное читательское наслаждение доставил своему биографу неукротимый художник, создавший эту необузданную прозу!), и должен понимать, анализировать, истолковывать отдельные черты, странности, пристрастия этого человека, чтобы основательно и изнутри изобразить эту личность и ее время, а значит, здесь еще и писательское удовольствие того рода, что особенно по душе де Бройну: писать на основе скрупулезных изысканий и наслаждаться при этом свободой в создании характеров. И тут уже только чудом он, де Бройн, мог бы в своей работе над книгой позволить ускользнуть хоть чему-нибудь, что имело отношение к его теме или к человеку, ставшему его темой, будь то Просвещение или вертеровская мода, жалкая учительская доля или несчастное существование домашнего наставника — судьба тогдашних интеллектуалов, или же, само собой, нескончаемые сражения пишущего со свирепствующей в немецких землях цензурой и свидетельства вечной безрезультатности этих усилий. Торговля человеком. Камзольное общественное устройство.

Положение немецких писателей на исходе XVIII столетия. Издательские порядки. Прихоти и капризы издателей. Превратности судьбы в жизни целых земель и княжеств в период наполеоновских войн. Поэзия свободы (или то, что именовалось так в те времена). Культ дружбы и любовные нравы. Обо всем этом нам дана отчет — с трезвой объективностью, скупой либо в подробностях, с восторгом, насмешливо, саркастически, возмущенно. Здесь восстанавливается история, связь времен — в словах и ракурсах, понятных для тех, кто живет и читает сегодня. Книга эта — не из прирученных и покорных: с крупной солью, с язвительной злостью, со всеми возможными острыми параллелями к нашим временам и обстоятельствам. Ее двувременность дает ей жизнь, создатель книги привел в движение весь свой наличный потенциал. Но с особенной силой воздействует на читателя, воздействовал на меня общий глубинный тон душевного сродства, рождающийся из соединения повествовательной объективности и лирического вчувствования вплоть до вживания в стиль, нет, *благодаря* ему, тому стилю, образ которого видится, думаю, писателю де Бройну, когда он говорит: «проза». Потому что не следует после всего сказанного полагать, будто

здесь один автор умирает в другом, будто не остается и шва, что нет ни отталкивания, ни даже отграничения. «Он всегда точно знает, чего хочет, и это-то и делает его жизнь столь привлекательной, но и при всей рационалистичности — жутковатой», — пишет об этом человеке де Бройн. «Жутковатой» — слово здесь неожиданное, сигнализирующее об опасностях и угрозах, о двойственности, казалось бы, однозначного, о страхе перед неуютом, скрывающимся за вопросом о взаимоотношении искусства и жизни, перед холодом, стерегущим того, «для кого пережитое обращается в рабочий материал», перед «разрушительным воздействием на чувство предвосхищающего все интеллекта».

И если в написанной де Бройном биографии Жана Поля изображена судьба прогрессивно мыслящего мелкого буржуа в Германии после событий Французской революции, то одновременно, и по меньшей мере в той же степени, это эссе, посвященное сложнейшей и тонкой, по сути своей нравственной проблематике искусства и нравственным проблемам личности, подчиняющей ему свою жизнь. «Он не может иначе; только когда он пишет, он действительно живет».

Именно нравственное переживание соединяет все персонажи де Бройна с их временем, не бесосновательно его окрестили моралистом. Жаль только, что в воображении немецкого читателя это слово немедленно вызывает видение поднятого указательного пальца. Сей автор, однако, не охочий до нравочений вануда, не всезнайка и чопорный сухарь, как раз наоборот, ничего этого нет за ним и в помине. Он знает людей, и он не способен их подразделять на «малых» и «значительных»; ему известно, в том числе и о себе самом, что человеческие достоинства — всего лишь другая сторона слабостей, и наоборот. Он, как художник, справедлив в своем отношении к ним, не претендуя на роль праведника и судьбы и пользуясь всякой возможностью, чтобы взглянуть на них и на себя с юмором. И потому я без колебаний могу сказать, что он доброжелателен к человеку; да, в этом случае уместно и верно столь редко соответствующее действительности слово: человеколюбив.

Сентябрь 1981

ДОРОГОЙ ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

К дню 65-летия

Как-то раз, много лет назад, один из наших общих друзей показал мне в полученном от Вас письме полуфразу, где говорилось о некоем третьем лице; она гласила: «как все мы, в опас-

ности славы...» Моя реакция на Ваши как бы оброненные вскользь слова показала мне, что я не видела в Вас находящегося «в опасности славы», и это с той поры ничуть не изменилось. Мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь скажу Вам об этом, поскольку секрет Вашей недосыгаемости для угроз славы также и в том, что Ваше лицо просто лишает всякого смысла подобного рода признания; а потому и не стану их продолжать и спрошу-ка я лучше себя, а не Вас, как Вам, будучи важной инстанцией, которой Вы, по счастью, являетесь (и для меня, кстати, тоже), как удастся Вам ничего на этом не терять? Мне вспоминаются страницы из Ваших книг, телевизионные выступления, резкие полемические статьи и добрые статьи, в которых Вы незащищенно раскрывали себя — разгневанного, оскорбленного, ужасающегося, печального, объятого страхом, благодарного и любящего. Такое не в обычае у инстанций. Бывают разве инстанции веселы, насмешливы, самоироничны, лукавы? Мужественны? И плюс к тому Вам не остается, похоже, ничего другого, как утлять потребность столь многих в человеке, «облеченном компетентиями», и одновременно же, «другою рукой», ее игнорировать.

Когда прослеживаешь слова назад (чем, собственно, занимаетесь Вы: ловить на слове слова — часть Вашей работы), то добираться в итоге до пункта, где они еще были живыми. Так мы и обнаружим «instare», «настаивать на чем-либо», как начало заскорузлого слова «инстанция», ну а это уже процесс в высшей мере живой — разумеется, непростой, не бесконфликтный и не безболезненный — настаивать на собственном «я» и подходить к этому «я» при всей скромности как к делу немалому. Вы сами дописались и все снова дописываетесь до того, что мы прислушиваемся к Вашему слову.

О многих из Ваших книг я могу точно сказать, где я их читала: сад, больничная палата, номер в отеле, вагонное купе. Ничто из Вами написанного не оставило меня равнодушной — все равно, какое бы место ни занимало оно в Вашем творчестве. Рейнские земли знакомы были мне еще прежде, чем я действительно узнала их, — благодаря Вам. Благодаря вам я постигла науку о том, что такие абстракции, как доброта, совесть, надежда, можно и должно принимать и изображать с тою же конкретностью, как и дом, край, семью. Что доброта, совесть, надежда могут быть политическими добродетелями. Что, оказывается, возможно человеку соединять в пределах одной личности приватные, литературные, политические добродетели в том противоречивом единстве, которое я называю — «чистота».

Дорогой, уважаемый Генрих Бёль, я беззастенчиво использую

День Вашего рождения как повод, чтобы все же сказать Вам об этом: я рада тому, что Вы есть на свете.

Май 1982

ДИССЕРТАЦИЯ НЕТТИ РАЙЛИНГ

Залитый кровью, Валлау сидел, привалившись к стене. Циллих, войдя, спокойно посмотрел на него. Слабый свет за плечом Циллиха, крошечный голубой уголок осени, в последний раз напомнил Валлау о том, что законы вселенной нерушимы и будут жить, несмотря ни на какие потрясения.

Анна Зегерс. «Седьмой крест»¹

Что может интересовать нас сегодня в докторской диссертации, которую в 1924 году защищает на Высшем философском факультете Хайдельбергского университета имени Карпа Рупрехта студентка истории искусств, синологии и истории Нетти Райлинг? Мы, не будучи специалистами по Рембрандту, ищем в научной работе об иудейских мотивах в творчестве великого нидерландца знаков близкого, нет, скорее следов уже одновременно идущего превращения Нетти Райлинг, дочери майнцского торговца художественными изделиями и антиквара Изидора Райлинга, в писательницу Анну Зегерс, поскольку почти тогда же, под Рождество тысяча девятьсот двадцать четвертого, в литературном разделе «Франкфуртской газеты» появляется публикация «Покойники на острове Дьяль. Голландская сага, пересказанная Антье Зегерс». Время размышлений о специфике изображения иудейства на полотнах Рембрандта — это и время, когда она прощается с наукой и находит свое призвание; время, когда она выбирает себе имя Зегерс.

Позднее она будет говорить о годах ученья как о первой фазе обретения самостоятельного жизненного опыта: «Студенткой, когда я только начинала понимать окружающее, любовь и боль и многие явления в обществе, нищету и голод и битвы за лучшую жизнь, я с разгоравшейся страстью зачитывалась многими романами Достоевского». Пережитое над этими книгами и, главное,

¹ Зегерс А. Седьмой крест. Рассказы: Библиотека всемирной литературы. М., «Художественная литература», 1975, с. 277. Перевод В. Станевич.

в человеческом общении, похоже, крепче засело в памяти, чем лекции и ученые книги.

Она занималась искусством Восточной Азии и учила китайский, чтобы разбирать надписи на китайских художественных свитках. Десятилетиями позже, в 1975 году, в мемориальном листке, посвященном памяти близкого друга тех лет и однокашника по восточноазиатскому институту Филиппа Шеффера, которого собиралась разыскать по возвращении из своей мексиканской эмиграции, не зная, что он казнен национал-социалистами в числе других членов группы Шульде-Бойзена — Харнака *, она скажет: «Беззаботны, простосердечны были мы тогда. Радость наша была наготове! Мы всегда находили чему порадоваться, несмотря на грозные времена, напекор всем горестям и бедам». Шеффер учил ее читать Конфуция; «к Сунь Ятсену и трем его тезисам народовластия мы топтали дорожку сами».

В Хайдельберге она получает первые наглядные уроки практической политики. «В университете я быстро сошлась с эмигрантами, после кровавых расправ реакции покинувших, спасаясь от преследований, свои страны и завершавших образование в Германии. Они раскрыли мне глаза на многие общественно-политические процессы, на борьбу классов». Судьбы некоторых из них она описала в своем венке рассказов «Спутники». Тогда же знакомится она и с венгерским коммунистом Ласло Радвани, который становится ее мужем. В этом кругу, с этими людьми, прежде чем она по-настоящему начинает писать, в ее творчество приходит тема интернационализма, которая с тех пор всегда присутствует в ее работах рядом с многообразными немецкими мотивами.

Что именно определило ее решение принять имя нидерландского гравера и живописца Херкулеса Зегерса, мы не знаем. Самой же ей не припоминается, чтобы она в 1920 году принимала участие в семинаре Вильгельма Фрэнгера * по творчеству Зегерса, как и то, чтобы она получала от Фрэнгера, вероятно являвшегося как раз в пору ее студенчества выдающейся фигурой в хайдельбергском Институте художественных исследований, какие-то существенные рекомендации и идеи или чтобы она вообще хоть сколько-нибудь близко была с ним знакома. Вовсе не исключено, однако, что она могла читать работу Фрэнгера «Гравюры Херкулеса Зегерса», опубликованную в 1922 году; скорее наоборот, было бы удивительно, если бы вдруг оказалось, что она самым внимательным образом не ознакомилась со столь шумевшим очерком, обсуждавшимся в тех самых кругах, к которым она непосредственно принадлежала, и вышедшим как раз в то время, когда она приступала к работе о Рембрандте, чьим старшим, несколькими десятилетиями раньше не-

то умершим современником был Зегерс. Но сочинение Вильгельма фон Боде о творчестве Херкулеса Зегерса ей, во всяком случае, известно: в своей диссертации она приводит выдержки из этого исследования. Ей известна была судьба высокоодаренного художника, отвергнутого, не понятого современниками, умершего в нищете, не дожив до пятидесятилетнего возраста, и надолго позабытого следующими поколениями. Вряд ли не кроется некоего тайного смысла в том, что именно этот псевдоним она приняла для собственных литературных опытов, в то самое время, когда ее научные усилия были сосредоточены на одном из тематических аспектов в творческом наследии Рембрандта — совершенного, недостижимого, классика.

В первые годы литературной работы она была готова к возможной неудаче и долго еще с особенной остротой сочувствовала судьбам художников, споткнувшихся на изломе времен, не пришедших к классической завершенности; в письмах Георгу Лукачу она защищала Клейста, Ленца, Бюхнера, Гюндероде, Гельдерлина. В какой мере и выбор имени являлся актом самоидентификации с тем неклассиком, сказать трудно. Много лет спустя она лаконически заметит однажды: «В моей работе не было кризисных периодов». И сколь подобное ни труднопредставимо — кто станет спорить с нею? Даже если принятие псевдонима и не единственный, возможно даже и не главный, из методов, с помощью которых она уклоняется от любопытного взгляда, обращенного к ней лично, к конфликтам ее собственной жизни.

Без сомнения, есть в имени нидерландца и отзвук страстного влечения к Голландии, к рейнскому устью, к Северному морю, владевшего ею в детстве и в юности. Ей хорошо знаком и близок был Антверпен, и он, должно быть, сыграл свою роль в формировании ее представлений о красоте. Там жил в первой половине семнадцатого столетия и тот самый Зегерс — как, впрочем, и Рембрандт, чьи работы Нетти Райлинг знает по оригиналам, с офортами и репродукциями картин которого встречается на занятиях в художественно-историческом семинаре.

Несколько раньше, еще студенткой, под руководством профессора Карла Нойманна она пишет работу по истории портрета в немецком искусстве, возводя его происхождение к надгробному памятнику. (Пятнадцатью годами позже в одном из писем Георгу Лукачу она скажет: «Бюргер в качестве жертвователя и основателя появлялся на алтарных изображениях, надгробниках и т. д., а там стали возникать и первые самостоятельные, вполне завершенные портреты, довольно сомнительные попытки и, однако, — Рембрандтовы предтечи».) В родном Майнце она видела старинные римские надгробия. В родительском доме с его национальным укладом и при посещениях синагоги она со-

прикасалась с обычаями и обрядово-религиозной стороной еврейской жизни, не чувствуя себя, однако, связанной этим, обособленной от окружения с иными религиозными представлениями. В Хайдельберге она знакомится с идеями и воззрениями сионизма. Думаю, что уже в молодости оформилось ее трезвое, взвешивающее отношение к действительности, взгляд эпитического художника, принимаемый нередко за безучастную остротность, а на деле говорящий всего лишь о способности обозреть больше, чем только свое время с его приливами и отливами.

Если же взять все вместе, тогда такая тема, как «Иудей и иудейство в творчестве Рембрандта», предстанет более чем естественным выбором двадцатичетырехлетней Нетти Райлинг. Из запаса потенциальных тем выбирают, нередко и бессознательно, нечто так или иначе само собою напрашивающееся. А те частные вопросы, с которыми каждый подходит к своей теме, могут рассказать о том частном интересе, который, порою не вполне еще созрев, уже неприметно прозябает в спрашивающем.

Докторантка, скептически оценивающая наличные интерпретации еврейских сюжетов в творчестве Рембрандта, задается в своей диссертации, как позднее во многих эссе о писателях, вопросом о том необыкновенном процессе, в результате которого виденное, воспринятое, пережитое и передуманное художником преобразуется в нем, складываясь в художественное произведение; о том «процессе творения», который при всех отличиях являет собою также и нечто общее и для живописца, и для писателя: жизненный опыт, непосредственные впечатления трансформируются под действием обусловленного временем мировидения и субъективной жизненной философии художника таким образом, что тот же самый предмет оказывается по-разному изображен в различные исторические эпохи, а также в различные периоды жизни самого художника.

Такова, констатирует Нетти Райлинг, и судьба еврейского мотива в изобразительном искусстве: характерная для средневековья враждебная окрашенность, идущая от христианизированного взгляда живописца на иудеев, позднее нейтрализуется, первоначально в Нидерландах, и на смену ей приходят фантастическо-экзотические черты, свойственные и еврейским фигурам у раннего Рембрандта, что, как считает автор исследования в отличие от предшествующих интерпретаторов, нельзя объяснить характером моделей его тогдашнего городского окружения: в ранний период творчества Рембрандту были знакомы лишь вполне интегрированные сефарды, изгнанные испанской и португальской инквизицией еврейские фамилии зажиточных общественных слоев. Ее аргументация, резюме которой подведено в завершающей фразе о том, что «к изображению иудейства Рембрандт приходит, не следуя иудаистским концепциям своего

времени, а вопреки им», выстраивается вокруг вопроса: какую роль в творчестве живописца Рембрандта играет иудей в качестве вообразенного «идеального типа» для воспроизведения библейских сюжетов и какую — в качестве конкретной модели для реалистического художественного воплощения жизни еврейской общины.

И как бы ни расценивать ответы, получаемые студенткой на базе систематизированного ею материала, интересным кажется мне то, что она не берет на вооружение метод имманентного анализа произведений, а с невозможной подробностью исследует окружающее Рембрандта социальное пространство и приходит к заключению, что модели с типично иудейским обликом художник мог найти в Амстердаме лишь в результате притока в сороковые годы беженских масс спасавшейся от преследований еврейской бедноты из Восточной Европы. Характерным, для нее характерным, представляется мне вопрос о том, возможно ли «найти у Рембрандта иудейскую действительность, так воспроизведенную, что даже и с исчезновением самой действительности суть ее «оказалась бы» донесена до нас в полотнах Рембрандта». В этих словах прорисовываются контуры представлений о смысле всякого художественного творчества, сохраненных Анной Зегерс и до сего дня. В те самые годы, когда она вникает в мир Рембрандта, происходит и встреча с оголенным напряжением бытия в романах Достоевского: «Жизнь эта была насыщенная моей, люди — больше людьми, их свобода — больше свободой, и снег — больше снегом, колос — больше колосом». «В русских, говорили мы себе, — напишет она более трех десятилетий спустя в эссе о Достоевском, — бушуют безбрежные страсти, которые и повлекли за собой безбрежные события. Мы сравнивали их судьбы с бледным существованием наших бесцветно-мелкобуржуазных сородичей, неспособных ни к сильному чувству, ни к душевной буре». В этом эссе она следует своей основополагающей мысли о том, что искусство не просто отражение действительности, а конденсация ее и нагнетание интенсивности, — мысли, впервые высказанной ею в сочинении о Рембрандте. Но взлескивают в раннем исследовании и нити других идей, которые позднее найдут место и будут развиты в более широком контексте ее романов. Размышляя над сформулированными Толстым тремя этапами творческого процесса, она, видимо, давно уже не помнит о том, что когда-то сама открыла их в трех фазах художественного изображения иудейских фигур у Рембрандта.

«И показывает он не вообще страдающего человека, а пораженного неожиданным, обрушившимся на него вдруг либо каким-то необычайным несчастьем», — отмечает она как характерное для Рембрандта. В ранних литературных работах Анны Зе-

герс необычайное несчастье играет большую роль в судьбе героев, для которых счастье вне пределов досягаемости. В «Грубеч», одном из первых ее больших рассказов, опубликованном в 1927 году, Анна спрашивает себя: «Что это такое — несчастье? Что-то вроде этого двора внизу и комнаты там, позади? Или существуют и иные несчастья — красные, раскаленные, сияющие несчастья? Ах, если б и мне такое!»

Часто в романах и рассказах Анны Зегерс царит рембрандтовский свет, вырывающий отдельные фигуры, группы или предметы из полутьмы окружающего фона, пусть даже стянувшийся иной раз до крошечной искры, гаснущей в глазах персонажа. Об одной из портретных серий Рембрандта, представляющей жителей еврейского квартала, Нетти Райлинг замечает: «Он точно так же пишет эти лица, как писал какой-нибудь задний дворик или невзрачный, унылый ландшафт, которых никто до него не сумел увидеть в богатстве его выразительности, знакомо раскрывающемся лишь при взгляде на завершенное полотно». Рассказ «Грубеч», изображающий обитателей заднего двора, Анна Зегерс начинает фразой: «Если бы газовый фонарь, свисавший с железного крюка над подвальной дверью, заключал в себе другой свет вместо изгорелой калильной сетки, он, вероятно, и тогда озарял бы только лужу в разрыве деревянного настила, выброшенную кем-то тапку да груды погнивших яблок».

Февраль 1980

СЛОИ ВРЕМЕНИ

Рассказывать о том, что меня волнует сегодня, и пестрая яркость сказок. Больше всего на свете мне хотелось соединить это вместе, и я не знала как.

Анна Зегерс

В работах этого сборника с особенной отчетливостью выступают «обе линии», которые так хотелось объединить в повествовании Анне Зегерс: сказочная и реалистическая; но чем точнее стараешься их схватить, тем сложнее оказывается выделитель их из целого. В нераздельное соединение слились мифическая стихия и реальный материал, реалистическая стихия и мифическое содержание. «Мифическое», «реальное» — прилагательные, просиявшие в кавычки: слишком неопределенны сегодня для нас очертания этих понятий; для Зегерс они не были определенными никогда. Не ощущая границ, она беспрепятственно разгуливала в обоих мирах, туда и сюда; потребно-

сти втиснуть в понятия «действительность» и «фантазия» единственный мир, в котором она жила и в котором все было возможно, — и невероятные чудеса, и мучительнейшая повседневность, — она не знала. Подобно рассказчикам древних времен, вовлечавшим в повествовательный поток богов и людей, деяния и мечты, она была неспособна кроить свой жизненный опыт на части и запираить отдельные куски в обособленные резерваты; более того, каждая из сфер постижения наполняется своим особым светом через присутствие другой: рассказы о современном наделены мифологической глубиной, а легенды, мифы, сказки — бризантной силой актуальности. Такая сплавленность — характерный знак ее прозы.

И свои персонажи она черпает в стародавних запасах образности. В самом раннем опыте отважно выхватывает она первого из них, необычайного пастора с острова Дьяль. Этот рассказ, «Мертвецы на острове Дьяль», опубликованный на Рождество 1924 года во «Франкфуртской газете», «Голландская сага, пересказанная Антье Зегерс», задает исходный тон: «Мертвецы на дьяльском кладбище — преудивительный народец. Иной раз косточки их до того разбирает, что деревянные кресты и надгробные камни начинают подпрыгивать. Особенно по весне либо осенью, как пойдет в воздухе свист да вой, так им прямо удержку нет». Дьяльский пастор буйствует так же, как и прибитые к берегу волнами мертвые моряки, он топает ногой, вскакивая на их могилы, и рычит: «А ну, тихо вы там!» «И тела испуганно смирелись от его окрика». С диким восторгом юная рассказчица — ей двадцать четыре — заставляет бесчинствовать мертвецов и их пастора. «Он вполне годился бы в дьяволы, не будь он уже на острове священником». Он — первый набросок в ряду бесстрашных мужчин, пополняемых Анной Зегерс на протяжении всего творчества. «Такой не нуждался ни в детях и родичах, ни в жене или возлюбленной. Такому на Дьяле вдоволь было страстей похлестче, понеистойей, утех пораскаленной».

Гуль, подбивающий рыбаков Санкт-Барбары на восстание, прямой потомок этого человека, в той же мере, как он и родной брат Войчука, действующего в «Крестьянах из Грушово»; во всех них есть нечто от Коломана Валлиша, участника австрийского восстания 1934 года, и все они в близком родстве с Георгом Гейслером, коммунистом, за которым идет охота в «Седьмом кресте». Но древнейшее их земное воплощение это, пожалуй, Язон в «Корабле аргонавтов» — невозмутимы, бесстрашны и свободны они, сами избравшие и стойко встречающие свою судьбу. Не отягощенные земными узами. Холодные. С ясным умом. Одинокие. Готовые к приключениям. Опаленные жаждой жизни. Таков он, извлекаемый Анной Зегерс из далеких времен и помещаемый в индустриальное общество нашего столетия

красугольный тип, который в этом поразительно чуждом для него окружении принимает сторону тех, чей мир обещает ему возможность выжить.

Что же до пастора с острова Дьяль, то он, как оказывается, мертвец, до тех пор надоедавший Господу из своей могилы, пока тому «не осталось ничего другого, как только снова отпустить его в жизнь». Однако на его могильном камне, стоящем среди других надгробий на кладбище острова Дьяль, значится имя Яна Зегерса. И рассказчица этой «саги», зовущаяся по рождению Нетти Райлинг, подписывает свое произведение, в силу того что ощущает себя как бы внучкой необыкновенного старца, тем же именем. Ненавязчиво, однако отчетливо заявляется признание на родство. Тот факт, что это имя одновременно имя живописца и гравера времен Рембрандта (Херкиюса Зегерса), встретившееся ей, по-видимому, на занятиях художественно-исторического семинара в Хайдельберге, художника, не понятого своими современниками и рано ушедшего из жизни, сообщает акту самонаречения дополнительное измерение.

Женские персонажи Зегерс — не считая богини Артемис, невозмутимостью и неколебимостью характера не уступающей мужчинам, — как правило, скорее неброски, тихи, упорны, женщины-хранительницы, отзывчивые и покорные, верные, незыскаательные, любящие. Совсем почти не задтые «страстью к необычным, волнующим приключениям», признание в которой мы находим в единственном автобиографическом рассказе, помещенном в середине этого сборника и для меня наряду с «Седьмым крестом», наряду с «Транзитом» — центральном в творчестве Анны Зегерс. «Страсть эта, — добавляет она, — давно была утолена, до пресыщения». Жажда дальних странствий обернулась тоской по родным краям.

Без малого десять лет продолжается жизнь в эмиграции к тому моменту, когда в Мексике Анна Зегерс принимается за «Прогулку мертвых девушек»¹. Эмигрантка, такова исходная ситуация, отдыхает, присев на скамью на окраине мексиканской деревни, в месте, являющемся «самым западным пунктом, которого я достигла на земном шаре». Оставим на этом прямой рассказ, который, как ни старайся, лишь искажил бы произведение. Дома, в Германии, за тридцать лет до этой передышки на скамье в чужой стране, состоялась прогулка живых девочек-одноклассниц одной майнцской школы. Участвовала в ней, веселая, беззаботная, как видится ей теперь, и рассказчица; меж тем большинство тех школьных подруг погибли от руки национал-социалистов и в ходе развязанной фашизмом войны. На до-

¹ Цитаты из рассказа «Прогулка мертвых девушек» даны в переводе Р. Френкель.

лю уцелевшей остались печаль и тягостное чувство бессмысленности, с которым она борется как привыкла: в работе, в исполнении долга; ведь рассказывать, писать — это всегда и размышление, уяснение смысла. Эта прогулка мертвых девушек существует, может существовать только в данном, и не ином, описании; она рождается только в сплетении повествующих, размышляющих, вспоминающих фраз, в которые запелената, и стоит выдернуть какую-нибудь из них, как немедленно просечется ткань и Ничто, на пути которого рассказчица воздвигает словесный заслон, хлынет в пространство повествования — в пространство подлинных устойчивых ценностей, нравственности, цивилизации. Несмотря на цепенящую усталость, на слабость, на грозящую безнадежность — ведь это время 1943—1944 годов, — она вяжет сеть поэтической прозы, с помощью которой ей удастся захватить и ввести в рассказ множество различных времен: настоящее, несколько слоев «реального» прошлого и — несколько же — вероятностных форм минувшего и будущего. На этом рассказе, мне и всегда так казалось, можно бы учиться читать. Повествование здесь ведется затем, чтобы осмыслить время, но и затем, чтобы его сократить, а главное условие этого — увидеть его в подлинном смысле слова насквозь, сделать его напластования прозрачными. Из всех художественных форм выражения это удастся одной только литературе. Беспрепятственно перемещаться в пространстве обрѣмленного места и времени; позволять парящему художественному сознанию свободно всплывать и погружаться в потоках времени, пропуская мимо скользкие десятилетия, фиксируя отдельное мгновение. Развертывать в реальности, пусть даже и мнимой, форму свободы, по которой тоскует наша мечта, — отраженный искусством ответственный бытия, менее, однако, иллюзорный, искусственный и суррогатный, чем действительная жизнь большинства.

В рассказах, повестях и романах Зегерс всегда имеется некто, страдающий жаждой по докрасна раскаленной, пылающей, бурной действительности, по чему-то совершенно и во всем «немелкобуржуазному», революционному, по эссенции жизни вместо квелой и бледной повседневности, по сочной сердцевине того нередко сморщенного, безвкусного плода, от которого нам всем приходится вкушать. И если я верно ее понимаю, то именно эта жажда, соединяющая различные века и эпохи, и есть для нее собственно человеческое, неиссякаемое. «Исходный материал последние две тысячи лет все тот же. Вариации — многообразны». Вариации отражают в чем-то различную, в чем-то неизменную судьбу той самой людской жажды и тех, кто передает ее дальше.

Всего раз, в «Прогулке мертвых девушек», появляется откры-

венное, незамаскированное авторское «я». Обыкновенное и в то же время околдованное «я»; такое, которому поручается и удается призвать на помощь древние сказочные мотивы, чтобы еще раз зачаровать преступившую всякую меру, ужасающую современность, в двойном смысле: замкнуть, обуздать в слове и одновременно (и посредством этого) заковать ее опасную, разрушающую власть над собственной душой.

Какими знакомыми кажутся нам эти ворота, в которые она входит затем, чтобы, преобразившись, выйти из них в другом мире. («Я вступила в открытые ворота. Теперь, к моему удивлению, мне послышался легкий размеренный скрип. Еще шаг вперед. Теперь я могла ощутить запах зелени в саду...») Был ли то золотой дождь, пролившийся над нею в темном своде ворот? Или черная смола проклятия? И если она после этого не в той же самой стране, то почему бы тогда и не в других временах? Когда осталось одно только имя, которым ее окликают, если оно — единственное, за что можно еще удержаться, тогда и все остальное, пожалуй, в порядке вещей. «„Нетти!“ Со школьных дней меня больше никто не звал этим именем».

Такое непосредственное произнесение своего девического имени — нечто для нее невероятное. Не зря она говорит о том, что потеряла его, забыла даже, отреклась от него. Потому что не только другие, «друзья и враги», она и сама называла себя иначе. Со своим новым именем она жила общественной жизнью, была политически активной коммунисткой, отвечала на вызов времени, скрывалась, спасалась от преследований в гитлеровской Германии; в простом перечислении подводятся итог годам, закрепившим за ней это имя: «...на улицах... на празднествах и собраниях, ночью наедине, на полицейских допросах, на книжных обложках, в газетных статьях, в протоколах и паспортах...» И лишь в период слабости, когда она неделями, впадая в бесспамятство, лежала после наезда машины в мексиканской больнице, не в силах более защищаться от признания полных и окончательных утрат, от чувства глубокого горя, только тогда, и заметим — именно тогда, всплывает, как надежда, это имя, «...которое, как я, обманывая себя, думала, могло сделать меня здоровой, счастливой и юной, могло вернуть мне спутников прежних дней и прежнюю невозвратно утраченную жизнь».

Личное, автобиографическое, интимное Анна Зегерс всегда оставляла при себе; то же самое потрясение, которое вместе с именем вызвало из прошлого детство и юность, сметает и барьер, препятствовавший включению в литературный контекст личных мотивов. Бдительность, не позволявшая спонтанных высказываний (тут, несомненно, и политическая осторожность, идущая от опасностей борьбы, из двадцатых и тридцатых годов), ослаблена не только физической долговременной потерей со-

знания: рвущаяся наружу из молчания боль, причиняемая вестями, доходящими из Германии, также растапливает и уносит прочь преграды на пути личной объективации. Желания, сдерживаемые в строгой самодисциплине, могут наконец быть высказаны. Ее собственное состояние с откровенной прямоотой выражается в таких словах, как «удивление», «любопытство», «уныние», «слабость», «тоска», «родной дом», «ужас». «Что поддается рассказыванию — уже преодолено»? Здесь речь не о преодолении. Рассказывается, чтобы спастись. Чтобы вырваться и оглянуться со стороны.

Туманная дымка, разливающаяся то и дело над различными ландшафтами, застилающая современное, обнажающая прошедшее, отдаленное, — это ведь и пленка слез, сквозь которые глядит рассказчица, и воображаемое облако, в каком являются человеку некая богиня или некий бог, чтобы, бережно окутав его и укрыв, перенести в нем в другое место. И в самом деле, странно перенесенной ощущает себя немка в этой стране, где замерло, быть может лишь для нее, и не движется с места время, включая и время, необходимое для повествования. «Там», «по ту сторону» — за оксаном — продолжает свой бег стремительное, страшное время, ужасающими известиями вторгающееся во временную нишу рассказчицы: ее мать депортирована национал-социалистами, отец мертв, родной Майнц разрушен. Необходимость жить дальше, смотреть и видеть превращается в жесточайшую муку.

Теперь на выручку приходят и выдерживают испытание привычные для нее способы чувствовать, мыслить, рассказывать; они наготове и позволяют назвать неназываемое; события, непосредственно задевающие ее самое, удается развернуть на фоне глубокой исторической перспективы, хотя и не смягчающей их остроты, однако объективирующей их суть и выявляющей повторяемость в казавшихся единственными в своем роде процессах. Страшная, злая сказка — то, что приключается с этими чистенькими, сияющими девочками, что приключится с ними; сказочные мотивы присутствуют в магии имени и в сновиденческом течении времени; подобно тому как в сказке легко поддаются различению добро и зло, так и здесь у рассказчицы в руках простое средство различения между добром и злом — достаточно лишь вопроса о том, как держались, как они будут держаться под властью национал-социалистов. Потому что школьница Нетти, в которую снова превращена рассказчица, не получает наивад вместе с детской внешностью своего наивного былого неведения: умудренно, страдая от этой мудрости, она видит в окружающих ее подругах одновременно и взрослых, причастных вине либо выстоявших, и в провидении будущего — страшный по-

дарок богов — ей открывается предстоящая гибель большинства из них.

От блеска, разлитого над прирейнской равниной, обманчивый образ которой рисует тоска по родным местам, от лучезарной интенсивности воскрешаемого в памяти идиллического ландшафта веет красотой лесов, лугов и реки из старых немецких сказок; играющие дети уже будто встречались такими, как бы увиденные, изображенные, описанные романтиками. «Мы помахали трем маленьким домикам, которые с детства нам были близки, как будто вышли из книжки волшебных сказок с картинками». И как в яркой книжке доброе волшебство способно в мгновение ока обернуться злым колдовством, так же и с девочками, самая красивая, самая нежная и прелестная из которых, словно от прикосновения волшебного жезла, может впасть в злое безумие, стать бессердечной, бессовестной, вероломной. А волосы другой, «теперь еще черные, как вороново крыло, как волосы Белоснежки, совсем поседели, когда в битком набитом запломбированном вагоне нацисты отправили» ее «в Польшу». Возможно, что слово «Аушвиц»¹, в котором, будто смертельный яд, слились мучение, безумие и преступление целого столетия, что это название не пробило еще за пределы Германии и не шагнуло через моря, что рассказчица еще не знала его и не могла еще знать цифры, числа погибших, связанного теперь с этим названием. Но холод, предчувствие непоправимой навеки беды уже здесь, ее дыхание уже бросает тень на юные лица, на сверкающий мирный ландшафт.

Мы не узнаём, где именно побывал на прогулке класс. Не исключено, что это были именно те места, тот уголок в Райнгау, где в 1806 году лишила себя жизни поэтесса Каролина фон Гюндероде. Анна Зегерс знала про Гюндероде, часто упоминала о ее судьбе, и не таким уж невероятным кажется существование некоей взаимосвязи между ее ранней гибелью и насильственной смертью девушек в рассказе; уже далеко в прошедшем обнаруживается тот пункт немецкой истории, начиная с которого в первую очередь люди мыслящие, творческие рождались в нежизнепригодную жизнь и от которого берут начало роковые линии исторического развития, через беспрекословное слепое повиновение, готовность к самобичеванию, шовинизму и эксплуатацию приведшие к специфически немецкому варианту бредомыслия, апогеем которого стал национал-социализм. В особенной опасности оказывается дружба и любовь, многозначительный пример видится сегодня в утратах, выпавших на долю Гюндероде: потеря друга, Савиньи*, и возлюбленного, профессора

¹ Немецкий вариант названия польского города Освенцим.—
Прим. перев.

Кройцера*, отнятых у нее служебным долгом, государством с его притязаниями и правами; более столетия спустя некто, вывесив из окна флагом со свастикой, обречет свою жену на стыд, отчаяние и смерть; в то же время ни побои гестаповцев, ни арест не в силах заставить одну из двух ближайших подруг рассказчицы выдать своего мужа; а другая, оказавшись после гибели возлюбленного замужем за эсэсовцем высокого ранга, отказывается защитить от тяжелой руки государства детей своей бывшей подруги. Подобно легенде, звучит рассказ о судьбе двух подружек, Марианны и Лени. Такой способ повествования позволяет нам разглядеть начало их судеб в более ранних эпохах, не мешает ассоциациям, воспоминаниям об их предшественниках и предшественницах, и имя Гюндероде — всего лишь сигнал, вспыхивающий где-то в глубине именно этого холмистого ландшафта.

Но в то же самое время это и такой рассказ, который, глубоко проникая в минувшее, остается как бы открытым для будущего, кажущегося к моменту написания почти фантастически невозможным; и если спросить себя, откуда берется это ощущение открытости, которую с долей хрупкой боязни можно бы назвать и надеждой и которая нигде прямо не высказывается, то объяснение отыщется в самом присутствии рассказчицы. Несмотря на все подробности о ее положении и душевном состоянии, она всего лишь контур, непрописанное белое пятно, позволяющее спроецировать на него собственную веру в будущее; голос, исполненный глубокого участия, но говорящий без экзальтации и прежде всего — правдивый; и хотя она не знает, прочтут ли когда-нибудь в Германии как этот рассказ, так и другие написанные в эмиграции рассказы и романы, она снова и снова противопоставляет искаженной «реальности», предстоящей взгляду большинства ее впавших в ослепление соотечественников, собственную, из истории, мифа, сказки и легенды сотворенную подлинную действительность. Жизнь в ее книгах насыщеннее, чем жизнь большинства ее читателей. Моста через пропасть между людскими желаниями и предлагаемыми для их псевдудовольствования суррогатами литература перекинуть не в силах, и вопрос о том, способно ли вообще воспоминание об архаических структурах и способах жизни найти отклик в человеке нового времени, индустриального века, и о том, можно ли вдохнуть новую жизнь в активную некогда функцию сказки, деградировавшей в машинном мире до положения романтического дурмана, — этот вопрос встает перед каждым рассказчиком, видящим в утрате памяти и истории начало оруэлловского человека-робота, обитателя начисто технизированного мира. Это одновременно вопрос и о том, реально ли для сегодняшнего человека только лишь осязаемое, съедобное, дельное, годное к немедленному употреблению или же ему представляется существующим,

реальным, желательным, возможным то сплетение человеческих отношений, какое развертывает перед ним художественная литература, включая и прозу Зегерс. Возможно, что эта сохранительная роль поэзии теперь еще более возросла в сравнении с временем, когда писалась «Прогулка мертвых девушек».

Рассказ завершается поездкой по Рейну (мотив путешествия ведь тоже один из древнейших в литературе), перед которой, как она ни была коротка, «поблекли все... путешествия по бесконечным морям», и теми пятью страницами, где предвосхищается встреча с разрушенным Майнцем, в действительности только еще предстоящая ей, — встреча, о которой она тогда, многими годами позднее, не обмолвится ни словом. Однажды я, опять-таки много лет спустя, используя рассказ в качестве путеводителя, прошла той же дорогой: от платанов на набережной через вновь отстроенный Майнц, где почти одни только церкви сохранили что-то от облика прежнего города, мимо того места на Флаксмартштрассе, где должна была когда-то стоять антикварная лавка отца Зегерс, Изидора Райлинга, и дальше — туда где стоял дом, в котором она жила со своей семьей. В башнеобразной комнате я сидела с одной из ее бывших учительниц, уже очень старой. Она сказала: «Да, все было именно так, как описано». И я слышала в телефонной трубке голос одной из ее бывших соучениц: «Мы все себя сразу узнали».

Перечувствованное и увиденное в Майнце вспоминается уже не так ярко. И при каждом перечитывании совершенно отчетливы и близки мне люди, судьбы, ландшафты и настроения, образующие ткань произведения. На этом одном примере я попыталась проследить «линии», которые сопрягает в повествовании Анна Зегерс. В различной форме они заявляют о себе и в других рассказах.

Май 1983

ФРАНЦ ФЮМАН

Речь на траурном собрании в Академии искусств

Голос Франца Фюмана я слышала в последний раз ровно за неделю до его смерти. Был воскресный вечер, голос по телефону раздавался отчетливо, и это был, можно сказать, обычный разговор двух друзей, один из которых, правда, здоров, а другой тяжело болен. Бесстрастным голосом и без единой жалобы он сообщил мне, что происходило с ним в течение последних недель, и в это сообщение была вкраплена одна фраза, выдававшая не-

кое предчувствие или даже знание того, о чем в течение последнего года никогда не говорилось вслух. Но даже если он уже все знал, это не помешало ему начать со мной спор об авторе, которого я ему рекомендовала и которого он начисто отвергал из-за его непоследовательности: этот автор критикует лишь симптомы, не затрагивая сути дела, его стрелы не достигают цели, хотя он отлично знает, кто виноват. Словом, во всем половинчатость. Я решительно возражала ему, и выговорила себе право еще раз попытаться переубедить его во время нашей встречи, о которой мы условились. «Что ж, попробуй!» — сказал он.

Когда я положила трубку, чувство тревоги возросло. Но по крайней мере наша договоренность о встрече должна была остаться в силе. Вскоре я узнала, что операция перенесена на более ранний срок, но навесить его так и не смогла. Однако сообщение о смерти застало меня все-таки врасплох. Почему я так надеялась на отсрочку для него? Ради него самого? Или ради себя? А если даже и ради себя: почему?

Теперь, уж коли у нас завязался спор, он подошел бы к вопросу со всей основательностью. Что означала для него «основательность», можно убедиться, прочитав хотя бы его книгу о Тракле. Хотя бы на примере того, как он преследует — это слово попадет здесь в точку! — един-единственный мотив из одной строки одного стихотворения: сумасшедший умер. Из «Псалма» Тракля. Читая это, всякий раз переживаешь, как и теперь, в эти дни, я снова переживаю и обдумываю, что могут означать слова «улавливать поэзию». Когда ты призван и вызван вместе со всем, что ты знаешь; со всем опытом, особенно опытом кризисов и провалов в своей собственной жизни; когда ты должен подключить все источники, из которых ты черпаешь свое мужество, столь тебе необходимое: чем глубже тыходишь в стихотворение, тем ближе наступает момент, когда некая сила вынуждает тебя «закрыть глаза, словно навстречу тебе поднимает голову сама Правда»; и если эта голова Медузы откроет глаза, то на кого же ей смотреть, как не на тебя, и здесь ты еще раз должен будешь выдержать то, о чем тебе и говорит прочитанное стихотворение: «Отыскивать правду — /Огромная боль».

Поэзия воздействует как злой рок, не уставал повторять Фюман. И цитировал Бодлера: «Слово выдает то, на чем помешан поэт».

За эти немногие дни, прошедшие с тех пор, как он умер и как я непрерывно читаю его, я не могу пока оказать ему честь быть столь же точной, каким был он по отношению к Траклю, когда он приводил и пересчитывал слова, которые Тракль чаще всего употребляет. И все же я отважусь назвать те слова, которые я считаю у него центральными. Это слова: Изменение, Правда, Правдивость, Серьезность, Достоинство. Они неизменно прохо-

дят через все его творчество, стержнем которого оставался один и тот же конфликт; но свою движущую силу, свое направление и свое содержание они получают от слова *изменение* — тема, с которой Фюман сумел «срастись»: речь идет о его непрерывных, неистребимых попытках, изменяясь и описывая процесс этого изменения, противостоять злему року, который предназначал ему быть в одном поколении и, в известной степени (так это ограничиваю я, не он!), стать соучастником того убийственного и умопомрачительного процесса, который привел к Освенциму. «Над огненной пучиной» — туда он должен был возвращаться снова и снова. «От Освенцима мне уже не освободиться». «Мое поколение пришло к социализму через Освенцим». И, безжалостно призывая Правду поднять свою голову, пусть даже взгляд Медузы его при этом уничтожит: «Как бы я вел себя, если бы мне приказали служить в Освенциме?»

И снова те же раздумья. А поскольку Фюман ни себе, ни нам не ставит надуманных вопросов, то любой может (как смогла и я, читая его и уже зная о факте его смерти), начав с конца, увидеть, как возникает из ландшафта его книг та структура, которая вполне закономерна и довольно редка, то направление, по которому он, однажды сделав выбор, вынужден был идти до конца. «Художник тот, кто не может иначе, и в таком случае ему ничем нельзя помочь». Он изнурил себя работой. «У меня очень тяжелая профессия, моменты счастья здесь чрезвычайно редки, они почти что непозволительны». Один раз, в конце своего эссе о Тракле, он признается, что «силы» его «на пределе». «Мы будем и дальше искать правду. Усиливать боль? Но только так мы узнаем это. И другого пути у нас нет».

Когда я спрашиваю себя, что бы он сам хотел здесь и сегодня услышать о себе, то уверена в одном: он запретил бы сглаживать то противоречие, в тисках которого он был «зажат до состояния разрушения». «Конфликт между поэзией и доктриной был неизбежен», — констатирует он в том самом эссе, где спрашивает, почему и при каких обстоятельствах у него появилась готовность пожертвовать таинством поэзии в пользу доктрины. «Обе корнились во мне, и ту и другую я воспринимал экзистенциально. Я с полной серьезностью относился к доктрине, за которой через все искажающие черты я все еще различал лицо освободителей Освенцима, столь же серьезна была для меня и поэзия, заставлявшая догадываться о Другом, что не покинуло человека и после Освенцима, потому что это Другое всегда противостоит Освенциму... Мой конфликт разразился изнутри, не снаружи, поэтому он был неизбежен. Конца его пока еще не видно».

Что остается писателю в такой, по-своему показательной, ситуации? Он должен самого себя выдвинуть в качестве примера, примера для назидания другим. Путь — все различные пути, ко-

торые Фюман начинал за последние десять — двенадцать лет, — вел его к примечательным сравнениям. Так, об Э. Т. А. Гофмане, по-братски родственном ему: «Чего достигает он подобным способом? Дает нам модели. Опыта человеческого и опыта человечества». А вот еще о скульптурном портрете, который сделал с него Виланд Фёрстер, его друг: «Это был не слепок, это была метафора, картина определенных возможностей и препятствий на пути их осуществления, «я» модели, возведенное в сферу существенного». В этих словах заключена его собственная эстетическая программа, а метафора, которую он целое десятилетие мысленно прорабатывал, для которой он собирал материал, которую рассматривал как свое главное произведение, имела свое название «Горный роман». Он говорил о нем, рассказывая эпизоды, основную идею, связывая все, что он делал в промежутках, с этой своей важнейшей книгой, часто рассматривая промежуточные произведения как помеху или задержку. И вдруг, месяцев десять или одиннадцать тому назад, мне и другим коллегам он заявил, что отказался от этого романа. В тот момент я очень испугалась и лишь с трудом смогла произнести слова сожаления. Сейчас, при перечитывании его последних книг, я обнаружила, что все они являются уже частями, не только лишь предварительными заготовками, этой мечтавшей ему книги жизни: составными частями всей работы, направление которой вело в глубину, во все менее известные, все более темные области, к началам начал, к мифам и сказкам, и в собственное нутро, в пещеры подсознательного, страшного, в область вины и стыда. «Горный роман сновидений» — эти слова я с удивлением нахожу уже в книге «Двадцать два дня, или Половина жизни»; это книга, в которой он уже совершенно приходит к себе, полностью обретает себя. И что особенно утешает, все же успевает испытать наслаждение жизнью, всей ей полной, радостью бытия и близостью друзей. Он перенес отчаяние, преодолел искушения алкоголя, наркотиков и самоубийства и снова взялся за работу. Он приступил к исследованию первооснов.

Наш диалог, начавшийся в пятидесятые годы (я вспоминаю о разговоре за маленьким круглым столом в кафе «Прага»; он показал нам тогда рукопись под названием «Поездка в Сталинград»), в шестидесятые годы заметно разладился по причинам, которые я еще должна искать и исследовать в самой себе. Совместная поездка в Венгрию; места, где жил Атилла Йозеф*, чьи стихотворения Фюман переводил. Переход через железную дорогу, где венгерский поэт покончил с собой. Разговоры во время поездки на пароходе по Дунаю, постоянно на одну и ту же тему, которая тогда поглощала нас: политика, культурная политика в нашей стране. Одна из картин, запечатлевшаяся в памяти: он, тогда еще тучный мужчина, тяжело дыша и фыркая, увешанный

водорослями, выныривает на ровной глади Балтийского моря под Ареншопом. Затем неожиданно — неужели мы несколько лет не виделись? — он стоит передо мной совершенно изменившийся, похудевший и отвергает все сдобное. Да, он был ригористом, мне было слегка жутковато от его категоричности, и все же сейчас я не могу уже ни написать, ни помыслить слова вроде «жуткий», не принимая во внимание то истолкование, которое он, Фюман, дал ему в своей статье «Фройляйн Вероника Паульман, или Кос-что о страшном у Э.Т.А. Гофмана». Я хорошо помню, как взволновало меня его эссе «Мифический элемент в литературе» и как я об этом написала ему в открытке из германистской библиотеки Эдинбурга. Его ответ лежит передо мной: «...наш добрый писательский Бог устраивает так, что мы находим друг друга, когда мы нужны друг другу...» Так было. С этого момента я могу точно назвать все места, где я читала его новые произведения — зачастую еще в виде рукописей, и фройляйн Вероника Паульман заставила меня, например, задать вопрос: «Стать тем, от чего пытаешься убежать, — неужели это неотвратимо?» И задуматься о «деградации своих соплеменников, ставших обыкновенной вещью, средством!», а еще написать предложение вроде следующего: «И все это настолько обыкновенно, что замечается человеком лишь тогда, когда бьет по нему самому, но уж зато — прямо в сердце!»

Здесь речь шла и о моих проблемах. Были времена, когда у меня возникало чувство, что мы идем навстречу друг другу. (И у него тоже? Этого я не знаю.) Но с другой стороны, трения у нас возникали именно в тех сферах, где мы ближе всего соприкасались.

Был ли он ранимым? Да. Но он переносил критику так, как ее и должен был переносить тот, кто постоянно сомневался в себе. Он лишь требовал, чтобы к нему относились серьезно. У меня сохранились в памяти жест и выражение лица, когда он встал со своего места после собрания, на котором доминировала трусость и отсутствовало достоинство: «Ну что ж, друзья. Это случилось. Меня вы здесь больше не увидите». И на собраниях этой организации его уже больше не видели. «Серьезность и достоинство — это слова, которые мне нравятся», — написал он. Критику в виде фарса он не выносил. Он умел презирать, долго и непримиримо. Но он умел также — мне хотелось бы сказать: прежде всего — безоглядно восхищаться и поощрять.

Серьезно, с полной серьезностью воспринимал он молодых. Не только сами дети, все его друзья, у которых есть дети, могут рассказать о том, как он умел на несколько часов исчезать из круга взрослых в детскую комнату и вести основательные беседы с восьмилетней девочкой или с пятилетним мальчиком, например — это был последний разговор, состоявшийся при

мне, — о сущности и природе ведьм. А его книги для детей! Но я хотела говорить о молодых, которые уже вышли из детского возраста и сами пишут стихи. Тем самым они неизбежно попадали в группу людей, за судьбы которых он брал на себя ответственность. Он был их другом, почитателем, критиком, советчиком, помощником, а если уж было необходимо, то также кредитором и адвокатом. Письма, которые он писал ради них во все инстанции! Ничто не мучило его так, думалось мне в последние годы, как навязчивое представление, что он может не заметить талант или даже гения, нуждающегося в поддержке, и тот может быть утрачен или приостановлен в своем развитии. Вырастает ли в нашей стране новые поэты, будет ли в ней литература, заслуживающая так называться, — в этом были его главнейшие заботы и опасения. Да, порой случалось, что ему попадался такой, который не столько воспринимал свое дело всерьез, сколько старался придать себе важности. Я никогда не забуду, как Фюман, уже обреченный после первой операции, еще в реанимационной, подключенный ко всяким трубкам и шлангам, поднялся и стал одержимо рассказывать о последнем разочаровании, которое причинил ему один из таких молодых людей, и я не забуду, как у меня тут же исчезли всякие поползновения поучать его. Я оглядываюсь сейчас вокруг себя в поисках того, кто мог бы стать его наследником в этом деле, и мне становится страшно.

Еще одно воспоминание: его больничная комната, увешанная картинами Грисхабера*, изображающими смерть. Это было уже после одной из следующих операций. Он уже знал, что дни его на исходе. И он приладил вокруг себя старуху — Смерть, просто так, чтобы привыкнуть к ней. И кто был при этом, запомнит навсегда, как он, чуть позднее, в этой же комнате и превозмогая боль, которую никто не должен был заметить, произносил свою речь в защиту Франца Кафки.

Еще не наступило время цитировать его письма. Лишь один абзац из письма, которое он написал мне два года назад, и ответ ему мне хотелось бы также привести:

«Если ты погрузишься в мифологию, — писал он, — то наверняка встретишь принца Ипполита, посвятившего свою жизнь Артемиде, этой ужасной десе-охотнице, из-за которой он забыл служить Афродите, и та мстит ему... Ипполит лежит при смерти, и у него лишь одно желание: чтобы в смертный час показалась ему та, которой он посвятил свою жизнь, его богиня, Артемида, легкостопающая путешественница. И она появляется перед ним, но лишь для того, чтобы сказать: "I gitt¹, ты умираешь, это ничто

¹ Сохранившийся со средних веков возглас, означающий отрицание, отвращение, презрение. — Прим. перев.

первоосновой — не вполне удалась, целостного впечатления она не создает, иные узоры не сложились, нити в иных местах перепутались. Уток кое-где выглядит чужеродным вкраплением, встречаются повторы, не до конца обработанный материал. Не всегда это сделано нарочно: к свободному владению материалом я пришла не сразу, и вы станете очевидцами этого процесса. Увидите и другой процесс, изменивший мою зоркость, но он только-только начался, и я сама остро ощущаю несоответствие между формами, которые мы условились практиковать, и живым материалом, которым снабжали меня мои органы чувств, мой психический аппарат, мой рассудок и который не желал укладываться в эти формы. Если позволительно уже сейчас сформулировать поэтологическую проблему, то она такова: нет и не может быть поэтики, что воспрепятствовала бы умиротворению и погребению живого опыта несчетных субъектов в объектах искусства. Так не являются ли и эти объекты искусства («произведения») продуктами отчуждения внутри данной культуры, которая создает другие совершенные продукты только ради самоуничтожения.

Короче говоря, я решила руководствоваться своим личным опытом. Я присматриваюсь к различным субъективным формам с точки зрения результата, который они могут дать, который я могу добыть с их помощью. *Первая и вторая лекции* — мои *путевые заметки о поездке в Грецию* — рассказывают о том, как образ Кассандры мало-помалу захватывает меня и получает первое, черновое воплощение. *Третья лекция* представляет собой попытку воссоздать в форме *рабочего дневника* взаимосвязь жизни и материала; в *четвертой лекции*, в *письме*, я задаюсь вопросом об исторической реальности образа Кассандры и об условиях женского писательства — прежде и теперь. В широком смысле этот вопрос касается зловещего воздействия феноменов отчуждения, а точнее, обращен против них — и в эстетике, и в искусстве.

Лекция первая

Путевые заметки о случайном появлении и постепенной эволюции некоего образа

Можно сменить город, но не исток.

Китайская Книга мудрости

Итак, не отдавая себе отчета в том, чего ищу, и лишь постольку, поскольку было бы грешно упустить такую возможность, я собралась в Грецию. Записала в графе «цель поездки» «ту-

ризм» и никому, даже себе, не призналась, что ожидаю возврата анкета и превращения их в официальные визы — непостижимая штука! — с олимпийским спокойствием; радость я скорее разыгрывала, чем ощущала, и вообще смотрела на все с иронией («...томясь душой о Греции далекой...»¹); о стране я нарочно ничего почти не читала, под тем предлогом, что иначе-де утратится свежесть восприятия, и в итоге не очень удивилась приступу смеха, который одолел меня, когда по недосмотру авиакомпании мы опоздали на свой афинский рейс.

Вот теперь, глядишь, и станет интересно. Мы бодро спустились по лестнице аэровокзала. Нет, не закон — случай будет распоряжаться нашей поездкой, самовластный владыка, непредсказуемый, труднообъяснимый, его вряд ли проведешь, ему не прикажешь. Случай — эфемерная субстанция, без нее не обходится ни одно претендующее на «правдивость» повествование, но как же трудно ее поймать. Такси. Хватка неотвратимого ослабла. В этот единственный раз предпосылки, из которых рождается результат, предначертанный для всякого жизненного мига, не сопряглись, повисли в воздухе; Мойра, судьба, тщетно искала нас в самолете, который только что приземлился в Афинах; потерянные, не зарегистрированные тени без багажа, мы ехали по улицам Берлина, столицы ГДР; со странным чувством, чужие, незнакомые, шли мы по неузнаваемому городу, съели в «Паласт-отеле» восточноазиатский обед на деньги, указанные в таможенной декларации, взяли билеты в оперу и на оживленной Фридрихштрассе обсудили неожиданный даровой день. С предосторожностями проникли в собственную пустую квартиру; поспали; вечером несколько безучастно послушали «Похищение из серая», с трудом припоминая, какие условия положено соблюдать, чтоб волшебство действовало. Нам в голову не приходило, что текст и мелодия заключительных строк: «В ком благодарности не живет, презренье лишь достоин тот» — будут неотвязно преследовать нас целый месяц с лишним.

Наутро в пустой квартире, куда никто даже ненароком не звонил и не слал писем, я начала читать «Орестею» Эсхила. И сразу почувствовала, как меня захлестывает безудержный восторг, как он растет и достигает высшей точки, когда звучит:

О горе мне, о горе мне,
Аполлон, Аполлон!²

¹ Гётте И. В. Ифигения в Тавриде; I, I. Перевод В. Гиппиуса.

² Здесь и далее «Орестея» Эсхила цитируется в переводе С. Анта.

Кассандра. Я увидела ее тотчас же. Она, пленница, взяла меня в плен, она, сама орудие в чужих руках, покорила меня. Лишь много позже я задамсь вопросом, когда, где и кто ввел необходимые условности; волшебство подействовало немедленно. Я верила каждому ее слову, выходит, было оно еще, было — безоговорочное доверие. Три тысячи лет растаяли как дым. Подтвердился провидческий дар, которым наделил ее бог, только утратил силу его вердикт, что никто ей не поверит. Мне она казалась правдивой в ином смысле: по-моему, в этой пьесе она одна знала себя.

Завороженная, я не вникала в причины своего душевного волнения, не спрашивала себя и о том, какую цель преследовал или мог преследовать Эсхил, создавая этот образ. Прежде чем заговорит Кассандра, мы уже знаем: война с Троей кончилась. Предводителя ахейцев, царя Агамемнона — у его дворца в Микенах мы как раз и находимся, — после десятилетнего отсутствия ждут на родине жена Клитемнестра и старцы, которым пришлось остаться дома. И вот он возвращается, на триумфальной колеснице рядом с ним Кассандра, троянка, дочь царя Приама, которого нет более в живых, как нет в живых ее братьев и почти всех сестер. Троя разрушена, и все это она предсказывала, но соотечественники ей не верили. Теперь же она осмеливается предречь окружившим ее чужеземцам, что собственный их царь, которого Клитемнестра, его супруга, просит войти по триумфальному пурпуру во дворец, будет этой женщиной убит. Проклятие, что лежит на доме Атридов, она учуяла сразу. Хор аргосских старцев дивится: она не принимает великодушного приглашения Клитемнестры участвовать в жертвоприношении, готовящемся во дворце. Может, она не понимает по-гречески?

Предводитель хора.

Сойди же с колесницы, уступи судьбе.
Иди, иди, ярма отвдай рабского.

Кассандра.

Аполлон, Аполлон!
Страж путей, погубитель мой!
Второй своей стрелой ты сразил меня.

Хор вновь дивится: неужто бог глаголет устами раба? Как может эта рабыня вопреки благопристойности, законом и обычаем обращаться с жалобами не к кому-нибудь, но к Аполлону? Мимоходом у меня возникает вопрос: вдруг малоазийская троянка призывает другого Аполлона, не того, которого чтут греки на континенте? А она опять кричит, городит невесть что, «жилищем палачей» именует дом Агамемнона, хотя другого пристанища у нее нет. После этого у старцев, которые сперва

назвали ее «зверек, силками пойманный» и даже посочувствовали, закрадывается недоверие и сдержанный холодок:

Собачий нюх у пленницы поистине:
На верный след напала, кровь почуяла.

Ход мыслей у них вполне современный, у этих старцев, что жили более двух тысячелетий назад: собака, а не человек выкапывает в прошлом их царского дома то, что им всем известно, — детоубийство и каннибализм. Слишком много позволяет себе эта опасная чужестранка, выкрикивая здесь, на площади:

Немудрено почуять — сколько признаков!
Вот слышу я младенцев бедных плач,
Детей несчастных, съеденных родителем!

Спору нет, хор мог бы поименно назвать полонянке-пророчице персонажей ее кошмарных видений: это Атрей, отец Агамемнона, убив детей своего брата Фиеста, кормит его их мясом — в Малой Азии такое, видать, даже при тронных распрях не в обычае. Однако ж патриоты-старцы велят чужестранке замолчать, не ее это дело:

О чужестранка, ты слышь провидицей,
Но прошлое не нужно и предсказывать.

.....
Язык свой обуздай, молчи, несчастная!

А собственно, чью сторону держит Эсхил? Или он пытается искусно воздать по справедливости всем и каждому? Его и более раннего Гомера, возвестившего о Троянской войне, разделяют по меньшей мере триста лет. Из послесловия я узнаю, что в 456 году до н. э. Эсхил получил за «Орестею» первую премию на драматических состязаниях в Афинах. А события, о которых он ведет речь, теряются, как и его герои, в сумерках мифа. В такой ситуации справедливость, по-моему, была для драматурга не столь уж сложной проблемой.

Сегодня у нас 20 марта 1980 года. Случай, Тихе, отдал меня во власть некоего взора. Не знаю, кто из небожителей или смертных удовлетворенно потирает руки, когда я после паспортного и таможенного контроля, лишенная возможности выйти в какую-либо дверь, уже который час, словно узница, сижу в зале для транзитных пассажиров аэропорта Берлин-Шёнефельд, с Эсхилом на коленях жду самолета компании «Сириэн Эйрлайнз», который, говорят, еще и не вылетал из Копенгагена; вокруг меня западноберлинцы — молодые женщины и су-

пругеские пары, ведь перед Пасхой до Афин дешевле добраться именно из Шёнефельда, а их дети превратили транзитный зал в этакий спортивно-игровой центр. Грубой сетью висят у меня перед глазами строки Эсхила, сквозь крупные ячеи которых видна одинокая фигура, она чем-то занята, и вид у нее... затрудняюсь сказать... пожалуй, решительный: она знает, что делает. Срывает с себя знаки своего достоинства:

К чему, к чему же я ношу, не на смех ли
Венок и жезл — вещуны знаки жалкие?
Нет, растопчу их, прежде чем сама умру.
В прах, пображушки! Я за вами следом — в прах!
Сам Аполлон с меня убор провидицы
Срывает...

И мне чудится облегчение, хотя сами по себе слова, пожалуй, не передают его. Наконец-то быть свободной от тягостного призвания, отринуть долг перед богом («...пророчицу/Сюда на муку смертную привел пророк...»), перед соотечественниками («Ведь я же худший день родного города/Уже пережила»); отвергшая призвание, хотя и не избавленная от бремени «провиденья», она в долгу перед собой — только в чем, собственно, этот долг? Самопознание, остраненность, трезвость и вместе с тем глубокая ишая уязвленность слышатся мне в ее голосе. Нога торжества? Она что же, стоит теперь выше тех, кто некогда насмеялся над нею — «враги и недруги!» — и обзывал ее безумицей, попрошайкой, лживой колдуньей, сумасбродкой, горемыкой, нищенкой? Корит их, обвиняет? Конечно, нет. Она не жаждет мести. Похоже, я знаю о ней больше, чем могу доказать. А она, похоже, глядит на меня пронзительнее, задевает большее, чем бы мне хотелось.

Младшие дети, четыре-пять мальчиков одного возраста, повхватали друг перед другом своим игрушечным оружием, а затем разделились на мини-группы, затеяли войну и, отчаянно отстреливаясь, носятся по коридорам, которые ведут к дверям таможи. Когда потребовались десятипфенниговые и марковые монеты для телефона, хочешь не хочешь пришлось сознаться, что среди пассажиров мы единственные граждане ГДР. Тем временем одна двенадцатилетняя девочка обнаружила, что второй автомат работает вообще без денег, и его мигом окружили подростки, неутомимо названивающие друзьям и подружкам в Нью-Йорк, Афины и Стокгольм. Если мы, как обещано, вылетим примерно в 22.20, то около двух ночи будем в Афинах. Голос К., по первому телефону, очень далекий, приунывший: Вы правда прилетите? Стол давно накрыт.

Последний раз усталая буфетчица отпускает напитки, за ва-

люту конечно, потом закрывает и она, гасит свет над стойкой. Мы предоставлены самим себе и нашим сомнениям насчет того, есть ли еще что-нибудь за пределами голого, ярко освещенного транзитного зала — аэропорт, город, которому он принадлежит, страна, иные страны, континент. Вправду ли самолет — как сообщает призрачно-безликий голос по радио, он задержался в городе Копенгагене, поскольку низкооплачиваемый летный персонал проводил кампанию «служба по инструкции», — пробьется сквозь ночь к нам, случайной кучке горемык, в которую мы, если б все шло как надо, никогда бы не попали. А телефон, «работающий без денег», — уж не участвует ли он в заговоре, не воспроизводит ли, быть может с помощью хитрых магнитофонных устройств (ведь нынче все возможно, вам не кажется?), голоса, имитирующие внешний мир, тогда как в действительности... Кассандра у врат Микен (я не вижу их: Львиные ворота? ворота дворца внутри городских стен?):

О двери дома, о врата Аидовы!
Молю лишь об одном: чтоб метко пал удар,
Чтоб сразу же, как хлынет кровь, без судорог,
Смогла навеки я закрыть глаза свои.

Смотрю на молодых женщин вокруг: не всем ли нам знакомо это желание? Для себя и своих детей? Что, если трижды безопасные двери на летное поле, которые все же когда-нибудь откроются, ведут в глухой, пустынный край? Какой-то шум — самолет приземлился?

Предводитель
хора.

...Но скажи, зачем,
Свою судьбу предвидя, агнцем жертвенным
Отважно ты и смело к алтарю идешь?

Кассандра. Иного нет пути. Так что же медлить мне?

Предводитель
хора.

Последние мгновенья ценят смертные.

Кассандра. Мой день пришел. В увертках мало прибыли.

Предводитель
хора.

Так знай же: ты отважна и в страдании.

Кассандра. О мой отец! О доблести детей твоих!

Предводитель
хора.

Да, людям легче умирать со славою.

Кассандра. Но слов таких не говорят счастливому.

Как, каким образом произошло у нее это крушение всех альтернатив? Ведь ей остается один лишь этот путь, и ее не тащат по нему силком, она идет сама. Пустите! Я должна войти! Про-

щайте. А затем — «ошибка» Эсхила. Никогда бы она не сказала: «Я в дом войду, рыдая о своей судьбе/И Агамемнона». Агамемнон — последний в ряду мужчин, совершивших над нею насилие (первым был бог Аполлон), — и рыдать о нем? Плохо бы я ее знала.

Дети буянят, никакого сладу нет. Один в сторонке от других; этот маленький пухлый хитрюга ябедник то и дело подбегает к мамам и докладывает: а они меня все время проституткой обзывают! Мама никак не откликаются — до чего же прогрессивные! — и потому он гонит малышей, в конце концов один из них падает, сильно ударившись головой, мать поднимает его, утешает. Юный ябедник, невозмутимо (господи, этот мальчик тоже когда-нибудь станет мужчиной): я за ним погнался, он же все время обзывал меня проституткой. Мы смеемся — и знакомимся. Сигрид. Позднее, однажды вечером, мы будем сидеть рядом в афинской таверне и есть жареную баранью грудинку. Ее греческий друг, писатель и автор нового перевода Эсхила, всю ночь ждал в Афинах самолета за компанию с нашим греческим другом. Она с нами и он с ним обменялись одинаковыми телефонами. Тихе, случай.

Надежда почти угасла, и вдруг — узкая дверца на летное поле открывается. Я в самолете: сна ни в одном глазу, нервы на пределе, как натянутые струны, и это вместо долгожданной усталости. «Боинг». Два стюарда, две стюардессы, выполняющие распоряжения своих коллег-мужчин. Монолитная группа пассажиров-сирийцев, никому из них даже в голову не приходит пересесть, чтобы чета западноберлинцев с приемным вьетнамским сыном — «Томасом» — могли поместиться рядом. Увядавшие, с ног до головы в черном, жены сирийцев беспрекословно повинуются малейшему жесту мужей; как одна из них — из тех, что помоложе, — могла бы выглядеть Кассандра, но ни одна из них сегодня, спустя столько веков, не могла бы говорить, как она (что же с ними за это время сделали?):

...Вот жизнь и кончилась.

Увы, друзья!

Как вспугнутая птица над кустарником,

Я заметалась. Вы об этом вспомните,

Когда за гибель женщины, за смерть мою,

Жена заплатит, а за гибель мужа — муж.

Один из сирийцев, не обращая внимания на сидящих, хлопает у них над головой багажными полками, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, открыл-закрыл; мне недостает изобретательности хоть как-то выказать свое негодование, когда он подходит к нам, тянется к полке, открывает ее и снова захлопывает, так и не

найдя того, что искал. Есть среди пассажиров и датчане, светловолосые, бледные, сдержанные. Дети из транзитного зала беснуются в проходе. Ковчег.

Зачем сюда привел меня, несчастную?

Чтоб смерть меня постигла здесь! Зачем еще?

За что смерть? В чем ее вина? Что имеет в виду греческий поэт? Или что у него здесь прорывается, хоть он, собственно, сам того не желает? Идет ли речь о той давней вине, о давнем проступке, когда она обманула мстительного — как теперь ясно — бога? Она ведь призналась в этом хору старцев, которые способны все же и на благое сочувствие:

Кассандра. Мне Аполлон-гадатель повелел вещать.

Предводитель

хора.

Он пожелал тебя, земную девушку?

Кассандра. Меня он домогался, он любви хотел.

Предводитель

хора.

И что ж, ты отдалась его объятиям?

Кассандра. Пообещав, я обманула Локсия.

Предводитель

хора.

Уже владея даром прорицания?

Кассандра. Уже я беды предрекла согражданам.

Предводитель

хора.

Но как же гнева Локсия избегла ты?

Кассандра. С тех пор мне никогда ни в чем не верили.

Предводитель

хора.

Я верю. Речь твоя мне вещей кажется,

Кассандра. Опять, опять

Меня кружит пророчества безумный вихрь

И мучит боль предчувствий. О беда, беда!

Невероятно, чтобы в «действительности» Кассандра могла говорить о расплате за *эту* вину. Мне она представляется свободной от страха перед богом. Однако, возможно, ей не даст покоя другая «вина»: она была способна так далеко отойти от своего народа, что «провидела» его злосчастную судьбу; ведь безоглядно впугавшийся в распрю не провидит ничего. А «пророчество», навязанное ей свыше, налетает внезапно, словно пароксизм.

Стюард с безучастной миной подает мне быстрозамороженный бифштекс — я чуть не взрываюсь от возмущения, хотя вроде и не с чего. Час ночи, юмор, похоже, в самолет не попал. Редко я бывала среди людей, так безгранично равнодушных друг

к другу, думаю я. Моя соседка, молодая учительница из Гессена, знает про Грецию буквально все, она вмиг перечислила одной из попутчиц необходимые самолетные, автобусные и железнодорожные маршруты, а потом разговорилась с сидящим у окна художником-даччанином. Три месяца в году, слышу я, он проводит на маленьком эгейском острове. В первобытном состоянии, добавляет он, иначе теперь нельзя. Молодая учительница совершенно с ним согласна. И они говорят, говорят не переставая, а я спрашиваю себя, что, собственно, мешают мне громко заорать. Чтоб они утихомирились. Чтоб стюард забрал у меня тепловатый бифштекс. Чтоб дети наконец сели по местам. Чтоб сирийки не шастали то и дело сомкнутым строем в туалет.

Кассандра, конечно же, любила этого бога, или кто он там был, потому и отвергла, когда стало невмоготу терпеть его приставания. Логика западной женщины? Скорее, логика мужчины, см. Эшила. Но почему она, изъявив готовность обучаться «провиденью», выбрала мужскую профессию? Почему хотела стать с мужчинами на одну доску? А собственно, отчего это «провидец» — мужская профессия? Так было всегда? Или с каких-то пор? И вообще, те ли это вопросы, что могут извлечь Кассандру из мифа и литературы?

Нынешняя система образования, говорит учительница, прямо-таки сплошной кошмар. Она отнимает у детей всякую надежду на самоосуществление. А вот художник сумел даже у десятилетних пробудить стремление к творчеству, и это, как ей кажется, ужасно интересно, поскольку... — слышу я, но затем пропускаю мимо ушей цепочку речевых блоков, ведущую к — увы! — стандартной теме «атомная энергия». Наша цивилизация, всегдашние, утомительные, пустопорожние перемены. Кофе в пластмассовых бокальчиках. стакан воды. В самолете начинается зона, где с благодарностью принимаешь стакан воды.

Что за человек был Приам, отец Кассандры? И как ее мать Гекуба, которую боги щедро благословили многими сыновьями, относилась к немногим своим дочерям? Как жила эта царская дочь в Трое, городе ее отца? Н-да, ясное дело: от нее больше не отвязаться, меня приворожило к ней, неужто же нет заклятья против этой ворожбы? С какой, собственно, стати она, дикарка, покоряется греческому богу? Кто бишь — не Маркс ли? — назвал греческую античность «детством» западного человека? Неужто дети увязли в столь многослойных проблемах совести, что мы, сверхстарцы, так-таки сразу их понимаем?

Fasten seat belts please. No smoking¹. Последняя колонна сириек протискивается на свои места, причем у мужей и в мы-

слях нет хоть как-то им посодействовать. Учительница навестит художника в его островном уединении. Пароходы очень редко ходят, суетет она. Кассандра спускается с триумфальной колесницы Агамемнона и идет к «вратам Аидовым». Таких слов, какие под конец слетают с ее губ, не могла бы произнести ни одна гречанка — современница Эшила, у которой нет ни места, ни права голоса даже в театре, а уж тем паче в иных общественных учреждениях; женщине это не подобает.

О доля смертных! С линиями легкими
Рисунка схоже счастье: лишь явись беда —
Оно исчезнет, как под влажной губкою.
Не об одной Кассандре, обо всех тужу.

Чего же она хочет — бессмертия? Для женщины? Что смутно брезжит в памяти поэта, если он создаст такие женские образы?

В два часа ночи — посадка. И первого же грека, что вместе с нашим другом встречает нас на летном поле, зовут Дионисом. Первый раз, в темноте, полусонные от усталости, мы садимся в экипаж, который станет в Греции нашим вторым домом, и я буду несправедлива, если сейчас, хотя бы и начерно, назову его микроавтобусом. Помнится, по дороге из аэропорта к центру Афин — десяток освещенных домов, лампы в окнах, причудливые острова света среди блеклых предутренних сумерек. Затем, без всякого перехода, одна-единственная яркая лампа над круглым столом в крохотной комнатке друзей — Н. и К. Стол, обильно уставленный яствами, а мы, выбившись из сил, способны лишь отведать их. Греческая трапеза. Первый глоток рецины¹ на греческой земле. Перенесенные во тьме от одного стола к другому, мы знать не знаем о погребке на углу, где тощий чернивший официант продает в розлив это вино из огромных, вмурованных в стену бочек, знать не знаем о лабиринте узких улочек в окрестностях этого дома, о тесных — не повернуться! — лавчонках, где К. покупает муку для питы², овощи для начинки, ковий сыр для салата; мы не видали апельсинов и оливковых деревьев, хотя и жуем их плоды. Добро пожаловать в Афины.

Какое же невысказанное смешение кровей — все мы, сидящие за этим столом, очарованные гостеприимством. Греческие, турецкие, немецкие, польские предки оставили в нас частицу себя. У всех у них, невольно думаю я, в седой древности вошло в обычай устраивать званые пиры, один клан угощал другой, выставив напоказ свой поначалу скромный достаток и втайне рассчитывая на ответное приглашение. И для древних греков похище-

¹ Пристегните, пожалуйста, ремни. Курить воспрещается (англ.).

¹ Вино с примесью хвойной смолы. — Прим. перев.

² Пирос (греч.).

ние Елены троянским юношей Парисом явилось поводом к войне наверняка именно потому, что Парис украл не просто женщину, но супругу Менелая, оказавшего ему гостеприимство. Догадывался ли Гомер, догадывались ли прочие сказители троянского эпического цикла, что, соглашаясь с мифом, они помогали затемнить истинное положение вещей? Ведь ахейцы и троянцы — кто бы они ни были — на самом деле воевали из-за морских торговых путей, из-за выхода к Босфору, который контролировала Троя. Таким образом, литература Запада начинается прославлением захватнической войны. Но кому бы хотелось, чтобы Гомер не существовал вовсе или был правдивым историографом?

К какому народу принадлежала Кассандра? Эсхилос хор, да и Клитемнестра тоже думают, что она не владеет греческим. Однако же сама она сомнений на сей счет не оставляет. Когда предводитель хора делает вид, будто и не слышал ее ужасного пророчества о том, что Агамемнон примет смерть от собственной жены, она не отступает, не оставляет его в покое:

Видать, и впрямь не понял ты пророчества.

.....
Я слишком ясно говорю, по-гречески.

Какой же язык для нее родной?

Город — впервые мы увидели его на другой день, ближе к обеду, — обескуражил меня, привел в замешательство, поскольку делать мне там было нечего. Фрагменты кадров, отрывки из будничного фильма — что было, то было. Кошки, шныряющие по крыше облезлого дома напротив. Фруктовая лавка в нижнем этаже соседнего дома, ее витрины сверху передо мной как на ладони. Голубые жалюзи — их видно с нашего крохотного балкончика, — то плотно закрытые, то до половины поднятые, то разомкнувшие планки-веки. Наконец на третий день светлая бронежилетка, вытряхивающая яркое покрывало. Сердитый молчун-домоправитель, едущий с нами вверх-вниз на лифте. В лавочке по левую руку в сумраке за витринами — орехи, печенье, хлеб, — все те же терпеливые, круглые как луна лица двух сестер. До невозможности шумная магистраль, отделяющая наш квартал узких переулков и мелких лавчонок от Национального парка, где померанец горит под зеленью густой. Мимо душистого кустарника мы однажды ночью дошли до самого подножия Акрополя; днем он словно парил в синем воздухе — летучий корабль, хоть и не такой огромный, как представлялось, — парил высоко над домами, в которых живут люди, и неожиданно-негаданно оказывался частью длинной улицы; почему бы не сказать вслух то, чего все ждут: какая красота! Кому охота быть без-

душным чудовищем, которому нет дела до афинского Акрополя?

С толпой туристов я прошла через площадь Синтагма к правительственной резиденции и долго смотрела на двух солдат в потешных шапчонках: точно манекены в бредовой «лупе времени», деревянно вскинув на плечо карабины, стуча деревянными башмаками, они вышагивали навстречу друг другу и снова расходились. Вот ведь наваждение: невольно перебираю в памяти города, по которым я уже так гуляла; стихотворная строчка и мелодия «В ком благодарность не живет, презренная лишь достоин тот», свербящие в мозгу, в конце концов я заражаю ими Марию, маленького сынишку Диониса, он ни слова не понимает по-немецки, но каждый раз требует: спой еще разок немецкую песню!

Дух этого города упорно таился от меня. Осмотры достопримечательностей — могла бы и наперед сообразить — только огулали. Вот и в воскресенье по дороге в Пирей — ну что, что нам понадобилось в переполненном, бешено мчащемся автобусе? — я видела лишь кадры из цветных испанских фильмов и силой запечатлела их в памяти: двое молодых мужчин, один в оливковом, другой в кобальтовом костюме, среди темной зелени сада за белой стеной, прорезанной решетчатыми воротами, которые открывали вид на изысканный садовый столик, там-то и устроились мужчины, чтобы — если я правильно толковала эти кадры и кадры, — потягивая из причудливых бокалов яркие напитки, вести бессмысленные циничные разговоры. Даже испанское полукружье залива, на берегу которого раскинулся порт — я нарочно несколько раз повторила его название: Пирей, Пирей, — не разбудило ни малейшего отклика. Нет числа кораблям и народам, что на протяжении тысячелетий держали путь к этой бухте. Сейчас тут, под парусиновым тентом, сидим мы, перед нами — тарелки с восхитительной рыбой. Дорого, очень дорого, Н. прав, не знаем мы пока цены здешним деньгам. Чопорно-застенчивый англичанин у нас за спиной, никак ему не отвадить цыганок с огромными, искусно расшитыми покрывалами.

Сколько лет было Кассандре? Тридцать? Тридцать пять? Было ли ей знакомо чувство, что испытала она много, слишком много? И новый для меня вопрос: уж не равнодушием ли расплачиваемся мы за то, что уцелели в испытаниях? Вопрос совсем не желательный, странный, запутаться в нем проще простого, еще проще, чем в бессилии и виновности. Нет, сказала я молодой цыганке, гадать по руке не надо. Дурное знать не хочется, верно? — сказала К. А я в тот полдень на чужом берегу, под ярким греческим солнцем, больше всего боялась услышать, что впереди мне ждать нечего. То ли было, когда я в первый раз очутилась за

границей — я буквально сгорала от нетерпения, жаждала первых слов на чужом языке, а как меня околдовал первый зарубежный город. Любовью околдовал, эго диво! — откликнулось во мне ироничное эхо, к которому я уже успела привыкнуть. От этого города любви не дожدهмся. Ну а чуда самообновления не будет уже нигде. Вот и броди по мертвым камням, среди безмолвных каменных стен, под безмолвными небесами, от которых ни ответа ни привета, — сей оракул казался неотвратимым и неприемлемым. Можно и опоздать с поездкой в Грецию.

Не одни лишь победители, жертвы тоже поднимались наверх, в Акрополь. Люди и животные. На алтарях храмов, громадящихся ступенями, теснящихся друг возле друга, ягненок сменил юношу, курица — полонянку. Так и боги: более ранние испокон веку становятся жертвами более поздних. В самом низу, у бастиона храма Афины Нике, — святилище матери-земли Геи, заброшенное, укромное, исчезнувшее под иными постройками, невидимое нам, детям позднего времени. Зато можно увидеть копию прославленного шедевра Фидия, колоссальной статуи Афины Паллады из слоновой кости и золота, со шлемом, щитом, копьем и эгидой, с маленькой статуэткой богини победы Нике на ладони. Афина, могущественная и холодная. Не знавшая матери. Со щитом и копьем, словно ярая мысль, вышла она из головы отца своего, Зевса. Никогда, думаю я, не была она более одинока и чужда своей природе, чем в облике этого бесценного фидиевского истукана. Унылая, а зачастую наивно-суетливая назойливость туристов, которые, как и я сама, отдыхают на мраморных блоках — сверкающий, острорезный камень, гладкий на ощупь. Предметы должны говорить со мной, но, увы, язык у них не развязывается. Н. то и дело щелкает фотоаппаратом, только его цветные снимки и дома не всколыхнут мою фантазию. Конечно, в Акрополе мы тоже побывали. Ну и как? Огромная россыпь камней. Чудесный вид на город, к стати весьма испорченный строительством. И спящие блики света, да-да, уже в апреле, такого я прежде не видывала.

А потом мы очутились перед кариатидами Эрехтейона — чтобы спасти от полного разрушения, их укрыли в Музее на Акрополе. Они стоят полукругом, глядят с высоты на нас, зрителей, и плачут. Камень плачет — не думайте, это не метафора. По лицам каменных дев, разведая их, струились слезы. Нечто более сильное, чем горе, оставило след на прелестных ланитах: кислотный дождь, отравленный воздух. Если даже некогда эти лица были пустоглазы и невыразительны, наш век навязал им свое выражение, печать скорби, и оно — меня как бы что-то толкнуло изнутри — находит во мне отклик. Начинает трепетать все созвучное скорби. Гнев, страх, ужас, вина, стыд. Душа проснулась. Я понимаю эту гору камня и костей. Понимаю этот киша-

щий людьми, стремительный, кровожадный, изрыгающий дым и выхлопные газы, алчущий денег город, которому хочется за год-другой наверстать то, на что иные из западных его собратьев потратили больше века. Я понимаю: у нынешнего города и у каменных дев, что свыше двух тысячелетий спокойно и горделиво несли балдахин над усыпальницей основателя Афин царя Кекропа, получеловеска-полузмея, были совсем разные, несоединимые потребности. Кору, то бишь девушки — некогда богиня плодородия Деметра с дочерью Персефоной, — впоследствии истребленные до кариатид, а теперь коротающие свои дни без всякой пользы. И пока я была в Греции, и сейчас тоже, они снова и снова как некие символы являются перед моим внутренним взором — стоит ли противиться этому? Может, все-таки попробовать? Дать имя символу, который ими обозначен, но тем не менее бессмыслен? Варварство нового времени. Была ли, есть ли альтернатива этому варварству? — вот какой вопрос гложет меня.

Прямо сейчас и приняться за эту тему?

Город, пожирающий сам себя. Какая-то необоримая сила завладела мною. Уж не открылись ли во мне пустые глаза каменных дев? С такими вот древними горящими глазами я блуждала теперь по городу, смотрела на сегодняшних людей, моих современников, как на потомков. Вон та молодая женщина, прислонившаяся к дверному косяку в лавке, где она торгует турецким медом и восточными пряностями, — потомка тех ахейнок, что десять лет жизни отдали ожиданию: ждали героев из Трои и — слабое утешение! — вероятно, послужили моделью для этих кор. Вон те мужчины с умопомрачительного, напоенного крепкими морскими запахами рыбного рынка, которые быстрым энергичным движением швыряют на дощатые прилавки трепещущую рыбу, убивают ее ударом маленьких топориков, а затем красуются острыми ножами на куски, — праправнуки давних греков-мореходов. Темные, морщинистые крестьянские лица в мясных рядах, где на крючках висят жертвенные животные, освежавшие, разделанные, уже без крови; кто были их предки — фессалийцы? македонцы из обоза Александра Великого? У душистой дымящейся жаровни с каштанами покуривает трубку турок. Тоненькие смуглые девушки, выбегающие из сумрачных икольных ворот на ослепительно яркую улицу, — я знаю их по изображениям критских минойцев, а этот уличный торговец с витринкой на колесах, полной золотых украшений, — судя по жестикам и чертам лица, он итальянец, ведущий свой род от венецианских купцов и солдат, которые основали колонии в Средиземноморье. Все они толпой спешили мне навстречу с площади Омония, куда направлялись мы. Заглянуть им в глаза никак не удавалось. Кроме двух-трех наглых, липких мужских

взглядов — женщины здесь скоро усваивают, что защититься от них можно, просто выпрямив спину и расправив плечи, — ни единого поползновения посмотреть друг на друга. Городские монады, думала я, кто привел их в движение, вокруг какого ядра они враждуются, что держит их вместе? Погоня за драхмой, говорит Н. Свокорыстис. Ведь один нуждается в другом, чтобы продать ему что-нибудь, дать по уху, стрелкнуть денег, использовать в своих интересах. И площадь Омония, над и под землей, — средоточие этой их погони. А средоточием средоточия, где всегда тихо, как в оке тайфуна, была таверна, в которой мы сидели. Холодноватый, точно в гроте, свет, как во всех греческих тавернах, он идет от крашенных голубовато-зеленых стен и, кажется, мгновенно остужает горячие головы, успокаивает взбудораженных посетителей. Официанты улаживают врожденную нетерпеливость гостей быстрым обслуживанием, вот уже стоит на столе нарезанный толстыми ломтями мягкий белый хлеб, вот и помидоры, свежие огурцы, оливки, постное масло и уксус, по четвертинке рецины на каждого, в воздухе плывет аромат — прямо за стойкой на открытых сковородах жарятся рыба и мясо, а хозяин, низкорослый, плотно сбитый, важный, степенным кивком приветствует всегдатая. Трапеза готова, постарайся же быть достойным ее. Степенное достоинство еды в странах, где вовсе не обязательно каждый сыт каждый день, где жадность не успела еще вытеснить этот жест радушия, который, даже если он делается и с расчетом, люди охотно принимают. И насколько же сильнее зависим от этого мы, чужестранцы, не владеющие здешним языком, неспособные даже вывеску прочитать, опирающиеся лишь на зрительные образы, жесты, запахи.

Но разве же не слово царит над нашим внутренним миром? Не теряю ли я себя из-за его нехватки? Как скоро безязыкость станет безликостью, утратой своего «я»? Странная мысль: появилась тут этакая Кассандра — а судя по всему, они среди женщин есть, — я бы не узнала ее, поскольку не поняла бы ее речей; приди она, как давняя Кассандра, в раж — я бы не сумела сказать, по праву ли один из этих франтов-полицейских в белых перчатках, успокаивая, но вместе и предупреждая, призывая к порядку, берет ее за плечо, выводит из круга зевак, которые из-за своей горячности кажутся отзывчивее, чем в более северных городах, и усаживает в машину «Скорой помощи», стоящую неподалеку, за углом. Суеверная робость не дает мне мыслить, как она, и выразить на моем языке то, что она скажет: это справедливо не только для какого-то одного города. Точно так же некогда она была способна предречь не только смерть Агамемнона, не только собственную свою смерть, но гибель дома Атридов через Ореста, сына, которого считают мертвым:

Но уж за гибель нашу боги взыщут мзду!
Еще придет он, тот, кто отомстит за нас:
Сын мать убьет и за отца расплатится.
Скиталец, из страны родимой изгнанный,
Он явится, кровавый замыкая круг!

Пророческая вера — это, по-моему, главным образом вера в силу слова. А соблазн-то велик: я, оказывается, убеждена, что, возможно, этот чуждый мне здешний хаос, перед которым я намного беззащитнее, чем дома, образует вокруг слов упорядоченную структуру, как железные опилки вокруг магнита. Центровка вокруг логоса, слово как фетиш — вероятно, глубочайшее суеверие Запада, но, так или иначе, я страстно ему привержена. Вот почему уже одно то, что я не владею языком, будит во мне предчувствие возможных ужасов изгнания. Пагубная привычка измерять чужие города как потенциальные места жительства — когда она возникла? Это вопрос о том, когда, в какой момент утратилось чувство родины. (Наверно, тот миг в жизни Кассандры, когда она осознала, что ее предостережения были бессмысленны, ибо Трои, которую она хотела спасти, не существовало. Она потерпела неудачу. Но Троя-то чем виновата, черт побери?)

Нити, связующие нас с нашими обязательствами, оборвались, наверное, когда мы в своем ковчеге плыли где-то над Балканами. Когда именно? Где? Не установишь. Выражение лица, с каким Н. сейчас осматривался в таверне, говорило о его восприимчивости к легчайшим колебаниям этого подспудного мира. Я видела, он чутьем угадывает: до какой же степени чужбина — уже родина, а родина — еще чужбина? Приняла ли она его? Или слышала чужой запах и замыкалась перед ним? Не отняла ли эмиграция у него способность держаться на плаву в этом водосеме? Я ошиблась, или в глубине души он невольно сочувствует оборванной измученной старухе, которая ходила от стола к столу, предлагая букетики цветов? Ландыши, ах, ландыши. Волна тоски по сырому тенистому уголку под кустом рододендрона в мекленбургском палисаднике. Что говорит старуха? Муж у нее болен, раздраженно отвечает Н., словно его раздражение может исцелить этого человека. Старуха задела его за живое. Изгнание, опять подумала я, это значит: спастись и порвать все связи, обрубить все корни. Который круг ада? А вон те три цыганки за столиком у входа, в пестрых юбках до пят, в кричаще ярких кофтах, в шальях с кистями, — их связи и корни всегда при них, стало быть, это не обязательно дом, усадьба, имущество, населенный пункт, страна и определенное небо над головой, как у нас, людей оседлых. Зато как же прочно, крепко-

накрепко связан вон тот, сию минуту вошедший мужчина в шляпе и с портфелем — он бывает здесь каждый день, в одно время, сообщил нам Н., — уже не молодой, но пока при должности; из тех, кто до конца сохранит прямую осанку (несколько чопорная гордость, то ли природная, то ли возникшая однажды по добровольному решению, была для этого человека, как мне показалось, убежищем и клеткой); он подошел к столику возле стойки, чинно поздоровался с хозяином, а официант меж тем поставил перед ним рюмку узо¹, которую он немедля, правда с достоинством, осушил до капли, после чего положил на столик монету, попрощался, вскинув два пальца к шляпе, с хозяином, который кивком поблагодарил его, и вышел. Две минуты, сказал Г., но каждый день. Пожалуй, в этом все дело.

И ведь ни следа иронии — что в больших, что в малых поступках этого народа. У нас всякая охота разговаривать пропадает, едва мы опять выбираемся на улицу, чтобы поневоле влиться в послеобеденную суматоху, ведь в эту пору борьба за выживание перемещается из контор и предприятий на городские улицы. На меня вдруг падает взгляд Медузы, чудовищной, высеченной из камня головы Горгоны, но посреди толпы мне камень недосуг. Древние проклятия, кажется, перестали действовать: почти задыхаясь в отравленном воздухе битком набитых автобусов, еле передвигая ноги, обливаясь потом, мы желаем одного — лишь бы все поскорее кончилось. Окаменением? Хотя бы. Замечаем ли мы, спрашивает Н., как теснит грудь от этой мешанины выхлопных газов. Вот, значит, отчего у меня теснит грудь, от выхлопных газов, отрадная мысль. А я уж было решила, что удущье от кошмара, который опять-таки создан не иначе как из людских желаний, только где-то на полпути к осуществлению злокозненные боги исказили их, заколдовали, превратили в нечто непомерное, жуткое, уродливое. Как по-вашему будет «счастье»? — Эфтихия, говорит Н., добрый случай. Замечательно, говорю я. Фраза вроде «Счастье всегда сопутствует лишь прилежному» у этого народа просто не могла возникнуть. Точно так же со времен Гомера и Эсхила они не могли изображать несчастье как вину. Как великодушно со стороны греческого драматурга вложить злое пророчество для древнегреческого царского дома в уста пленной варварки.

Какое пророчество еще могло бы поразить нас, вызвать стоны и причитания, которые у хора аргосских старцев вызвала весть о том, что их царь вот сию минуту будет убит царницей? Не оказались ли мы по ту сторону всех провозвестий и пророчеств, стало быть, по ту сторону трагедии?

Дома у Н., в крохотной кухоньке, жаркий неистовый шепот

К. Ловко, сноровисто, хватко, как гречанки, она мелко режет над раковиной овощи и зелень, моет помидоры, огурцы, зеленый и репчатый лук, петрушку, шпинат, чеснок, нарезает щупальца каракатицы, промывает, кладет в кипящее масло, кухня начинает куриться паром и благоухать; К. распахивает затянутое сеткой окно в световую шахту, готовит начинку для питы — шпинат с творогом, отбивает и раскатывает тонкой скалкой тесто, сминает его и опять раскатывает, все тоньше, тоньше, пока оно не становится прямо-таки прозрачным, — ничего, что у нас нет мяса? Дрожащими руками К. хватается за кастрюли и сковородки, я накрываю ее руки своими: успокойся, пожалуйста. Но она не может успокоиться. За ее спиной стою не я; за ее спиной стоит *эта женщина*. Ты не знаешь, какая она, говорит К., но ей ужасно хочется, чтобы кто-нибудь знал это, знал ее день под строгим надзором этой женщины; аристократический квартал, немисливо дорогие виллы, огромные комнаты, гигантские количества грязного белья, наглые дети, еда, которая должна быть готова в ту самую минуту, когда хозяйка приходит из магазина — художественные промыслы и ювелирные изделия, дороже не бывает, поверь, она только о деньгах и думает. Ей безразлично, что делает ее муж, правда-правда. И чем занимают ее дети. С ними-то я еще лажу, они любят мой немецкий пирог с яблоками. Бабушка тоже ничего. Знаешь, что она мне говорит? Моя дочь — нехорошая женщина. Всерьез говорит. А дважды в неделю К. обязана мыть громадный, опоясывающий дом, мраморный балкон, она заставляет, едким раствором, от которого у нее, К., трескаются кончики пальцев, а от пронзительного света на балконе впору ослепнуть. Представляешь? Что же мне, сказать: да, представляю, с тех пор как побывала в Акрополе? Уйдешь ты оттуда, говорю я, еще чего не хватало — какая-то бизнесменка тебя эксплуатирует. Ты думаешь? — говорит К. Не знаю. Мало-помалу ей удается заразить меня своими страданиями. При мысли об «этой женщине» перед глазами у меня возникает нечто среднее между богиней и чудовищем, этакая женщина-вампир, от которой нет спасения, — до сих пор незнакомый мне подвид женского рода.

Каракатица готова, пита в духовке. Салат я перемешиваю в ту самую минуту, когда у двери звонит Антонис. Итак, у телефонного голоса есть хозяин — человек по имени Антонис, который все за нас продумывает, все улаживает, обо всем беспокоится. Он знает тут буквально каждого и целыми днями только и делает, что ведет за нас телефонные переговоры с десятками людей. Мы вчетвером садимся за круглый стол, полностью занимающий так называемую «среднюю комнату» крохотной квартиры. Вместо коричневой скатерти К. постелила белую, посуды хватает как раз на четверых. Н. загодя принес из угловой тавер-

¹ Анисовая водка. — Прим. перев.

ны двухлитровую бутылку рецины; вино холодное. Мы разговариваем.

Слова, вопросы, признания — они проникают глубже, чем способен проникнуть глаз, но все же приостанавливаются перед теми вопросами, которые подсказывает симпатия: Антонис, что с тобой? Его широко раскрытые глаза, застывшие точно в постоянном ужасе, подвижность изборожденного складками и морщинами лица, неумное беспокойство рук. Что он видел? Что хочет удержать? Что от него ускользает? Тот ли он, кем кажется: вестник богов, что правят этим городом, и одновременно их жертва? Напряженное, затравленное лицо — почему Эринии преследуют такого человека, как он? Что грызет его? Спрашивает: видели ли мы по телевизору, как он критиковал правительство за социальную политику? Как они — прямо посреди «живого» эфира! — когда он заговорил слишком резко, просто взяли и отключили его; как это называется по-немецки? Вырубили, говорим мы, Н. переводит. Здорово, говорит Антонис. Писать по-немецки — наверняка большое удовольствие. Читают ли его книги у нас? Есть ли рецензии? Мы непременно должны прислать их ему. Две его книги обошли весь мир. Зачем ему рецензии? Мне приходит на ум слово «раздавленный». Человек, на которого упала слишком большая тяжесть.

Ночью лежим без сна, все четверо. Жара. И этот страх. Ни свет ни заря слышу, как встает К., тихонько собирает, уходит. Наверно, прежде чем уйти в магазин, та женщина отдает ей распоряжения. Небось хвастается перед знакомыми, что у нее работает немка. Обычно-то греки работают у немцев...

Госпожа Тарсос, которая хочет показать нам «кое-что особенное», немка, но уже сорок лет живет в Греции, замужем за профессором-греком. Она везет нас на север, через бесконечные леса. Где-то здесь дорога сворачивает на Марафон, наша цель — Ороп. Она возит сюда всех знакомых из Германии; но люди помоложе — мы ведь, наверно, согласимся с нею — не проявляют интереса к скромным, неброским достопримечательностям. И вообще, ее зять-грек запретил ей общаться с внуками... Молчание. А ваша дочь? — наконец спрашиваю я. Ах, дочь. Вы знаете, что такое — быть замужем за греком, который жертвует всем ради того, что он зовет честью? Молчание. Ваша дочь сделала выбор в пользу мужа, точно так же как некогда вы сами. А ваш муж, госпожа Тарсос? — Ах, мой муж. С ним теперь вообще нельзя заговаривать ни о дочери, ни о зяте. Он просто выходит из комнаты. И о его работе с ним говорить невозможно. И о политике тоже. Молчание. О чем же вы с ним говорите? — О других детях. О сыне и дочери, которые учатся в Германии. С греком о людях особо не разговоришься. Человек для него либо «хороший», либо «плохой», и точка. Я много чи-

таю, знаете ли. Даю уроки немецкого. Нет, по-гречески я и сейчас говорю с акцентом.

Госпожа Тарсос думает, мы знаем, что такое Амфиарейон, но мы не знаем. Она дает немного денег старику в дощатой будке у входа — он ее помнит — и обменивается с ним несколькими фразами. Нет, сопровождать нас не надо. Да, она сама найдет дорогу. Пыхтя трубкой, старик опять усаживается на лавку. И потом часто вспоминала его. В межсезонье, слышим мы, он тут неделями ни души не видит. Что он охраняет? Обнесенные проволочным забором античные развалины, заросшие зеленью, большей частью слишком тяжелые — при всем желании не украдешь. Ему незачем спрашивать себя, чего ради он сидит здесь в одиночестве, да он и не спрашивает. Должность, которую он строго исполняет, — работой-то ее никак не назовешь — бесцельна, но не бессмысленна. Со скукой он как будто бы занимается. Медленно меняется природа от одного времени года к другому. И не всегда есть на небе облака, которые можно проводить взглядом. Он что же, становится частицей природы? Размышляет? Грезит? Но о чем? Человек он дружелюбный, неприхотливый, говорит госпожа Тарсос. Так что для этого святилища власти нашли самого что ни на есть подходящего сторожа. Может статься, дух этих мест и сформировал его. Разве можно, чтобы пациента, взыскующего уверенности в будущем и покоя, впускал в Амфиарейон истерзанный тревогой неудачник? Да-да, говорит госпожа Тарсос, древним грекам уже были известны санатории.

А главное, им известна была взаимосвязь между душевными и телесными страданиями, между самочувствием людей и их видами на будущее. А кто же стремится узнать свое будущее, как не человек, который выбит из равновесия. Он совершит пауперничество сюда, в это славное место, посещаемое добрыми духами. Уплатит свою драхму и вынесет приятные впечатления от встречи с первым же здешним обитателем — с благожелательным, беспристрастным и бесстрастным стражем, который примет драхму и вручит ему курортную карту из свинца или бронзы. Радуюсь, что наконец-то избавлен от бремени самостоятельных решений, он с охотой подчинится местному укладу жизни, будет участвовать в жертвоприношениях, ходить в театр и на стадион, гулять под пиниями и молодыми дубами, вдыхая их приятный аромат, пить микстуры, назначенные жрецами и их помощниками (и помощницами? Ведь Гигиса, богиня здоровья, — женщина!), укутанный в простыни, ляжет на одну из тех скамей, на чьих мраморных цоколях мы сидим, будет дышать пряным воздухом... уснет — и увидит сны. Ведь затем он сюда и ехал. А жрецы — возможно, они умеют, в точности как наши энцефалографы, распознавать самые активные фазы сна по интенсив-

ности движения глаз под закрытыми веками, — жрецы разбудят его и спросят, что ему снилось. И он, возможно даже не вставая с ложа, честно постарается все рассказать. Велят ли они ему свободно ассоциировать по поводу сна? Так или иначе ему «истолкуют» будущее, ибо его сон, а то и целый ряд снов скажет им, что он за человек и к чему склонен. Они оставят его в твердой уверенности, что жребиями людей властвуют боги — на сей счет сомнений быть не должно. И все же, если существует тайное знание, которое им надлежит беречь, то суть его такова: и на судьбу, и на богов влияет поведение человека, а они, жрецы, укрепляя либо ослабляя пациента, могут на это поведение воздействовать. И жрица — Кассандра, или как ее там звали, — в один прекрасный день непременно придет к такому выводу. Ведь, по преданию, она тоже предсказывала будущее не по внутренностям жертвенных животных, не по птичьему полету, а читала его в людских снах. Как она с этим справлялась? Пусть даже слово «манипуляция» еще не было изобретено...

Полная тишина, только птицы кричат. Краски: зелень, и белизна, и синь. Сколько цветов — как щедро на них греческая весна. Г. находит тимьян, мы растираем его в пальцах, вдыхаем запах. Лаванда. Раньше, говорит госпожа Тарсос, она перекладывала букетиками лаванды белье. Она немного рассказывает о прошлом. Явственное ощущение, будто мы сидим внутри некоего круга, куда можно заглянуть из очень давнего прошлого, да и мы сами тоже в состоянии узнать, что происходило здесь в старину. Я чувствую, как открывается этаким внутренним глаз, происходит соприкосновение, очень легкое, мимолетное, лишенное всякой патетики, скорее насмешливое. Наш разговор замедляется, становится тихо. Сон здесь был, конечно же, благодетелен — разве могло быть иначе? Она скоро вернется, говорит госпожа Тарсос сторожу. И сторож отвечает, что будет тут.

Мы шагаем по дороге вдоль моря, находим уединенную таверну, где как раз наводят весеннюю чистоту — вода льется рекой. И тем не менее через десять минут перед нами стоит большая миска мелкой жареной рыбы и салат из зеленого лука. Закусываем на улице, только дорога отделяет нас от плоского, бледно-бурого моря. За соседним столом четверо афинских чиновников в черных костюмах, чопорные и потные. По другую сторону шумно и весело обедает большая семья хозяина, едят то же, что и гости. Порывистый ветер с моря задирает скатерти, бурмажные, как повсюду в греческих тавернах. Может, и правда, говорит госпожа Тарсос, начнешь винить в неудачах собственной жизни других — только понапрасну один останешься. Самоманипуляция — такое тоже бывает, верно?

Позвонил Антонис. Все-таки мы должны отметиться в полиции, в ведомстве по делам иностранцев. На это уходит целое

утро. Сразу после завтрака едем в центр. Не могу объяснить, но, едва ступив на порог старого конторского здания, мы мгновенно превращаемся в шайку. Н., владеющий языком и более-менее знакомый с бюрократическими обычаями, идет впереди, как главарь, за ним Г. — член шайки, а замыкаю шествие я, пособница. Три лестничных марша. Повсюду начальство обитает наверху, но не повсюду оно обретается в столь ветхом доме, полном закоулков, пропитанном холодным потом многих запуганных поколений. Начальник ведомства принимает нас лично, Антонис подготовил его; выглядит он в точности как положено начальнику, даже тоненькие усики и те на месте; он степенно выражает свою радость по поводу нашего приезда в город — такое внимание нам скорее не в честь, а в тягость. Поскольку же — спасибо Антонису, удружил! — наша профессия для него не секрет, он напрямик спрашивает, что, собственно, нас сюда привело. Этот вопрос он с непроницаемой любезностью, как мужчина мужчине, адресует Г., который с не менее непроницаемой миной, но правдиво отвечает: туризм. Ага. Особые интересы? Мало-помалу взгляды троих мужчин устремляются на меня. Классический мир, говорю я. Меня интересует греческая классика. Ну и еще минойцы. Начальник ведомства по делам иностранцев смотрит на меня так, словно здесь подобные интересы чуть ли не патологией попахивают. А писать, благожелательно осведомляется он, писать о Греции мы не станем? — Наверно, нет, говорит Г., слишком уж неуверенно; тогда Н. снова берет переговоры на себя и резко, почти невселиво отрубает: нет. Писать они не станут ни под каким видом. — Точно мы вовсе и не умеем писать. Потом он поворачивается к нам и по-немецки, с нажимом: вы не напишете про Грецию ни строчки, понятно? Г. молчит, а я, убежденная в правдивости своих слов, говорю: разумеется, не напишем.

Ну вот.

И тут до меня разом доходит весь комизм ситуации. Я вижу, как Г. сосредоточенно буравит взглядом письменный прибор из кованого серебра на столе полицейского начальника, и сама начинаю сосредоточенно глазеть на комнатную пальму. Н., истине главарь шайки, плетет отзывчивому чиновнику за письменным столом какие-то байки о прошлом и о планах этих слегка подозрительных туристов из не очень-то знакомой страны, а я только пальме и признаюсь по секрету, что вполне могу вообразить нас злоумышленниками в целом ряду неприятных ситуаций. Узкой, очень узкой становится в конторах пограничная полоса между страной невинных и страной подозреваемых, никогда не знаешь, где ты — еще по эту сторону границы или уже одной ногою по ту. Но к счастью, дело идет, безусловно, об одном из многочисленных эпизодов фильма, в котором мы играем

без надежды когда-либо познакомиться с тем режиссером, что назначил нас на несвойственные нам роли, но уж эту-то сцену мы сто раз репетировали. Только вот где на сей раз спрятана камера? В четырехугольной отдушине над дверью? В петлице полицейского начальника? Он нажал на звонок и как раз встает, чтобы передать нас для дальнейшей обработки начальнику отдела, который тоже выглядит довольно внушительно, однако этой внушительности ни в жизнь не хватит, чтобы сделать из него взыскательного начальника. Тут режиссура — а в подобных фильмах она никогда не советуется с актерами — выпускает в кадр еще одного начальника отдела, который в здешней иерархии занимает явно привилегированное положение, ибо является к шефу без доклада и лишь затем, чтобы попрощаться: завтра он уезжает к себе в деревню.

Атмосфера мгновенно меняется — сердечное тепло льется через край. Этот счастливчик, кричит начальник афинского ведомства по делам иностранцев, этот счастливчик завтра едет в свою деревню! А он, как галерник, должен до самой Пасхи торчать на службе. В конечном итоге расстанся мы чуть ли не друзьями, ведь Н. не преминул сообщить, что на Пасху он тоже едет «в свою деревню», в Фессалию — ах, Фессалия! — причем вместе с нами. Туристов, которые на Пасху едут с греком к нему в деревню, надо принимать как дорогих гостей.

Три слова Н., сквозь зубы на пути из кабинета, вновь превращают нас для камер и микрофонов в шайку: дело на мази! — после чего начальник отдела передает нас кому-то вроде писаря (правда, сей писарь читал Кафку), каждому вручают по несколько большущих анкет: дескать, можете заполнить, только без паспортных фотографий и гербовых марок они так и останутся ничего не стоящей бумагой. Фотографии? Из горла рвется стон. Быть не может, чтоб такова была воля богов. Однако, коротко посоветовавшись с престарелым Цербером, который, явно при отсутствии четкой профессиограммы, восседает у лестницы на голлом жестком стуле, Н. узнает, что надо делать. Мы все трое молча, один за другим, спускаемся на два марша, туда, где в неказистом дощатом чуланчике — слава свободному предпринимательству! — примостился находчивый фотограф; в мгновение ока он фотографирует нас, заломив цену, которую Н., опять-таки сквозь зубы, называет «беспардонной», а затем, спустя еще несколько минут, через щелку в занавеске выдает каждому пакетик снимков, которые, безусловно, могли бы украсить любую картотеку преступников.

Мы снова поднимаемся по лестнице, и на сей раз сомнения одолевают не меня, а Г. Ну куда ж это годится! — говорит он. Почему? — говорит Н. Вполне годится. Или тебе еще и красивцем стать хочется? Для полиции-то! Вновь поборы, каковые,

в виде гербовых марок, смоченных у коридорного фонтанчика, наклеиваются на наши анкеты и штемпелюются у стола кафианского писаря, а затем он, очевидно вдохновленный нашими бумагами, заполняет фиолетовыми чернилами и корявым пером большую учетную карточку, которая, как он успокоительно заверяет, навеки приобщит нас к архиву афинского ведомства по делам иностранцев. Всей пользы — вкладыш к паспорту, сиречь разрешение на жительство.

Не успели мы прийти домой, в крохотную квартирку Н., звонит телефон. Антонис. Надо полагать, мы еще не ходили в полицию? Он все утро сидел на телефоне и выяснил: регистрироваться в ведомстве по делам иностранцев нам совершенно незачем. Теперь, подумала я, вся надежда на то, что оператор запечатлеет лицо Н. крупным планом.

Поругались — и хватит, теперь нужно все забыть, смоем сомнения и злость холодной реңиной, что хранится в огромных, вмурованных в стену бочках той угловой таверны, которая среди нас уже популярна, хотя мы ни разу там не бывали. Н. приглашает. Несколько ступенек вниз, в сумеречный, как в гроте, свет, в подвальную прохладу. Салат, вино, суп из белой фасоли. Сейчас мы узнаём, что же особенного в этом ДОМЕ, добрым или злым духом которого одержим Н. Он прав: здесь, в таверне, самое подходящее место, чтобы рассказать о доме предков.

Мне кажется, что эта афинская таверна с толстыми подвальными стенами очень стара. Что целые поколения греков, сидя здесь, ели густой фасолевый суп и толковали о «доме своих предков», ибо с незапамятных времен это их излюбленная тема. Гомеров «Илиада», песнь о судьбах больших греческих родов, возникла, наверно, из несчетного множества таких вот ручейков-историй, рассказанных в гаванях, на рыночных площадях, в тавернах и слившихся за века в мощный эпический поток: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» Человеку свойственно рассказывать и откликаться на услышанное столь же по-человечески — памятью, участием, пониманием, — даже когда в рассказе сквозит жалоба на гибель отчего дома, утрату памяти, исчезновение участия, отсутствие понимания.

Дом его предков, говорит Н., в той фессалийской деревне, где мы еще побываем, вообще-то дом его деда, у которого он вырос, и бабки, которую мы знаем. Я воочию вижу ее перед собой, эту дряхлую, маленькую старушку, жилистую, проворную, бдительную, недоверчивую, ее усохшую птичью головку, жидкие волосы, черные юбки. Еще год-два назад она шустрой куньей походкой семенила по мекленбургским полям, навстречу ветру, раскинув руки, точно желая оторваться от земли: ведь пока была молода, она умела летать. Оттолкнешься, подожмешь ноги и летишь над самой землей, но с годами эта сила ушла. А знаем ли

мы, спрашивает Н., что эта бабушка — вторая жена деда и вовсе ему не родная, она просто забрала его у матери, чтобы приобрести в деревне уважение, как всякая женщина, воспитывающая наследника. Н-да, бабушка. Знай треплет меня по щечке. Еще запутанней становится семейная история Н., ворох нитей, из которого тем полуднем в таверне он вытягивает для нас красную — нить своего бегства с тогда еще молодыми дедом и бабкой; в 1947 году они уходят в горы к партизанам и берут с собой двенадцатилетнего внука — помните, когда англичане вместе со своими ставленниками, греческим правительством, решили силой оружия подавить национально-освободительное движение? *Помните?* — у Н. это как припев, ведь для народа, лишённого памяти, останутся без смысла и жертвы, и тысячи скитальцев-изгнанников, и неотступная боль разлуки с родиной. Рассказать — значит надсечь смыслом, а если рассказать недостаточно, если ты, будто второй Одиссей, возвращаешься через без малого тридцать лет и видишь, что тебя *не* ждали, отчий дом разрушается, родня еле-еле сводит концы с концами, соседи пасут коз на твоей земле, — тогда ты едешь в деревню и строишь дом заново, понимаешь? Кажется, понимаем. Н. не может допустить, чтобы разрушила символ, мечта. Всяк знает: неуголима та боль, которую причиняют свои же, разве что ты превратишь себя самого или их в посторонних, и безутешен не отринутый, а забытый. («Нас ненавидят родственники кровные...»; Орест у Эсхила.) Глубочайший кризис Кассандра переживает не тогда, когда гнев троянцев грозит ей погибелью, а когда все узы между нею и соотечественниками — в том числе и узы гнева — оказываются порванными, новая же связующая сеть еще не сплетена, по собственной ее вине.

Случались ли у древних самоубийства?

Валтинос — мы наконец позволили ему по тому самому телефону, полученному от Сигрид в транзитном зале, и вот поздним вечером на крыше своего многоэтажного дома он угощает нас кофе и вином, — Валтинос, который как раз переводит на новогреческий «Орестею» Эсхила, даже намек на это в тексте не обнаружил. Как известно, для древнего человека, тесно связанного с семьей, кланом, племенем, изгнание означало верную смерть — от страха, раскаяния, ужаса, да, пожалуй, и от распада той внутренней структуры ценностей, без которой и мы не можем жить, при ее разрушении нам тоже хочется умереть. Не говоря уже о таких случаях, когда у нас нет иного выхода, кроме как сломать эту структуру и поставить себя в то положение, которое, не давая нам приемлемой альтернативы, называется «трагическим» и столь благотворно для литературы. Почему, собственно, размышляем мы этой на диво мягкой ночью, когда — иначе и не скажешь — восходят звезды, почему так мало внима-

ния обращали на то, что с социальной точки зрения Кассандра принадлежит к правящей прослойке: она — дочь царя. И что, как явствует из Эсхила, не каждому было *дозволено* сказать о том, что он «провидел». Говоря словами аргосских старцев, которых обуревают дурное предчувствие, когда Клитемнестра уводит Агамемнона во дворец:

Так богами решено:
Доля подданных царя
Царской доле не равна.
А не то поток забот
Сердце б выхлестнуло враз
И язык опередило,
Не стоило бы во тьме,
Не искало бы вотще
Облегченья боли непомерной.

Кассандре же, аристократке по рождению, дана привилегия высказаться, быть услышанной и названной по имени, даже смерть ее не остается безвестной. Не кажется ли ему, спрашиваю я у Валтиноса, что, поставленная перед выбором, она бы вновь прошла весь путь? Это с нынешней точки зрения, говорит он, ведь как раз момента выбора древние не знали. Если уж речь зашла о нынешних точках зрения: не считает ли он, что в литературе Кассандра — первая работающая женщина? Кем могла в ту пору стать женщина, кроме как «провидицей»? В таком случае, говорит Валтинос, Клитемнестра — первая феминистка: десять лет она одна правила Микенами; ей довелось пережить и безропотно стерпеть гибель любимой дочери — ее муж, «не ведающий робости Агамемнон», принес Ифигению в жертву богине, считывая, что взамен та ниспослет попутный ветер кораблям его флота; она взяла в мужья того, кто ей понравился, Эгисфа, — так неужели возвращение законного супруга заставит ее отказаться от своих прав? Уползти на карачках назад, к очагу и прятке?

Мы потягиваем вино. Время близится к полуночи, воздух дышит прохладой. Да, есть на свете и бархатное небо, и сияние южных звезд. Впереди низко над городом — красновато-желтый турецкий серп луны; бокалы стоят на бетонном полу, возле стульев. Сигрид приносит крепкий кофе в высоких чашках, ее мальчику, который упал тогда в транзитном зале, пора спать. Мы что, грезим? Наверно, стоит произнести некое имя — и все выстроится по местам, и начнут происходить мелкие чудеса, а я буду все глубже погружаться в волшебство? Звезды поют — мурлычут, тоненько и звонко, — я не собираюсь никого убеждать, но той ночью мы слышали их голос.

Переводить древние тексты на современный язык, говорит Валтинос, труднее, чем кажется: из-за двусмысленности древнегреческого. Он приводит пример: Клитемнестра, обратившись с цветистым приветствием к своему супругу Агамемнону, велит служанкам расстелить перед ним красные ткани, чтоб нога вернувшегося с победою царя не коснулась земли (похоже, это весьма цекотливый исток сохранившегося поныне обычая расстелить красные дорожки перед главами чужих государств). В одном из переводов она говорит:

Что медлите, рабыни? Вам приказано
Устлать коврами путь. Так поспешите же
Царю дорогу проложить пурпурную!
Пусть Справедливость в дом такой введет его,
Какого и не чаял.

Автор другого переложения «Орестей» вкладывает в уста Клитемнестры такие слова:

...Рабыни, вам
Был дан приказ — коврами царский путь устлать.
Что медлите? Раскиньте ж ткань пурпурную.
Тропой багряной Правда поведет его
Ко встрече неожиданной, в готовый дом¹.

Двусмысленность этих стихов, говорит Валтинос, переводы, как правило, не передают, а ведь здесь Дике, богиня справедливости, призвана стать на защиту убийства: смерть, уготованная мужу, в глазах Клитемнестры справедлива. Поэтому «пурпурную дорогу» можно перевести и как «путь справедливости» — и вот чем глубже он вникает в текст, тем больше набирается у него примеров неустойчивых значений; в довершение всего разные поколения переводчиков по-разному истолковывали подобные места, в зависимости от собственного взгляда на мораль, сиречь в зависимости от того, чью сторону они принимали, пусть даже и неосознанно, — сторону мужа или сторону жены. И на нашем языке все это тоже трудно передать, поскольку наша двойная мораль не та, что у наших предков. Да и само это понятие, невольно думаю я, «двойная мораль», перевести отнюдь не просто: в отрицательном смысле будет один перевод, в нейтральном — совсем другой.

Конечно, рассуждаем мы, двойная мораль у древних, пожалуй, не так вездесуща, всеобъемлюща и всепроникающа, как двойная мораль христианской, западной цивилизации, которой

необходима невероятная, все более тонкая и изощренная демагогическая работа мысли, чтобы признавать заповедь «не убивай!» нравственной основой своей жизни и в то же время, не претерпевая морального краха, на практике отменять ее. Так в средоточии этой культуры возникло темное слепое пятно, причудливее самое в ней важное, ее убийственную двойную жизнь: изьян, который, увы, — так рассуждаем мы высоко на крыше уже после полуночи, — увы, неминуемо скрывает от движущих сил этой цивилизации и процессы, ведущие ее к самоуничтожению; чародейская магия, а разгадали мы ее, пожалуй, поздновато. Литература же, изображая двойную мораль, помогала ее становлению. А вот Эсхил со всей откровенностью утверждает новую мораль — мораль патриархата, отцовского права, по сути не порицая, как считает Валтинос, прежнего матриархального образа мыслей. Взять хотя бы Клитемнестру: поначалу она лицемерит, притворно радуется возвращению супруга, однако не во имя двойной морали (поэтому позднее я не могла согласиться с Петером Штайном*, когда в «Шаубюне» он заставляет свою Клитемнестру говорить демагогическим тоном Геббельса) — она хочет совершить то, что полагает справедливым. Агамемнон преступил не столь еще древнюю заповедь «не приноси человеческих жертв» — убил дочь. И если теперь она, Клитемнестра, убьет его, то по-своему восстановит справедливость:

...Вот он, мой супруг, лежит,
Царь Агамемнон. Этою рукою, гляди,
Я славно совершила дело правое.

По-моему, говорю я, предвзятость Эскила выражается во взаимной антипатии женщин — Кассандры и Клитемнестры.

Кассандра. ...Но каким же мне чудовищем
Ее назвать? Змеей хвостоголовою?
Иль Скиллой, стражем скал и моряков бичом?
Клитемнестра. Лежит злодей, что над женою тепился...

.....
А это вот — пророчица-гадальщица,
Копьем в бою добытая наложница.
Верна и здесь. На корабельных палубах
Ваялись тоже вместе. По заслугам честь...

Таковыми автор-мужчина видит этих женщин: злобными, ревнивыми, мелочными, — вот что делается с женщинами, когда с общественной сцены их вновь прогоняют в дом, к очагу; именно это и произошло за те столетия, итог которым подводит великая трагедия Эскила.

¹ Перевод под ред. Ф. А. Петровского.

Об этом можно говорить очень долго, твердим мы на прощанье. Летом в Эпидавре, когда мы давно уже уедем из этой страны, исполнители Клитемнестры, Кассандры, Агамемнона и Ореста будут произносить древние тексты на языке Валтиноса. Я понимаю, он переутомлен. Пишущая машинка у него в комнате тонет в бумагах, я видела.

А между прочим, резонерствую я на обратном пути по безлюдному ночному городу, между прочим, Кассандра настоящему не интересовала Эсхила, не то что душегубы. А вот нам, тут мы все согласны, душегубы скучны до оскомины. Иной раз, говорю я, так бы и плюнула на писанину и порешила всех этих типов, одержимых манией убийства. Кассандра, мне кажется, определяет себя как не способную на душегубство, не одержимую манией. Откуда она берет желание и силы для протеста?

Книга, которую нам подарил Валтинос, маленькая и легкая и потому отправится с нами на Крит. А мы, бесспорно, должны поехать на Крит, все вдруг начинают толковать о «колыбели Запада», о минойской культуре. Каждый вечер паром под названием «Крити» возрождает в пирейской гавани древний спектакль: отплытие корабля. Ну так вот. Весь порт деловито хлопочет у темного прямоугольного въезда на судно, с верхней палубы нам видна транспортная пробка, которая кажется тем более надежной, чем ближе подходит время отплытия. Если верить жестикуляции и долетающим наверх крикам, то между водителями сбившихся в кучу грузовиков разыгрываются стычки не на жизнь, а на смерть. Мельтешат кулаки, какой-то человек в полном отчаянии, закрыв лицо руками, садится на стенку набережной; портовая полиция с ее белыми шлемами, мелькающими среди темноволосых голов, никогда ничего не добьется, что руками-то махать без толку, думаю я, и вдруг мне становится ясно, что злополучный лесовоз, шофер которого, казалось, совершенно остервенел, медленно-медленно, черепашим шагом въезжает на паром; другие автомашины тоже выстраиваются по порядку, руководствуясь каким-то непостижимым планом, словно тот большущий грузовик тянет их за собой. А человек, в слезах сидевший на стенке, никакой не шофер, интересовал же его не конечный результат, а лишь сам спектакль, и теперь, поскольку зрелище потеряло всякий интерес, он, насивистывая, вразвалочку уходит прочь.

Эта сцена в порту — отъезд и расставание — происходит со мной не впервые; для человека, которому доводилось когда-либо расставаться, когда-либо покидать то, что он зовет «родным краем», она не может произойти впервые. Мне кажется, не впервые корабль вместе со мною мягко отходит от мола, не впервые открывается темная щель между мною и берегом, где остается

черная фигурка — К., которой мы долго машем, а она все уменьшается, уменьшается...

Потом я подняла глаза и увидела свет. Седьмой час вечера. Солнце, очень низкое, стояло у нас за спиной, озаряя дугу пирейского порта, но каждый предмет лучился собственным цветом, волшебным сиянием, которым я любовалась с тех пор из вечера в вечер. Быть может, в таком вот сиянии — если и ахейские корабли отплыли от побережья Трои под вечер — в последний раз увидели пленные троянки, теснящиеся на корме, руины отчего города и родимый берег. Невыносимая боль щемила им сердце, а вместе с нею, наверно, крепла любовь, что на чужбине станет для них опорой.

Но ни один из рассказчиков, которые поведали о них миру, однако же при том не присутствовали, словом не обмолвился об этом необычайном свете.

Лекция вторая

Путевые заметки: дальше по следу

Не верьте мне иль верьте — все равно теперь. Что будет — будет.

Кассандра в «Орестее» Эсхила

Волшебный свет, который мы видели с парома, погас, в сумеречном полукружье пирейской гавани вспыхнули огни рекламы: 7 UP, SHELL, быстро стугулилась тьма. В незапамятные времена Тессей, победив Минотавра и выйдя с помощью Ариадниной нити из лабиринта, возвращался с Крита в эту самую гавань, только вот он забыл поменять черный траурный парус на белый, и отец его Эгей, уверившись в гибели сына, от отчаяния бросился в море. Однако с тех пор афиняне уже не посылали юношей и девушек в жертву критскому быку. На протяжении тысячелетий разные корабли с разными миссиями курсировали между Критом и континентом. Нынче «Крити» везет стосковавшуюся по солнцу молодежь со всех концов света, эти бродяги-«автостопники» устраиваются ночевать прямо на скамейках верхней палубы, парни и девушки, все, как один, в джинсах, непромокаемых куртках, мягких белых кроссовках, битком набитые рюкзаки в легких дюралевых станках расставлены возле скамеек; мы прошли мимо, молча скользнув по ним взглядом, они ответили тем же.

Внезапно меня окликнули по имени, я резко обернулась: передо мной стояла Элен. Тихе, случай. Элен из Колумбуса, штат

Огайо (последний раз мы с нею виделись в моей берлинской квартире), а рядом Сью, ее подруга из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Привет, говорит Сью. Привет, отвечаю я. Нас она уже знает, ну а сама занимается театром. Ладно. Где бы нам всем вместе поужинать?

Выяснилось, что именно для таких, как мы, здесь имеется Second Class Dining-Room¹, что при нашем валютном фонде выгодней всего взять итальянские спагетти и что всю нашу четверку в данный момент обуревают горячий интерес к минойской культуре. Верный признак одержимости то, что ты принимаешь ее без удивления — по крайней мере в себе самом — и с большим или меньшим удовлетворением замечаешь ее только у других, вот почему в этот вечер неизбежно настал миг — вероятно, мы тогда уже сидели на койках в каюте и чистили душистые апельсины, полученные на дорогу от Н., — тот миг, когда мой дух, или по крайней мере какая-то частица его, отделился от тела и воспарил «над нами» (я имею в виду отнюдь не под низким потолком каюты, гораздо выше!), чтобы взглянуть на все это со стороны и немножко позабавиться: боже милостивый, что нужно этим американкам у нас, в «нашей» минойской культуре? Что нужно мне — само собой понятно: я пыталась — среди прочего, ведь четких, полностью осознанных идей у меня тогда не было, — как-то увязать во времени Троянскую войну и гибель минойской культуры на Крите, каковые, если научные датировки верны, имели место в XIII веке до н. э. — сперва Крит, потом Троя. Элен и Сью искали подтверждения своему тезису, что на Крите задавали тон женщины и что минойцы от этого только выиграли. А я с жаром разглагольствовала о концепции американца Великовского*, который — тогда, в каюте «Крити» я подробно изложила его аргументацию, но сейчас повторять ее не стану, иначе мы зайдем слишком далеко, — предложил совершенно новую датировку истории античности, сдвинув падение Трои и гибель минойской культуры на три-четыре столетия ближе к нам, а именно на VIII «или хотя бы на конец IX века», то есть почти на время жизни Гомера. Элен же и Сью, чьи оценки современного искусства кое в чем вполне можно разделить, в один голос приводили жутчайшие, по их убеждению, фразы из путеводителя, на основе которых с огромным удовольствием констатировали, что ученые-античники (читай: мужчины) совершенно не понимают стержневых фактов той женской культуры, какую сами же и раскопали на Крите. Вечер у нас в каюте прошел весьма оживленно, мой дух, по-прежнему паривший в высях, сберег для меня картину: две светловолосые и две тем-

ные головы склоняются поочередно то над одной, то над другой книгой, — и по некоей причине, которую я скоро назову, я хорошо помню, что цитировала Великовского приблизительно так: «Сказание об Энесе, который из гибнущей Трои бежал в Карфаген (построенный в IX веке), а оттуда перебрался в Италию, где основал Рим (заложенный в середине VIII столетия), опять же говорит о том, что Троя была разрушена в VIII или по крайней мере в конце IX века».

Как живой возник перед моим внутренним взором Эней, и Кассандра знала его. Только лишь знала? А вдруг что-то затронуло ее поглубже? Нежность в сочетании с силой? Выходит, паделаем чертами нынешнего идеала мифологического персонажа, который таким быть *не может*? Конечно. Так оно и есть.

Мой внутренний голос молчал, в общем-то не от обиды, не от скуки или нетерпения, — просто молчал, и все, позволяя мне лежать на узкой койке, покачиваться на легкой зыби Эгейского моря и читать книгу Валлиноса. Кровавая история времен партизанской войны, в которой самым важным была не кровь, а то, как донельзя истерзанный человек постепенно утрачивает внутреннюю связь с окружающими, даже с близкими друзьями. У меня — сегодня вечером по крайней мере — не было охоты выяснять, чем все кончится, я отложила книгу и уснула с мыслью, что и ведь наперед знаю, чем в нашем столетии кончатся бунт и сопротивление, напоследок еще увидела перед собою лицо этого партизана, молодого парня, темноволосого и темнобородого; его голова — вот какой архаичный образ родился в моем сонном сознании — ни с того ни с сего оказалась плывущей по водам, иначе не скажешь. Должно быть, где-то мне встретилась в эти дни плывущая голова Орфея. Голова юноши — я знала, что она принадлежит человеку по имени Эней, — плыла среди листьев кувшинок и прочих растений по маслянистой водной глади и смотрела на меня с печальным вызовом, а я, разумеется, знала, хотя и не думала об этом намеренно, что мой Эней — еще и тот молодой партизан, чей, без сомнения, ужасный конец мне не хотелось выяснять; на лице обоих, разделенных тремя тысячелетиями, как бы невзначай запечатлелось одно и то же выражение — такое бывает у нестигаемых пасынков судьбы, которым ведомо: снова и снова их ждет поражение, но они не сдадутся, и это не случайность и не бедствие, просто так полагается. Разве же кто поверит — а вот голова, плывшая по волнам, знала и верила, поистине ужаснейшая трагедия и притом высочайший восторг — Эней.

Между тем Крит, остров Миноса, незаметно для нас неуклонно приближался, и мы не преминули, как велено, встать пораньше и полюбоваться восходом солнца из моря, не пропу-

¹ Столовая второго класса (англ.).

стили зрелище венецианских укреплений у входа в гавань, затем вместе с Элен и Сью очутились в такси и наконец на самом шумном перекрестке Ираклиона, в кафетерии, где пила свой эспрессо и молодежь в пароме.

Для заботливости Антониса расстояний не существовало, он и тут заранее все уладил, и теперь мне нужно было позвонить по определенному номеру и выполнить указания, которые дал нам по-английски незнакомый женский голос, его обладательницу мы никогда не увидим, и потому в нашей памяти он превратится в безликий призрак, тем более что отправил он нас в неожиданный путь, смысл которого остался темен: пришлось брать такси и ехать на запад, за двадцать шесть километров, в загадочное место под названием Херсонисос, каждый километр этого пути стоил дорого и, как нам казалось, засчитывался два, а то и три раза; вот и гостиница, расположенная, как обещано, у моря и «современная», но отнюдь не дешевая, во всяком случае по нашим понятиям, так что, едва водворившись в опять-таки «современном» номере и убедившись, что большая дверь ведет прямоком на пляж, мы начали думать о том, когда и как бы отсюда уехать. Ну, скажите на милость, что мы тут забыли? В этой возведенной в ранг курорта бывшей деревне, чьи рестораны и пансионы сейчас, до открытия сезона, в большинстве еще на замке, а состоит она из одной-единственной длинной улицы, однако из-за бойкого движения по ней невозможно спокойно пройти. И что, скажите ради бога, нужно здесь — проблема то усугублялась! — Элен и Сью, которые весьма храбро последовали сюда за нами, взяв напрокат мотоцикл (*Rent a Motor-cycle!*)?

Позже выяснилось, что нам тут делать: гулять. Вверх по холмам в предгорья, к заманчивым белым деревушкам, которые видно с дороги. А может, паче чаяния, еще и удостоверить, что в апреле не только вся Греция, но и весь Крит утопают в зелени и весенних цветах; это же совершенно нетипично — куда более типичны для Греции и для Крита выжженная, высохшая в сено трава и раскаленный голый камень. Мы видели Крит зеленым. Греция для нас — страна тысячи цветов, пестрых, ярких ветрениц, страна мелких, но стойких алых маков, которыми повсюду украшены алтари, например алтарь белой деревенской церквочки, куда знаками зовет нас девочка — дочь попа или дьячка? Смотреть там не на что. Девочка живо всучила нам освященные свечки, немилосердно коверкала английские слова назвала цену, живо спрятала деньги; когда мы выходим на улицу, из дома, где живет девочка, на нас серьезно, пристально глядят из темноты несколько пар глаз. Крестьянин с осликом спускается нам навстречу по крутой каменистой дороге, везет фураж, он долго глядит на нас, пока не исчезает вместе с осликом за одной из белых каменных стен, опоясывающих маленькие усадьбы. Шесте-

ро-семеро мужчин, сухопарые, дочерна загорелые, в старых вытертых куртках, в вязаных шапках или черных шляпах, сидят возле таверны. Под их неотрывным, безмолвным взглядом мы проходим мимо. Взгляды этих мужчин, а еще больше взгляды женщин, которые, все в черном, как их праматери, наклонив низко на лоб платки, без устали трудятся во дворах и садах, делают нас пришельцами с другой планеты. Мы, такие разные друг для друга, в глазах критской деревни сливаемся в единообразную группу любопытных западных туеядцев, которые — особенно мы, женщины, — ведут себя до ужаса вольно, а верней, непристойно; не будь мы источником дохода, так бы нам в лицо и сказали.

Мы и сами понимаем, что не вполне пристойно сидеть над деревней, на краю луга, и развлечения ради жонглировать именами и названиями, каких ни один человек в здешних деревушках никогда не слышал и не услышит. Ну вот, в Сан-Франциско, оказывается, есть театральные группы гомосексуалистов и лесбиянок, но, по-моему, Сью, которая оживленно о них рассказывает, в тот же миг теряет к ним всякий интерес. Мы скользим взглядом по деревне, которую только что миновали, по Херсонисосу, по главной улице, по песчаной полосе к морю, Эгейскому морю, занимающему львиную долю гигантской панорамы, — синее и спокойное, дышит оно там, внизу, и, хотя мы по привычке продолжаем разговор, все наши рассуждения выглядят перед ним мелкими и ничтожными. Элен и Сью сообща перевели с немецкого какую-то пьесу и при этом ссорились, угольки давних ссор разгораются вновь, или это предвестья новых? Шагаем дальше, на лимонной плантации Элен срывает для Г. зрелый лимон, такое у них было пари, она выигрывает, а вечером этот лимон оказывается очень кстати: мы кропим его соком запеченную на гриле лососину. Поскольку же привычная пленка в нас не перестает раскручиваться, хотя пейзаж окрест уже иной, мы подбрасываем друг другу имена, известные сейчас каждому европейцу и американцу, литературные имена, со знанием дела толкуем о театре Брехта прежде и теперь, о роли женщины в литературе. Тут (мы успели дойти до соседней деревни) нас останавливает на улице какая-то женщина, с виду «пожилая», хотя вообще-то ей наверняка около пятидесяти пяти. Она кос-как объясняется по-английски, знает даже несколько слов по-немецки; *дойч гутт*¹, твердит она, но от повторов эта сентенция не становится для нас более приятной. Оживленные уговоры на трех языках, и в результате мы идем за нею; *кафетерия гутт, вери гутт*², — задним числом мы смекаем, что кафетерий принадле-

¹ Немец хороший (*ломаный нем.*).

² Кафетерий хороший, очень хороший (*ломаный нем., англ.*).

жит ей, это всего-навсего два крошечных круглых столика с четырьмя стульями вокруг каждого, и стоят они в одной из боковых улиц, перед этакой универсальной лавчонкой. Калá? ¹— спрашивает хозяйка, когда мы расположились за столом, и мы отвечаем: Кала! Пьем узо, которым она потчует нас, грызем орехи, заказываем кофе по-турецки. Женщина подсаживается к нам и с сияющей улыбкой треплет меня по щеке: *Дойч гутт. Шён* ², говорит она, когда мы собираемся уходить, говорит нам, трем женщинам: *Шён, шён*. Эта рано состарившаяся, измученная заботами женщина убеждена, что красивых людей создает именно западный образ жизни. В меру упитанные, полные сил, с гладкой кожей, с непокрытой головой, в ярких блузках, беззаботные и самоуверенные — одним словом, красивые. А мы долго стоим у магазинчика на окраине деревни, перед витриной с пуловерами и коврами из овечьей шерсти, с прославленными критскими покрывалами и шальями, куда более изысканными, чем надетые на нас дешевые вещи, массовое производство которых в какой-то мере обеспечивает нам сравнительно легкую жизнь.

Здесь женщины, провожающие нас полунеодобрительными, полузавистливыми взглядами, всю жизнь не покидают своей деревни, разве что когда выходят замуж. Наши бесконечные разъезды говорят о любопытстве, но еще и о нехватке — только в чем она? Чего нам недостает? Чего мы, пришельцы со всего света, ищем в этом уединенном месте, мало того, на острове? О чем говорит та увлеченность, которую мы готовы сосредоточить на угасшей два тысячелетия назад культуре, та терпимость, которой мы успели запастись прежде, чем столкнулись с ее первыми материальными свидетельствами? И все же оторопело стоим перед могилами людей, умерших в этой деревне десять, пятьдесят лет назад: каменные плиты хранят покой усопших до часа их воскресения, в которое живые, похоже, все-таки не верят и которого не желают, а в мраморных надгробиях устроены витринки; там за стеклом — подкрашенная фотография усопшего, сухой букет, а кувшинчик и чашка с орехами ждут, чтобы усопший взял их с собой в далекий путь в царство мертвых, точно так же как их пращурам на этой самой земле клали в могилу еду и питье, украшения и, в зависимости от общественного статуса, оружие и золотую утварь — именно по таким вещам мы и можем нынче судить о повседневной жизни этих народов. Будет ли через три тысячи лет хоть один человек — здесь или в каких-то иных местах — верить, что мертвые куда-то уходят и на своем, возможно, тяжком и мрачном пути нуждаются в пропитании, в заботе живых, на которую сами уже

¹ Хорошо? (греч.)

² Красивые (нем.).

не способны? Обеспокоится ли кто-нибудь тем, как облегчить жребий усопших? Уцелеет ли между живыми и мертвыми хоть капля сочувствия, хоть какое-то воспоминание? Сохранится ли память, преданье, искусство?

Нам хочется заглянуть в будущее, но мысли бьются о стену. Вот в чем мы себе признаемся у этих могил на Крите. Признаемся, что пали духом. Из мира сугубо посюстороннего, зияющего только на барыше, человек должен так или иначе исчезнуть.

Крит — остров в потоке особенных вод.

Призрачный голос по телефону не обманул нас, но мы намерены жить в Ираклионе, причем подешевле. На сей раз мы все же идем в полицию по делам иностранцев, в низенький домик, где, минуя высохший газон с глиняными мухоморами и пластиковыми пеликанами,ходишь прямо в канцелярию, прямо к деревянному барьеру, за которым скучает дежурный полицейский с усиками а-ля Менжу; он слегка пренебрежительно выслушивает нашу просьбу и по памяти называет три гостиницы, одна из которых расположена буквально за углом, да-да, триста драхм в сутки, ровно столько и должен стоять номер, чтобы компенсировать последний дорогой ночлег; и вот, ослепленная скарденностью, я уже во власти карлицы. Карлица ковыляет мне навстречу сверху по узкохонькой шаткой лестнице — не лестница, а сущий трап, — она не только мала, но и горбата, тащит мокрое белье и, развешивая его между этажами на балконных перилах, на смеси из многих языков сообщает: да, номер на двоих. Да, триста. Гутт-гутт. Ванная? А как же, экстра-класс. На том она дальше и стоит, это команда: Экстра-класс. И я, уже запуганная ее карликовой фигурой и пренебрежительной манерой вести разговор (а больше всего картинами жизни этой женщины, которые мелькают у меня в мозгу), ее жесткостью, едва прикрытой пленочкой лести, соблазненная собственной скарденностью, — я покорно иду смотреть номер, но в так называемую ванную меня не заманишь, ведь в номере тоже есть кран; мимоходом мой взгляд скользит по кроватям, которые видны в открытые двери, — постоялый двор из тех, что существуют уже не одну сотню лет, старый-престарый, нутром чувствую я, что ж, пусть так. Карлица притаскивает нас в контору, крошечную и темную дощатую каморку, где некая и впрямь сомнительная личность дает нам заполнить регистрационные бланки и забирает наши паспорта, а когда мы требуем их назад, объявляет, что в таком случае мы должны уплатить за трое суток вперед: паспорта или деньги. Платим. Экстра-класс, уверяет карлица с последним отголоском приветливости, которая у нее припасена для постояльцев, уже расплатившихся за жилье, и с ключом в руке ковыляет в номер. Мы идем следом. Конечно же, босиком

по полу ходить не обязательно, в шкафу, если бы таковой здесь нашелся, вешать нам, по сути, все равно нечего, только вот когда возникает вопрос о туалете, итоги осмотра удручают. Еще можно бы съехать, правда с потерей девятисот драм. На балконе возле нашей комнаты, в которой, к слову сказать, всей мебели две кровати и два стула и которая выкрашена в обычный здесь голубовато-зеленый цвет, карлица развешивает на перилах мокрые простыни. Вдобавок она пост — пожалуй, напрасно, но, в конце концов, это ее дело.

Пока мы спускаемся по лестнице, нам худо-бедно помогает мысль, что мы очутились в фильме Бергмана — это не Кафка, нет, именно Бергман. Мы доказываем друг другу разницу и убеждаем себя, что правы насчет Бергмана. Мы уже держим дистанцию. Ни карлица, ни тот подозрительный тип из конторы, ее сообщник, нам больше не страшны, аналогии, подсказанные искусством, вновь помогают нам стать хозяевами положения — вот и попробуй проживи без них!

Но помощь эта, оказывается, недолговечна. Простыни, попросту куцые, не до конца прикрывают ночью колючие, грязноватые одеяла, ноги волос-неволей задевают за них. Вроде и не помеха, а мешает, и оттого, что в полусне я вижу, как наша карлица развешивает на балконной решетке эти самые простыни, лучше не делается. В довершение всего мне впервые стало дурно — не потому, что обед, который мы в непостижимом затмении (меню экстра-класс! — объявила карлица) съели здесь, в гостинице, еще больше плавал в оливковом масле, чем нормальные греческие блюда, а совсем по другой причине: снующие взад-вперед официанты поминутно распахивали дверь кухни, чей вид был явно не на пользу моему желудку. Или, может, это последствие вечерней прогулки по старому Ираклиону; о этот парад молодых мужчин, тело к телу, группа к группе, плотный, густой поток: вызывающие жесты, конкурс мужской силы и красоты, в движенье, напоказ — сверкающие глаза, наглые взгляды, толкотня и перебранки, концентрированный заряд агрессивной мужской сути, которая не знает и не будет знать пощады, если кто-либо (он ли, она ли) в ней усомнится; все места во всех рестораниках заняты мужчинами, мужчины читают газеты, поют, спорят, жестикулируют, играют — мужчины, мужчины. Город мужчин. Страх, стремление защититься, отвращение, в конце концов, дали моему телу сигнал, и мне стало дурно (нет, дело не только в замызганных одеялах карлицы). У нашей сестры здесь нет и не будет ни малейшего шанса. Юг. Патриархальный юг.

История археологии — уже и в нашем веке — тоже своего рода мужской героический эпос, так по крайней мере судят ее про-тагонисты. Когда сэр Артур Эванс* в первые годы нашего столе-

тия приступил (велел приступить) к раскопкам на Кефалийском холме южнее Ираклиона, он уже преодолел множество препятствий и, кстати, искал вовсе не трон царя Миноса, а зачатки одного из видов греческого письма, которые, как он думал, непременно обнаружатся на Крите, по этому следу он, «как Тесей», хотел «проникнуть в самые дальние закоулки лабиринта». В очень глубоких, очень древних источниках его мужская жажда приключений отыскала достойный пример и оправдание. Так или иначе, сэр Артур Эванс находит не только тот фантастический комплекс зданий, который он быстро нарекает «дворцом», но в глубинном, неолитическом слое под дворцом раскапывает, помимо оружия и керамики, еще и «идолов вроде тех, каких Шлиман открыл в самых глубоких слоях Трои». Каждое упоминание слова «Троя» действовало на меня точно сигнал, ибо во мне началась работа над Троей, крепостью и городом. Можно ли представить себе крепость царя Приама как дворец наподобие Кносского, который я уже подробно изучила на большой вкладке к путеводителю?

Если взять за точку отсчета нулевой год нашей эры, то давние обитатели Кносского дворца отстоят от нее так же далеко, как и мы, только в другом направлении. Когда, приехав на автобусе из Ираклиона, я очутилась наконец во дворе бывшего Кносского дворца, знаний у меня было маловато — к счастью и к несчастью. С трепетом душевным смотрела я на мощные рога, во многих местах образующие фризy и наружные карнизы дворца, но истолковать их не умела. Истолковать — значит иметь представление об истории феномена, а я не знала ни об истории священного быка в Средиземноморье, ни о его связи с культом Луны. Возникали только ассоциации из античной мифологии: Минотавр, бык царя Миноса (по его имени сэр Артур Эванс позволил себе назвать минойской всю эту культуру, раскапывая которую он — охотно верю — был полон изумления и восторга). Вот это, сообщает мой «Синий путеводитель», этот крошащийся пол у меня под ногами, эти каменные плиты, устилавшие передний двор дворца, — пол мифического Лабиринта. Если пойти дальше — я так и сделала, пользуясь вместо Ариадниной нити указаниями путеводителя, — по определенной, отмеченной черным, тропинке в путаницу дворцовых коридоров (а на первый взгляд дворец представляется огромным полем развалин), то мимо древних оросительных сооружений, мимо гигантских емкостей для всяческих запасов, вверх-вниз по ступеням, пригибаясь под каменными арками и заглядывая в более глубокие помещения, а потом опять выходя на высокую площадку и наслаждаясь панорамой всего дворца, можно добраться до реконструированных Эвансом частей постройки, до этой уступки фантазии зрителей — ярко-терракотовых, сужающихся книзу колонн (сде-

ланных не из камня, а из кедровых стволов) — и наконец до реконструированных фресок на стенах некоторых покоев.

Встреча с ними взволновала меня до глубины души, и это волнение, почти не ослабленное и не стертное чтением более поздних комментариев, возражений, упреков по адресу Эвансова метода реконструкции, сомнений в его результатах, сохранилось до сих пор и все-таки, пожалуй, нуждается в пояснении — особенно потому, что весьма многие поклонники минойской культуры разделяли и разделяют его со мною. Что же я увидела? Сочные тона фресок, причудливые растительные и животные орнаменты; то место, где находилась знаменитая фреска с изображением акробата на быке, которую мы видели в Ираклионском музее: юноша в отчаянно дерзком прыжке летит через пишущего силой быка, грациозно-прекрасная женщина подхватывает его, а еще одна женщина держит быка за рога. Все равно — почти все равно, — что изображает эта сцена: ритуал ли жертвоприношения, который мог бы закончиться смертельно и объяснил бы страшную греческую легенду о свирепом Минотавре, пожирателе афинского юношества, символическое ли культовое действо, спортивную ли игру, — так или иначе остается встреча с этой живописной картиной, с Кносским дворцом, а днем позже — с Фестским, один из редких случаев, когда первая встреча после дальнейшей работы с книгами не блекнет, а скорее набирает блеску.

Тут наконец, выбитый в камне, обнаружился и топорик с двумя лезвиями, лабрис, которым Элен и Сью нам все уши прожужжали: некоторые исследователи утверждают, что Лабиринт получил свое имя от лабриса (другие решительно оспаривают это мнение, и, по-моему, вполне обоснованно), каковой в свою очередь есть атрибут критского Зевса, как известно рожденного на критской горе Иде. Здесь, в Кноссе, лабрис сопровождает нас как путеводный знак, то едва различимый на шершавой неровной поверхности, то во множестве вырезанный на камне, то образующий подобие фриза. Мы снова увидим его на простых, чрезвычайно выразительных, даже поэтических изображениях культа богинь на маленьких минойских печатях в Ираклионском музее. Оказывается, ни разу минойский топорик с двумя лезвиями не находили в руках мужского божества. Этот топорик наряду с колонной — стилизованным священным деревом — и бычьими рогами является одним из характерных минойских символов: священным он стал, видимо, благодаря своему изначальному предназначению — им рубили дрова, а в примитивных обществах эту работу выполняют женщины. Мало-помалу топорик был отождествлен с молнией, призывающей дождь, мало-помалу критская богиня-мать Илифия водворилась на олимпийских, управляемых мужчинами небесах, во главе с Зевсом и его

супругой Герой — вот этот многосложный, отмыченный битвами, и стычками, и поражениями путь привел топорик-лабрис в руки Зевса; теперь же, прослеживая этот путь в обратном направлении, символический топорик взяли на вооружение американские феминистки.

К тому времени, когда мы снова встретились, Сью и Элен пересмотрели в Кноссе все до одного лабрисы, все до одного изображения богини-матери в музее Ираклиона — начиная с неолитических идолов, широкобедрых, с радостью готовых рожать, плодовых женских фигур, предшественниц Деметры, богини земли и плодородия, которую включают в свой пантеон и эллины. Где бы наука ни рыла шурфы, ни снимала почвенные слои, ни проникала в пещеры, в самых глубинных слоях она всюду наткнулась на эту богиню, и стоит призадуматься, отчего сегодняшние женщины поневоле черпают в этом факте известную долю собственного достоинства и оправдание своих претензий: какой нам толк знать, что древние греки исподволь заменили «матриархат» «патриархатом»? О чем говорит как будто бы общепризнанный факт, что во главе древних земледельческих кланов стояли женщины, что рожденные ими дети принадлежали им, что они определяли порядок наследования и в более поздних высокоорганизованных царствах, что табу и фетиши, танец, песня и многие давние ремесла исходили от них? Не свидетельствует ли это обращение к невозвратной древности более всего прочего об отчаянном положении, в котором оказались нынешние женщины? Первый взгляд на минойские фрески — на их реконструкции — вызывает радостный испуг, как ни странно, испуг узнавания (поля блаженных, они существуют, так мы и знали!), однако и после более близкого знакомства с обстоятельствами, их породившими, — на протяжении некоего исторического периода они сохранялись, похоже, в продуктивном равновесии, но все же, хоть поначалу и теплилась этакая дерзко-неразумная надежда, все же не были островом блаженных вне координат своей эпохи — фрески не теряют своего волшебства. Не только дворцовые художники, но и миф, донесенный до нас сказителями, запечатлел величавые картины на стенах критских дворцов — и царских резиденций, и святилищ, — неизгладимые, кажется, картины, неисчерпаемые в своей реальной сути и многозначности. Научиться читать миф — приключение особого свойства; это искусство предполагает постепенную собственную метаморфозу, готовность посвятить себя мнимо простому соединению фантастических фактов, преданий, приспособленных к нуждам той или иной группы, грез и надежд, практики и приемов магии — словом, иному содержанию понятия «реальность». Не в ту первую поездку, а лишь постепенно, в воспоминаниях, постройки Кносса и Феста наполнялись жизнью, хлопотли-

вой суютою людей — минойцев, черты которых, если взять их с портрета «Француженки» (скорее всего, она — жрица) и «Царевича с лилиями» (тоже, наверно, юноша-жрец), и теперь еще нет-нет да и мелькнут порой в облике молодой женщины, прижатой к тебе в автобусе, в лице парня у деревянной таверны; люди самых разных профессий, все до одного — а как же иначе? — точнейшим образом вписаны в иерархическую общественную структуру, где жреческий сан женщин, их присутствие на культовых играх, даже их участие в столь опасных упражнениях, как игра с быком, вероятно, суть пережитки более древних эпох, еще сильнее проникнутых духом матриархата; так что рьяные восторги Сью и Элен, которых мы снова встречаем перед женскими идолами в музее Ираклиона, их чуть ли не любовная симпатия к глиняным фигуркам беременных, матерей с новорожденными у груди носят, пожалуй, какой-то иррациональный оттенок. Но ведь и меня самое больше всего тронули эти маленькие терракотовые фигурки, не в пример искусству классического периода отнюдь не идеальные, а отмеченные всеми следами будничной жизни, например отпечатками пальцев, которые их слепили, именно эти следы куда больше всякого Аполлона Бельведерского заставляют меня почувствовать, что те, кто четыре, пять и более тысячелетий назад молил богиню даровать им ребенка или благодарил ее, в сущности были такие же люди, как мы. Что «они» — вернее, тысячи поколений до них, почти бесследно канувшие во тьму древней истории, — вместе с первоосновой сети человеческих взаимоотношений, с постепенным преодолением необходимостей инстинкта и чуть ли не животных способов выживания начали плести и ту сеть, чьи опорные нити и теперь еще определяют и наш образ мыслей, и, как мне кажется, направление наших вождедений. Ведь не только чувство реальности — «натурализм», как говорят историки искусства, — но и вождедение, страсть водили, наверно, рукою минойских художников, когда они рисовали столь мажорную, яркую, красочную картину своего жизнеощущения, которая, безусловно, не просто потому, что была открыта позже других древних культур, настолько возбуждает фантазию своих открывателей, да и фантазию бесчисленных посетителей, коренящуюся в самых глубинах человеческого существа. Ведь иные трактовки явлений этой культуры (особенно пока в силу зыбкости научных толкований не ставилось предела импровизации) отражают подсознательные и тем более впечатляющие мечты толкователей — сам Артур Эванс, конечно же не свободный от влияния современной ему культуры *fin de siècle*¹ и собственных истоков, проецирует на свои находки кругозор эпохи, — мечты, от которых поздней-

¹ Конца (XIX) века (*франц.*)

шим, обладающим менее буйной фантазией, менее одержимым и более трезвым исследователям с трудом удается отойти, в особенности потому, что западная публика успела уже составить себе представление о той культуре, которую охотно сочла бы истоком собственной: светлая, плодотворная, предоставляющая индивиду возможность развиваться между свободой и несвободой, но прежде всего *мирная* культура, она не несла в себе зерна неминуемого самоуничтожения, ее гибель объясняли исключительно природными катаклизмами. Она-де, скорее всего, не подвергалась разлагающему воздействию социальных процессов, не пала жертвой распада от слабости, от вырождения некогда продуктивного начала. Все следы огня во дворцах, которые мы видели в Кноссе, целиком и полностью относят за счет пожаров, возникших в результате землетрясений. А тот факт, что вплоть до недавнего времени в покинутых дворцах не было найдено ни одного человеческого скелета, объясняют тем, что, мол, жители ушли оттуда при первых признаках нового землетрясения. Дворцы не укреплены, не защищены валами — так это лишний довод в пользу миролюбивого характера минойцев, кстати, народа, который никогда не существовал, а Эвансом был наречен по имени его гипотетического царя; египтяне же, как мы теперь знаем, называли этих людей «кефтиу»; все, чего мы добиться не можем, им якобы удавалось: находить смысл в труде, быть частицей социально-религиозной общности, отнюдь не превращаясь при этом в функциональный автомат, жить без насилия над собой и над другими — остров совершенства. Так что же, легенда о людоеде Минотавре, которому каждые девять лет приносили в дар, то есть в жертву, семь афинских девушек и семь юношей, чистейшая выдумка оскорбленных греков? Или: как же понимать миф о похищении финикийской царевны Европы Зевсом, превратившимся в быка и увезшим ее на Крит; не стоит ли учесть, что, согласно этому мифологическому изображению, Европа наречена именем похищенной критянами и изнасилованной ближневосточной царевны, именем, которое, кстати, означает «Сумрачная»?

Утром я несколько часов бродила в руинах Кносса, без всякого плана — объяснения скорее запутывали меня, чем направляли, — и заодно подхватила инфекцию, возбуждившую во мне легкую, но упорную лихорадку, которая дома только усилилась; пожалуй, ее можно было бы назвать критским или троянским синдромом, а элементы этого синдрома я, подготовленная, как я старалась показать, одержимостью одним-единственным именем — Кассандра (ибо именно оно снова и снова вспыхивало ярким сигналом), охотно бы проанализировала; потом мы собирались ехать в Фест и дальше, на юг острова (правда, до меня лишь задним числом дошло, что это был самый разгар одного из

очень немногих еще возможных в наше время приключений, разгар приключения духа), — так вот, в этот день, пока я занималась своими делами, продолжалась, наверно, те раскопки в нескольких километрах к югу от Кносса, о которых в апреле восьмидесяти первого, год спустя, сообщила газета: директор археологического музея в Ираклионе и его супруга обнаружили в деревне Арханис останки храма минойского периода, а в этих останках опять-таки останки человеческих скелетов — впервые! — положение которых почти не оставляет сомнений в том, что один из этих скелетов жрец, а другой — только что принесенный в жертву человек: обряд жертвоприношения, оборванный природной катастрофой, от которой он, наверно, и должен был бы защититься. А рядом с Кносским дворцом, под обломками здания, разрушенного около 1450 года до н. э., британские археологи нашли кости десяти юношей, причем, судя по следам на этих костях, не исключено, что вся находка — свидетельство религиозно-ритуального каннибализма.

Мертвец в погребке, мотив, в культуре Запада буквально набивший оскомину. Антонис, который позже в Афинах ведет нас на Плаку, в старейшую и, по его словам, лучшую таверну, услышал о находках жертв раньше нас. Минойская культура — загадка, говорит он, и останется таковой навсегда. Кажется, чем больше о ней знаешь, тем сильнее заметна в ней тенденция из чужда превратиться в явление хотя и чудесное, но все же обусловленное временем и местом: с теократической иерархией, с феодальной системой классов и прослоек, с эксплуатацией и рабством. Нет никаких причин идеализировать ее так, как наши немецкие классики идеализировали классическую античность, которая представляется нам скованной, застывшей и совершенно ими не понятой. Значит, было, вероятно, и поклонение людям как богам или богоподобным существам, а отсюда и определенный способ отчуждения и ограничения кругозора; был, вероятно, и рабский труд, и огромные контрасты бедности и богатства, и, вероятно, все большее и большее стремление к централизации.

Но женщины. Действительно странно, тут я не могла не согласиться со Сью и Элен, которые показывали мне соответствующие пассажи из наших путеводителей, — странно, однако никто не решился сделать выводы из того факта, что женщины занимали в минойской живописи столь доминантное место; если западная цивилизация воспринимала Крит вообще как этакую землю обетованную, как воплощение ностальгии по прошлому, то феминистки, участницы женского движения, видели в царствах минойцев *те самые* коммуны, которые могли послужить конкретной основой для их страстных ностальгических мечтаний, загнанных в тупик опытом сегодняшнего дня и страхом перед буду-

щим. Она же *существовала*, эта страна, где женщины были свободны и равны с мужчинами. Там они воплощали богинь (до странности трудно многим мужчинам — археологам и античникам осознать и затем признать, что все древние божества — женского пола; по-моему, им зачастую по душе вовсе не читать ни Энгельса, ни Бахофена *, ни Томсона *, ни Ранке-Грейвза *); там они, облаченные в торжественно-свободные одежды, на всех публичных церемониях занимают почетные места; там они участвуют в ритуальных играх и даже составляют большинство жреческого сословия. В искусстве этой страны они, как теперь принято считать, и исполнительницы, и вдохновительницы; в этой стране определенно действует порядок наследования по материнской линии, иными словами, мужчина может унаследовать царский престол лишь через дочерей царя.

Вот так, в плену сладостных образов, притом не догадываясь, что они, скорее всего, заблуждения — подсказанные археологами, которые нуждались в этих заблуждениях не меньше, чем их публика, — видя то, что нам *хочется* видеть, мы бродим среди развалин Кносса и Феста, сидим на южном берегу острова, в бухте Маталла, где наконец-то своими глазами видим, как сливаются синева неба и моря, и начинаем забывать цвет северных небес. Пещеры в горных склонах, круто обрывающихся к морю. «Раньше», что бы это ни означало, там погребали покойников. А еще раньше жили. А всего несколько лет назад хиппи — вместе с явлением это слово уже мало-помалу стирается в памяти — в летние месяцы вели там вольную, хотя и не внушающую доверия жизнь. Теперь их арьергарды, очень молодые люди из едва ли не всех стран Западной Европы, с ярко-оранжевыми рюкзаками в металлических станках, бродят по здешнему побережью, по этим пещерам; почти за бесценок они снимают клетушки у деревенских бедняков, питаются, как и они, за гроши овечьим сыром, помидорами, хлебом и оливковым маслом, а через некоторое время отправляются дальше по острову, к следующему пристанищу, в поисках перемен. Как будто старый континент — теперь, когда сходят на нет импульсы, некогда полученные его культурой с этого острова, из Греции, — может еще раз принять отсюда обновление, благодаря тому что его молодежь обращается к много более древним эпохам и культурам. Как будто можно — как будто мы можем — беспечно перемешать все, что нам по душе во всех эпохах, или то, что нам по душе в *представлении*, которое мы составляем себе об этих эпохах; как будто мы можем найти соразмерность, которой, по-видимому, стихийно жаждут и эти молодые люди, найти там, где она проистекала из строжайшей подчиненности каждого своей «доле», из неизменных зависимостей от социальных условий; как будто мы можем и быть совершенно свободны-

ми, и вместе с тем знать меру. Миноиды заставляли рабов и, конечно, рабынь работать на себя, но Сью и Элен упорно не желают этого видеть. Сюда, думаю я, в гавань Маталлы, они тоже заходили на своих, вероятно, примитивных суденышках, которые я пока толком себе не представляю. Если, хоть это и странно, дворцы миноидцев (кто бы они ни были) в самом деле не имели укреплений, означает ли это вправду, *может* ли означать, что на Крите жил миролюбивый народ, который торговал с вооруженными до зубов воинственными соседями и сумел продержаться не одно тысячелетие? Что охрана побережья обеспечивала достаточную защиту? Конечно, окрестные горы создают идеальные предпосылки для скрытного наблюдения, для дозорных, которые невооруженным глазом обнаружат чужие корабли, когда те еще довольно далеко в море... Кстати, Троя, твердыня Илион, и укрепления имела, и оружие. Правда, она располагалась не на острове, а на западном побережье Малой Азии, где испокон веков какие только народы не странствовали, в тылу, среди других государств, мощное хеттское царство; в силу такого местоположения этот город стерег выход к Дарданеллам. Но я ничего не могу поделать, мое представление о гавани, в которую заходят корабли, на берегу которой можно ожидать их прибытия — кораблей с товарами, купцов, похищенной невесты, а затем врагов, — мое представление о море, на которое глядит Кассандра, складывается здесь.

Возле пляжа дощатые лавочки торговцев, продающих пуловеры из овечьей шерсти, пестрые сумки, критские ковры и покрывала. Вечером в автобусе — тот же контролер, что ехал с нами сюда из Феста, сейчас у него в руках огромный букет длинностебельчатых полевых цветов, и он опять старается убедить нас, что Крит — лучшее место в мире. По-прежнему сидят у деревенских таверн старики — Эсхил вполне мог бы составить из них свой «хор аргосских старцев», — только пьют они уже не кофе по-турецки, а речину, рядом за столом — увлеченные спором энергичные мужчины помоложе, а в крохотных двориках хлопочут женщины, с ведрами, с посудой. На краю больших деревень — бетонные кубы новостроек, нижние их этажи отделаны и обитасмы, а вторые и зачастую третьи торчат скелетами, ждут, когда хозяин подкопит денег и продолжит строительство. Чувства прекрасного они от своих далеких предков не унаследовали, вернее, здесь, как и повсюду, оно загублено господством эффективности над всеми иными ценностями. А до поры до времени женщины развешивают белье на открытом всем ветрам, но подведенном под крышу верхнем этаже.

По мере приближения к Ираклиону автобус все больше заполняется туристами, катит-покачивается по равнине Месара, мимо уже невидимой нам горы Иды, в пещере которой, по пре-

данию, родился тот бог, что впоследствии возглавил эллинский пантеон, — Зевс. На сей раз у нас хватило ума не ужинать в гостинице, убраться подальше от тамошней кухни, от вонючего оливкового масла, «экстраклассно» попытаться счастья в другом месте. Колючие, не вполне чистые одеяла опять карябают мне ноги, но это, в общем, пустяки; около полуночи с шумом вваливается большая рюкзачная компания, я слышу их сквозь сон и опять-таки не воспринимаю как помеху, а наутро, когда я в поисках мало-мальски приличного душа натякаюсь то в одном, то в другом углу на спящего, устроившегося на матрасе, натянув на голову куртку, меня это ничуть не шокирует. Как завороженная смотрю я в музей в широко открытые, неподвижные глаза богини со змеями из Кносского дворца и иду взглядом предшественниц, крупных терракотовых фигур с воздетыми руками — молящихся? заклиняющих? сетующих? рожающих?

Сью с Элен презирают всякое мужское искусство, все изображения мужчин. Перед Фестским диском, чья спиральная надпись — гимн? причитание над покойником? — до сих пор не поддастся дешифровке, мы стоим подольше, ожидая, что эти древнейшие в нашем культурном регионе письмена разбудят в нас благоговейные чувства. А надо ли желать разгадки всех тайн? — подумала я тогда, слегка злорадствуя и по адресу современников, которым не удастся проникнуть в знаковую систему древних. Между тем мой жадный интерес к тайнам древних — сверхдревних по сравнению с «древними греками» — еще возрос. До чего мне хотелось узнать, о чем говорит диск! А как разжигала фантазию весьма спорная проблема гибели этой культуры: от природных катаклизмов? от междоусобиц? от вторжения ахейцев, а затем дорийцев с греческого континента?

Троя была разрушена, по-видимому, через два-три поколения после эпохи расцвета критских дворцов. Первый источник, упоминающий о том и о другом — о разрушении Трои ахейцами и о существовании критского царя по имени Минос, — Гомер, эпос на грани мифа и исторической хроники. Сколь ни красноречивы камни, сколь ни содержательны археологические находки, дающие достаточно информации о геологии, флоре и фауне, но подлинное сведения о жизни людей несет язык, несет литература. Сообщаемые ею содержательные структуры практически почти невозможно передать с помощью зодчества, керамики, валяния и даже живописи. Процессы женщин с обнаженной грудью на фресках в Кноссе: кто они — аристократки, наблюдающие за спортивными состязаниями? жрицы, совершающие культовый обряд? плакальщицы на поминальной церемонии? «Француженка» Артура Эванса: одна-единственная строчка из песни, а тем более описание в эпосе могли бы пролить свет на ее тайну. Но такой строчки нет.

Многозначность минойской культуры — частица ее волшебства. Ни один из более поздних памятников не смог тягаться с этим волшебством — ни минарет в Ретимноне времен оккупации Крита турками, на который мы поднимались, ни венецианские сады и живописный венецианский центр города Ханья; они утолили наше любопытство, наше эстетическое чувство, наш интерес к истории и потребность в экзотике, а минойцы своими «дворцами» пробудили в нас фантазию и — в самой глубине души — угасшее чаянье земли обставанной. Тут ожило и встрепенулось нечто большее, нежели простая жажда знаний. Позднее мне на глаза попала заметка о том, что царь Приам, отец Кассандры, потерпевший поражение в войне за свой город, несет, скорее, черты крито-минойского, чем ахейского военачальника и государя. Историки привыкли сопоставлять светлые и темные краски. Мы сами, вернувшись из Ханья по ясному как день, сверкающему на солнце Средиземному морю, над которым, точно монолит, лежало синее небо, в континентальный порт Пирей, — мы сперва увидели православную Грецию, а уж потом поехали на Пелопоннес, в Аргос, город Агамемнона, в Микены, цитадель Атридов, Клитемнестрино жилище палачей. Туда, где умерла Кассандра.

Празднества начались как бурлеск с примесью плутовской комедии. Очень многие афинцы — горожане в первом либо втором поколении, и у них еще есть деревня, «моя деревня», как они говорят. Деревня Н. находится неподалеку от фессалийского города Кардица, в пятистах километрах севернее Афин, и добраться до нее в Страстную пятницу, когда «вся Греция» снимается с места и «все Афины» осаждают провинциальный афинский вокзальчик, очень трудно — хотите верьте, хотите нет. В плотной, как стена, людской толпе стояли мы на платформе, понимая, что шансы уехать с каждой минутой тают, и вот тут снова объявились двое парней, которые энергично атаковали Н., еще когда мы шли через вокзал, а он отрицательно мотал головой и нам не переводил. Теперь их акции как будто бы поднялись. Н. выслушал их, пошептался с К., потом было сказано: мы могли бы поехать и на автобусе. Этот автобус — к нему нас доставило такси, водитель которого работал заодно с парнями, — был «левый», ради столь прибыльного рейса снятый с линейного маршрута: он ждал, а пассажиров набивалось все больше и больше, с узлами и котомками и с все новыми устрашающими реляциями об обстановке на вокзале. Услужливые парни и наружностью, и повадками здорово смахивали на банду похитителей, а автобус до Салоник — на повозку до преисподней, это нам было ясно как день и ничуть не портило настроение. Плата за проезд была ниже, чем на железной дороге; когда мы наконец тронулись в путь, водитель — как и подобает матадору, он

явился в самую последнюю минуту — включил радио. Музыка, пять часов кряду сотрясавшая автобус на громкости, которую мы могли счесть только недоглядом, оказалась нешуточным испытанием для наших среднеевропейских ушей и была нам послана не иначе как в наказание за левую поездку. Людям надо развлечься, невозмутимо твердил водитель на все протесты Н., а из греков ни один даже бровью не повел; мы терялись в догадках: то ли им действительно не мешал чудовищный музыкальный шум (мы были вынуждены заткнуть уши, потому что они болели), то ли их молчание было очередным примером полного равнодушия ко всем неурядицам, которые не касаются впрямую их самих и их семьи. Даже воспоминания о пейзаже за окнами автобуса, о красках моря, неба, деревьев у прибрежной дороги для меня испорчены, ибо тотчас же вызывают в памяти акустическую пытку шлягерами. Но мы все-таки добрались до Ларисы, сделали пересадку и доехали до Кардицы, устроились там в тесном гостиничном номере и прошлись по северогреческому провинциальному городу, готовившемуся к Пасхе.

Главный атрибут греческой Пасхи — жертвенный агнец, который, наверно, у народов этого региона был и главным атрибутом весенних празднеств, культов Деметры и плодородия, дионисийских мистерий в различных культовых центрах, святилищах и храмах. Забитый агнец — кстати, в так называемой «седой древности» он был человеком, возможно юношей, который в свою очередь подменял божьего сына Диониса; иными словами, ягненок занял место человека, вступился за него как козел отпущения и лишь на заре христианства вновь, якобы в последний раз, предстал в образе человека — жертва, истекающая ручьями крови, которую женщины собирают в большие миски, он, конечно же, падает наземь, лежит на колодах у мясников или на голом камне в крестьянских дворах Амбелико, деревни Н., сотнями тушек висит на крючках мясных лавок; город, деревня, целая страна, полная благонамеренно забитых агнцев, а в церквях и на рыночных площадях, как три тысячелетия назад, украшают алтари цветами и фигурками — изображениями тех святых, что у древних были полубогами, останки которых уже тогда были благодетельными, а могилы уже тогда считались священными. Здесь я как никогда ясно увидела, что культурные слои неотделимы друг от друга и взаимопроникающи, что сквозь нынешний культ проглядывает давний, а сквозь давний — еще более ранний, что едва ли найдется на свете что-то более долговечное, чем обряды, которые сказитель по мере надобности может перетолковывать. Секуляризованной повести предшествует житие святого, житию — героический эпос, эпосу — миф. Осознать глубину вре-

мен — и где? В донельзя чужом месте.

Так во что же мы веруем?

В субботу утром нам велено сходить вместе с Н. на рынок забрать у семейного мясника трех ягнят; мы наблюдаем, как приветливый здоровяк насаживает освежаванные тушки на металлические стержни, протыкает их насквозь, так что прут входит в огузок и выходит из пасти. Отправляемся в обратный путь; двух ягнят несем мы с Г.: я впереди, он позади, ягнята между нами, — диковинной шеренгой шагаем по суматошному городу. Нам показывают садик за домом брата Н., где (если не будет дождя — невообразимый кошмар!) завтра вспыхнут жертвенные костры.

В количестве тринадцати душ на двух машинах мы наконец-то едем навстречу горам, наконец-то в деревню Н. Она вон там, в предгорьях, местоположение — лучше не бывает! Сейчас мы увидим деревню, едва ли не самую красивую в Греции. А одна из белых точек, которую мы уже давно разглядели, нам ее специально показали, — это он и есть. ДОМ. Вверх по каменистой, узкой и крутой деревенской улице, вот и забор, поставленный по заказу Н., ворота. И наконец-то наяву дом. Никогда прежде я не входила в дом, который до такой степени, как этот, воплощал все, чем, с тех пор как есть на свете дома, пожалуй, является для человека дом: это родина, и убежище, и пристанище, и защита, и знак самоутверждения. У дома были четыре крепкие стены из природного камня, оконные проемы, двери, пол и крыша. Больше ничего. По приставной лестнице мы взобрались на второй этаж. Раньше из этих окон, наверно, любовались фессалийской равниной. Ну, что скажете? Разве не красиво? Красиво и, наверно, забываемо и неодолимо, если здесь прошло твое детство, отсюда ты был изгнан и не мог вернуться.

Назавтра была Пасха.

По всей округе в тесных двориках забивали ягнят, и они кричали, истекая кровью. С площади возле таверны, расположенной еще выше по склону, нам было видно большое церковное здание, явно слишком большое для деревни вроде вот этой, окруженное почти сплошь маленькими, почти сплошь бедными домишками. Н. — как застройщик, он уже провел здесь не одну неделю — знал здешних мужчин, здоровался с ними и называл их друзьями. Он свой долг исполнил, построил дом, а уж кто и когда будет там жить — дело десятое. Наши практические зоны ступсвались, отступили.

Кстати, в одной из деревень на равнине живет брат матери Н.; было бы неплохо, да что там, уместно и, в общем, необходимо навестить его. Всего-то лишь часок. Брат матери вместе с другими мужчинами находился в таверне, откуда их и привели, повоскресному одетых в черные костюмы из толстого сукна; остальные домочадцы, сидевшие в комнате перед телевизором, тотчас повскакали, женщины разглядели-расправили юбки;

предложили нам сесть, угостили в знак приветствия «ложечкой сладкого» — возможно, этот обычай идет из глубокой древности, ведь медом потчевали змей в святилищах и усопших, стало быть, такое угощение вполне по чину и людям уважаемым, а значит, и гостям; теперь подают не свежий мед, а просто сласти, зачит, и гостям; теперь подают не свежий мед, а просто сласти, поэтому принято запивать их стаканом чистой холодной воды. Мы отведываем то и другое. Потом на очереди вино из собственного винограда. И самогон. А на закуску — пирожки. Неторопливая беседа о сельских делах, о семейных проблемах. Политические эксцессы нынешнего столетия не коснулись уклада деревенской жизни, и в этом есть две стороны, а обратная сторона — это, в частности, оставшаяся неизменной ограниченность трудовой жизни женщин. Пожалуй, куда труднее, чем в Центральной Европе, смотреть на здешние деревни как на прибежища усталых от цивилизации горожан. Под обманчивым семейным миром, проистекающим из полной прикованности женщин к судьбе мужчин (собственно говоря, к судьбе быть женщиной), а также из нерасторжимой связи сыновей с семьей, нет-нет да и польхнет в рассказе, нет-нет да и вырвется протуберанцем на свет божий варварский поступок. Или намеком проскользнет отчаяние: дескать, всю жизнь только безропотно терпишь и мучаешься. Те, кто ныне мечтает вернуться вспять, в «идиллию» аграрных обществ, никогда в таких обществах не жили.

Назад в Кардицу. Впереди Пасхальная ночь.

Незадолго до полуночи мы выходим из дома брата Н., его невестка раздает всем свечи, дома остается только муж сестры Н., приверженец свидетелей Иеговы, который считает православную Пасху еретической: как видно, упрекать друг друга в ереси могут лишь родственные вероисповедания, а не верующие и атеисты.

Идет дождь. Сотни людей молча стоят в темноте перед церковью. От толпы ожидание передается и мне. Двенадцать ударов колокола. Церковный портал отворяется, священник громко, нараспев возглашает: Христос воскрес! — Воистину воскрес! — отзываются сперва некоторые, а затем и вся растроганная толпа. Вмиг зажжены все свечи. Толпа с песнопением выходит из церкви; разукрашенные образа, которых мы не видим, несут впереди шествия, по городским улицам, к рыночной площади, где они будут водружены рядом с образами из другой церкви. Процессия в честь богини земли Деметры, каждую весну выходящая в поля, чтоб наделить их плодородием, в городской культуре утратила свой смысл. В моей памяти сохранилась картина — темная людская масса, испещренная трепетными точками свечных огоньков. Говорят, в культуре каменного века и ранней бронзы каждый год в жертву богине плодородия при-

носили юношу, возлюбленного женщины — старейшины рода, а впоследствии — властительницы племени, позднее его заменил ребенок мужского пола, потом человеческие жертвы стали приносить раз в восемь-девять лет, наконец им на смену пришли жертвенные животные, а там и бескровны жертвы, в том числе глиняные статуэтки вместо людей из плоти и крови: на первых порах изобразительное искусство служило заменой жертвы, а искусство словесное создавало магию заговора. Не по-настоящему, а понарошку умерщвленный супруг Великой Матери мог снова воскреснуть в ту ночь, когда она дарила полям плодородие. И полубог тоже не умирал по-настоящему. Смертный полубог не может быть основателем религии. Христос воскрес! Потребности народа в веках почти не меняются.

Около часу ночи мы всей семьей сели за вечерю, приготовленную из очищенных кишок и ливера ягнят — из тех частей животных, которые раньше, вероятно, сжигались на алтаре, тогда как лучшие куски, вероятно, съедали жрецы, а приносители даров — мясо похуже.

Мы на следующий день ели за обедом лучшие куски барашка. Над всей Грецией шел дождь — вызов изобретательности народа, которому в Пасхальное воскресенье полагается жарить на воздухе своих ягнят. Вот когда наши хозяева оказались в прибыли от того, что верхние этажи их дома пока являют собой бетонные скелеты: там, на голом полу, можно было развести и поддерживать костер, поставить стойку с вертелами, там могли разместиться вертельщики и час за часом вертеть, вертеть, вертеть ягненка над огнем. Зять, свидетель Иеговы, вопреки своим убеждениям из семейной солидарности тоже трудился на ниве идолопоклонства. Мужчины поливали ягненка оливковым маслом и пивом, а сами потягивали вино. Женщины меж тем положили доски на деревянные козлы, застелили скатертями, приготовили салат и накрыли на стол. Зашел сосед, его угостили первым жареным кусочком мяса. Вообще-то он еврей и идет к своим. Однако же, нисколько не насилуя себя, он отведал христианского жертвенного агнца, которого ему подали без малейшего намека на давнюю ненависть христиан к евреям. Из сотен недостроенных домов, из гаражей, из сооруженных на скорую руку брезентовых и дощатых укрытий курился дым, смешавшийся к полудню с ароматом жаркого. В три можно было садиться за трапезу, мяса хватит на три больших семьи вроде нашей. Благословенная Пасха. Женщины — в крестьянских семьях они зачастую и не присядут, снуют туда-сюда, обслуживая гостей, — на сей раз тоже за столом. Детям, особенно маленьким мальчикам, позволено все, они с младенчества привыкают мучить своих матерей, своих сестер. Принеси мне воды! — требует крошечный карапуз, и престарелая бабка, кряхтя, встает и обслуживает

маленького мужчину. Где же, где вся та ярость, которая должна накопиться? Или, что едва ли не хуже, ничего уже не накаплист?

После обеда прогулка по городу, который в этот день и в эту пору безлюднее обычного; встреча с парикмахером, печальным, но экспансивным человеком, знакомым Н. Он приглашает нас к себе: комнатка два на три метра, с двумя парикмахерскими креслами вроде тех, какие я знаю по старым фильмам и смутным воспоминаниям о мужских салонах моего детства. На печке-буржуйке он готовит кофе, подает нам, горячий и сладкий, в маленьких чашечках. На стене — картинки, большей частью вырезанные из газеты компартии, в том числе старая маленькая фотография Сталина, на которую парикмахер с улыбкой обращает наше внимание. Он знает семью Н. Мы смотрим на этих людей, а они говорят о гражданской войне, о временах, когда дед и бабка Н. ушли вместе с мальчиком в горы к партизанам. На лицах обоих — они об этом и не подозревают — выражение той неутолимой печали, какую я в последние годы все чаще замечаю на лицах людей такого склада, и идет она от разочарования, ранимости, безнадежности. Парикмахер, слегка посмеиваясь над собой, держится за Сталина, за прошлое. На прощание он долго жмет нам руки. Я сознаю, что мое обращение к далекому, немислимо далекому прошлому (которое опять-таки становится чуть ли не обращением к будущему) — тоже средство от этой неизбывной печали, бегство вспясть и как бы вперед. Характерный итог самоанализа: поняв, что люди и обстоятельства за три тысячи лет шагнули недалеко и не очень-то поднялись над собой, ощущаешь скорее невозмутимое спокойствие, чем безнадежность.

В городке, унылом и сером в этот Пасхальный день, с маленькими лавчонками и скромными кустарными мастерскими, с бродячими дыганками и их ребятней, с некогда живописным, а теперь обшарпанным центром, с рыночным павильоном, с молодежью, что под вечер парочками и группами направляется к большому ресторану в парке, — в городке мы замечаем яркие мазки, появившиеся среди провинциальной будничности в последние годы. Бары с кричащей световой рекламой, игорный салон, киоски с иностранными журналами. По-прежнему сеет мелкий дождь. В третий раз, невольно сделав круг, мы проходим мимо все тех же домов. Я подыскиваю немецкий эквивалент французскому «safard». Меланхолия, дурное настроение, хандра. В гостиной мы укладываемся на кровати, стоящие гуськом, одна за другой. Наутро при расчете нас бесстыдно надувают. Н., в прошлом уроженец этого города, чувствует себя оскорбленным, перед самым отъездом мчит назад и без долгих церемоний угрозами улаживает дело. Однако его чуточку раздражает и наша неспособность защититься от надувательства. Слово некие

защитные силы, пусть не использованные, но все же отпущенные человеку, так и не развились. Он долго молчит, хмурится, когда мы, теперь рейсовым автобусом, под тихую музыку, едем на юг.

Я пытаюсь разобраться в том, отчего разрушение такого города, как Авлида¹, промышленными предприятиями, уничтожение Элефсиса нефтеочистными заводами вызывает настолько неутолимую горечь: это совсем иной гнев, почти щемящая тоска, мало похожая на обычные эмоции, возникающие при виде уничтожения ландшафта промышленностью. Отчего место, где Ифигения была принесена в жертву ее отцом Агамемноном, должно остаться неприкосновенным? Отчего Священную дорогу из Афин к Элефсинским мистериям не должны осквернять грузовые автомобили? Отчего на ослиных повозках, которые возили товары и продовольствие в город Элефсис и к святилищу Деметры, не лежало проклятие, а на нефтевозах лежит? Уж не является ли это противодействие, которое ощущали мы, признаком отступления и смиренной покорности: хотя бы здесь, скажем, наверно, мы друг другу, хотя бы в этих местах, столь далеких от любой из нынешних религий, что они могли бы быть священными для всех религий и даже для атеистов, надо бы сохранить запрет, который в других обстоятельствах нигде не соблюдается; и, пытаюсь таким вот образом объяснить собственный ужас, мы уже понимаем, что благоговение, загнанное в резервации, не может быть благоговением, а есть опять-таки не что иное, как расчетливость, и что наша цивилизация поступает «честнее» — как же слова утрачивают смысл! — когда на закате своих дней пускает под ковш экскаватора святилища, которые были ее колыбелью.

Зато — по привычке я мыслю антиномиями и составляю неудачные уравнения, — зато группа греческих рабочих под надзором нескольких американских археологов с большой осторожностью копается в намеченном квадрате развалин древнего Коринфа. С одной стороны, уничтожаем экскаватором, а здесь спасаем лопатой и ситом. Девушки бережно укладывают глиняные черепки в коробки и скрупулезно их регистрируют. Сколько ни пытаюсь, я все равно не в силах постичь, как могут города, крепости, ландшафты, святилища на века изгладиться из памяти, в лучшем случае сохраняясь в отдельных произведениях словесности, которые все считают вымыслом, — до тех пор пока несколько фанатиков, вооружившись Гомером, не начнут копать в земле на местах, обозначенных две с половиной тысячи лет назад... Но источник страсти, одушевлявшей, к примеру, Генриха Шлимана или Артура Эванса, мне теперь понятен, и это понимание, углубляясь, само станет чуть ли не страстью, которая вынудит меня расширить круг чтения и помешает разумному, ра-

циональному планированию работы. Ступени древнего Форума, на которых, по преданию, проповедовал коринфянам апостол Павел, а дальше — колонны куда более древнего храма Аполлона; эта картина глубже любой книги позволяет уразуметь связь различных пластов веры и различных пластов камня. Какого рода веру вычитают потомки — если они будут, а вся бумага сгорит — в наших каменных, стальных и бетонных развалинах? Как они объяснят наглую заносчивость чудовищных мегаполисов, где люди не могут жить без ущерба для себя? А не останутся ли от непролазных дебрей побудительных причин, которые обнаруживаем в своей цивилизации мы, современники, буквально два-три мотива: власть, богатство, мания величия?

Есть такой город под названием Аргос, пыльный, невзрачный город, где ненадолго останавливается наш автобус. Кроме нас, только двое мужчин за нашей спиной, едущие из Афин, оценивают эту остановку по достоинству. Старший, лет сорока пяти, худощавый, хрупкий и впечатлительный, говорит своему спутнику, который лет на двадцать моложе, о чем нужно думать, когда слышишь слово «Аргос»: о доме Атридов. А вот жить, как нам посоветовали, нужно в живописном Нафплионе, венецианском портовом городе; мы последовали совету, и ведь никто не мог предвидеть, что именно здесь, в Нафплионе, именно между семью и восемью вечера, когда я жадно, как в первый раз, вбираю в себя огни домов вокруг портового мола, здесь, на одном из самых южных краешков Европы, меня захлестнет чувство потерянности, возмещающее об утрате всех координат, в которые мы себя помещаем, за которые цепляемся. Потерянно стояла я на дальнем конце длинного портового мола и смотрела на ранний, победный закат за крепостью Бурдзи и горной грядой, что заслоняет гавань с запада. Потерянно брела по живописным улочкам старинного венецианского центра; недуг, который мне не хотелось называть ностальгией, обрезал связь между мною и этими улочками, этой круглой, как шар, луной, этим чистым, умытым небом. В гостинице, у конторской стойки, где мы столкнулись с двумя друзьями из автобуса, мне почудилась в глазах старшего еще более древняя, еще более глубокая потерянность.

Утром возвращение в Аргос — мы поступили точно так же, как и двое друзей, с которыми теперь, при новой встрече, обменялись улыбкой авгуров. На забытом богом, ветреном перекрестке — однако именно здесь щит с надписью МИКЕНЫ указывает на восток — ждем автобуса из Коринфа. Должно быть, мимо этого места прошагали некогда вереницей и аргосские старцы, которые, по мысли Эсхила, были подняты на ноги сигнальными кострами, возвестившими конец Троянской войны, и, славя Зевса, направились из Аргоса в Микены:

¹ Ныне г. Ваата.

Через муки, через боль
Зевс ведет людей к уму,
К разумению ведет.
Неотступно память о страданье
По ночам, во сне, щемит сердца,
Поневоле мудрости уча.

«Через муки, через боль... к уму» — похоже, таков закон новых богов, путь мужского мышления, в котором нет любви к матери-природе, есть лишь стремление разгадать ее, покорить и воздвигнуть странное здание отрешенного от природы мира идей, куда женщины отныне не вхожи; мало того, женщины вызывают страх, вероятно, потому, что они — размышляющий, страждущий, спящий не отдает себе в этом отчета, — они *тоже* источник сокрушенности, пробуждающей его сердце. Мудрость против воли, обретение культуры через утрату природы. Прогресс через муки. Формулы, произнесенные за четыреста лет до нашей эры и составляющие основу культуры Запада.

Четыре молодые японки — не слишком ли контрастен переход? — но эта четверка в фасонистых, не похожих одна на другую шляпках действительно стояла возле нас и двух друзей на перекрестке и поехала с нами в Микены; легкой стопой и с легким сердцем, сиречь без труда, поднялись они впереди нас по довольно трудной и утомительной дороге к крепости. Той перевозданной крепости — это и сейчас еще видно по развалинам, — перед которой в конце концов очутилась пленница Кассандра, явившаяся из, по-моему, не столь мрачной Трои.

Аполлон, Аполлон!
Страж путей, погубитель мой!
Куда меня завел ты, к чьим стенам привел?

.....
Жилище палачей!

Здесь кровью детской вся земля пропитана.

Она намекает на чудовищную трапезу, которую в этих могучих стенах Атрей уготовил своему брату-сопернику: вареное мясо его сыновей. Женщина в ужасе, и ужасается она человеческой природе, а не только собственной судьбе. Вот она уже среди циклопических стен. С ворот на нее неподвижно глядят львы — те, что ныне обезглавлены. Она должна войти. Стены, стены, и внутри крепости тоже. Окаменелый страх здешних обитателей перед жизнью и перед чужестранцами — что ж удивляться злему предчувствию, охватившему эту чужестранку. То ли дело мы — по освещенным солнцем каменным дорожкам вместе с потоком туристов поднимаемся все выше, справа

и слева американские студенты, впереди, щебеча, порхают четыре японских мотылька. По правую руку — могилы. Взгляд в шахты-могилы XVI века до нашей эры: так погребали героев-ахейцев, а не сжигали на кострах, как пишет Гомер. Алтарь. Дорога процессий; остатки дворцовых стен. Здесь, где-то здесь вышла из дворца Клитемнестра и сказала:

И ты — с тобой, Кассандра, говорю — войди
Сюда без гнева...

Она приглашает пленницу участвовать в жертвоприношении, как будто и не желает отягчать участь рабыни. Кассандра молчит, и хор высказывает предположение:

Не обойтись без толмача искусного,
Дикарка — что зверек, силками пойманный.

На что Клитемнестра:

Безумие вошло в нее и бешенство:
Недавно лишь страна ее захвачена,
И прежде чем кровавый гнев не выкипит,
К узле неволи не привыкнет пленница.
Довольно. Больше не унижусь просьбами.

На самом верху древнего микенского акрополя японки разостлали кипенно-белую салфетку и выложили на нее из своих плетеных лодочек-корзиночек всевозможные аппетитные лакомства. Затем четыре большие круглые шляпы уселись вокруг салфетки и оживленно, изящно приступили к еде — куда более здоровая и приятная трапеза, чем та давняя, тоже происходившая здесь, впрочем, они, разумеется, о ней не думают, да едва ли и знают. Американские студенты фотографируются, позируют группами то перед одной камерой, то перед другой. Мы отдыхаем на каменных глыбах.

Взглядом я повторяю путь, каким туристские автобусы поочередно, с небольшими интервалами, едут к стоянке, где затем выстраиваются в ряд — два-три десятка — у подножия крепостной горы и ждут, а их пассажиры тем временем, точно муравьи, взбираются на эту гору, по-своему улагодворенные, устало возвращаются и, быстренько освежившись кока-колой и мороженым, вновь с облегчением ныряют в свои передвижные укрытия. Тою же самой дорогой, которая тогда была, наверно, узкой и утомительной (но это естественный подход к крепости с равнины), шагал победоносный Агамемнон, а в его свите — пленница Кассандра. Мимо этой куполообразной гробницы,

которую археологи назвали «сокровищницей Атрея» и которую мне сверху хорошо видно, царь и рабыня шли, наверно, с разным чувством. Мы, скажу честно, входим в эту гробницу без священной робости. Темнота, лучинки, вспыхивающие лишь на несколько секунд. Свод над головой: плотно пригнанные камни держат друг друга.

Потом мы, разумеется опять вместе с японками, долго стоим на остановке, ждем автобуса. Ниже по склону крестьянин раз десять-пятнадцать проходит за лошадью и плугом по своему длинному полю — туда и обратно, туда и обратно; автобусы, подъезжающие и отъезжающие, я уже не считаю, а крепостная гора с черными от туристов муравьиными тропами вообще отпечаталась у меня в памяти на всю жизнь — в конце концов мы вынуждены признаться друг другу, что рейсовый автобус, которого мы ждем, не придет. Три японки уселись рядом и, не выказывая нетерпения, читают какие-то узенькие книжиды; четвертая, старшая, рассказывает мне, что она по стипендии изучает в Англии классическую филологию. И сегодня сбилось одно из самых заветных ее желаний: она увидела своими глазами крепость Агамемнона и Клитемнестры. Какие красивые у вас шляпы, говорю я, а она в ответ улыбается: thank you¹. Ну, а теперь все же надо каким-то образом вернуться в Аргос. Вместе с двумя кельнскими дамами, матерью и дочерью, ужасно страдающими от ненадежности автобусного сообщения, мы берем такси. Между собой дамы не разговаривают, и это их молчание всю дорогу действует нам на нервы; после обеда мы наконец приезжаем в Аргос. Двое друзей уже сидят в нафплионском автобусе и встречают нас улыбкой, словно только и мечтали снова нас увидеть.

В Нафплионе, на самой вершине огромного полукружья залива, есть таверна, над дверью которой вместо вывески прикреплена многорукая каракатица. Под нею мы проходим в зал, хозяин ведет нас на кухню, где на открытых сковородах все блюда держат если не горячими, то по крайней мере теплыми и где мы, знакомые с греческой кухней, без слов, просто указывая пальцем, выбираем себе обед. Дивное сияние уже померкло, солнце зашло. Ни того, ни другого мы не пропустили. А завтра мы собираемся съездить в Эпидавр.

Оба друга опять в одном с нами автобусе — в вымышленном рассказе я бы не решилась на подобное утверждение. Но факт остается фактом: они сидят в том же ряду, через проход, на сей раз устальные — или не в настроении? Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Я упоминала, что они говорят по-французски? Старший из двоих — его молодежный джинсовый костюм впервые кажется

мне не вполне уместным — вслух читает своему молодому спутнику тот пассаж из «Guide Bleu»¹ об Эпидавре, который читаю и я, по-немецки. Эпидавр — святилище Асклепия, сына Аполлона; центральное место там, стало быть, занимает зал сновидений, который мы, в уменьшенном варианте, уже видели — в Амфиарейоне под Оропом. Старший шепотом что-то говорит младшему, возможно о лечении сном, но тот неотрывно глядит в окно на в самом деле примечательные ландшафты, которые открывает взбирающаяся все выше дорога, и даже не улыбнется. Конечно, внушаю я себе, он имеет полное право быть серьезным, замкнутым и даже чуточку упрямым.

Развалины Эпидавра кажутся мне еще необозримее, чем все прочее. Греческий образ жизни проявился здесь, пожалуй, наиболее выпукло и ярко, об этом свидетельствуют фундамент зала сновидений и множество храмов различных богов, гимнастический и музыкальный зал, ипподром. И среди обилия четырехугольных контуров — круглая постройка, толос, «назначение которого по сей день не ясно», читаю я. «Вероятно, он служил для исполнения мистических обрядов, ибо воздвигнут он якобы над могилой Асклепия — его мать была из смертных. Здесь жрецы разводили священных животных Асклепия — светло-бурых змей». Асклепий, бог-мужчина, отпрыск Аполлона, одного из «новых» богов; искусство врачевания он, выражаясь нейтрально, «перенял» у женщин, на это указывает его атрибут — змея; а в круглых гробницах, как мы видели в Микенах, погребали героев. После того как Кассандра предрекла Трое горестный исход войны, она, по преданию, была заключена своим отцом Приамом в некоей «пирамиде» на цитадели: Ранке-Грейвз предполагает, что ее узилищем была круглая, похожая на улей, гробница, «из которой она вещала от имени похороненного там героя». «Пчела с ее амазонским государством», строит догадки Цилли Рентмайстер, определенно почиталась «в древних матриархальных обществах как самое священное символическое животное», и она приводит примеры древнейших круглых построек на острове Мальта, храмов или домов, которые своею формой воспроизводили тело Великой Богини: «статное, округлое, упитанное».

И театр в Эпидавре тоже, по сути, круглая постройка (не так уж это и естественно), кстати возведенная за 400 лет до Рождества Христова тем же прославленным зодчим, что и здешний толос, Поликлетом. Крепкий аромат пиний, растущих вокруг святилища, долетает и сюда, небо нежно-голубое, подернутое дымкой облаков. Мы сидим в самом верхнем ряду. Вот как сейчас глубоко под нами густеющий поток туристов растекается

¹ Спасибо (англ.).

¹ «Синий путеводитель» (франц.).

по театру, так же некогда входили сюда эллинские мужчины. Там, где сейчас стоит молодой человек, в фокусе линзы, которую образует окружность театра, там у Эсхила стоял Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры, вернувшийся домой, чтоб отомстить убийством матери за убийство отца. Кого, бога или богино, станет он призывать? Он говорит:

Гермес подземный, память об отце храня,
Соратником явись мне и спасителем!
Вот я вернулся в эту землю милую
И здесь, над холмом гробовым, отца молю
Меня услышать.

.....
..... О дай же, Зевс,
Мне за отца отомстить, приди на помощь мне!

Двое богов-мужчин в одном монологе. Молодой человек внизу чиркает спичкой: у себя на верхотуре мы тоже слышим звук, публика аплодирует. Ему что-то кричат, молодой человек шепчет, и все опять слышат: Уильям Шекспир. Овадии. Новые восклицания. Молодой человек выпрямляется и произносит, на этот раз громко: «To be or not to be, that is the question». Затем он уходит. Сотнями валят греческие школьники. Далеко от нас, в том же ряду, сидят два друга. О чем они говорят, нам не слышно. Они расходятся в разные стороны. На обратном пути в автобусе их нет.

Через несколько месяцев здесь вновь сыграют великую трагедию, в новом переводе Валтиноса. Предводительница хора вскричит:

Есть старинный закон: если кровь пролита,
Новой требует крови она.

Древний закон кровной мести, в котором запутывается Орест: сын не вправе поднять руку на мать. Женщина была табу. Эсхил, похоже, считается с тем, что отголоски священной робости перед женщиной еще тревожат и его зрителей-мужчин, которые тем временем забрали себе абсолютную власть. Хор плакальщиц получает задачу заклеить женщину как величайшее из зол под солнцем: «Кто б указал предел / Дерзостной страсти женской, / Ужасом и проклятьем / Павшей на род людской? / Любовь, если можно любовью назвать / Безумной похоти женской власть, / Опасней чудовищ, страшнее бури». В доказательство приводятся жуткие примеры, ведь существует уже долгая история перетолкования когда-то неприкосновенной женщины в чудовище. Женщина должна умереть! — говорят теперь

без обиняков. А когда дело сделано: все же считайте, что Орест не убийца. Такой вердикт надо вдолбить публике, но здесь — хотя и не в эстетическом плане — великий грек потерпел неудачу. Вопреки тысячелетним потугам патриархата убийство матери по-прежнему остается в сознании людей самым ужасным злодейством — страшнее быть не может. То, что сын — только сын отца, так и не привилось. И сколь ни непреложна для Эсхила этическая задача успокоить совесть матереубийцы, столь неудержимо увлекает его задача эстетическая, непревзойденно изображает он страх убийцы, попавшего в тиски безысходного конфликта:

Так знайте же: чем кончу, сам не ведаю.
Как будто кони взмысленные ринулись
Прочь с колес. Неудержимо мчат меня
Взметнувшиеся мысли. Запеваёт песнь
Теснящий сердце страх — и сердце пляшет в лад.
Друзья, пока рассудок цел мой, слушайте!
Я верю, что по праву наказал я мать,
Преступницу, убийцу богомерзкую.

Столь же мощны хоры Эриний, древнейших богинь, воплощающих души предков, которые оплакивают гибель древнего права, считая ее гибелью морали вообще. И наоборот, вальм выглядит эпилог в духе агитпропа, тенденциозный финал — премудрая Афина Паллада прощает Оресту вину и обуздывает матриархальных Эриний; политическое намерение афинского гражданина Эсхила ослабляет конец его пьесы. И все же, мне кажется, и в августе нынешнего, 1980 года пятнадцать тысяч зрителей — греков, но большей частью туристов из разных стран мира, — которые увидят древнюю трагедию в древнем театре, разойдутся по домам отнюдь не с ощущением, что все завершилось счастливо и благополучно. Остроумные словопрения о том, следует ли считать этого несчастного мужчину, Ореста, матереубийцей или же мстителем за отца, говорят лишь об одном: там, где должны были явиться согласие и примиримость, разверзлось противоречие, которое обнаруживается в мужчине как разлад, а поскольку этот разлад приходится непрерывно отрицать, замазывать, перетолковывать, вытеснять, он порождает страх, ненависть, враждебность, а значит, будет тяжело отзываться на протяжении тысячелетий, вплоть до нас и до тех, кто, как мы сейчас, через четыре месяца покинет эпидаврский театр.

Та Троя, что стоит у меня перед глазами, — это модель некоей утопии, и никакое ретроспективное описание с нею не сравнится.

Лекция третья

Записи в рабочем дневнике — о веществе, из которого созданы и жизнь и сны

Нынешней осенью в журналах так часто
Воспроизводился атомный гриб,
Что при виде снимков сами собой
Начинали складываться эстетические категории.
Стала ясной судьба голубой планеты.
Мы привыкли к словам «нейтронное оружие»,
Как к словам «бензин» или «сводка погоды»,
Как к бесконечным мирным воззваниям.

Мой сын написал сочиненье на двойку.
Ну что ему скажешь? Мне и так уже больно
Просто видеть его — видеть эту невинность.
И вот так мы живем — невероятной,
Фантастической жизнью: исправляем двойки,
Сын ходит в школу, мы сажаем деревья,
Обучаемся азбуке воздушной тревоги,
Знаем речи генералов со всего света.

Сафа Кири, «Конец года»*

Метельн, 16 мая 1980 года. Читаю: литература Запада есть саморефлексия белого человека. Мужчина белой расы, стало быть, размышляет о себе самом. А теперь к этому добавится саморефлексия белой женщины? Ну и что из того?

Верховные командования НАТО и Организации стран Варшавского Договора обсуждают планы новых вооружений; с обеих сторон предполагается, что военно-техническому превосходству «противника» необходимо противопоставить равноценные ответные меры. Как подумаешь, что физическое существование любого из нас и всех нас вместе зависит от малейших сдвигов в бредовом мышлении очень узкого круга людей, то есть от случая, так сразу становится ясно, что это окончательно рушит всю классическую эстетику, выворачивает ее из пазов, в которых она крепилась в конечном счете законами разума — верой в то, что такие законы существуют, потому что они не могут не существовать. А мы все тщимся соорудить укрытие и для свободно парящего разума, и для себя — в литературе. Усилие отважное, хоть и беспочвенное, поскольку процесс отбора и соединения слов обусловлен предпосылками, лежащими, судя по всему, за пределами литературы. Понятием меры он обусловлен то-

же: ведь у начал эстетики стоит еще и вопрос о том, что способен вынести человек.

Своими рассказами о героях давно минувших времен гомериды объединяли внемяющие им людские массы и формировали их сознание — даже и поверх существующих социальных структур. Трагик классической Греции посредством эстетики помогал формировать политико-этическую позицию свободных, зрелых мужей — граждан полиса. Также и христианские поэты средневековья, создавая свои гимны, мистерии и житийные легенды, служили двуединству, каждая из сторон которого — Бог и человек — была доступной слову. У рыцарского эпоса есть свой твердый круг слушателей, к которому он адресуется, его прославляя. Поэт раннебуржуазной эпохи обращается с пылкими речами протеста к своему князю и одновременно к его подданным, разжигая в них пламя гнева. Пролетариат и социалистические движения с их целями революционной классовой борьбы побуждают литературу, идущую вместе с ними, к занятию конкретной классовой позиции. Но перед лицом явлений, с которыми приходится иметь дело нам, все усиливается сознание непригодности и неуместности всех слов. То, что замышляют относительно нас анонимные штабы ядерного планирования, не поддается выражению; похоже, что языка, способного достичь их слуха, вообще не существует. И все же мы продолжаем писать в тех формах, к которым привыкли. Это значит, что мы еще не можем поверить в то, что видим. Или высказать то, во что уже верим.

Метельн, 2 июня 1980 года. Но не конец интересует меня больше всего в истории Кассандры. Как она обрела провидческий дар — вот что меня интересует. Д-р Фольмер, Мифологический словарь, 1874:

«Кассандра — несчастнейшая из дочерей Приама и Гекубы. Аполлон, полюбивши ее, обещался научить ее предвидеть будущее, коли она ответит ему взаимностью. Кассандра дала согласие, но, получивши от бога обещанный дар, не сдержала слова; за это он наказал ее, сделав так, что сограждане не принимали ее пророчания на веру, и превратил ее в предмет людского осмеяния. Кассандру стали считать безумною, а поскольку она предсказывала одни лишь несчастья, людям скоро наскучила возмутительница всех радостей, и они заключили ее в башню. Впоследствии она стала жрицей Минервы (это ошибка: она стала жрицей Аполлона. — К. В.), из храма коей Аякс... принужден был тащить ее за волосы, так как она вцепилась обеими руками в статую богини, и поверг вместе с несчастной также и статую».

Наиболее частое здесь слово — «несчастье». Причем доктор Фольмер и его сотрудники 1874 года, явно смущаясь, обходят деликатным молчанием апокрифическую версию мифа, соглас-

но которой ахеец Малый Аякс, один из главных покорителей Трои, изнасиловал Кассандру перед статуей Афины, на что богине, бессильной чем-либо помочь, оставалось лишь возвести очи горé. Помимо того, ее отец, троянский царь Приам, когда война уже близилась к концу, из политических соображений (чтобы приобрести союзника с контингентом воинов, в котором была острая нужда) выдал дочь замуж против ее воли; вероятно, именно от этого брака родились близнецы, которых Агамемнон потом вместе с нею потащил в Микены и которые там были прикончены вслед за ней. (Мое предположение: Кассандра — одна из первых женщин, в образе и судьбе которой уже символически воплощено то, на что женщина будет обречена в течение последующих трех тысячелетий, — превращение ее в объект.)

Вопросы к энциклопедической статье: каким образом мог Аполлон — один из «молодых», мужских богов — наделить провидческим даром женщину? Почему он и все рапсоды поспешили сразу же лишить этот дар его действительности? Почему ее томила жажда провидческого дара? Почему клеймом злоедеящего прорицания («пророчество Кассандры!») оказалось отмечено имя женщины, если в то же самое время и по тому же самому поводу прорицал, предостерегая от несчастья, троянский жрец Аполлона Лаокоон? Он тоже заклинал своих сограждан не втаскивать внутрь городских стен деревянного коня, оставленного ахейцами. Почему же не говорят: «пророчество Лаокоона»? Почему именно змеи должны были обвить и задушить его сыновей вместе с ним самим?

Метельн, 8 июля 1980 года. Бредовое мышление, разумеется, подкреплено математикой. (Парадоксальным образом именно математику — когда начинают верить в нее как в некую самостоятельную структуру, чьи законы следует перенести также и на другие структуры и в результате доказать, а то и создать один из грандиознейших жизнеотрицающих мифов нашего века, именуемый «научностью», — именно математику, с ее неоспоримой точностью, удобней всего встроить в бред и тем самым сделать его неуязвимым.) На прошлой неделе компьютер в США дважды поднимал тревогу: советские ракеты якобы летели на Соединенные Штаты. Президент в таких случаях располагает двадцатью пятью минутами для принятия решения. Компьютер отключили. Бредовое заблуждение: поставить всеобщую безопасность в зависимость от машины, а не от анализа исторической ситуации, на который способны только люди с историческим разумом (что подразумевает также и понимание исторической ситуации другой стороны).

Никогда еще опасность атомной войны в Европе не была так велика, как сейчас, заявляет Шведский институт по изучению

проблем мира в своем годовом отчете. В мире накоплено 60 000 ядерных боеголовок. За последние годы, в период разрядки, обе великие державы, гонясь друг за другом, в невероятной степени раздули свои вооружения.

А мы все рассуждаем и рассуждаем, приходя к печальному выводу, что это уже и осмыслить невозможно. Но осмыслить приходится. Что я, собственно, имею в виду, говоря о «бредовом мышлении»? Я имею в виду абсурдность утверждения, что необузданная гонка атомных вооружений, поддерживая «равновесие страха», уменьшает риск войны и создает хоть какой-то минимум безопасности. Я имею в виду гротескность стратегических расчетов, которые уже применительно к обычным вооружениям имели убийственные последствия, а применительно к атомному оружию стали попросту бессмысленными, иррациональными, что явствует из циничного афоризма: «Кто ударит первым, умрет вторым».

Ведь ситуация в Европе сегодня принципиально иная, чем в тридцатые годы, перед нападением Гитлера на недостаточно вооруженные соседние страны. Конечно же, они должны были тогда вооружаться против этого врага в целях самозащиты; оборона тогда имела смысл. И само собой разумеется, она имела смысл в борьбе против агрессора во Вьетнаме; точно так же оружие есть средство обороны и освобождения в ряде латиноамериканских стран, где развернулось освободительное движение. Но я жительница Европы. Европу не защитишь от атомной войны. Она либо выживет вся целиком, либо погибнет вся целиком. Существование атомного оружия довело до абсурда все мыслимые оборонительные стратегии для нашей маленькой части света.

Есть ли у нас хоть какой-либо шанс? Могу ли я полагаться на экспертов, доведших нас до этой грани отчаяния? Единственное, чем я вооружена, — это неукротимое желание, чтобы жили мои дети и внуки, и потому мне представляется разумным, наверное, самое безнадежное: разоружаться в одностороннем порядке (тут я колеблюсь: даже и несмотря на администрацию Рейгана? Но поскольку я не вижу другого выхода, то приходится сказать: даже и несмотря на нее!), чтобы другая сторона оказалась тем самым под непрерывным давлением мирового общественного мнения; сделать беспредметной основанную на шантахе доктрину «удушения» Советского Союза гонкой вооружений; заявить об отказе от нанесения упреждающего ядерного удара и все усилия направить на эффективную оборону. В этом есть риск? Но насколько выше риск при дальнейшей гонке ядерных вооружений, которая к тому же ежедневно повышает риск развязывания атомной войны из-за чистой случайности?

Скажут: утопическое желание? Но так ли уж беспредметно желание мыслью и словом участвовать в решении вопроса о жизни и смерти многих, может быть, даже всех будущих поколений?

Если уж атомная опасность привела нас на грань уничтожения, эта грань должна стать и пределом для молчания, пределом для терпения, пределом для подавления нашего страха, нашей озабоченности, нашего подлинного мнения.

Метель, 10 августа 1980 года. Мыслимы ли сегодня разумные существа, не знающие раздвоения человека на тело и душу, тело и дух, не могущие даже понять этого? Кассандре пришлось испытать эту операцию на себе — ее, так сказать, резали по живому. Стало быть, существовали в ее окружении реальные силы, которые по мере надобности заставляли ее жертвовать то одной, то другой частью себя. На ней испытывали технику умерщвления. «Первая появляющаяся в истории противоположность классов совпадает с развитием антагонизма между мужем и женой при единобрачии, и первое классовое угнетение совпадает с порабощением женского пола мужским» (Фридрих Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственности и государства») ¹.

Выясняется, что с некоторых пор — с каких, собственно? — я уже не воспринимаю Кассандру как трагическую фигуру. Она себе таковой наверняка не воспринимала. Может быть, она моя современница в том, как она привыкла переносить боль? И я породнилась с ней благодаря особого рода боли — боли вочеловечения, ощущения себя субъектом?

Согласно ученым трудам, Троя — это город, воздвигнутый на руинах многих других городов (Троя VII А Генриха Шлиманна, не идентичная для него Трое Троянской войны — эту последнюю датируют с поразительной и, по-моему, подозрительной точностью 1194—1184 годами до нашей эры). Город с дворцом, крепостью, жилищами ремесленников, торговцев, писцов. С окружной стеной. С многочисленными окрестными селениями, в которых обитали коренные жители этих краев. С рекой — Скамандром. Город-государство с царской династией, вероятно почитавшейся божественной, с патрициями (аристократическая верхушка, нередко связанная родственными узами с царским домом), чиновниками, военачальниками, с ремесленниками, принадлежащими, возможно, царскому дому, со жрецами и жрицами, с зажиточными землевладельцами, мелкими крестьянами (эти, вероятно, другого происхождения, нежели верху-

шка), с управленческой иерархией, с массой трудового люда, о котором мало что известно — в источниках он упоминается нечасто. И с рабами. Вот примерная схема, заимствованная из весьма разноречивых трудов исследователей микенской культуры (названной так по имени и образу жизни города, в котором правил Агамемнон, предводитель ахейцев в Троянской войне). Троя входила в сферу этой культуры в самом широком смысле — дополнительные оттенки здесь приносила культура малоазийских народов (хетты), и наверняка сильное влияние оказывала крито-минойская культура, на закате своем мощно воздействовавшая не только на греческий материк, но и на островной мир и мир малоазийских побережий, «пропитавшая» их. В какой мере? В чем специфически «минойские» черты Трои? Господствовала ли в лице дома Приама, чье имя, возможно, восточного происхождения, эгейско-малоазийская династия над смешанным народонаселением, имевшим также и индоевропейские корни? Какие конфликты могли вытекать из этой ситуации для Кассандры — когда рядом друг с другом существовали различные религии и культы? Может быть (это взгляд уже не исторический, а утопический), поскольку вся ее история была, судя по всему, процессом освобождения, она в конце концов обрела внутреннюю свободу от *всякой* веры, в том числе (и прежде всего!) от своей собственной?

Метель, 23 августа 1980 года. Снова читала — как в первый раз — «Авангард» Марии-Луизы Фляйсер. Как печальна судьба этой женщины — нечеловеческая, невероятная, невозможная. Все ее эксплуатировали, обращались с ней как с животным. Полная беззащитность перед грубым нахрапом мужского стада — от коммунистического поэта до убийственно ничтожного табачного торговца и привратника-нациста*.

Писательство для женщин — средство отделить себя от мира мужчин («пусть хоть по крайней мере удивляются...»). Но неизбежно наступает момент, когда женщина, которая пишет (в случае с Кассандрой — которая «видит»), уже не выражает ничего и никого, кроме самой себя, — а кто уж она такая... Живучее заблуждение — будто постоянно надо писать. Мы ведь даже не знаем, живем ли мы в самую мрачную пору истории или уже в конце ее. Европа, когда видишь ее закат (видишь ее тонущей), иной раз кажется прекрасной, как Атлантида. «Европа», название, расширившееся за пределы греческого и фракийского материков — в зависимости от того, сколь далеко простирались в представлении греков северные земли. Европа, дочь финикийского царя, которую бог Зевс в обличье быка похитил и увез из Финикии на Крит, где она родила от него наряду с другими детьми будущего царя Миноса. Насилие над женщиной откры-

¹ Цит. по: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., Изд-во политич. литературы, 1982, с. 73.

вает в греческом мифе историю Европы. Моя боль за эту часть света есть в некотором роде и фантомная боль: она не только об утраченном члене, но и об еще не развившихся, не сформировавшихся членах, об еще не осознанных, не пережитых чувствах, о несбывшихся мечтах. Все это накапливалось в литературе — с каких пор? Если посмотреть в ином ракурсе, есть ли уже у Гомера элементы утопии или он всю свою мощь употребляет на то, чтобы оставаться современным и спасти хотя бы ту традицию, которая в течение четырех-пяти темных столетий дорийских нашествий сохранялась в песнях и эпических поэмах? Трудно представить себе весь этот ход событий: Троянская война, происходившая около 1200 года до нашей эры, — разрушение одного определенного города (в эпоху, когда разрушение городов входило, так сказать, в повестку дня) союзом ахейских монархий, богатство которых, согласно Томсону, основывалось на завоеваниях и грабежах; потом эти монархии в свою очередь подвергаются нашествиям дорийских захватчиков; спасаясь бегством в Малую Азию, состоятельные семьи уносят с собой и культурные традиции, основывают там новые царства, «незначительные аграрные монархии, в которых царь всего лишь первый землевладелец». В этой-то среде, отмеченной постепенным упадком монархий и затянувшейся на столетия исторической рутиной, и вызревает греческий эпос. Высокообразованные, уже опирающиеся на минойскую культурную традицию певцы, живя в отдельных песнях и сказаниях и теперь, вырванные из родной почвы, с течением веков получают окончательную форму в устах этих певцов — «гомеридов», как называет их Томсон. Певцы эти имеют возможность смотреть остраненным взглядом на те кровавые события и сообщать им утонченность своего собственного мировидения. Уникальный процесс конденсации без помощи (или без помехи?) письма. А что касается «Илиады», в ней мы видим первую попытку приложить мерку человеческого чувства к голой хронологии, вершащейся под знаком битв и убийств (гнев Ахилла). Но повествователь прослеживает линию лишь мужских деяний. Только в пробелах между описаниями битв просвечивает повседневная жизнь — мир женщины.

Метель, 27 сентября 1980 года. Почему, собственно, нам хочется прожить подольше? Уверяешь себя, что хотел бы еще увидеть то-то и то-то, сделать — то есть написать — то-то и то-то. Все так. Ну а если не увидишь, не сделаешь — что из того? Проспав допоздна, выхожу из дома и вижу: Г. уже на поляне, обрывает яблоки с яблони. Над ним — нет, за ним — небо, глыба ясной голубизны. Я беру корзину, подбираю опавшие яблоки, побитые и подгнившие складываю в отдельные кучки (пойдут на ком-

пот), сортирую хорошие — эти «на раздачу». Заходит бородачатый приятель мельника и рассказывает о черешице, которую изготавливают в Далевце. Прикидываем, подойдет ли она по качеству, чтобы из нее возвести фронтоны. Вспоминаем о К., единственном кровельщике на всю округу, сорвавшемся с крыши — обломился крюк, — говорят, именно в тот день он ни капли в рот не брал. Двойной пролом черепа, перелом поясничного позвонка. Теперь уже на крышу отлазился, говорит бородач из Далевца. Кстати, он все еще в реанимации — К., неотделимая часть этого ландшафта.

Я вдруг вижу нас как бы издали — три фигуры на поляне. Чувство утраты реальности: будто кто-то проткнул дырку в полиэтиленовой пленке, натянутой на нас, и вместе с небом выводит воздух.

Позже, когда я усаживаюсь на скамейку и принимаюсь очищать сливы от косточек, я спрашиваю себя, сколько лет я еще буду сидеть вот так на скамейке. На сколько лет у меня вообще хватит желания жить. Будто толчок в грудь — возраст. Ни с того ни с сего.

Замешиваю дрожжевое тесто, ставлю на край печи — чтобы подходило. Г. вместе с Э., которому и в субботу не терпится поработать, перетаскивает по частям из кухни наверх тяжелый дубовый шкаф, который мы протравили до приобретения им естественного цвета; его устраивают между кроватями. Все втроем им любуемся. Мужчины решают все-таки покрыть его маслом — тогда он потемнеет, и узор «еще лучше заиграет». Я тем временем выливаю тесто на противень, укладываю сверху сливы, посыпаю корицей с сахарным песком, ставлю еще доходить. Только засунула пирог в печь — появляется Т. с женой: вернулись из поездки по трем городам — Шёнебеку, Рене, Гадебушу, — загорелые, отдохнувшие, довольные. Пока мы с Гертти готовим салат из перца, огурцов и помидоров, мужчины в спальне водружают верхнюю часть секретера на нижнюю. Теперь мы все должны его оценить. Как прекрасно он выглядит. Как похорошела комната. Как греческие покрывала гармонируют с красным мекленбургским деревом... Все так и есть, но я чувствую, что мне безразлично, как выглядит та или другая комната.

Внимаю пирог из печи, а Г. задвигает туда большую завернутую в фольгу рыбу и к ней несколько картофелин, тоже в фольге. Это еще на сорок пять минут. Тем временем мы накрываем стол, в кухне становится жарко, Г. готовит крабов в соусе, достает хорошее холодное белое вино, мы не спеша приступаем к еде. Все очень вкусно; застолье оживляется. Наконец рыба с картошкой готовы; так часто повторяется эта процедура: Г. достает их из печи, разворачивает, тычет вилкой — для проверки, распределяет порции. Этот день для меня полон повторяющихся

процедур — добротные будни. Спрашиваю себя, так ли уж необходимо пережить и дальнейшую сотню или тысячу повторений этих неизменных процедур. Стимулы к продолжению жизни должны исходить из чего-то нового, к чему мы устремляемся, — а то, не ровен час, мы и не заметим, как свыкнемся с приговором, произнесенным за нашей спиной.

Переходим на другое вино. Обсуждаем положение в мире: война между Ираком и Ираном, в которой, как и во всем сейчас, есть элемент безумия. (В какой мере, собственно? Разве любая война, в том числе и Троянская, не безумие? У Троянской были «вполне реальные» цели? Ахейцам был нужен выход в Босфор, то есть им надо было перехватить у троянцев контроль над этим выходом, над Дарданеллами. Начиная с какой цифры потерь войны утрачивают «вполне реальные» черты?)

Наблюдая за тем, как люди проживают свои будни, мы спрашиваем себя — мы, четверо сидящих за освещенным кухонным столом, после хорошей еды, за бокалом вина: на что они надеются (или — мы надеемся)? Надеются ли они вообще? Чего ожидают они для своих детей? Неужели окончательно исчерпал себя стимул, действовавший из поколения в поколение, — надеяться для своих детей на «что-то лучшее», чем имел ты сам? Не есть ли эта усталость, нежелание вмешиваться — усталость безнадежности?

Р. приводит цифры из последней статистической сводки ООН об уровне вооружений в мире; на каждого жителя Земли — стало быть, на каждого из нас — приходится в пересчете по три тонны тринитротолуола. Великие державы могут уничтожить друг друга более дюжины раз. И так далее. Мы смеемся — несколько растерянно. «Нормальное чувство» не воспринимает такие цифры. Возмущение, протест тут неуместны. Эстетику сопротивления такому положению дел еще надо выработать.

Кому мне рассказать, что «Илиада» нагоняет на меня скуку?

Метель, 7 декабря 1980 года. Видела сон: мы живем на крестьянском подворье, дом меньше, грязнее, беднее, чем наш, вот этот, в котором я потом проснусь. Стоим во дворе. Со двора в кухню ведет прикрытый сетчатым навесом лаз для домашних животных. И вдруг мы видим, что туда проскользнул дикий зверь. «Пума!» — восклицаем мы в ужасе и бросаемся в кухню. Она тесная, закопченная, убогая, в отгороженном проволочной решеткой закуте смутно виднеются куры и всякая другая живность — и вот среди них эта «пума», и в глубине еще один дикий зверь странного, ужасающего и омерзительного обличья, так что и названия сразу не подберешь. Ощущение невыразимой безысходности. «Надо их прогнать!» — говорю я Х. Идем обедать, сидим за круглым столом совершенно подавленные; вдруг Х. зовет

меня в кухню. Второй дикий зверь за решеткой подстрелен, над лопаткой у него кровоточащая рана, он смотрит на нас с упреком, тоскливым и в то же время ненавидящим взглядом. «Ты стрелял в него?» — спрашиваю я Х. «Конечно, — говорит он, — а что было делать?» Он воспользовался охотничьим ружьем, что висит в кухне на стене. Но второй раз, говорит, он не сможет выстрелить. По виду зверя не похоже, чтобы рана была смертельная. Наверное, думаем мы, звери сбегали из бродячего цирка. Но наводить справки теперь уже поздно. Жить в соседстве с ними, разумеется, невозможно. Прикончить их тоже. А добровольно они из нашей кухни не уйдут. И вот мы стоим лицом к лицу с безмолвными дикими зверями и понимаем: положение безвыходное.

Берлин, 18 декабря 1980 года. Материал, грудями которого я обложилась, вышел у меня из-под контроля. Я уже читаю не для того, чтобы создать достоверную предметно-чувственную атмосферу вокруг образа Кассандры, каким я его вижу изнутри (а именно таким я и хочу его показать). Я читаю, потому что уже не могу вырваться из плена древней истории, мифологии, археологии. Маркс не мог знать, что будет потом, начиная с конца XIX века, в буквальном смысле слова извлечено на свет божий археологией на Крите, в Греции и Малой Азии. Иначе он едва ли назвал бы греков «детьми» нашей культуры, «нормальными детьми», чье искусство именно потому и продолжает доставлять нам художественное наслаждение. Греческая культура — это поздняя, высокоразвитая культура по сравнению с микенской, а микенская в свою очередь наследница других высокоразвитых культур (например, минойской), отзвуки которых еще слышатся и у греков. В Трое же — я в этом уверена — люди ничем не отличались от нас. Их боги — это наши боги, ложные. Только к нашим средствам люди тогда еще не прибегали.

Берлин, 30 декабря 1980 года. Патовая ситуация под свинцовым небом мораторисов — вот самое лучшее, на что Европа может надеяться. Одомашнивание противоречий — что здесь, что там. Не их разрешение, а их преуменьшение — по причине и посредством страха перед тотальной катастрофой, каковая, по видимому, и есть альтернатива статус-кво. Граница, разрезавшая пополам нашу бывшую страну, разделит и две мировые системы; будем надеяться, что она их удержит на должной дистанции. Выходит, надо желать (или — приходится желать) сохранения статус-кво и даже его всячески поддерживать, ибо нарушение его означало бы войну или риск войны (да что там войны — всеобщего уничтожения). Поэтому никакие перемены в обоих германских государствах немыслимы, и думающая мо-

лодежь по обе стороны границы должна изнурять себя жадной невозможности; это и есть их жизнь. А умудренные опытом люди моего, старшего поколения давно уже поняли: для перемен попросту не остается места. Революционной ситуации нет.

А может быть, все обстоит как раз иначе? Может быть, основания для подлинного мира (сейчас-то ведь царит всего лишь невоинна, «атомный пат») тем и будут заложены, что придут в движение продуктивные процессы, нацеленные на перемены?

Берлин, 2 января 1981 года. Вот как я представляю себе теперь историю Кассандры: Кассандра, старшая дочь и любимица троянского царя Приама, живо интересующаяся вопросами общественной жизни и политики, не хочет, подобно своей матери Гекубе и своим сестрам, сидеть у домашнего очага, не хочет выходить замуж. Она хочет чему-нибудь научиться. Для женщины знатного рода единственно возможная профессия — жрица, прорицательница. (В незапамятные времена седой старины этим ремеслом вообще занимались только женщины; тогда и верховной богиней была женщина — Гея, богиня земли. В тысячелетней борьбе мужчины оспаривали у женщин эту профессию — в той мере, в какой боги постепенно заступали места богинь, чему наиболее яркий пример — дельфийский оракул, перешедший к богу Аполлону непосредственно от Геи.) Кассандра и получает эту привилегированную профессию; предполагается, что она будет исполнять свою должность рутинно, как исстари заведено. Но как раз этого она не хочет и не может — на первых порах потому, что уверена: на свой лад она лучше сумеет послужить родичам и согражданам, с которыми она ощущает глубокую внутреннюю связь; позже потому, что она осознает: родичи ей уже не родичи, а чужие. Болезненный процесс отчуждения, вследствие которого ее — за «ясновидение» — сначала объявляют безумной, а потом бросают в темницу — по приказанию отца, которого она так любит. Видения, коими она обуреваема, уже ничего общего не имеют с ритуальными прорицаниями оракула. Она «видит» будущее, потому что имеет мужество глядеть в глаза настоящему и его правде. Одной ей это не под силу. Среди разнородных групп людей во дворце и вокруг него — разнородных и в социальном и в этническом отношении — она сближается с теми, кто находится в меньшинстве. Тем самым она сознательно становится аутсайдером, отрекается от всех привилегий, подвергается издевкам, подозрениям, преследованиям; такова цена независимости. Ей себя вовсе не жалко; она живет своей жизнью, и во время войны тоже. Пытается

страхнуть с себя иго проклятия, обрекающего ее на судьбу жертвы, объекта чужих устремлений. В конце концов она остается совсем одна — добыча завоевателей города. Она знает, что для нее не было никакого другого реального выхода. Саморазрушение Трои началось еще до того, как она была разрушена внешним врагом. Наступит время, когда жажда власти и грубая сила воцарятся в мире. Но не все города в доступных ей пределах земного круга будут разрушены.

Берлин, 2 февраля 1981 года. Больше всего душевных сил уходит на отторжение уму непостижимого, особенно в сообщениях из США — например, об этом взрыве коллективного безумия по возвращении заложников из Ирана. А у нас растет список уехавших. Ежедневно приходится бороться с собой, чтобы сесть за работу, — об «удовольствии» уж и помышлять нечего. Сегодня не надо быть Кассандрой: большинство людей уже начинают понимать, что их ждет. Неуютное чувство, которое многие отмечают как ощущение пустоты, устрашающей утраты смысла. Ожидать новых идей от изживших себя институтов, как многие привыкли, не приходится. Бежим зигзагами. Но укрытия не видно. Все мы в ловушке. И Австралия — не выход.

Метельн, 22 февраля 1981 года. Телеграфные агентства обеих сторон бомбардируют нас доказательствами необходимости военных приготовлений, которые именуются мерами по укреплению обороноспособности. Постоянно помнить о реальной ситуации в мире стало уже психически непереносимо. С молниеносной быстротой, примерно равной темпам ракетных вооружений в обоих лагерях, исчезают побудительные стимулы для работы, всякая надежда «воздействовать словом». Кому сказать, кого убедить в том, что современное индустриальное общество, идол и фетиш всех правительств, в его абсурдных формах уже само по себе представляет угрозу для своих создателей, потребителей и радителей? Разве кто-нибудь сможет что-либо изменить? Это безумие ночами буквально душит меня.

Утром речь по радио одного из западных ученых-экономистов (тем временем скончавшегося). Его тезисы: во всех индустриальных странах большинству трудового населения приходится выполнять монотонную работу, разрушающую человека как личность, — всё во имя «благополучия», этой самой священной из всех священных коров современности. Без монотонной работы на конвейере был бы немыслим нынешний уровень благополучия; но это благополучие в свою очередь служит удовлетворению во многом «ложных» потребностей, порожденных соблазнами. Объединение огромных людских масс в процессе производства делает условия труда для каждого отдельного челове-

ка все более непроницаемыми и дегуманизированными. Как установили социологи, для создания отношений, которые индивид еще способен обзреть, эффективные рабочие группы должны насчитывать не более двенадцати человек. Бюрократия, развивающаяся вследствие этого объединения масс в гигантские аппараты, неизбежно вынуждена принимать «бесчеловечные» решения — не потому, что все ее исполнители нелюди, а потому, что у них соображения частной морали попросту исключаются ради законов существования аппаратов. (На этой точке и начинаются сомнения писателей и моралистов в действительности их сочинений: одиночный индивид не имеет возможности включиться в общественный процесс со своими воззрениями и прозрениями, если они противоречат воззрениям и установлениям массовых институтов.)

Согласно оратору, предназначение человека заключается в стремлении к добру, в служении ближнему и самоосуществлении. Все это в современном индустриальном обществе невозможно. Главные тенденции этого общества: гигантомания, чрезмерная усложненность, капиталоемкость и власть голой силы. Эти тенденции не являются необратимыми, но беда в том, что на контрпроекты расходуется слишком мало как фантазии и технической выдумки, так и денег.

Метель, 26 марта 1981 года. На столе передо мной «Разговор в письмах» Томаса Манна и Карла Кереньи*. Испытываешь чувство и счастья и зависти, когда видишь, как каждый из них вдохновляет и окрыляет другого, как неколебимо верят эти подвижники духа друг в друга, верят в значительность бескорыстного духовного труда. Все это феномены, которые, хоть и никогда не были абсолютно неуязвимыми, сейчас уже кажутся достоянием давно минувших времен. Я почти заразилась ощущением того, что для нас еще могут открыться какие-то возможности, хотя оба корреспондента, и романист и филолог-классик, мало подготовленные взрастившей их буржуазно-гуманистической традицией к свистопляске фашизма в Германии, тоже уже снедаемы внутренней неуверенностью и сомнениями: не только, понятное дело, перед лицом все расширяющегося и в конце концов почти всеохватного духовного затмения Европы, вылившегося во вторую мировую войну, но позже еще и в результате острых разочарований послевоенных лет, горечи оттого, что люди «не хотят ничему учиться».

Речь идет о самой субстанции гуманного — захватывающий, потрясающий диалог. Один из собеседников — немецкий писатель, находящийся за пределами своего отечества, хотя еще и не в эмиграции, работающий над романами об Иосифе и, таким образом, всецело погруженный в сферу религиозно-исто-

рических и мифологических знаний и интуиции; другой — венгерский исследователь мифологии и истории религии, даящий «высокоцитимому» в качестве первого приношения идею «волчьего», «темного» Аполлона, затронувшую, по признанию самого Томаса Манна, «самые корни» его «духовного существа». Объединяет обоих жгучий интерес к «глубинной духовной реальности», стоящей за мифом (который, как известно, означал у греков не что иное, как «истинное слово», «положение вещей», позже — «положение вещей касательно богов»). Итак, «темные» корни и истоки «бога света» — идея, находящаяся в явном противоречии со школьными представлениями об этом греческом божестве, выше всех вознесенном в эмпирии «ясности» и «духовности», и выводящая его за рамки неплодотворной антиномии, очерченной понятиями «аполлонизм» и «дионисийство»; тем самым подтверждается и амбивалентность, которую Томас Манн, похоже, ощущает в своей потребности самоосознания: «Кто сможет сказать наверняка, где истинная родина всех историй — в высях небесных или в подземных глубинах?»

Одновременно в западном углу Европы, в Англии, марксист Джордж Томсон пробивается к тотемистическим истокам греческих представлений о божествах (оба корреспондента об этом не знают, да если бы и знали, вряд ли стали бы на него ссылаться). Томсон исходит из культа мертвых, кланового культа, при котором мертвецы почитались как герои и который в соответствии с важной ролью зверей и растений в преддестинистических ритуалах, по всей вероятности, носил тотемистический характер; подобное допущение, судя по всему, не могло приниматься в расчет авторитетами того времени как «слишком вульгарное». «Учеными, правда, признается, — пишет Томсон, — что Аполлон Ликейский — волкобог. Но если даже этот волкобог в самом деле был когда-то волком, то уж в столь незапамятные времена, что сейчас опасаться нечего: голову в окно он вдруг не просунет». А если все-таки просунет, то мы тогда — что и случилось с Томсоном — по необходимости натолкнемся и на змею, священное животное, которое и в древнейших, и в позднейших известных нам святилищах Аполлона кормили медовыми хлебами, но уже и тысячелетиями раньше, в минойских жилищах, почитали у домашних алтарей как богиню Змею, «хранительницу дома». Ибо она воплощает в себе дух умерших, она их двойник — она, сбрасывающая кожу, есть символ их вечной жизни: «В почитании змеи клановый тотем был заменен обобщенным символом перевоплощения». А еще десятками тысячелетий раньше, в первобытных ордах и в родовой общине, когда собиравший корни и наудачу, примитивным образом охотившийся человек отождествлял себя с тотемом-зверем или тотемом-растением

и установил табу: «Не пожирай тотем!» — он изображал поведение тотемного зверя в миметическом ритуале, магическом действе, совершавшемся, возможно, для того чтобы поймать зверя (Томсон полагает, что зверь не всегда был неприкосновенным, когда-то он, может быть, был даже единственным и главным источником пропитания для клана); позже ритуальное действие служило, вероятно, напряжению всех сил для охоты — «иллюзионистская техника», призванная «компенсировать неразвитость реальной техники». Выкладки Томсона относительно древнейшей «общественной структуры, в которой мужчины посредством заключения брака вступали в женский клан», — то есть структуры, основанной на главенстве материнской линии, — и его вывод о том, что тотемная магия, «возникшая в решающий момент вычленения человека из животного царства», есть «праматерь всей человеческой культуры», прямо возвращают нас к эпистолярным беседам Томаса Манна с Кереньи.

Ибо оба размышляют о пути к «матерям». Обоих, особенно же романиста, подчас мучат угрызения интеллектуальной совести из-за этого «мифологизирования», которое Томас Манн, по его собственному признанию, «всегда связывал с материнской сферой природы»; в письме глубоко солидарному с ним ученому от 20 февраля 1934 года из Кюснахта под Цюрихом он так поясняет эти свои сомнения: «В современной европейской литературе существует своего рода злоумышление против человеческого головного мозга, всегда казавшееся мне лишь снобистской и немой формой самоотрицания. Да, уж позволю себе сознаться, это антидуховное и антиинтеллектуальное движение... не внушает мне симпатии. Я уже давно его опасуюсь и борюсь с ним, потому что предвидел его жестокие, бесчеловечные последствия задолго до того, как они обнаружились со всей очевидностью... Само по себе это «возвращение европейского духа к наивысшим, мифическим реальностям» является... поистине великим и благим духовно-историческим устремлением, и я могу гордиться тем, что своим творчеством в некотором роде к нему причастен. Но я уповаю на Ваше понимание, когда говорю, что там, где воцаряется мода на «иррациональное», там часто приносятся в жертву и с ребяческой беспечностью выбрасываются за борт достижения и принципы, которые не только делают европейца европейцем, но и вообще человека — человеком. Подобное «возвращение к природе», думается мне, есть устремление гораздо более низменного свойства, нежели то, которое подготовляла Французская революция».

Весьма поучительно, даже и сегодня: критика односторонности мужского рационализма постоянно рискует быть не только неверно истолкованной (как иррационализм, как отрицание

науки), но и употребленной во зло — особенно в эпохи, когда преобладают реставративные тенденции (путь к «матерям» как выражение озлобленности, как уход от анализа реальных условий, как идеализация примитивных общественных форм, а то и как подготовка мифа о крови и почве). Это в свою очередь ставит нас перед вопросом: что с сегодняшней точки зрения и исходя из предпосылок этой цивилизации означает для нас «прогресс» (и возможен ли он вообще), если мужской путь почти уже подошел к концу, — путь, на котором человечество только и умело, что загонять все изобретения, все обстоятельства, все противоречия на острие, пока они не достигнут предельной отрицательной точки, где никакого выбора уже не остается?

Метель, четверг, 2 апреля 1981 года. Молодой человек, свихнувшийся на любви к актрисе, которую он никогда не видел, в качестве компенсации за безответную любовь совершает покушение на американского президента. На экране телевизора виден постоянный спутник президента, не отступающий от него ни на шаг и держащий в руке черный чемоданчик. После покушения он опрометью бросается в отъезжающий бронированный президентский лимузин. Черный чемоданчик, как я узнаю на другой день, содержит код, по которому президент может отдать приказ о нанесении атомного удара.

Метель, 3 апреля 1981 года. Подспудный страх перед угрозой со стороны «матерей» ощутим и у Манна — Кереньи — например, когда Кереньи, упоминая о прозвании греческой богини Афродиты «черная», цитирует Д. Г. Лоуренса*: «Она мерцающая тьма, она светящаяся ночь, она богиня разрушения, ее холодное белое пламя пожирает, а не творит». Из объяснительных рассуждений, как мне кажется, явствует, что Кереньи отождествляет женское начало с «преимущественно немой природой», а вот «дух», равно как и «сознательную гуманность», — с мужским началом. Меня весьма позабавило, как он заверяет своего высокоцитимого корреспондента, что к числу его наивысших удач в «Похождениях Иакова», к числу величайших и гуманнейших открытий принадлежит осознание того, «сколь ужасна для мужчины любовь, растраченная на недостойную».

Сколь убийственна для женщины любовь, отданная «недостойному», — смотри Ингеборг Бахман, фрагмент «Франца»*.

Почему вдруг Кереньи солидаризуется с лоуренсовской характеристикой Афродиты как «богини разрушения», чье «хо-

лодное белое пламя» всего лишь «пожирает, а не творит»? Может быть, он тут вспомнил фантастическую версию Гесиода, согласно которой Афродита, «пеннорожденная», возникла из «бессмертной плоти» детородных органов древнейшего бога Урана, оскопленного своим сыном Кроносом по наущению изнасилованной матери Геи, Земли? Но, согласно Томсону, изучавшему древнегреческую растительную магию, мирт и лилия, священные цветы Афродиты, применялись на самом деле при родовспоможении; так что за богиней любви Афродитой, как и за Герой, супругой Зевса, как за Артемидой и Деметрой, стоит отнюдь не бесплодное, нетворческое начало, а напротив, проглядывают очертания древней критской богини деторождения Эйлитии. А она, чьим символом была также голубка, пришла, вероятно, из Анатолии, где звалась Кибелой; есть кипрские терракотовые статуэтки, изображающие «Афродиту с голубиной головой». И здесь миф соприкасается с легендами троянского цикла. В мифе о Елене можно, наверное, обнаружить и память о хеттской Афродите — Астарте; ведь по одной из его версий, Елена никогда не была с Парисом в Трое, а встретила его в одном из храмов Афродиты на Кипре, где она, возможно, была одной из жриц Афродиты, которых описывает и Геродот:

«Каждая вавилонянка однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться за деньги чужестранцу... В священном участке Афродиты сидит множество женщин с повязками из веревочных жгутов на голове. Одни из них приходят, другие уходят. Прямые проходы разделяют по всем направлениям толпу ожидающих женщин. По этим-то проходам ходят чужеземцы и выбирают себе женщин. Сидящая здесь женщина не может возвратиться домой, пока какой-нибудь чужестранец не бросит ей в подол деньги и не соединится с ней за пределами священного участка. Бросив женщине деньги, он должен только сказать: „Призываю тебя на служение богине Милитте!“ Милиттой же ассирийцы называют Афродиту»¹.

После этого она, эта древняя восточная Елена, бежала в Египет, может быть и «похищенная» Парисом, который, по одной из версий мифа, сначала был взят в плен царем Протеом, а потом отослан назад в Трою; а прекрасную Елену он, египетский царь Протей, оставил у себя, так что борьба за Трою была на самом деле борьбой за фантом: за женщину, чей образ придумали поэты.

Вот в какую путаницу, прямо-таки головоломную неразбериху, вот в какие бездонные глубины ведет путь к Матерям. Разделение труда между совершенно разными богинями — а они

лишь в греческих статуях обретают твердую форму «конечного продукта» — отражает развитие человеческой культуры вширь. Теперь жребием (μοιρα) Афродиты становится — возбуждать любовь.

Радужно-престольная Афродита,
Зевса дочь бессмертная, кознодейка!
Сердца не круши мне тоской-кручиной!
Сжался, богиня!¹

Это пишет Сафо примерно в 600 году до нашей эры в ее «Оде Афродите», рассматриваемой многими исследователями как древнейший памятник европейской лирики. Любовь, которой хочет добиться поэтесса с помощью богини, — любовь женщины. Древние поэты — и мужчины тоже — еще не смущались молить женские божества о поддержке. Их потомок Лоуренс ощущает в богине любви угрозу.

Метельн, 7 апреля 1981 года. Кассандра жила в промежутке между двумя катастрофами: извержением вулкана на острове Фера (Санторине) около 1500 года и нашествием дорийцев (северные приморские племена) около 1200 года. Между ними, примерно в середине XII века, лежит ее личная катастрофа: гибель Трои. Можно представить себе постепенное — впрочем, и насильственно ускоренное тоже — смещение морали: в ущерб миролюбивым, занятым торговлей минойцам Крита, в пользу агрессивных, промышленных разбоев ахейцев, какими описал их Гомер. Существовало ли в самом деле нечто вроде „Pax Cretensis“², как предполагают многие исследователи, или они только выдают желаемое за действительное? Мирный порядок в восточном Средиземноморье, разрушенный ахейцами? Тогда Кассандра должна была бы оказаться перед необходимостью распрощаться с неоправдавшейся утопией, не находя в то же время реального места, где можно было бы жить.

Можно ли в наше время вести речь о психологизации мифа? Томас Манн, 1941 год, одно из писем к Кереньи: «...да и в чем же ином теперь моя стихия, как не в мифе, соединенном с психологией? Я давно уже страстный приверженец этой комбинации, ибо психология, в самом деле, лучшее средство вырвать миф из рук фашистских мракобесов и „переключить“ его на гуманные цели. Это соединение прямо-таки символизирует для меня мир будущего: человечество, благословляемое свыше — духом — и „из глубин, таящихся внизу“».

¹ Перевод Г. А. Стратановского под ред. Н. А. Мещерского.

¹ Перевод Вяч. Иванова.

² Критский мир (лат.).

Это набросок утопии, утопия в зародыше. Что она может значить сегодня, когда те, кто планирует уничтожение целых континентов, в общепринятом мнении отнюдь не являются ни мракобесами, ни фашистами, да к тому же и труда себе не дают соорудить для своих целей германский или римский Олимп с его небожителями? Правда, в мифах они тоже нуждаются — в том смысле, какой с течением времени приобрело это слово: в смысле ложного сознания. Один из таких мифов, например, будто все мы живем в мире и согласии, идя к светлому будущему.

Наступает год 1947-й, и Томас Манн, для которого, как он сам предсказал в 1941 году, эмиграция перестала быть «состоянием ожидания... целиком сосредоточенным на возвращении домой», а парадоксальным образом стала чем-то вроде прообраза будущего более обобщенного местоположения (тут имелось в виду «растворение наций во всеобъемлющем мировом единстве»), Томас Манн, все еще проживающий по адресу «Пасифик Пэлисейд, Калиф.», занят теперь «самой личной, во многих смыслах самой дерзновенной» и для него «самой волнующей» из всех его книг, романом о современном Фаусте, а в нем — сочинением симфонической кантаты «Жалоба доктора Фаустуса». «Что ж, — пишет он филологу-классику и гуманисту, которого, правда, зовут не Цайтбломом, а по-прежнему Кереньи, — жалоба весьма актуальное слово по своему содержанию, Вы не находите? Все кругом так тревожно... Правда, в глубине-то души я думаю, что в конечном счете человечество, вопреки видимости противоположного, на добрый отрезок пути продвинулось *вперед*. Даже атомная бомба серьезных опасений за его судьбу мне не внушает. Разве оно не обнаруживает свою живучесть в нас самих? Казалось бы, какое с нашей стороны странное легкомыслие — или какое легковерие — все еще создавать *произведения!* Для кого? Для какого будущего? И все же — произведение, будь оно даже порождено отчаянием, всегда имеет своей последней сутью только оптимизм, только веру в жизнь; да и само отчаяние штука непростая, совсем особая — оно в себе самом уже содержит вознесение к надежде».

Мечта о легко-мыслии и легко-верии. О сохранении неприужденности и спонтанности. При одном условии: забыть о том, что есть, или намеренно от всего отрешиться.

Метель, воскресенье, 26 апреля 1981 года. Сообщение: в нидерландском городе Гронингене состоялась конференция специалистов по проблемам мира, ученых разного профиля, врачей, бывших крупных военачальников НАТО. Все участники конференции весьма скептически оценили перспективы будущего Европы, потому что, по мнению собравшихся, США, одержимые ве-

рой в развитие военной техники, якобы позволяющей выиграть следующую войну даже как атомную, ведут к тому, чтобы сделать Европу ее плацдармом. Уничтожение сотен тысяч европейцев и русских входит в этот расчет: ослабить Советский Союз, не опасаясь больших потерь со своей стороны. Европе дана отсрочка всего на каких-нибудь три-четыре года — если она не начнет проводить совершенно иную политику.

Это сообщение резко меняет мой взгляд на вещи. В течение какой-нибудь секунды все предметы вокруг меня будто плавятся и сторают, природа превращается в прах и пепел, и сама я вместе с нею испепеляюсь. А потом я понимаю, что мы сживемся и с этой перспективой — отсрочкой на три-четыре года. И я уже ненавижу себя за абсурдность своих мысленных прикидок — что я до тех пор еще успела бы «закончить»; ненавижу всякого, кто после этого сообщения еще продолжал бы жить, продолжал бы работать, — и в то же время понимаю: эта ненависть к самому себе тоже на руку власти имущим, она им нужна позарез.

Знать, что знающие никогда ничего не смогут поделать против угрозы гибели их культуры, их цивилизации; знать, что мы, европейцы, за последние десятилетия не раз безучастно взирали на войны в других частях света — войны, которые тем народам тоже грозили уничтожением; знать, что скоро другие части света станут представлять собой «мир», безучастно взирающий на нас... Как же это возможно, как мыслимо?

«Мы тут сидим, — говорит Т., — вкусно поели, уютно болтаем — и это вместо того, чтобы с воплем ринуться на улицу». «Австралия, — говорит кто-то, совсем еще молодой. — Может, попытаться хоть детей спасти?» «А ты захочешь, — возражает ему другой, — смотреть оттуда на то, как они уничтожают Европу? А сам оставаться в живых?» М. спрашивает, не вселяют ли «хоть какую-то надежду» те группы и течения, которые демонстративно выключились из разрушительных систем, подрывают изнутри их институты, играющие уже только деструктивную роль, не ввязываются в бесполезную борьбу с ними, а пытаются жить без них — жить «по-другому». Я слышу свой голос, говорящий: «Да, да», но другой голос громко говорит во мне, что на то, чтобы постепенно, не прибегая к насилию, нейтрализовать саморазрушительные тенденции сегодняшних мегасистем, нужно время, которого у нас уже нет. «Может быть, — говорит М., — начать с того, с чего начали южноафриканцы, когда решили освободиться от расистского режима: они отчетливо осознали и признали как истину, что их положение безнадежно. Может быть, из этого осознания и родится свобода?» «Или отчаяние, — говорит Т., — а кроме того, как ни силен еще расистский режим, он ничто по сравнению с той крышкой, кото-

рой мы все накрыты и имя которой — „атомное уничтожение“». «И не случайно, — подхватывает Э., — именно сейчас самый опасный момент: идеологии уже не срабатывают, и управляемые массы все меньше интересуются тем, о чем вещают правящие круги...» Мы приходим к выводу, что единственная идеология, которая в большинстве западных стран всегда срабатывает, — это антикоммунизм. «Да неужели они, — спрашивает Э., — и в самом деле думают об освобождении путем уничтожения?» Впервые у меня мелькает в голове фраза: «Гитлер нас все-таки догнал». Надо запомнить. Мы с Г. старшие по возрасту в этом кругу. Нас сильнее других угнетает знание того, что мы не первые... Или в этом-то и есть залог надежды? Читаю вслух несколько строчек из дневника Стефана Цвейга. Дата — 28 мая 1940 года, после вторжения немецкого вермахта во Францию (Цвейг живет в Англии, где «ничего не сделали», чтобы подготовить страну к возможному нападению, и где он 22 мая записал: «Вновь во мне пробудилась Кассандра»): «Если эта война будет продолжаться, она станет самым ужасным из всего, что доводилось видеть людям, — тотальным уничтожением Европы. И все-таки у меня — то ли это привычка, то ли мужество, то ли постоянство — нет особого желания бежать... Может, и впрямь надо подохнуть вместе с Европой... Нам, живущим старыми понятиями, все равно пришел конец; и соответствующий пузырьек у меня уже стоит наготове».

Как обучить молодежь этой премудрости — жить без альтернативы и все-таки жить? И когда это началось? Был ли этот путь неизбежен? Существовали ли на нем перекрестки и повороты, на которых человечество — я хочу сказать, европейское и североамериканское человечество, первооткрыватель и носитель технической цивилизации, — могло бы принять другие решения, последствия которых не были бы саморазрушительными? Неужели, спрашиваем мы себя, уже с изобретением первого оружия — для охоты, — с его применением против других групп людей — в конкретной борьбе за пропитание, с переходом от малозффективных матриархальных структур к патриархальным, экономически более эффективным, была заложена основа для будущего развития? В какой-то момент мы перескочили через те пропорции, которые еще были доступны человеческому опыту. Не в погоне ли за продуктами, все новыми и новыми, коренятся разрушительные силы? Существовала ли для наших стран какая-то возможность выключиться из этой гонки, переориентироваться на другие ценности?

По мнению М., многое объясняется тем, что мы живем так недальновидно: хотим иметь всё сразу и всё для себя — даже и то, что не сеяли. Ему, говорит он, все ближе становится христианство, ибо он чувствует: сегодняшние люди живут без

трансценденции. Я говорю: даже если я с этим выводом и соглашусь, он все равно не снимет моих сомнений касательно христианства; за последнее время, в процессе моей работы, они получили даже новую пищу, ибо я поняла, какая рабская роль на протяжении столетий отводилась женщине в семитско-христианских религиях; именно эти религии создавали идеологические обоснования и подкрепления для той дисциплины, той прилежности, той безропотной покорности, в которых нуждалось мануфактурное и фабричное производство на ранних стадиях капитализма.

Речь заходит о лозунгах, служащих подготовке войны. Особенно опасны, говорит Р., не те из них, которые сразу распознаются как поджигательские; самое опасное — это когда наиболее свято оберегаемые слова — «свобода» на одной стороне, «социализм» на другой — используются для оправдания подготовки к войне. И тут, к нашему общему удивлению, не кто иной, как С., говорит: «А я спрашиваю себя, что вообще остается делать стране, которая совершенно точно знает, что защититься против той угрозы, под которую ее поставили, она все равно не сможет. От нас же ничего не останется. Существует ли — в такой ситуации — какая-либо ценность выше жизни? Давайте задумаемся о лозунге, противоположном тому, который сейчас нередко можно услышать в Западной Германии: «Лучше стать красным, чем мертвым». До какой степени радикальности нам предлагается теперь дойти в своем мышлении? Какого она вообще рода, эта радикальность? Какое содержание нам надо вложить в понятие «красный», чтобы мы могли предпочесть его всему, даже жизни всех наших потомков? Или речь уже давно идет о совсем других альтернативах?»

Надо же, думаю я, именно он дошел до таких вопросов. А в это время А. заявляет: «Ничего сделать нельзя. Вы, так называемые свободные художники, ничего не знаете о том, как опустошает внутренний раскол человека, если он находится на постоянной службе. Вот я: на работе, в своем институте, я один человек, на собрании — другой, а «в частной жизни», по вечерам, когда возвращаюсь домой, — третий. И в этих своих трех жизнях, никак одна с другой не связанных, я пользуюсь совершенно разными наборами слов: научным, политическим, приватным — этот последний я считаю собственно человеческим. Все, что мы тут наговорили, о чем размышляли, — это все утопии. К какой части сегодняшнего расчлененного человека мы обратимся с нашим пророчеством о грядущем мире, которое, между прочим, тоже требует мужества? К его страху — да, в лучшем случае. Потому что страх, если речь идет, конечно, не о невротическом страхе пустоты, — это уже реакция, за которой стоит личность. Только мне кажется, что личность исчезает».

«Но это все, — замечает Э., — относится и к нам, к „свободным художникам“: думаем иначе, чем говорим, говорим иначе, чем пишем». Вот она для себя приняла решение: поняв, что цензура и самоцензура работают на подготовку к войне, поняв, что у нас уже не осталось времени, чтобы откладывать наши «настоящие» книжки на потом, она перестала и говорить и писать двойным языком...

Мы проговорили за полночь. Утопическое собрание. Представляю себе картину: сотни, тысячи, миллионы таких собраний, по всему континенту...

Метель, 27 апреля 1981 года. Попробую перечислить все, что делает меня, нас пособниками саморазрушения; и что дает мне, нам силу противостоять ему.

Ежедневные маленькие радости: утренний свет, врывающийся в окошко, расположенное прямо против моей кровати, — я просыпаюсь и сразу его вижу. Свежие яйца на завтрак. Кофе. Развесить душистое белье на ветру, дующем с моря. Почитать про своих минойцев — на этот раз попалась работа, которая сразу навела порядок в мешанине подробностей, накопившихся за последние недели в моей голове. Вкусный суп на обед. Немножко вздремнуть. Порадоваться электрической плитке, которую наконец-то удалось купить и которая избавит меня от хлопот с газовыми баллонами. Любезная продавщица. В антикварном магазине молодая женщина долго и осторожно поворачивает в руках голубую стеклянную вазу, и отблеск падает ей на лицо. Ничто не мешает мне радоваться — хотя мысль о трех-четырёх годах отсрочки гвоздем засела в голове. К чему электрическая плитка? Если не будет тока, если нечего будет варить и некому будет есть? Зачем красота, если от нее уже отсеклись? Зачем новые книги вдобавок ко многим тем, что я еще не успела прочесть? Прошлогодние фотографии, которые я наконец-то отдала отпечатать. На лица детей мне больно смотреть. Вечером на ужин — вкусный сыр. Красное вино. Вот теперь устала. Писать — это тоже попытка превозмочь холод.

Метель, 28 апреля 1981 года. А насколько это еще и попытка свыкнуться? „Memento mori“¹ христианского вероучения — может, и это тоже? Сродни этому? Каждый день снова и снова пытаюсь представить себе хотя бы на секунду, как могло бы (будет) «выглядеть» уничтожение, что я при этом могла бы (буду) ощущать. Почему на секунду? Потому что эти мысленные картины невыносимы? И поэтому тоже. Но прежде всего потому,

¹ Помни о смерти (лат.).

что глубоко укоренившийся страх запрещает мне слишком живо и детально представлять себе несчастье — чтобы не «накликать» его. Между прочим, в том ведь и была «вина» Кассандры, за которую, как она, может быть, и сама чувствовала, она была справедливо «наказана» (что, в сущности, означает не что иное, как обостренную форму переживания несчастья своих сограждан). Вина в том, что своими пророчествами она-то и накликала несчастье. Ее пророчествами люди не должны верить, это закон — они не в состоянии изменить что-либо, и прежде всего самих себя. В самом деле, чего хочет Кассандра, разражаясь громкими стенаниями перед самым началом войны? Чтобы троянцы, вшив ее предостережениям, вернули Елену, похищенную жену Менелая? У Гомера они, может, еще и могли бы это сделать (тем самым лишив поэму ее завязки), но не в реальности; поскольку именно они контролировали доступ к Геллеспонту, а ахейцам именно этот свободный доступ и был нужен. Трою так и так бы сровняли с землей. Или о том-то и плачет Кассандра, что у ее сограждан нет выбора? И она единственная, кто это понимает? Иначе как могли бы они вести борьбу?

Картину, которую я сейчас вижу в окно мезонина, я хотела бы видеть в миг моей смерти: небо, царящее надо всем ландшафтом, как его голубая грунтовка. Кучевые облака. Над ними полоски других облаков — в более высоких слоях. Глубокий горизонт, прерываемый кронами деревьев; сейчас они, когда ветви не голы, производят впечатление не графическое, а «живописное»: округлые, светло-зеленые. Под синевой небес — бесконечно многообразные оттенки зеленого, составляющие картину: от сочной зелени нашей поляны, красующейся сейчас в уборе из желтых одуванчиков, и приглушенной зелени ближайших кустов до трепетно-нежной зелени тех крон перед горизонтом. Но великолепней всего вишневое дерево посреди поляны — другого такого не найти. Оно цветет пышно, буйно, несмотря на суровые холода последних недель. Справа в поле моего зрения — домик П. под березой, красивый, как с картинки. И неописуемо мягкий, безмятежный свет. Днем, во время сна, снова грохот танков, движущихся по дороге в М. Пойду сейчас посажу последние цветы в этом году.

Интересно, как вели себя жители Трои во время осады? Хотя война на море длилась десять лет, это ведь не значит, что и осада в строгом смысле слова длилась столько же? Помимо Париса (из-за дурного предсказания, отданного из семьи простому пастуху, который его воспитал, вместо того чтобы убить, как было приказано), у Кассандры было много и других братьев, в том числе Гелен. Он, ее близнец, в детстве сидел вместе с нею в Аполлоновой роще, змеи облизывали им уши и тем самым наделили *обоих* даром пророчества — змеи, священные звери мате-

«Но это все,— замечает Э.,— относится и к нам, к „свободным художникам“: думаем иначе, чем говорим, говорим иначе, чем пишем». Вот она для себя приняла решение: поняв, что цензура и самоцензура работают на подготовку к войне, поняв, что у нас уже не осталось времени, чтобы откладывать наши «настоящие» книжки на потом, она перестала и говорить и писать двойным языком...

Мы проговорили за полночь. Утопическое собрание. Представляю себе картину: сотни, тысячи, миллионы таких собраний, по всему континенту...

Метель, 27 апреля 1981 года. Попробую перечислить все, что делает меня, нас пособниками саморазрушения; и что дает мне, нам силу противостоять ему.

Ежедневные маленькие радости: утренний свет, врывающийся в окошко, расположенное прямо против моей кровати,— я просыпаюсь и сразу его вижу. Свежие яйца на завтрак. Кофе. Развесить душистое белье на ветру, дующем с моря. Почитать про своих минойцев — на этот раз попала работа, которая сразу навела порядок в мешанине подробностей, накопившихся за последние недели в моей голове. Вкусный суп на обед. Немножко вздремнуть. Порадоваться электрической плитке, которую наконец-то удалось купить и которая избавит меня от хлопот с газовыми баллонами. Любезная продавщица. В антикварном магазине молодая женщина долго и осторожно поворачивает в руках голубую стеклянную вазу, и отблеск падает ей на лицо. Ничто не мешает мне радоваться — хотя мысль о трех-четырёх годах отсрочки гвоздем засела в голове. К чему электрическая плитка? Если не будет тока, если нечего будет варить и некому будет есть? Зачем красота, если от нее уже отреклись? Зачем новые книги вдобавок ко многим тем, что я еще не успела прочесть? Прошлогодние фотографии, которые я наконец-то отдала отпечатать. На лица детей мне больно смотреть. Вечером на ужин — вкусный сыр. Красное вино. Вот теперь устала. Писать — это тоже попытка превозмочь холод.

Метель, 28 апреля 1981 года. А насколько это еще и попытка свыкнуться? „Memento mori“¹ христианского вероучения — может, и это тоже? Сродни этому? Каждый день снова и снова пытаюсь представить себе хотя бы на секунду, как могло бы (будет) «выглядеть» уничтожение, что я при этом могла бы (буду) ощущать. Почему на секунду? Потому что эти мысленные картины невыносимы? И поэтому тоже. Но прежде всего потому,

¹ Помни о смерти (лат.).

что глубоко укоренившийся страх запрещает мне слишком живо и детально представлять себе несчастье — чтобы не «накликать» его. Между прочим, в том ведь и была «вина» Кассандры, за которую, как она, может быть, и сама чувствовала, она была справедливо «наказана» (что, в сущности, означает не что иное, как обостренную форму переживания несчастья своих сограждан). Вина в том, что своими пророчествами она-то и накликала несчастье. Ее пророчествам люди *не должны* верить, это закон — они не в состоянии изменить что-либо, и прежде всего самих себя. В самом деле, чего хочет Кассандра, разражаясь громкими стенаниями перед самым началом войны? Чтобы троянцы, выив ее предостережениям, вернули Елену, похищенную жену Менелая? У Гомера они, может, еще и могли бы это сделать (тем самым лишив поэму ее завязки), но не в реальности; поскольку именно они контролировали доступ к Геллеспонту, а ахейцам именно этот свободный доступ и был нужен. Троя так и так бы сровняли с землей. Или о том-то и плачет Кассандра, что у ее сограждан нет выбора? И она единственная, кто это понимает? Иначе как могли бы они вести борьбу?

Картину, которую я сейчас вижу в окно мезонина, я хотела бы видеть в миг моей смерти: небо, царящее надо всем ландшафтом, как его голубая грунтовка. Кучевые облака. Над ними полоски других облаков — в более высоких слоях. Глубокий горизонт, прерываемый кронами деревьев; сейчас они, когда ветви не голы, производят впечатление не графического, а «живописного»: округлые, светло-зеленые. Под синевой небес — бесконечно многообразные оттенки зеленого, составляющие картину: от сочной зелени нашей поляны, красующейся сейчас в уборе из желтых одуванчиков, и приглушенной зелени ближайших кустов до трепетно-нежной зелени тех крон перед горизонтом. Но великопешей всего вишневое дерево посреди поляны — другого такого не найти. Оно цветет пышно, буйно, несмотря на суровые холода последних недель. Справа в поле моего зрения — домик П. под березой, красивый, как с картинки. И неопишимо мягкий, безмятежный свет. Днем, во время сна, снова грохот танков, движущихся по дороге в М. Пойду сейчас посажу последние цветы в этом году.

Интересно, как вели себя жители Трои во время осады? Хотя война на море длилась десять лет, это ведь не значит, что и осада в строгом смысле слова длилась столько же? Помимо Париса (из-за дурного предсказания, отданного из семьи простому пастуху, который его воспитал, вместо того чтобы убить, как было приказано), у Кассандры было много и других братьев, в том числе Гелсы. Он, ее близнец, в детстве сидел вместе с нею в Аполлоновой роще, змеи облизывали им уши и тем самым наделили *обоих* даром пророчания — змеи, священные звери мате-

ри-богини Геси. Это наверняка самый древний пласт традиции, и лишь позже возникла версия о том, что Аполлон влюбился в Кассандру, когда наделил ее даром пророчества...

Метель, 29 апреля 1981 года. Моя цель при создании образа Кассандры: вернуть его из мифа в социальные и исторические координаты (как я их себе мыслю).

По телевизору передача о размещении химического оружия — стало быть, ядовитых газов — в Федеративной республике. Огромная база неподалеку от Пирмазена. Сообщают, что в пустынной местности одного из штатов США однажды уже произошла утечка небольшого количества газа, в результате чего погибли тысячи овец. Показывают парализованных животных, передвигающихся ползком на брюхе. В местах подземного хранения ядов держат кроликов — в качестве измерительных приборов... (В чем тут отличие от жертвенных животных древних? У древних был прогресс — когда они перешли от заклятия людей к заклятию зверей...) Сообщается далее, что в США ведутся работы по созданию новой химической ракеты. Американец говорит, что она займет свое место на потенциальном поле боя. В Европе, стало быть.

После этого сообщение о митингах протеста евангелических христиан. Политики им возражают: в конце концов, Нагорная проповедь не есть руководство к непосредственному политическому действию. Молодая женщина: «Я не хочу, чтобы мои дети потом меня спросили, как мы сейчас спрашиваем своих отцов и дедов: почему же вы тогда молчали?..» Появляется новый тип людей, и на Востоке, и на Западе, — в этом проблеск надежды.

Во времена Приама, когда управляемые царями территории были не так обширны (а самим этим царям обожествление давало дополнительную защиту), отгороженность правителей от нормальной повседневной жизни была, наверное, не такой абсолютной, как у сегодняшних политиков, принимающих свои убийственные решения не на основе наблюдений, не на основе чувственного опыта, а на основе сообщений, карт, статистических выкладок, донесений секретных служб, фильмов, совещаний с другими затворниками, политических расчетов и потребностей сохранения власти. Они не знают людей, которых обрекают на уничтожение; в силу природных задатков или благодаря тренировке они спокойно выносят ледяную атмосферу на вершине пирамиды власти; одинокая власть дает им ту защиту, которой им не дала и не смогла бы дать повседневная жизнь бок о бок с нормальными людьми. Это банально, но это так.

Им подсовывается многократно профильтрованная, подо-

бная под их цели и абстрагированная картина реальности. Показать конец иерархически-мужскому принципу реальности — «реалистическая» ли это задача или всего лишь утопическое, хотя и необходимое, усилие? И до какого предела литератор, литература могут еще поддерживать этот «принцип реальности», сами отгораживаясь от повседневной жизни, от сферы чувственного опыта?

Учебная воздушная тревога в К. Окна заклеиваются полосами бумаги, продукты укладываются в полиэтиленовые пакеты, ванну полагается наполнить водой и прикрыть ее чем-нибудь сверху. Слова «противовоздушная оборона» вызывают во мне, как и перед 1939 годом, живое ощущение кануна войны. Вспоминается молодая женщина, актриса, которая, ужаснувшись этому ощущению, впервые ею испытанному, решила составить программу с текстами в защиту мира специально для детей, для школы, в которой учится ее ребенок. Или тот мужчина, что отремонтировал пустующий дом в своем родном селе, неподалеку от нас, приезжает туда на субботу и воскресенье, и взял под свою опеку животных и растения округи. Регистрирует старые деревья, стоящие особняком, и хочет поставить их под охрану закона. Сейчас он ведет борьбу против плана, согласно которому в целях мелиорации должны быть засыпаны землей маленькие овражки и болотца, придающие этому ландшафту неповторимый облик и служащие местом гнездования для множества видов птиц. Он добился, что на этих маленьких прудах стала выводиться птенцов очень редкая порода птиц — сенсация для этих краев. Мы только что встретили его на одном из прудов напротив дома Бремеров; он попросил нас не задерживаться долго у пруда, потому что птицы еще не вывели птенцов и, если они, напуганные нами, подолгу не будут возвращаться к гнездам, яйца могут переохладиться. На краю села мы встретили ребятишек Ш., они несли этому человеку, осторожно прикрыв ладонями, лебединное яйцо: его нашли трактористы во время пахоты и попросили ему передать. Он что-нибудь придумает. Мы долго стоим, склонившись над яйцом: крупное, правильной формы, светло-серо-зеленое, красивое, наполовину покрытое восковой пленкой. Оно еще не остыло, говорит мальчик, его наверняка еще можно спасти.

Метель, 30 апреля 1981 года. Вчера показывали кадры, снятые американцами при освобождении узников концлагеря Дахау. Горы костей, горы трупов. Немецкие жители Дахау, с размаху швыряющие трупы на телеги, отправляемые к месту погребения. Лица упитанных американцев под шлемами — как из другого мира. Это сочетание: побежденные и победители, униженные и торжествующие — модель и формула всей истории челове-

ри-богини Геи. Это наверняка самый древний пласт традиции, и лишь позже возникла версия о том, что Аполлон влюбился в Кассандру, когда наделил ее даром прорицания...

Метель, 29 апреля 1981 года. Моя цель при создании образа Кассандры: вернуть его из мифа в социальные и исторические координаты (как я их себе мыслю).

По телевизору передача о размещении химического оружия — стало быть, ядовитых газов — в Федеративной республике. Огромная база неподалеку от Пирмазена. Сообщают, что в пустынной местности одного из штатов США однажды уже произошла утечка небольшого количества газа, в результате чего погибли тысячи овец. Показывают парализованных животных, передвигающихся ползком на брюхе. В местах подземного хранения ядов держат кроликов — в качестве измерительных приборов... (В чем тут отличие от жертвенных животных древних? У древних был прогресс — когда они перешли от заклятия людей к заклятию зверей...) Сообщается далее, что в США ведутся работы по созданию новой химической ракеты. Американец говорит, что она займет свое место на потенциальном поле боя. В Европе, стало быть.

После этого сообщение о митингах протеста евангелических христиан. Политики им возражают: в конце концов, Нагорная проповедь не есть руководство к непосредственному политическому действию. Молодая женщина: «Я не хочу, чтобы мои дети потом меня спросили, как мы сейчас спрашиваем своих отцов и дедов: почему же вы тогда молчали?..» Появляется новый тип людей, и на Востоке, и на Западе, — в этом проблеск надежды.

Во времена Приама, когда управляемые царями территории были не так обширны (а самим этим царям обожествление давало дополнительную защиту), отгороженность правителей от нормальной повседневной жизни была, наверное, не такой абсолютной, как у сегодняшних политиков, принимающих свои убийственные решения не на основе наблюдений, не на основе чувственного опыта, а на основе сообщений, карт, статистических выкладок, донесений секретных служб, фильмов, совещаний с другими затворниками, политических расчетов и потребностей сохранения власти. Они не знают людей, которых обрекают на уничтожение; в силу природных задатков или благодаря тренировке они спокойно выносят ледяную атмосферу на вершине пирамиды власти; одинокая власть дает им ту защиту, которой им не дала и не смогла бы дать повседневная жизнь бок о бок с нормальными людьми. Это банально, но это так.

Им подсовывается многократно профильтрованная, подо-

ванная под их цели и абстрагированная картина реальности. Показать конец иерархически-мужскому принципу реальности — «реалистическая» ли это задача или всего лишь утопическое, есть и необходимое, усилие? И до какого предела литератор, литература могут еще поддерживать этот «принцип реальности», сами отторгаясь от повседневной жизни, от сферы чувственного опыта?

Учебная воздушная тревога в К. Окна заклеиваются полосами бумаги, продукты укладываются в полиэтиленовые пакеты, ванну полагаются наполнить водой и прикрыть ее чем-нибудь сверху. Слова «противовоздушная оборона» вызывают во мне, как и перед 1939 годом, живое ощущение кануна войны. Вспоминается молодая женщина, актриса, которая, ужаснувшись этому ощущению, впервые ею испытанному, решила составить программу с текстами в защиту мира специально для детей, для школы, в которой учится ее ребенок. Или тот мужчина, что отрекшился от пустующий дом в своем родном селе, неподалеку от нас, приезжает туда на субботу и воскресенье, и взял под свою опеку животных и растения округи. Регистрирует старые деревья, стоящие особняком, и хочет поставить их под охрану закона. Сейчас он ведет борьбу против плана, согласно которому в целях мелиорации должны быть засыпаны землей маленькие озера и болотца, придающие этому ландшафту неповторимый облик и служащие местом гнездования для множества видов птиц. Он добился, что на этих маленьких прудах стала выводиться птенцов очень редкая порода птиц — сенсация для этих краев. Мы только что встретили его на одном из прудов напротив дома Бремеров; он попросил нас не задерживаться долго у пруда, потому что птицы еще не вывели птенцов и, если они, напуганные нами, подолгу не будут возвращаться к гнездам, яйца могут переохладиться. На краю села мы встретили ребяташек Ш., они несли этому человеку, осторожно прикрыв ладонями, лебединое яйцо: его нашли трактористы во время пахоты и попросили ему передать. Он что-нибудь придумает. Мы долго стоим, склонившись над яйцом: крупное, правильной формы, светло-серо-зеленое, красивое, наполовину покрытое восковой пленкой. Оно еще не остыло, говорит мальчик, его наверняка еще можно спасти.

Метель, 30 апреля 1981 года. Вчера показывали кадры, снятые американцами при освобождении узников концлагеря Дахау. Горы костей, горы трупов. Немецкие жители Дахау, с размаху швыряющие трупы на телеги, отправляемые к месту погребения. Лица упитанных американцев под шлемами — как из другого мира. Это сочетание: побежденные и победители, униженные и торжествующие — модель и формула всей истории челове-

ства; завоевание Трои — один из самых ранних известных нам примеров; оно само по себе уже есть художественное обобщение десятков завоеваний городов того времени. Но вот чтобы завоеватели натолкнулись на такие памятники, как Освенцим, как Дахау, — это, пожалуй, впервые в истории. Слово «бесчеловечность» ничего не говорит, потому что оно скорее затушевывает, чем обнажает. Не являются ли эмоциональная глухота и муравьиная автоматическая суетливость — предвестники подобных неслыханных злодейств — также и симптомами той тяги к саморазрушению, которая коренится в злополучной, веками накапливавшейся неспособности к действию? Скудость деяний, этот роковой недуг, снова и снова поражающий прогрессивные силы на длительных отрезках немецкой истории, — не ведет ли она неминуемо к злодеяниям? Как разбить эту классическую пару противоположностей — «скудость действия и богатство мысли»?

Метель, 1 мая 1981 года. Для предотвращения войн люди должны критиковать неполадки и в собственной стране тоже. Роль запретов при подготовке войн: непрерывно и безмерно разрастается число недостойных тайн. Но цензурные табу и последствия их нарушений так несущественны перед лицом угрозы самому нашему существованию!

О реальности. Не странно ли, что литература во всех «цивилизованных» индустриальных странах, если она реалистична, говорит на совершенно другом языке, чем всякое официальное публичное высказывание? Впечатление такое, будто каждая страна существует дважды, в двух лицах. И будто каждый ее житель существует в двух лицах: во-первых, как он сам и как возможный субъект художественного творчества; во-вторых, как объект статистики, публицистики, агитации, рекламы, политической пропаганды.

Превращение в объект — не оно ли главный источник насилия? Живые люди и реальные процессы, со всей их противоречивостью, фетишизируются в публичных декларациях и в конце концов окостеневают, превращаясь в болванки и кулисы: сами мертвецы, для других убийцы.

Существует ли на самом деле «женская» литература? Да, поскольку женщины в силу исторических и биологических причин переживают иную действительность, нежели мужчины, переживают ее иначе, чем они, и именно это выражают. Поскольку женщины принадлежат к числу не властвующих, а подвластных, и это на протяжении веков, они — объекты объектов, объекты в квадрате, очень часто объекты для мужчин, которые сами являются объектами; стало быть, они в силу своего социального положения, по необходимости принадлежат к другой, второй культуре. Они ее создают в той мере, в какой отказываются от изнуритель-

ных попыток сжиться с безумием господствующих систем; в той мере, в какой они писаниями своими и жизнью своей добиваются автономии. И тут они сталкиваются с мужчинами, добивающимися автономии. Автономные личности, государства и системы могут поддерживать друг друга, им необязательно бороться друг с другом, как это делают те, кого внутренняя неуверенность и незрелость постоянно заставляют отстаивать свою особость, жаждать восхищения и поклонения.

А что, если попытаться однажды в великих образцах мировой литературы подставить женщин на место мужчин? Ахилл, Геракл, Одиссей, Эдип, Агамемнон, Иисус, король Лир, Фауст, Жюльен Сорель, Вильгельм Мейстер.

Женщины как носители деяния, насилия, познания? Они выпали из поля зрения литературы. Это называется «реализм». Все существование женщины до сих пор было нереалистичным.

Метель, 7 мая 1981 года. Но почему мне становится не по себе от чтения весьма многих сочинений — в том числе и из области археологии и древней истории, — добровольно идущих под рубрику «женская литература»? Не только потому, что я уже убедилась, в какой тупик неизменно заводят сектантское мышление, исключающее все другие точки зрения, кроме той, которая санкционирована собственной группой; что меня буквально приводит в содрогание, так это та критика рационализма, которая сама кончает безудержным иррационализмом. То, что женщинам за истекшие тысячелетия фактически не дано было внести никакого непосредственного и «официального» вклада в нашу культуру, — это не только ужасный, постыдный и скандальный для женщин факт, это, строго говоря, и есть то слабое место культуры, которое обуславливает ее саморазрушительную тенденцию — ее неспособность к зрелости. Но мы ни на шаг не приблизимся к зрелости, если на место мужской мании господства придет мания женская, если женщины, идеализируя дорациональные этапы развития человечества, выбросят за борт все достижения разумной мысли только потому, что это достижения мужской мысли. Род, клан, кровь и почва — это не те ценности, к которым сейчас должны апеллировать мужчины и женщины; уж кому, как не нам, знать, предложить для какого страшного регресса могут служить эти лозунги. Нет иного пути, кроме как через воспитание личности, через рациональные модели решения конфликтов, а это значит также — через дискуссии и сотрудничество с инакомыслящими и, само собой разумеется, с существами иного пола. Автономность — это задача, стоящая перед каждым, и женщины, замыкающиеся в феминизме как единственной ценности, поступают, в сущности, так, как их выдрессировали: на требования, которые реальная жизнь ставит перед ними как

цельными личностями, они отвечают обходным маневром, хоть и задуманным с размахом.

Метелы, 10 мая 1981 года. Развитие археологии за последние сто лет дает возможность проследить, как создается то, что потом называется «исторической» истиной. Возьмем, к примеру, историю Трои. Находится человек, Генрих Шлиман, который гомеровский эпос, считающийся чистой выдумкой, воспринимает буквально; в результате раскопок он обнаруживает в конце прошлого века на обозначенном Гомером месте — на холме Ате у реки Скамандр — в залегающих на разной глубине пластах остатки крепостных стен; он ошибается относительно пласта, принимаемого им за развалины гомеровского Илиона; впоследствии его сотрудник Дёрпфельд эту ошибку исправит; но Шлиман, во всяком случае, открывает науке глаза на тот факт, что древняя греческая история — не миф, точнее говоря, что мифы отражают «правду». Сэр Артур Эванс, примерно в то же время занятый раскопками кносского дворца на Крите, пытается составить хронологию минойской культуры (с которой позже будут соотносить и даты Троянской войны) и тем самым подключить историю Крита к зафиксированной в дошедших до нас таблицах древнеегипетской хронологии. Противоречий, пробелов, несоответствий хватает и по сей день, но все больше утверждает свои позиции школа, основывающаяся на том, что мы способны воспринимать реальность — историческую реальность — только в системе пространственных и временных координат, так что само по себе выражение «позднеминойская культура III В» (примерно та эпоха, к которой относят Трои VII А) еще мало что говорит. Как народам, не имеющим письменности, вспоминать свою историю? Историю, которая, по словам Фрида Шахермайера*, всегда разыгрывается «и как последовательность и как одновременная соположенность»? «Существенное и несущественное, постепенное и внезапное, скучное и занятное, эпохи расцвета и холостого хода, кризисы и катастрофы сменяют друг друга. История, как правило, утомительна, запутанна и сложна. Такая, как она на самом деле разыгрывалась, она в высшей степени непригодна для сохранения в нетренированной памяти и в простом, наивном воспоминании. Поэтому действительную историю неспециалисты вспоминать не могут — они могут ее лишь описывать».

В культурах, не имеющих своей письменности или, во всяком случае, историографии, возможны, продолжает Шахермайер, только два пути к тому, чтобы сделать минувшее хотя бы в ограниченных пределах доступным для человеческой способности запоминания: путь составления перечней и другой путь — сосредоточения на том, что существенно для поэтической фанта-

зии. В этом процессе концентрации, конечным результатом которого при счастливом стечении обстоятельств может оказаться гомеровский эпос, все богатство исторического процесса упрощается, изобилие персонажей сводится к немногочисленным наглядным и исполненным жизни идеальным образам; многообразие явлений заменяется немногими символическими актами. Обширные временные пространства сжимаются, спрессовываются воедино. На прозаические события памяти никогда не было. А вот тысячи стихов запоминались без всяких усилий.

Что означает этот опыт для литературы, которая уже не хочет больше создавать великие и исполненные жизни идеальные образы, рассказывать связанные истории — истории войн, убийств и потребных для этого подвигов? Проза Вирджинии Вулф — какого рода память она предполагает и стимулирует? Почему считается, что человеческий мозг, который так охотно сравнивает с разветвленной сетью, лучше способен «удержать» рассказ с линейной фабулой, чем разветвленную сеть повествования? Как иначе автору бороться с привычкой вспоминать историю как историю героев, — привычкой, уже не соответствующей требованиям времени? Герои взаимозаменяемы, но модель остается неизменной. По этой модели создавалась эстетика.

Метелы, 11 мая 1981 года. Один западногерманский политик заявил, что за последнее десятилетие в общественном сознании совершился перелом, сходный с тем, который произошел в эпоху Ренессанса. В чем тогда суть этого перелома? Может быть, в отказе от покорения и обуздания природы, отказе от закабаления других народов и континентов, но также и отказе от закабаления женщины мужчиной? В радости жизни (когда ты уже не властелин мира и не стремишься им быть)?

Мне вдруг пришло в голову, что осуждающие эпитеты «нереалистичный», «далекий от реальности» применяются равно и к литературе, и к движению за мир — причем теми же самыми людьми. Реалистом сегодня считается тот, кто стоит на почве фактов, — почве, которая в планах этих реалистов уже заражена.

Какие последствия вытекают из этого понятия реализма для эстетики?

Метелы, 16 июня 1981 года. Льюис Мемфорд, «Миф о машине». Автор исходит из того, что главным изобретением древнего человека были не орудия производства, а символы, например ритуал, служившие отводными каналами для его сновидений, для давления бессознательного. Широко и обстоятельно развернутая полемика против вульгарно-материалистического понимания человека и истории.

Метель, 16 июня 1981 года. Главная трудность в том, чтобы связать друг с другом отдельные звенья истории Кассандры посредством их толкования. Кое-какие возможности обрисовываются, например: ее «безумие» могло быть и подлинным безумием, возвращением к более примитивным, не столь дифференцированным стадиям развития личности (и всей истории человечества). Толчком могло послужить какое-нибудь предъявленное ей непомерное требование — скажем, нарушить табу и в качестве жрицы принести человеческую жертву; это мог быть — по примеру обычаев, якобы существовавших при дворах древних царей, — малолетний ребенок. Для нее это невозможно. А может быть, этот перелом связан с прибытием Пенгесиласи, воплощающей тупиковую линию развития матриархата? Но ясно одно: ее бросают в темницу не из-за ее безумия. В башню она попадает за содержание своих видений. Из чисто прагматических надобностей ее обручают с Еврипилом, поставляющим в подкрепление троянцам армию мисийцев. Тут-то она и осознает в полной мере, что значит быть объектом для осуществления чужих целей. Она все больше уклоняется от служения своим сородичам, социальному механизму, в который она включена, и поддерживает все более тесное общение с теми, кто в силу принуждения или по доброй воле оказывается в таком же положении аутсайдера. Ее внутренняя история — борьба за автономию.

Мне надо показать, как существование исторической Кассандры (а именно такой я хочу ее представить) и всего ее исторического окружения определяется ритуалом, культом, верованиями и мифами, в то время как для нас *весь* этот материал «мифичен».

Образ все время меняется по мере моего углубления в материал; все больше исчезают животная серьезность, весь героизм и трагизм, а следовательно, и мое сострадание, и предвзятость, пристрастность по отношению к Кассандре. Я смотрю на нее трезвее, даже с иронией и юмором. Я вижу ее как на ладони.

А потом на меня наваливается ее окружение: подруги, семья. Мне ведь надо их «знать». Но я чувствую теперь, что я их «знаю», уже давно. Абстракции все больше наполняются плотью и кровью, предстают в лицах, в жестах.

Для символической повести, какой она мне теперь видится, мне понадобится гораздо больше времени, чем я планировала для той поучительной притчи, которая, как я теперь понимаю, рисовалась мне поначалу.

Метель, 30 июня 1981 года. Недавно один ученый, выступая по телевизору, говорил о том, как много людей повсюду сознательно выключаются из бесчеловечных структур официальных

институтов. Это вселяет надежду; с другой стороны, когда он пытается самого себя пристрастней, он снова приходит к выводу, что огромная часть человечества все-таки будет однажды уничтожена в результате атомного удара: ведь все средства для этого уже наготове...

Дьюис Мемфорд, «Миф о машине». Описав и проанализировав на 800 страницах возникновение и саму суть современных организационных форм мегатехники, автор сравнивает сегодняшние системы власти с тем монолитом, которым была для своего времени технически высокоразвитая и как будто бы несокрушимая Римская империя и который все-таки постепенно был подточен и разрушен христианским меньшинством.

«Если такое безмолвное самоустранение и самоотречение было возможно в горделивой Римской империи, оно возможно везде, в том числе здесь и сейчас; сегодня даже наверняка, потому что более чем полувекшная полоса экономических кризисов, мировых войн, революций и систематических карательных акций превратила в прах и пепел все основания современной цивилизации. Если система власти никогда, кажется, не была столь могущественной, как сейчас, когда она празднует один блестящий технический триумф за другим, то никогда прежде не была столь опасной и ее негативная, уродующая все живое сторона... Материальная структура системы власти никогда не была столь ясно различимой; но ее человеческие опоры никогда не были так шатки, так индифферентны, так уязвимы... Все это наступило так внезапно, что многие люди едва ли даже и осознали, что оно уже наступило; человеческие институты и моральные убеждения, которым потребовались тысячелетия для достижения хотя бы минимальной действительности, исчезли у нас на глазах; настолько бесследно, что следующее поколение едва ли даже и поверит, что они когда-либо существовали... Первые признаки... существенной трансформации проявятся во внутреннем переломе; а внутренние перемены часто наступают внезапно и совершаются быстро. Каждый из нас, пока в нем еще теплится жизнь, может сыграть свою роль в освобождении от системы власти; для этого он должен свое неизбывное право быть личностью утверждать путем молчаливых акций духовного и физического самоустранения — акций несогласия, неучастия и самоограничения, которые сделают его недостижимым для этого могущественного Пентагона — системы власти.

Пусть даже непосредственное и абсолютное спасение от этой системы невозможно (особенно путем массового насилия), зато перемены, которые вернут человеку независимость и инициативу, лежат в пределах возможностей каждой души, стоит ей однажды встрепенуться. Нет угрозы серьезнее для мифа о машине и для бесчеловечного общественного порядка, его порожденного, чем постоянная демонстрация незаинтересованности, постоянное замедление темпа, решительный отказ от бессмысленных привычек и бездумных действий. И разве это все уже фактически не началось?»

Метель, 21 июля 1981 года. Повествовательные манеры, в зависимости от своей замкнутости или открытости, навязывают и определенные модели мышления. Замкнутая форма повести о Кассандре, как я понимаю, вступит в противоречие с той фрагментарной структурой, из которой она для меня, собственно говоря, составляется.

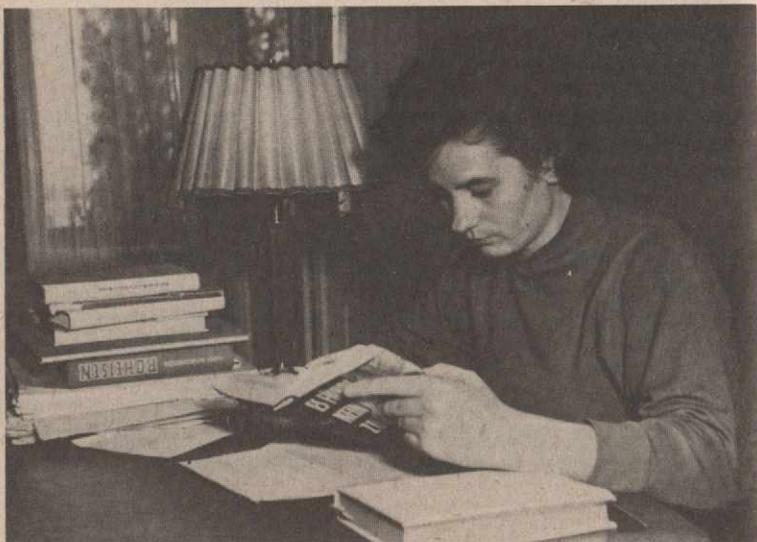
Метель, 12 августа 1981 года. В день памяти жертв Хиросимы, 6 августа, американский президент принял решение начать производство нейтронной бомбы; министр обороны дал понять, что первые босголовки уже смонтированы и могли бы в течение нескольких часов быть переправлены в Западную Европу, если они там понадобятся. Я подумала: может быть, это уже наш смертный приговор, — но что я на самом деле почувствовала? Бессилие. Вынесла завтрак на стол в саду. Разговаривала с другими. Смеялась.

Вечером 6 августа показывали документальный фильм об одной семье в Хиросиме. Жена, будучи беременной, подверглась облучению, родила дочь-каску и умерла в 1979 году в ужасных мучениях от последствий лучевой болезни — рака кости. Камера демонстрировала все стадии постепенного угасания. А вот лицо мужа — парикмахера. Беспомощное лицо дочери, ее попытки хоть как-то помогать по дому (мать уже ничего не может делать). Врач, говорящий женщине, что у нее «затронут» позвоночник. Соседка, регулярно их навещающая. Душераздирающая сцена прощания обсих женщин. Больная всякий раз, когда ее перекладывают, боится, как бы не поломалась какая-нибудь из ее хрупких костей. Ее лицо, все в слезах. Высохшие плети рук, умоляюще протянутые ладони. Дочь также в слезах. Во время похорон матери она отказывается с ней попрощаться. А через несколько недель требует, чтобы ее повели на кладбище. Целует отшлифованный камень на могиле матери. Школьники, посмотревшие этот фильм, всем классом выражают желание заняться судьбой этой семьи, потому что большинство японской молодежи ничего не знает о последствиях Хиросимы.

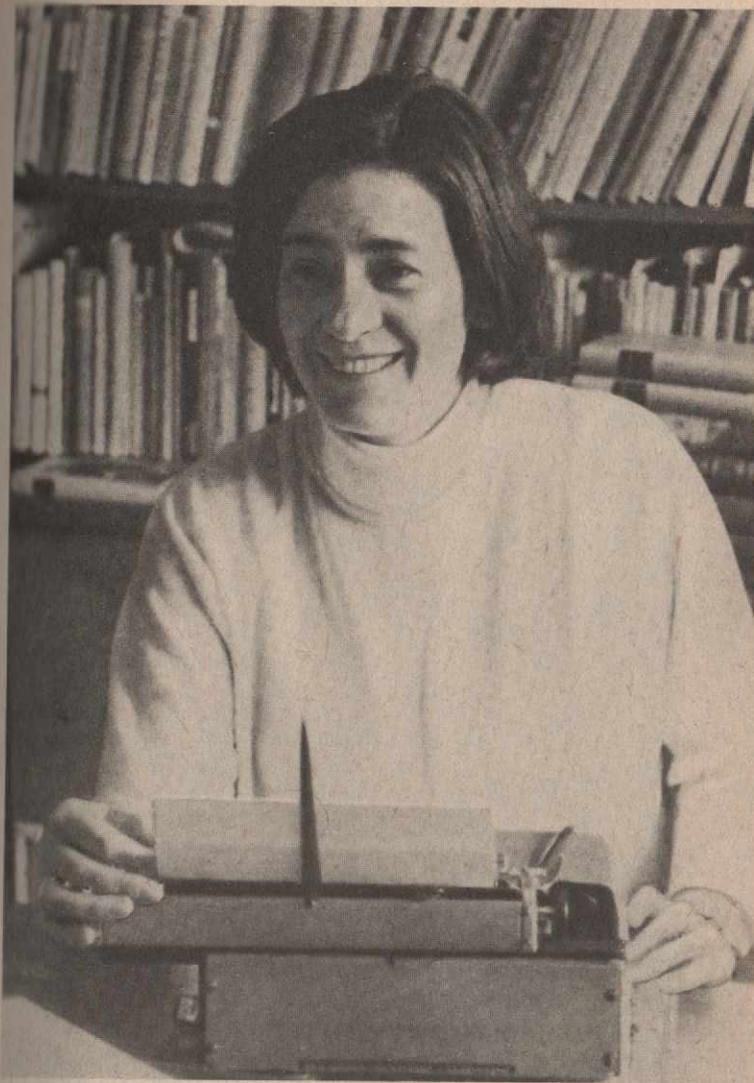
Более впечатляющего документа невозможно себе представить. Но на тех, кто отдает приказы о применении оружия, он, даже если б они его и посмотрели, не произвел бы ни малейшего впечатления. Почему, собственно? Разве в этом случае не расстрогаться лучше, чем стронуться с места? Что, если бы каждый, имеющий дело с оружием, сказал: я больше и пальцем для этого не пошевельну? Тогда все они станут безработными? Ну и что? — думаем мы. Лучше стать безработным, чем умереть. Но они так не думают, потому что они больше боятся смерти экономической, чем физической: та наступает наверняка, а эта еще



1944



В доме отдыха писателей в Петцове, октябрь 1955



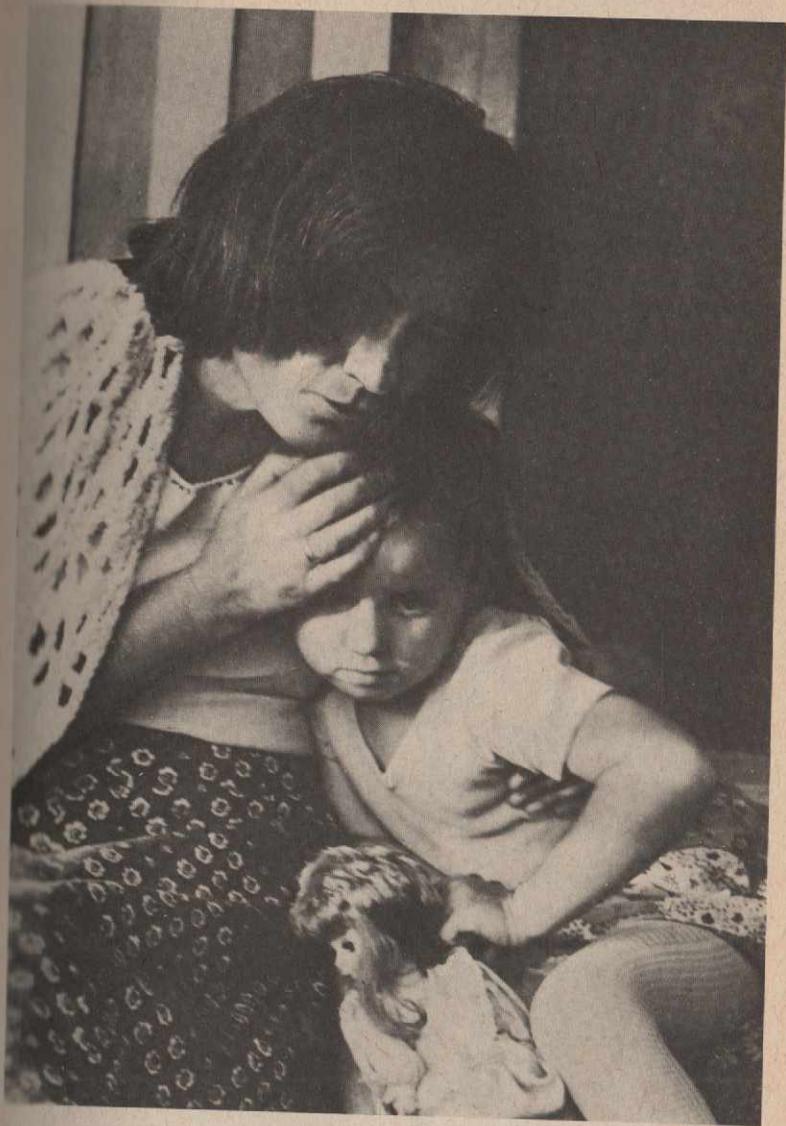
За рабочим столом, 1966



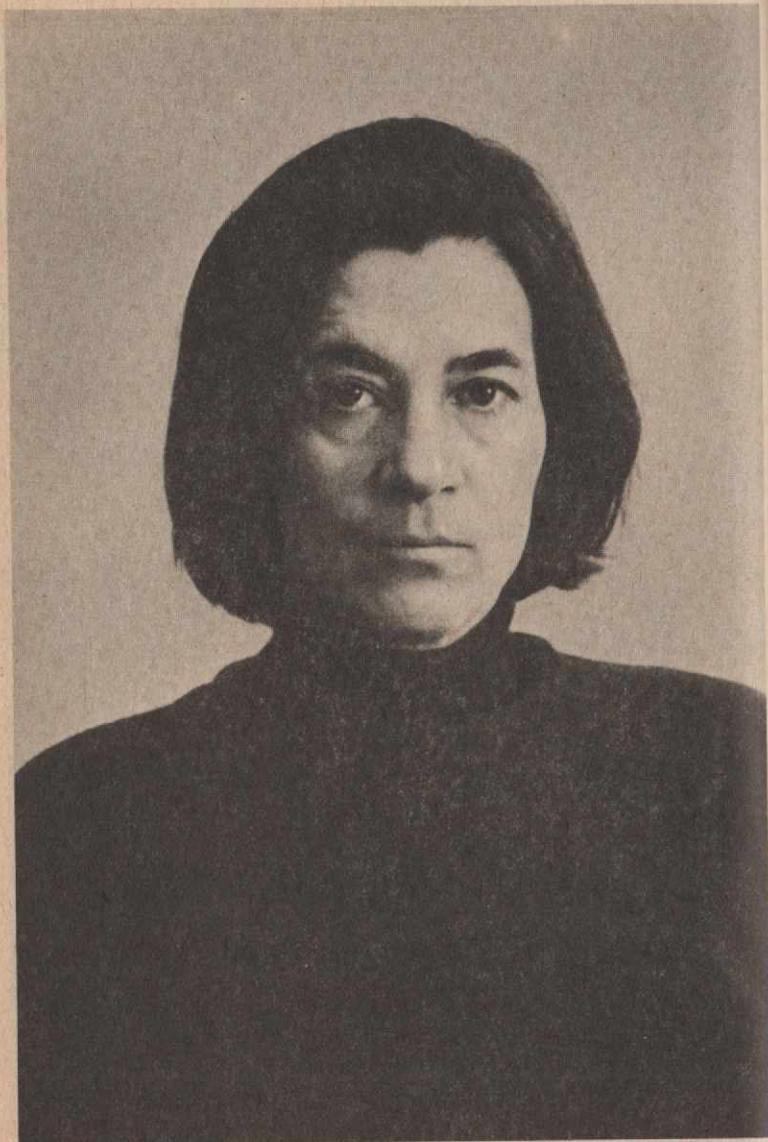
Анна Зегер и Криста Вольф, 1973



С мужем, Герхардом Вольф, 1975



С внучкой, 1975



Январь 1971



На юбилее издательства «Реклам», 1978. Слева Гюнтер Кунерт



Чтения в Академии искусств ГДР. Слева С. Херmlin

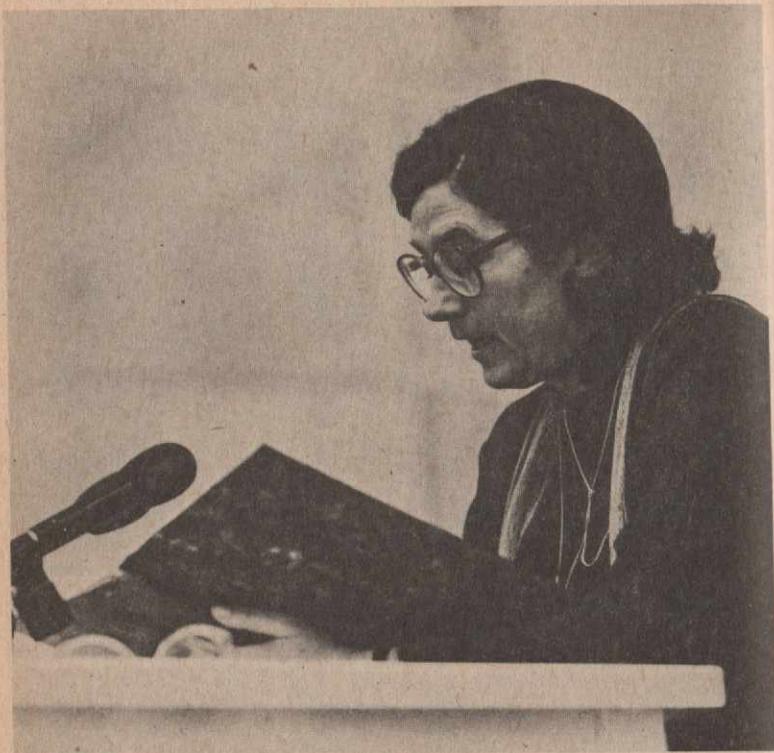


С Гансом Майером, 1986



«На дне рождения Г. Марквардта, многолетнего директора издательства «Реклам». Криста Вольф беседует с Фолькером Брауном, 1981

С Францем Фюманом, 1981



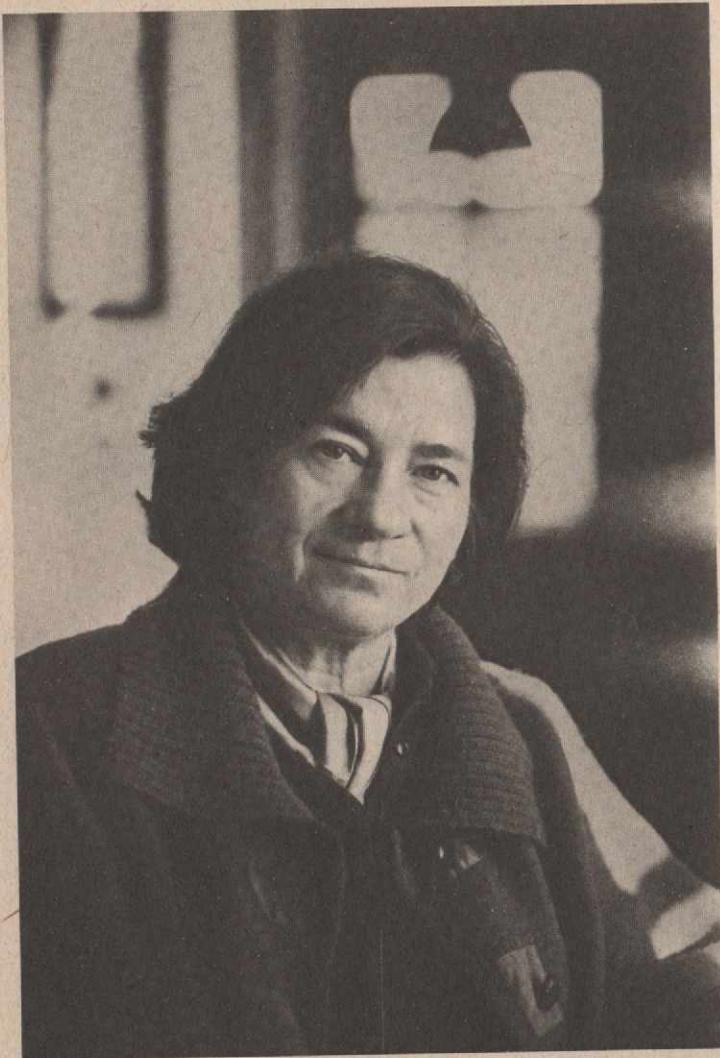
Чтение «Аварии» в замке Фридрихсфельде, 1987



Дискуссия в издательстве «Реклам», апрель 1988



С кинодокументалистом Рональдом Штайнером, осень 1988



Июль 1989

под вопросом. Вот это я и называю ложной альтернативой. Число таких альтернатив растет.

Метельн, 17 августа 1981 года. Разговаривала с одним крупным хозяйственником, очень симпатичным человеком. У него такое чувство, что мы «миновали свой зенит»; сегодняшняя молодежь внушает ему сожаление. Очень скептически смотрит на будущее. Но непоколебленным остается его убеждение, что государства и их экономика могут управляться только в соответствии с принципами конкуренции и личной инициативы. Как все-таки удивительно, что даже осознание неразрешимости жизненно важных проблем не заставляет этих людей задуматься над тем, что, например, всеобщая лихорадочная гонка вооружений непосредственно связана с патриархальными структурами мышления и управления.

Одна женщина-врач рассказывала мне, что, когда на занятиях по гражданской обороне докладчик заявил, что мы все должны учиться «мыслить военными категориями», в зале наступила гробовая тишина.

Метельн, 21 августа 1981 года. Читаю Ганса Хенни Янна*, который 6 мая 1949 года, когда обнаружили первые трещины в антигитлеровской союзнической коалиции, констатировал: третья мировая война уже запрограммирована. Он уже тогда предвидел опустошительные последствия создания атомной бомбы. И предупредил: вооруженного мира не бывает. Мир безоружен — или он вообще не мир, что бы мы там ни считали себя обязанными защищать. Дважды в этом столетии из «вооруженного мира» рождались войны, и каждая была ожесточенней прежней. Брехт в пятидесятые годы говорил то же самое: если мы не будем вооружаться, будет мир; если будем вооружаться — будет война.

Не понимаю, как можно думать иначе.

Метельн, 23 августа 1981 года. «Познание, не прошедшее через органы чувств, не породит никакой другой истины, кроме вредоносной» (Леонардо да Винчи). Ах, если бы эта мысль — после затяжного опасного эксперимента с абстрактным рационализмом, закончившегося инструментальностью мышления, — снова стала плодотворной! Это было бы поистине новым ренессансом сознания. Что этому препятствует? То, что чувства многих людей — не по их вине — опустошены, и потому они вполне справедливо опасаются снова их активизировать. Или уже вообще не могут. Чего лишилось бы человечество, если бы у него отняли «европейского человека», как сейчас замышляется? Что мы мо-

жем поставить себе в заслугу? То, что именно европейцы благодаря покорению и угнетению других народов и континентов взрастили — или на них проверили — ту мораль силы и расового превосходства, которая потом определила и направление технического (в том числе и военно-технического) развития, и структуру экономики, и государственные структуры? Что мы сами выпустили на волю силы, нам угрожающие? Что сверхмашины с их разрушительной иррациональной мощью стали конечным продуктом нашей культуры?

Споры среди археологов о происхождении культуры, об ее дефиниции — это, понятное дело, жгучая, идеологически взрывчатая тема: Мария Э. П. Кёниг решительно возражает против точки зрения, согласно которой начало культуры следует искать там, где началась письменность, — т. е. в высокоразвитых культурах Востока; тогда, считает Кёниг, культура утратит одно из важнейших своих глубинных измерений, ибо мы тем самым лишимся наших исторических истоков, знания всех ранних поколений, которое является предпосылкой прогресса. В Европе, продолжает она, коренное население всегда сохраняло связь со своей стариной: например, в сознании кельтов еще жива была память всех предшествовавших поколений. Ни в какой другой части света почва не хранит столь богатых сокровищ культурного прошлого, и нигде не сохранилось в такой непрерывности и полноте воспоминание о древних временах вплоть до каменного века. «Пока не появятся соответствующие документы из других частей света, мы вправе полагать, что колыбелью культуры является Европа».

Воображаемый диалог с Марией Кёниг ведет Ганс Георг Вундерлих, не будучи с нею знакомым; в конце своей книги, в которой он развивает весьма спорный тезис о том, что грандиозные дворцы минойской культуры на Крите являются памятниками культа мертвых, усыпальницами, он ставит вопрос: почему колыбель европейской культуры находилась именно в Греции? Почему не в Этрурии, не в Галлии, не в землях северных германцев или где-либо еще? Культура Запада, полагает он, в своих истоках восходящая к минойскому и микенскому наследию, развивается уже более трех с половиной тысяч лет и в настоящий момент настолько расширила сферу своего влияния, что совершенно очевидно стала мировой культурой, — тезис очень спорный. Но заслуживает внимания концепция Вундерлиха, согласно которой культурный процесс, охватывающий жизни многих поколений и подчас достигающий высочайших вершин, протекал не в сфере письменных свидетельств, а поначалу в сфере «произносимой и слышимой речи»; что исходным пунктом для развития греческого языка на ранних этапах был культ

героев, «первоначально культ мертвых, который в многочисленных героических сказаниях сохранял живую память о почивших великих сынах народа». Мы даже и представить себе не можем, в какой степени этот культ мертвых — как форма преодоления страха перед загробной жизнью — владел сознанием людей дохристианских тысячелетий; он-то и породил те монументальные архитектурные сооружения переднеазиатской и египетской культур, те каменные гробницы героев, на которые расходовалась рабочая сила и энергия целых народов. Для раздробленных, сравнительно бедных и малочисленных раннегреческих племен это было недостижимо, но они нашли гениальный выход — вместо сооружения каменных монументов устраивать праздничные игры, не только для того, чтобы померяться физической силой, но и чтобы отождествить свою жизнь с жизнью героя, воспроизведя героический эпос на сцене, на театре, который таким образом становился своего рода «переменной рамкой». Так культ героев, память о героях стали всеобщим достоянием. Так возник греческий театр — один из истоков европейской культуры. Так свершилось невероятное: восточные владыки, замурованные в помпезных, но в духовном отношении стерильных дворцах-усыпальницах, были забыты. А передававшееся из уст в уста слово о греческих героях живет по сей день и сохраняет в нашей памяти тех, о ком оно повествовало.

Не попытаться ли противопоставить сегодняшней некрофилии, воплощающейся в стали, стекле, бетоне (и не обошедшей, кстати говоря, и театры), «живое слово»? Слово, которое было бы подрывным, незаконным, «проникновенным» в буквальном смысле и не заботилось бы о том, достигнет ли оно цели, собственно, даже и не имело бы права ставить себе «цель»? Может быть, именно оно — учитываемая беспрецедентную ситуацию современных авторов, которые, по формуле Макса Фриша, уже не могут рассчитывать ни на каких потомков, — может быть, именно оно сделает из этой ситуации тот единственно верный вывод, который поможет вновь создать и мир потомков, и, возможно, даже будущее? Такое слово не будет снабжать нас ни историями героев, ни историями антигероев. Оно будет скорее неброским и рассказывать будет о неброском, о драгоценных буднях, просто и конкретно. Гнев Ахилла, смятение Гамлета, ложные альтернативы Фауста будут вызывать у него всего лишь улыбку. Ему придется пробиваться к своему материалу поистине «снизу», и тогда, может быть, этот материал, увиденный с доселе неведомой точки зрения, все-таки еще откроет доселе не распознанные возможности.

Лекция четвертая

Письмо об однозначности и многозначности, определенности и неопределенности; об очень старых условиях бытия и новых способах видения; об объективности

Ибо реальности, составляющие мир,
нуждаются в неральном — лишь
исходя из него, они могут быть познаны.

Ингеборг Бахман. «Франца»

Дорогая А., стоит мне, как обычно в конце зимы, перебраться из Берлина в Мекленбург, распаковать чемоданы, завалить книгами комнату в мансарде, где мне всего лучше работается, — комнату, где пахнет деревом; где из одного круглого окна, называемого в нашем языке «бычий глаз», я могу видеть дворовую лужайку, ивы на берегу пруда, нашими руками посаженные, сам этот пруд, навозную кучу у стены хлева на соседском дворе, белье, развешанное Эдит (у нее домашний день), два моих дуба, сплетшихся ветвями, еще нагими и многообщающими, деревенские дома, что позже, к лету, укроются за листвою этих дубов; где из другого «бычьего глаза» — перед ним, на дощатом возвышении, стоит мой письменный стол — мне открывается вид, который я хотела бы иметь перед глазами в час моей смерти: обширная поляна, еще жухлая, а посреди нее огромное вишневое дерево, предвесенне-прозрачное, в окружении низкорослых яблонь и ежевичных кустов, кирпичного цвета хибарка П. на самом берегу пруда, почти целиком скрытого за пологим пригорком; а дальше, вплоть до низкого горизонта, чуть волнистая пашня, луга, купы деревьев, — стоит мне пережить все это, как в груди моей поднимаются ожидания. О красках я уж не говорю, о небесах тоже, ибо мне еще надлежит в конце предложения, начинающегося с вываленных книг, перечислить тебе несколько названий, хорошо различимых на обложках тех томов, что лежат поверх груди, или наполовину различимых, погребенных под ними: «Вначале была женщина», «Матери и амазонки», «Богини», «Патриархат», «Амазонки, воительницы и богатырши», «Женщины — свихнувшийся пол?», «Женщины в искусстве», «Богоотмеченность, любовные чары и сатанинский культ», «Мужские фантазии», «Женщины и власть», «Пол, утративший цельность», «Гайна оракулов», «Утопическое прошлое», «Аутсайдер», «Вытесненная женственность в истории культуры», «Материнское право», «Проис-

хождение семьи, частной собственности и государства», «Дарительница диких плодов», «Белая богиня», «Воображаемая женственность», «Комната на меня одну», «Женственность в Священном писании». И все же этот перечень, продолжай я его и дальше, не даст тебе полного представления о той странной мешанине, каковую вот уже год составляет мое чтение, потому что археологи и историки первобытной и античной древности лежат, еще не выгруженные, в другом чемодане.

А началось все вполне безобидно — с вопроса, который я себе задала: кем была Кассандра до того, как кто-то первый о ней написал? И привело это, прежде всего и наряду со всем прочим, к тому, что я, кажется, — и не случайно именно сейчас, когда я подчищаю граблями лужайку, пропалываю грядки, подрезаю ворсение Бахман, которое я давно знаю и люблю: «Скажи, любовь». Чтобы ты не искала: оно в первом томе ее полного собрания сочинений, страница 109. Вот предпоследняя строфа — наверное, ты знаешь ее наизусть, так же как и я:

Скажи, любовь моя, как мне понять:
ужель весь этот краткий страшный срок
мне суждено лишь с мыслями водиться,
не знать любви и не дарить любви?
Зачем нам мыслить? Разве нас не ждут?¹

Ждут — кто? И для чего? Уж не для этих ли вот немудреных занятий: поднести дров, развесить белье, пожарить рыбу, — занятий, лишь здесь доставляющих мне удовольствие? Мыслящий человек старается их избегать, и потому они не способны ни повлиять на его мысль, ни даже хотя бы окрасить ее; ибо его ремесло, испокон веков, — мыслить. Не делать. Не действовать. Ведь таково предназначение свободных граждан полиса — того меньшинства в государстве, из которого затем выделяются философы: руками они не работают. Зато располагают временем, чтобы слушать рапсодов, исполняющих, наряду со всем прочим, и некую поэму некоего Гомера, которая хоть и воспекает прежде всего гнев героя по имени Ахилл и кровавые битвы других древних исполинов, но в которой все-таки упоминаются и имена женщин — соблазнительниц, супруг, матерей (стало быть, всегда в отношении к мужчине — а как же иначе?), в том числе имя некой провозвестницы несчастий, Кассандры. Начиная с того древнего рапсода — мыслящего, развивающего свои способности, сочиняющего свои поэмы, — я сквозь два с половиной тыся-

¹ Здесь и далее стихотворение Ингеборг Бахман цитируется в переводе А. Карельского.

челюсти вижу впечатляющую галерею мыслящих мужских умов, благо письменность донесла до нас их имена. Вместо: «Зачем нам мыслить?» — надо было бы, наверное, сказать: «Зачем нам так мыслить?» Так — то есть отсекая, исключая; исключая любовь, исключая все ее достойное и ее пробуждающее: «...должна я только с мыслями водиться, не знать любви и не дарить любви...»

«Скажи, любовь моя...» — как ты это понимаешь? К кому она обращается? Что такое здесь «любовь» — персонификация абстрактного понятия или реальное любимое существо, которое она называет «любовь моя»?

Ты говоришь: но есть ведь ум другой,
есть дух, что верит в нас, он ждет ответа...

О ком здесь речь? О любимом, с чьими мыслями лирическому «я» стихотворения только и суждено «водиться», в результате чего оно не может ни знать любви, ни дарить любви и, стало быть, обречено лишь на ожидание его, мыслящего? Или это она сама так мыслит, теряя саму себя, и это ее тщетно ждуть?

Столь же многозначно и «ты» в этом стихотворении.

Приподними на легком ветре шляпу,
ведь непокрытой голове твоей
так рады облака, — но где блуждает
твоя душа, каким реченьям новым
твои уста сейчас отворены?

К кому она обращается? Чем глубже я погружаюсь в это стихотворение, на самое его дно, которого я, однако, не могу ощутить под ногами, тем сильнее меня саму охватывают странное возбуждение и растерянность, которые в нем запечатлелись и которые оно не стремится преодолеть, нагнетая вместо этого описания любовных игр в природе — друг друга подкрепляющие, подхлестывающие, перехлестывающие образы («Павлин в торжественном восторге распускает хвост»), — призывая в свидетели воду, даже камень («И за руку волну берет волна... и камень нежностью смгачает камень!»), — и все это, чтобы в конце концов упасть с небес на землю, к собственным изъянам, к собственной невосполнимой утрате. «Весь этот краткий страшный срок...» О чем ты думаешь при слове «страшный»? Страшно, когда твоим чувством злоупотребляют — тот или те, кого больше всего любишь. Когда ты, по чужой воле, не есть ни «я», ни «ты», а всего лишь «оно»: средство для осуществления чужих це-

лей. Водиться лишь с целеустремленными мыслями — не с тем, кто мыслит (не о тебе). «Ты говоришь: но есть ведь ум другой, есть дух, что верит в нас...» Если он и есть, то уж точно не дух любви. Он ум, который все рассчитывает, и мерит, и оценивает — и в зависимости от заслуг милует и казнит.

Молчи. Уж я ль не знаю: саламандра
пойдет в любой огонь.
Ее не гонит страх, и ей не больно.

Мне кажется, что ни «я», ни «ты» этого стихотворения (а мне очень хочется мыслить их вместе) не согласны покупать невредимость такой высокой ценой: бесчувствием. Тот, кто мыслит, кто мыслит сотни лет, чтобы сделать себя неуязвимым, — это его теперь ждуть. Братство, естественность, незлобивость — все, что он мыслью отогнал от себя, — всего этого ему теперь недостает. Замечает ли он вообще — он, покрытый стальной броней, — сквозь какие зоны он проходит, сквозь огонь или стужу? У него наверняка припасены инструменты для измерения температуры, ведь все окружающее должно быть для него однозначно. А стихотворение Бахман, полное раздумий, сожалений, сетований, подает нам пример точнейшей неясности, прозрачайшей многозначности. Так и не иначе, говорит оно, и в то же время — что логически немислимо — оно говорит: так. Иначе. Ты — это я, я — это он, и объяснить это невозможно. Грамматика многообразных одновременных соответствий.

Скажи, любовь

Приподними на легком ветре шляпу,
ведь непокрытой голове твоей
так рады облака, — но где блуждает
твоя душа, каким реченьям новым
твои уста сейчас отворены?
Дол полон трепетом травы змеиной,
затмения и всполохи ромашек
спят глаза, и летние снежинки
дрожат на запрокинутом лице —
о смехе, о плаче, о торжестве и гибели,
чего еще нам ждать —

Скажи, любовь моя!

Павлин в торжественном восторге распускает хвост,
свой воротник топорщит кроткий голубь,

и расширяет воздух воркованье,
и селезень кричит, и диким медом
полны луга, и в аккуратном парке
покрыла грядки золотая пыль.

От страсти рдея, устремилась рыба
сквозь гроты на коралловое ложе.
В песках певучих пляшет скорпион.
Жук вожделенную за версты чует;
его бы чуткость мне, чтоб трепет крыльев
прозреть под панцирем се — и курс
взять на далекий земляничный куст!

Скажи, любовь моя!

Заговорили воды,
и за руку волну берет волна,
и, лопнув, ягода с лозы упала.
На свет улитка высунула рожки,
и камень нежностью смягчает камень!

Скажи, любовь моя, как мне понять:
ужель весь этот краткий страшный срок
мне суждено лишь с мыслями водиться,
не знать любви и не дарить любви?
Зачем нам мыслить? Разве нас не ждут?

Ты говоришь: но есть ведь ум другой,
есть дух, что верит в нас, он ждет ответа...
Молчи. Уж я ль не знаю: саламандра
пойдет в любой огонь.
Ее не гонит страх, и ей не больно.

Дорогая А., меня будто кто-то околдовал: с тех пор как я, неся перед собой имя Кассандра как пропуск и пароль, отправилась в те регионы, где оно обитает, мне кажется, что теперь все, что бы я там ни встретила, связано «с той проблемой»; все, что до сих пор существовало раздельно, слилось за моей спиной в одно; луч света забрезжил в пространствах, чья темень была до этого непроницаема для сознания, а под ними и прежде них (обозначения места и времени здесь тоже сливаются) проступают во мгле очертания новых пространств, и время, осознаваемое нами, там всего лишь тоненькая светлая полоска на невероятно огромном, по большей части окутанном мраком торсе. Когда так расширяется угол зрения, когда устанавливается совершенно новая глубина резкости, то и сам мой взгляд на наше время, на всех нас, на тебя, на саму себя решительно меняется;

и вот такое же решительное изменение претерпели мое мировидение, мое мышление, мое самоощущение и моя самооценка более тридцати лет назад, когда первое знакомство с марксистским учением и мировидением расковало и просветлило меня. Если попытаться уяснить себе, что же тут произошло и происходит, — привести все это к самому общему знаменателю, — то надо, очевидно, говорить о расширении моего понимания «реальности»; но и сама суть этой реальности, ее внутренняя структура, ее движение тоже изменились и с каждым днем продолжают меняться; описать это невозможно, неусыпному моему профессиональному интересу, только и ждущему, чтобы уловить и описать, приходится сдерживать себя, отступать, больше того — учиться самой себе желать поражения, даже способствовать этому поражению. (Находить удовольствие в неуверенности, в зыбкости — кто нас этому научил?) Один очень умный и образованный поэт сказал мне, что он меня не понимает: почему я перестала признавать авторитет литературных жанров? Ведь нельзя же отрицать, что они выражают объективные закономерности, действующие в искусстве, они вырабатывались на протяжении веков, и они помогают нам распознавать и оценивать искусство. Ошеломленная, я не нашлась, что ему ответить.

Но я взялась за Аристотеля. «Все подражающие подражают лицам действующим, а действующие непременно бывают или хорошими, или дурными»¹. Я была поражена: это примерно тот же критерий, который большинство газетных рецензентов и нынче прилагают к книгам. Я быстренько представила себе — что и тебя попрошу сделать — своих родных, знакомых, друзей и врагов, да и себя тоже, проверяя всех критерием «хороший» или «дурной». По меркам Аристотеля среди них не нашлось ни одной подходящей модели для «подражающего». Но Аристотель нашел удобный выход. «Так, Гомер представляет лучших», — говорит он (в то время как комедия «стремится подражать худшим»). Да, подумала я, Гомер... И не удержусь от соблазна, процитирую тебе место, которое я подчеркнула для себя в пятнадцатой песни «Илиады». Гомер, по праву, несомненно по праву прославленный за свои метафоры и сравнения, изображает полет Геры, супруги Зевса, к другим олимпийским богам, — полет, предпринятый ею по его приказу:

Так устремляется мысль человека, который, прошедши
Многие земли, про них размышляет умом просвещенным:
«Там проходил я, и там», и про многое вдруг вспоминает,
С равной стремлясь быстротой, пролетела по воздуху Гера².

¹ «Поэтика» Аристотеля цитируется в переводе М. Гаспарова.

² Перевод Н. Гнедича.

Так вот, что касается Геры, «фактическая», т. е. мифическая, основа тут такова (и я прошу тебя не смущаться нижеследующим отступлением от Аристотеля, даже если оно и разрастется). Как и у других богинь, которых греки уже в Гомеровы времена, то есть в VIII веке до нашей эры, позаимствовав (снова) письменность у финикийцев, ввели в свой основанный на принципах патриархата пантеон, у Геры, супруги Зевса, долгая предыстория, которую можно истолковать, лишь исходя из представленный матриархата, и которая, как мне представляется, еще просвечивает и сквозь кажущуюся абракадабру ведьминой таблицы умножения в «Фаусте» Гёте:

Ты из одной
Десятку строй,
А двойку скрой,
О ней не вой.
Дай тройке ход...¹

Потому что Гёте, для которого, как и для всех его современников, начало истории было там, где оно было положено греками, т. е. в год первой Олимпиады, 776 г. до нашей эры, — Гёте, стало быть, знал о трехликости каждой древней матери-богини (это самая первая троица, от которой пошли затем все остальные, более поздние). Богиня соответственно трехъярусному строению мира выступала в трех ипостасях: как ясноликая и юная дева-охотница, обитательница небесных высот (Артемиды), как женственная богиня срединных сфер, одаряющая плодородием, господствующая над землей и водами, эротическое божество (Деметры, Афродита, Гера — это последнее имя, возможно, этимологически связано с обозначением земли, а другие имена Геры — Гея и Рея; в общем, это богиня земли, великая богиня Крита и Переднего Востока), и, наконец, как древняя старлица, обитающая в подземном мире, богиня смерти, которая в то же время способствует возрождению (Ию, критская богиня в образе коровы, частичная ипостась Геры, и, конечно, Геката-Гекубы). Их цвета — красный, белый, черный — соответствуют фазам Луны, она их символ, они ее божество. (Ты замечаешь, сколь трудно говорить о многих как об одной? Укладка извилин нашего мозга, линейный строй нашей речи сопротивляются ведьминой таблице умножения.)

А теперь открой вторую часть «Фауста», то место в «Классической Вальпургиевой ночи», где Анаксагор и Фалес рас-

суждают о силах, скрепляющих мир, и где Анаксагор, приверженец теории катаклизмов, указывает на гору, возникшую в результате землетрясения и заселенную пигмеями; этот народец злодеяниями своими навлекает на себя кару, так что философ, «после некоторого молчания, торжественно», оказывается вынужденным «обратиться в высоту»:

Луна, Диана и Геката!
Я обращаюсь в высоту
И твой предвечный образ чту
В трех этих именах, тройчатый!
За бедный мой народ поратуй,
Врагу попавший под пяту.

Диана, богиня римской мифологии, соответствует греческой Артемиде, дева-охотнице, а Луна — греческой Селене, богине Луны, другими ипостасями которой были Артемиды и Геката. Но кроме того, Селена связана загадочным, интригующим отношением тождества с мифической (не литературной!) Кассандрой, потому что близнецы Гелен и Кассандра, по некоторым источникам, были первоначально одним существом, а именно богиней Луны Селеной у аргиев, превратившейся затем в троянскую Елену и греческую Елену, — так что в результате осталась одна Кассандра, как сестра Париса и «эллинизированная, с целью различения, ипостась троянской Елены»: прекрасная (как и должно Елене), наделенная даром провидения, как греческая Елена и троянский Гелен. Кстати, провидчество это изначально самым тесным образом связано было с божеством Луны, а отнюдь не находилось в услужении бога света и солнца Аполлона; он как божество намного моложе Гекубы, Селены, Елены, Гелены, Кассандры, он уже является одним из мифологических отражений той патриархальной переоценки ценностей, которую в сфере художественного законодательства являет нам Аристотелева поэтика.

Ее-то и ниспровергли предшественники Гёте и он сам, молодой бюргер, а заодно с нею ниспровергли и мелочный педантизм французско-аристократического художественного устава, хотя они, насколько мне известно, никогда не вступали в полемику с тем пассажом из 15-й главы, где речь идет о характерах и где Аристотель просит поэтов иметь в виду, что «характеры должны быть хорошими». Он продолжает так: «И женщина бывает хорошая, и даже раб, хотя, быть может, первая и хуже мужчины, а второй и вовсе худ». При такой установке было вполне логично, что на представлениях греческой трагедии никогда не присутствовали женщины — даже и в качестве актрис. Ифигения, Антигона, Клитемнестра, Электра, Медея, троянки — все

¹ Здесь и далее «Фауст» цитируется в переводе Б. Пастернака.

это были мужчины в женских одеждах, на котурнах, наверняка изящного сложения, миловидные, возможно, с гомосексуальными наклонностями — но мужчины. Вся почвенно-плодоносная, матерински-плодородная материя, вся эта неукротимая стихия взаимослияний и взаимопревращений, эта сумбурная толча я жен, матерей и богинь, которых не уличить, не упорядочить и не сосчитать, — все это наконец-то, после явно нелегких и долгих столетий, называемых «тьмой веков» и теперь забытых, было прибрано к рукам, а заодно и право наследования, и частная собственность. Но угроза все равно ощущается — достаточно прислушаться к запретам Аристотеля: «Характер может быть мужественным, но, например, женскому лицу мужество и сила несообразны». Уж не боится ли мужчина? Он, который лишил женщину образования, всякой общественной деятельности и, само собой разумеется, права голоса? Да вот потому и боится. Мы по собственному опыту знаем: бойся того, кого ты отгеснил и изгнал. Вот так и Анаксагор у Гёте — ты помнишь, — легкомысленно воззвав к богине Луны, с ужасом убеждается: она грядет!

Все ближе, ближе и огромней
Летящий сверху лунный шар.
От ужаса себя не помню.
Я сам навлек ее удар...
Шар близится и потемнел.
Готово! Стрелы молний, пламя!

С Луны упал «обломок каменный» и раздавил племя пигмеев. А ведь Анаксагор рассчитывал на явление «предвечной силы», не нуждающейся ни в какой магии; тут явно предвосхищается столь важное — и горькое — прозрение старца Фауста, осенившее его в тот миг, когда он ощутил призрачную близость «четырех седых женщин» — Нехватки, Вины, Заботы, Нужды (будь их три, аналогия с тремя Мойрами — Парками, Норнами, пряхами судьбы — была бы полной):

О, если бы мне магию забыть,
Заклятий больше не произносить,
О, если бы, с природой паравне,
Быть человеком, человеком мне!

Но искусство магии было изначально прерогативой исключительно женщин (и, загнанные в тупик безлюбности, они неспроста снова обращаются к «заклятиям»): сначала прерогативой старейшин рода в ранних земледельческих общинах, затем на долгое время жриц, у которых первые жрецы могли отнять

право свершения ритуала, лишь втиснувшись сами в магические женские одеяния. Смешно, конечно, говорить об этом с возмущением в голосе, потому что развитие не могло остановиться на магии и заклинаниях. Но обязательно ли оно должно было привести к тому, что человек, мужчина, и в самом деле оказался теперь один на один с природой — не в ней, не как часть ее, а лицом к лицу, с ней «наравне», — вот о чем я спрашиваю себя и тебя.

Недавно, когда я, находясь в обществе сравнительно молодых ученых-естествоиспытателей, обсуждала с ними не только современные проблемы их науки, но и вопрос о роли женщины в истории западной культуры, один молодой человек, явно решивший поставить наконец все точки над «i», заявил: хватит оплакивать тяжелую судьбу женщин в прошлом. То, что она подчинилась мужчине, окружала его заботой, прислуживала ему, — это как раз и дало мужчине возможность сосредоточиться на науке (или на искусстве) и добиться высочайших достижений в обеих областях. Иного пути к прогрессу не было и нет, все остальное — сентиментальный вздор. В зале поднялся ропот, а я сочла, что этот человек прав. К прогрессу в привычном нашем понимании (как к гонке рекордных достижений) только этот путь и ведет. Участники дискуссии незадолго до этого объявили нереалистичным мое предложение ввести для точных наук своего рода Гиппократову клятву, которая запрещала бы ученому принимать участие в исследованиях, служащих военным целям. Мне возразили, что эта клятва будет все равно нарушаться — не здесь, так там. Для исследовательской мысли не должно существовать никаких табу. Я ответила на это, что цена за тот вид прогресса, который уже многие годы осуществляется наукой как социальным институтом, для меня слишком высока. Позже я узнала, что некоторые участники дискуссии заподозрили у меня тенденцию враждебности по отношению к науке. «Какое абсурдное недоразумение!» — подумала я в первую минуту, а потом спохватилась: если наука настолько отдалилась от той неутолимой жажды познания, из которой она родилась и с которой я ее втайне все еще отождествляю, могу ли я к такой науке относиться «дружелюбно»? Наверное, пора нам перестать всерьез относиться к ярлыкам, которые на нас наклеивают.

На чем мы остановились? На женской магии, на Гёте, на вопросе о том, что значит сегодня «прогресс». На нисхождении к «Матерям». На прекрасной Елене, к которой неудержимо влечет Фауста и которую Мефистофель в отличие от всего остального, чего Фауст до сих пор желал, не может ему раздобыть, хоть для него и «созвать колдуний, ведьм — пустяк». «Но средство есть».

Фауст. Скажи скорей, какое.
Мефистофель. Я эту тайну нехотя открою.
Богини высятся в обособленье
От мира, и пространства, и времен.
Предмет глупок, я трудностью стеснен.
То — Матери.

Фауст (*испуганно*). Что? Матери?
Мефистофель. В смятеньях

Ты сказанным как будто приведен?
Фауст. Да. Матери... Звучит необычайно.
Мефистофель. Всегда такими и бывают тайны.
Да и нельзя иначе. Сам прикинь:
Мы называем нехотя богинь.
А вам непостижимы их глубины.
Они нужны нам, ты тому причиной.

Фауст пытается далее описать неопишемую пустоту «ничто», сквозь которое он должен пройти (в надежде «достать все»), — и тут ему вручается ключ.

Мефистофель. Волшебный ключ твой верный направитель
При нисхожденье к Матерям в обитель.

Фауст (*содрогаясь*). При спуске к Матерям! Чем это слово
Страшнее мне удара громового?

Мефистофель тут в своей роли, он пытается низвести это содрогание на уровень банальности, — содрогание, которое на этом месте и при этих словах ощутил, по его собственному признанию, сам Гёте и от которого не намерен уклоняться Фауст:

Я не иду покоя столбняка.
Способность потрясения — высока.
И непривычность чувства драгоценна
Тем, что роднит с безмерностью вселенной.

Поистине удивления достойно, что слово, давно уже насильственно низведенное в самую будничную сферу, — слово «матери» — все еще не утратило своего излучения, что оно все еще несет в себе мифическую стихию «безмерности», которая рациональным умом едва ли постижима, ведь во времена Гёте, по сути, никто ничего еще не знает о раскопках, о находках археологов, о хронологических наслоениях греческой мифологии, о ее локальных видоизменениях. *Знают* только о некоем древнем племени богов, потомков Урана, заточившего в чреве земли всех сыновей, рожденных ему праматерью Геей, чтобы они не оспаривали

у него права на трон; об оскотлении отца, совершенном по наущению Геи Кроносом, ее и Урановым сыном; о связи между Кроносом и Реей — кровнородственным браке, поскольку они оба были детьми Геи, братом и сестрой, а табу на кровосмешение было наложено лишь много позже; о страхе Кроноса за свою власть, внушившем ему мысль пожирать каждого из рождающихся своих сыновей, в том числе и Зевса, — «а Рею брало неизбывное горе» (Гесиод). Чтобы спасти Зевса, коему предназначено стать отцом рода человеческого, Рея вместо новорожденного подает на обед супругу камень, завернутый в пеленки, после чего Кронос вместе с камнем извергает из желудка и всех проглоченных детей. Картина отнюдь не идиллическая, чего уж там говорить. Но поскольку современники Гёте были далеки от мысли, что миф может отражать реальные междоусобицы; поскольку они еще ничего не могли знать о функции героя в матриархальных общинах (раз в году он должен был на «священной свадьбе» сойтись браком с предводительницей рода, жрицей, царицей, чтобы затем быть принесенным в жертву по торжественному обряду — действие, которое, как и оскотление Урана, вполне могло служить обоснованием мужского страха перед женскими ритуалами); поскольку наша немецкая классика, найдя под властью исторически вполне понятного, даже неизбежного самообмана, видела в греческой классике счастливый образец слияния единичного человека (мужчины, конечно) с обществом («Они суть то, чем мы были; они суть то, чем мы снова должны стать». Шиллер); поскольку все это соответствовало изначальной установке на гармонизирующую идеализацию греческих порядков, — откуда тогда, как не из личного опыта, брался этот страх перед «Матерями», отражение которого мы находим и в «Медее», и в мифах об амазонках, — страх, делавший для Гёте особенно ненавистной «Пентесилею» Клейста...

Содрогание соединяет в себе благоговение и страх. Мне часто думается, что нам, нынешним, остался только страх.

Прошу тебя, наберись терпения. Я вовсе не забыла, с чего я, собственно, начала; я начала с вопроса: кем была Кассандра до того, как кто-то первый о ней написал? (Но ведь она творение поэтов; она говорит только их устами, мы видим ее только их глазами... Это тоже один из следов, и я иду по нему, пока от него не ответвится другой, по которому я тоже должна идти, пока следующий не заставит меня отклониться от предыдущего.) Как бы мне хотелось передать тебе то чувство, которое снова и снова ввергает меня в состояние беспокойства, отражаемое, конечно, и этим письмом: ощущение того, что в основе, в истоке своем все со всем взаимосвязано и что когда идешь, не сворачивая, по одной только колее, когда выбираешь одну только «нить» и сучишь ее, оправдывая себя интересами повествования и исследо-

вания, то тем самым повреждаешь всю ткань и саму эту «нить». Но именно этим путем, выражаясь упрощенно, и шла до сих пор европейская мысль — путем вычленения, анализа, отказа от многообразия явлений в пользу дуализма, монизма, в пользу закрытости мировоззрений и систем; то был отказ от субъективности в пользу надежной «объективности».

Вот для этого — то есть и для этого тоже — нужны были немецким классикам «древние». «Объективные» эстетические нормы, которые Гёте, еще не достигнув сорокалетия, выводит из своих наблюдений в Италии над копиями греческих произведений искусства или их оригиналами, суть ведь в то же время и свидетельства его фиаско в общественной жизни великогерцогского Веймара: «В путешествии этом, как я надеюсь, душа моя обретет спокойствие в лицезрении прекрасных творений искусства, прочно запечатлев в памяти их священные образы и храня их для будущих тихих наслаждений. Далее же я намереваюсь ознакомиться с изделиями ремесленников и, когда вернусь, приняться за изучение химии и механики. Ибо время прекрасного миновало, лишь нужда и насущная потребность суть заповеди нынешнего дня». Я отнюдь не считаю изъясного его учения о художественных формах то, что в качестве субъективной добавки в это учение вошла новая гётевская жизненная установка, программа отречения от политических, а отчасти и человеческих забот, потребность в постоянстве, устойчивости, завершенности и надежности, жажда незыблемых «истинных» законов, мечта об их претворении в жизнь: «Эти возвышенные творения искусства в то же время создавались людьми как высочайшие творения природы, в согласии с истинными ее законами. Всякий произвол, всякая прихоть воображения отпадают за ненужностью, здесь царит необходимость, здесь царит Бог».

Здесь царит — даже и в изображении ужасного — умеренность, самообладание, строгость формы. Написал же Шиллер свою «Кассандру» — стихотворение, открывающееся такими строками:

Все в обители Приама
Возвещало брачный час,
Запах роз и фимиама,
Гимны дев и лирный глас.
Спит гроза минувшей брани,
Щит, и меч, и конь забыт,
Облечен в пурпурны ткани
С Поликсеною Пелид¹.

¹ Здесь и далее «Кассандра» Шиллера цитируется в переводе В. Жуковского.

Эта ситуация взята не из «Илиады», а из других источников: греческий герой Ахилл, по сути дела распутник, влюбился в сестру Кассандры Поликсену, а та выманила у него тайну его уязвимости (на пятке) и, помимо того, обещание снять осаду с Трои, если она согласится стать его женой. Чтобы скрепить этот уговор жертвоприношением, Ахилл приходит босой и безоружный в святилище тимбрского Аполлона — чьей жрицей, вспомним, является Кассандра, — и там Парис пронзает его пятку ядовитой стрелой. Свадьбы как таковой, собственно говоря, нет, и не было надобности в провидице, чтобы предсказать трагическое окончание этого дня, поскольку оно спланировано заранее. Шиллер меняет завязку, чтобы поставить настроение Кассандры в противоположность к всеобщему ликованию:

Уклонясь от лирных звонов,
Нелюдима и одна,
Дочь Приама в Аполлонов
Древний лес удалена.

Мягко и плавно льются строфы, и Кассандра, в них являющаяся и сетующая на свой жребий пророчицы, предстает скорее героиней эпохи сентиментализма, которая предпочла бы для себя добропорядочный бюргерский брак, вместо того чтобы непрерывно стенать под бременем своих видений:

И вообще мое стенанье,
И печаль моя мне стыд:
Лишь с пустынями страданье
Сердце сирое делит.
От счастливых отчужденна,
Веселящимся позор, —
Я тобой всех благ лишена,
О предвидения взор!

Что Кассандре дар вещанья
В сем жилище скромных чад
Безмятежного незнанья
И блаженных им стократ?
Ах! почто она предвидит
То, чего не отвратит?..
Неизбежное придет,
И грозящее срзат.

И так далее. Неподражаемо приторной благопристойностью такого представления о Кассандре, сполна воздающего обыденно-мещанскому отвращению ко всякому величию харак-

тера, и особенно характера женского, мы обязаны, конечно же, не только шиллеровскому идеалу женщины, но не в меньшей степени и его идеалу классики, не позволяющему предполагать в характере героини следы длительного, противоречивого исторического развития. И тут мы снова возвращаемся к гётевским Матерям и к мифистофелевскому указанию Фаусту принести от них жертвенный треножник.

Когда увидишь жертвенник в огне,
Знай, кончен спуск, и ты на самом дне.
Пред жертвенником Матери стоят,
Расхаживают, сходятся, сидят.
Так вечный смысл стремится к вечной смене
От воплощенья к перевоплощенью.
Они лишь видят сущностей чертеж
И не замстят, как ты подойдешь.
Тогда кидайся смело на огонь
И с властью ключом треножник тронь...
— Так. Хорошо. Потом свершай подъем.
Треножник двинется вслед за ключом.
Пока заметят Матери грабеж,
На крыльях счастья в зал ты попадешь.
Ты вызовешь средь общей кутерьмы
Героя с героиню из тьмы...

Этот треножник, с помощью которого Фауст позже и в самом деле вызовет образ Елены, — древний сакральный предмет, его можно увидеть на критских печатках рядом с изображениями древнейших богинь, и его применяют в культовых действиях. В третьем акте второй части «Фауста», где появляется Елена, Форкиада-Мифистофель перечисляет его среди тех предметов, которые необходимы для подготовки жертвоприношения. Самая знаменитая прорицательница Греции, дельфийская Пифия, как известно, восседала на треножнике явно с незапамятных времен, а не только с той поры, как разносторонний бог Аполлон на волне всеобщей патриархализации завладел также культурами и мифами и перенял руководство этим святилищем: самый первый победитель дракона. Ему ведь пришлось убить стрелой рожденного Геей змея Пифона, а это означает не что иное, как ниспровержение женской генеалогической линии прорицательниц-оракулов; вместо них он возвел на трон своих прорицателей — мужчин, жрецов, происходящих якобы с минойского Крита. Вне всякого сомнения, этот Аполлон, сын богини Лето, брат Артемиды (Феб, Блистающий), возник постепенно из матриархальных малоазийских культов Артемиды, перемахнул примерно в 1000 году до нашей эры через Делос (где он якобы родился

или сын Зевса!) на греческий материк и вознесся к рангу не только наивысшего, «самого ясновидящего» бога-прорицателя, но и «Мусагета», предводителя муз (на что ему давал право такой его атрибут, как семиструнная лира), и «Мойрагета», предводителя Мойр, прях Судьбы, которые первоначально якобы были его престарелыми родственницами и которые в качестве повитух присутствовали при его рождении и ввели ему в первые песенки те магические знаки, что отличали его от всех остальных; благодаря этим знакам его распознавали все родичи и соплеменники — подобно тому как в бесчисленных сказках узнают по какой-либо метке подкидыша-принца. Какое увлекательное занятие — проследить превращение этих прародительниц в богинь Судьбы (по мере превращения племени в род, а этого последнего в царство); их родственные связи с критскими Эриниями; их превращения в Ор, которые как воплощения закона и порядка, мира и справедливости объявились лишь с образованием государств-полисов.

Эсхил еще знает, что «кормовым веслом судьбы» изначально правят «три Мойры — да Эринии, что помнят все»¹. Также и Зевс — представление о котором могло возникнуть лишь с появлением царств, основанных на праве наследования по мужской линии, — еще долгое время не может ослушаться решений Мойр, древнейших богинь Судьбы. Но параллельно процессу образования государств древние родовые богини вытесняются более новыми богами государственных религий. И в эти же самые столетия из культа горной нимфы Дафны («лавр»), получившей от богини Земля Геи дар прорицательницы и на протяжении второго тысячелетия до нашей эры (время «исторической» Кассандры!) пророчествовавшей в простой хижине из лавровых ветвей в Дельфах; из чисто матриархального культа жриц, сопровождавших каждое публичное событие в своем клане и роде хоровым пением, плясками, жертвоприношениями и пророчествами; из позднейшего «храма из воска и перьев», возведенного якобы пчелами (пчела — священное животное женского клана), возвысился, наконец, в VII веке первый величественный бронзовый храм в Дельфах, который уже однозначно был посвящен Аполлону и в котором «златогласым певуньям» было отведено место уже только на фронтоне в качестве украшающих барельефов; это так называемые «кселодоны», «взывающие», то есть женщины, раз в месяц отправляющиеся на перекрестки дорог и взывающие к Луне; культ, связанный с Деметрой и Артемидой, сестрами Аполлона...

Наверху женщины лепились на фризе храма, посвященного

¹ Эсхил. «Прометей Прикованный», эпизодий второй. Перевод С. Анта.

мужскому божеству. Внизу же, в самом святилище, сидела вещательница Пифия — единственная женщина, оставшаяся в чисто мужском культе прорицателей, отныне всего лишь медиум в руках могущественных жрецов — и, введенная в транс вдыханием ядовитых испарений, пережвывая лаврового листа, а может быть, самовнушением и гипнозом, извиваясь в конвульсиях, выкрикивала свои нечленораздельные, бессвязные пророчества, толкование и отчасти поэтическое оформление которых было теперь опять-таки прерогативой жрецов, первых поэтов. Прежнее соотношение — когда мужчины отождествляли себя с женщинами, мимически изображали родовые схватки, осклапывали себя, чтобы получить возможность стать жрецами (это утверждается даже об Аполлоне), в женских одеждах прокрадывались в касту жриц (тогда же Аполлон), — это соотношение теперь полностью перевернулось, и женщина стала орудием в руках мужчин. На примере профессии поэта, провидца, жреца — профессии, коренящейся в культовой магии, — яснее всего можно наблюдать этот процесс: женщина, прежде бывшая ее носительницей, теперь либо вообще от нее отстраняется, либо превращается в объект.

Так прошли века. На одном из переломных рубежей этой богатой потрясениями истории стоит Кассандра. Она дочь царского дома, в котором, как видно, уже прочно закрепилось мужское право наследования, хотя царица Гекуба, происходящая, как полагают некоторые, из матриархальной культуры локров, отнюдь еще не низведена до полного ничтожества; дома, в котором отнюдь еще не забыта такая переходная форма, как похищение царевны женихом (Парис — Елена), поскольку передать трон мужчине могла только женщина; в котором, вероятно, еще соблюдалась наряду с культом новых богов и древние матриархальные культы, особенно среди сельского населения, в низших слоях; в котором молодая женщина еще может стать жрицей, хотя едва ли верховной; в котором она, обуреваемая видениями, может быть «провидицей», но не официальной прорицательницей-оракулом — это уже прерогатива мужчин, это они предсказывают будущее по полету птиц, по внутренностям жертвенных животных: Калхант, Гелен, Лаокоон. Наверное, этой культуре не под силу было противостоять строго патриархальной культуре микенских ахейцев, их негибасмой воле к власти. Может быть, «в реальной жизни» — прошу тебя, не спорь, была такая! — Кассандра вовсе и не была жрицей Аполлона? Или, во всяком случае, была жрицей другого Аполлона — не этого, не «блистающего», не «стреловержца» классического греческого Олимпа? Более древнего Аполлона, которому пристало прозвище Локсий (Темный); чье происхождение от волка, чье двойничество с сестрой Артемидой еще сохранялись в памяти людей.

Ведь и Афина, почитаемая в другом святилище города, наверняка была не классической Афиной Палладой, а культовым символом в его постоянном преображении из хтонических богинь-провидительниц рода в девственную богиню-покровительницу властителей; такая же судьба и у Мысли, которой завладевают теперь греки-мужчины (разумеется, интеллектуалы), чтобы поднять ее поистине до головокружительных высот абстракции, и у которой ведь тоже нет матери — одни отцы. Полагаешь ли ты неслепым заблуждением веру в то, что «мышление», если бы в нем на протяжении более двух тысяч лет принимали участие и женщины, вело бы теперь совсем иную жизнь? (Мы слишком легко забываем тот факт, что говорить о женщинах не как о единичных интеллектуалах, а как о более или менее различным интеллектуальном слое можно лишь в последние шестьдесят-семьдесят лет; мы знаем истории, написанные ею и о ней, но не собственная история — история невероятного напряжения и мужества, но также и невероятного самоотречения, подавления потребностей ее природы — еще не написана. То была бы одновременно история одной из оборотных сторон нашей культуры.)

Так что же, «назад к природе» или, что для многих одно и то же, к ранним стадиям человеческого бытия? Вот этого, дорогая А., мы не можем желать. «Познай самого себя», эта мудрость дельфийского оракула, с которой мы солидаризируемся, — она заповедь Аполлона; ни одной богине древней эпохи, эпохи еще единого, нерасчлененного бытия, она бы не пришла в голову; это только для того бога, который наряду со многими другими ипостасями носит прозвище Гекатос, «вечно отдаленный», что подразумевает его «лучезарную чистоту» и «вечное отдаление от земных сует», — только для этого бога возвышенной свободы духа, который уже по определению не соприкасается с землей, недоступно самопознание, к которому он стремится. У него попросту нет возможности испытать себя в реальной жизни, на практике. Разреженные сферы, в которых укрывается он сам и его пугливые адепты-недотроги, — эти сферы холодны. И Аполлоновым ученикам не обойтись без кунштюков, если они хотят избежать смерти от переохлаждения. Один из таких кунштюков — снова и снова возобновляемая попытка обрести в женщине источник силы. А это значит — приспособить ее к своим моделям бытия и мышления. Проще говоря, эксплуатация.

Не откажусь от соблазна перескочить через две с половиной тысячи лет и процитировать тебе небольшой диалог из пьесы Марии-Луизы Фляйсер «Глубоководная рыба». Беседуют Волланк, бывший велосипедист-чемпион, и Тютю, гаварь литературной клики. Время действия — двадцатые годы. Место действия — Берлин, метрополия германского рейха.

Волланк. Эта толпа женщин вокруг вас — ужас! Каждая убраться готова, только б оказать вам услугу.

Тютю. А с какой стати мне не брать, что дают? Я превратил это в систему. Все, что способно меня подстегнуть, мне подносят на блюдечке, а мне и пальцем шевелить не надо. От всякой кропотливой черновой работы, так изматывающей нервы, я избавлен.

Волланк. И вы не боитесь?

Тютю. Чего?

Волланк. Да вы же совсем захиреете, черт побери!

Тютю. Напротив, я только быстрее разовьюсь. Кульминационные пункты в моей жизни набегают один на другой, так что я живу насыщенной. Силы высвобождаются для главного... Я могу полностью отдаваться своим инстинктам, прихотям, своей ненасытной жаждой деятельности...

Дорогая А., неужели это и есть объективное мышление, из которого возникает «объективная» эстетика? Перечисли все великие имена западной литературы, не забудь ни Гомера, ни Брехта, и спроси себя, с каким из этих исполинов духа ты как писательница могла бы одушить внутреннее родство. У нас нет аутентичных предтеч, и мы обречены тратить уйму времени на блуждания и заблуждения; но, думается, это нам не только в убыток. Редкие, очень редкие женские голоса доносятся до нас, с тех пор как около 600 года до нашей эры прозвучала песнь Сафо:

Луна и Плеяды скрылись,
Давно наступила полночь,
Проходит, проходит время,—
А я все одна в постели.

Или:

На земле на черной всего прекрасней
Те считают конницу, те пехоту,
Те — суда. По-моему ж, то прекрасно,
Что кому любо¹.

В те времена Лесбос был одним из пяти мест в Греции, где еще сохранялись школы для девушек — такую школу возглавляла Сафо. Она была самостоятельной работающей женщиной. Потом это все прекратилось. Вслед за прорицательницей умолкла и та, что ей наследовала, — поэтесса. На тысячелетия. Отныне одни

¹ Переводы В. Вересаева.

лишь мужчины, переняв женские обязанности, воспевали луну и любовь, оплакивали растущую холодность мира, да еще и нередко глотали насмешки своих более трезвых собратьев по полу насчет того, что они-де «слезливы», «сентиментальны», «женоподобны», а главное — «далеки от действительности». По-моему, с течением времени становилось все труднее быть мужчиной. И нынче мы уже слышим, как некоторые из них говорят: «Хорошо, когда ты женщина, а не победитель» (Хайнер Мюллер, «Квартет»^{*}). Как тут не поверить...

С другой стороны, лишь тому, кто знаком с конфликтами, есть что рассказать. Хоры жриц, прилежно сопровождавшие годовой жизненный цикл почти еще не расчлененной общины, — это гимны, тут ничего не рассказывают. Лишь когда появляются собственность, иерархия, патриархат — лишь тогда из ткани человеческой жизни, находившейся искони в руках трех древних старух Мойр, вырывается единичная кроваво-красная нить и утолщается, укрепляется за счет равномерной гладкости ткани: рассказ о битвах героев, их победах и поражениях. Рождается фабула. Эпос, возникший в процессе сражений за патриархат, благодаря *самой своей структуре* тоже становится инструментом его установления и укрепления. Обязанность служить образцом налагается на героя-мужчину — вплоть до сегодняшнего дня. Хор женщин исчез, как сквозь землю провалился. Женщина становится героиней мужских рассказов. Например, Елена — окаменелый идол, выживший в мифах.

«Елена, славой и стыдом покрытая...» В последний раз я процитирую тебе «Фауста», к сожалению, не весь монолог Елены, которая, вернувшись после падения Трои в Спарту, откуда она была похищена Парисом, и очутившись снова в руках своего супруга Менелая, уже не узнает сама себя.

Взаимными упреками,

Напоминаями и обвиненьями

Вы вызвали такие вещи в памяти,

Что, хоть, по счастью, снова я на родине,

Самой мне захотелось в сумрак Оркуса.

Да полно, было ль это все действительно,

Иль только ночью мне во сне привиделось?

Взаправду ль я была той страшной женщиной,

Мечтой и мукой безрассудных воинов,

Из-за которой города разрушены?

Далее припоминаются все этапы ее блужданий по мужским постелям, а она остается безучастной — вещь, которую жаждут, вручают супругу, похищают, отвоёвывают. Елену на театре всегда играют неверно, режиссеры видят в ней кокетку и соврати-

тельницу мужчин, а не мячик; никто не читает того, что Гёте вложил в ее собственные уста, и, похоже, никто не верит, что для него (и для нее) это вполне серьезно. Последний, кто, «пылая страстью», является к ней, — Ахилл.

Елена. Да, я тогда сошлась с ним — идол с идиолом.
То был лишь сон — из слов уж это явствует.
Нет сил... сама себе я стала идиолом.

(*Падает без чувств, ее подхватывают участницы полухория*)¹

«Идол» происходит от греческого слова, означающего «образ, подобие». У женщины отнимают живую память и подсовывают ей образ, который составили о ней другие, — ужасная процедура, страшное зрелище окаменения, овеществления живой души. Теперь она вещь, *res mancipi*², как домочадцы, рабы, угодня, стада, и владелец может теперь путем *mancipatio*, т. е. юридически оформленной купли-продажи, передать ее другому человеку, а тот в свою очередь тоже может ее *manu capere* — «взять в руки», наложить на нее руку. А вот *emancipatio*, т. е. освобождение из-под власти *pater familias*³, долгое время предусматривалось лишь для сыновей, и даже когда это слово — «эмансипация» — начали, наконец, применять по отношению к женщинам (еще и сегодня нередко в уничижительном смысле: «Ты что, эмансипантка?»), то все — и женщины тоже — употребляли это понятие (революционный, радикальный смысл которого явно всем мешал и мешает) в смысле «равноправие», тем самым измельчая и искажая этот смысл.

Дорогая А., простор этот, как говаривал Фонтане, уж больно широк, но нам, видимо, придется-таки дойти до конца, если уж мы пошли на поводу у этого слова — «Кассандра». Понимают ли люди, понимаем ли мы сами, сколь это может быть хлопотно и даже опасно, если «вещь» снова начнет жить, если идол снова начнет чувствовать, если «оно» снова обретет язык? И, осознавая себя женщиной, станет все-таки говорить «я»? Как необъятно пространство (тут жизни целых поколений!), в котором пишущая женщина все еще почти теряется — или в самом деле теряется! Тут и мужчины, и мужские институты, союзы, церкви, партии, государство. Есть документальные свидетельства, протоколы — мы своими глазами видели, своими ушами слышали, как эти двое друг с другом говорят. Вот, к примеру, как мужчина Эллис — все из той же «Глубоководной рыбы» Флейсер — разговаривает с женщиной Эббой: «Если женщина любит муж-

чину, ей море по колено... В душе я очень деликатен... Мои страдания — это твои страдания. Мы едино тело и единая плоть... Ты не должна иметь никакой своей воли. Ты вообще не должна существовать. Я тебя вберу в себя всю, без остатка... Ты должна слепо меня слушаться, а я — тебя... Я схватил тебя, как зверя хватают себе самку. И я защищаю свою добычу. Я буду так неотрывно о тебе думать, что приворожу тебя... Ты забудешь, что ты жертва... Я ведь колдун... Ты должна слепо мне довериться. Конечно же, я не могу допустить, чтобы кто-то рядом со мной сомневался... Так покончи с собой, если тебе себя жалко. Удавься, утопись! Одной будет меньше... Я еще сделаю из тебя человека».

А какие фразы в этой бескрайней пустыне произносит женщина? Что она может возразить мужчине, который болен самим собой? А вот что: «Я просто не знаю, как мне теперь быть. Я ведь не чурка какая-нибудь бесчувственная... Это ты-то будешь слушаться? Как бы не так... Все это ужасно... Будь ты не так красив, ты бы не издевался над людьми... У меня натура такая — я все предвижу наперед. И могу от многого отказаться... Куда ни глянь — пропасть. Хотя глаза из черепа выдирай... Я ведь хочу стать другой... Его глаза обвиняют меня. Провалиться бы сквозь землю...»

Против таких фраз, дорогая А., ты знаешь это не хуже меня, нет аргументов, никакие «но» тут не помогут. Я утверждаю, что любой женщине, которая в наш век и в нашем культурном кругу дерзнула переступить порог институтов, зиждующихся на принципе мужского самопознания (а «литература», «эстетика» и суть такие институты), знакомо это желание самоуничтожения. В конце романа Ингесборг Бахман «Малина» женщина исчезает в стене, а мужчина, этот самый Малина, одновременно являющийся и частицей ее самой, спокойно констатирует положение дел: «Никакой женщины здесь нет».

То было убийство, гласит последняя фраза.

Но то было и самоубийство.

Дорогая А., я предупреждала тебя, что тему, всецело занимающую мои мысли, ограничить очень трудно. Но я все-таки сдержу себя и не буду говорить о «положении женщины», делиться своими наблюдениями, цитировать письма. Наверное, однажды стоит это сделать — хотя бы ради документального подтверждения того, что женщины пишут о женщинах и о себе самих и чего критики не хотят замечать. Я понимаю, конечно, что сама эта жажда подтверждения связана с навязчивой идеей стоящего перед нами выбора — либо приладиться, либо сгнуться; связана она и с непрерываемой властью той эстетики, которую в нас вдолбили и о которой у нас с тобой идет речь. Ты только подумай, после чуть ли не трехтысячелетней немоты — или в луч-

¹ Этот отрывок дан в переводе А. Карельского.

² Принадлежащее по праву собственности (*лат.*).

³ Отец семейства (*лат.*).

шем случае спорадических высказываний — приходит женщина, чтобы сказать: я собираю лишь те истории, которые остаются никому не известными, и лишь истории со смертельным исходом. «Разновидности смерти»¹.

Дорогая А., я не могу этого доказать — разве что единицам, но что значит единственный случай, когда утверждение, которое я, ничтоже сумняшеся, все-таки выскажу, столь суммарно: в той мере, в какой эстетика стремится к регламентации жанров и установлению правил, а особенно к выражению определенных взглядов на содержательную субстанцию различных жанров, то есть на «действительность» (увы, я сама замечаю, что это слово у меня все чаще попадает в кавычки, но ничего поделать не могу), — так вот, я утверждаю, что эстетика (а с нею и философия, и наука) изобретена была, пожалуй, в равной степени для того, чтобы отгородиться от действительности, как и для того, чтобы познать ее.

Ты думаешь, Бахман не знала, как писали романы Гёте, Стендаль, Толстой, Фонтане, Пруст и Джойс? Или не могла предвидеть, как ошарашит всех то сочинение, которое она под видом «романа» предложила публике, как оно оглушительным вихрем пронесется мимо всех сколько-нибудь авторитетных установлений и категорий — даже и толкуй мы их как угодно широко, все равно! — чтобы, не задержавшись никакой, даже самой тонкой сетью, камнем рухнуть вниз. «Госпожа Бовари — это я», — сказал, как известно, Флобер, и мы уже более ста лет восхищаемся этими словами, восхищаемся слезами Флобера над смертным ложем бедной Бовари, восхищаемся кристально ясно выстроенным романом, который он, несмотря на слезы, сумел написать, и мы не перестанем и не должны переставать восхищаться. Но Флобер все-таки *не был* госпожой Бовари — уж этот факт мы, при всем желании и при всем понимании потаенного родства между автором и персонажем, не можем целиком игнорировать. А вот Ингеборг Бахман *сама и есть* та безымянная женщина из «Малины», *сама и есть* та Франца из фрагмента романа, которая просто не может совладать со своей историей, облечь ее в форму. Не может она превратить свой личный опыт в презентабельный роман, вычленив его из себя как художественное произведение. Таланта не хватило? Уж в этом-то случае довод отпадает сам собой. Правда, все равно нелегко понять, что ее ранг как художника проявляется наряду со всем прочим также и в том, что она свой личный женский опыт не может умертвить в «искусстве». Парадокс? О да. Она сохраняет

«аутентичность» (еще одно словечко из художественного лексикона) лишь ценой отказа от той остроты, которую обеспечивают определенные формы. Тут бьется в поисках слов одержимость, не признающая узды ритуала, — не признающая ничего, необузданная, неукротимая. Неукротимая женщина — как тут не развести руками... Совершенно другая логика (и это у нее, которая как никто знала мужское мышление, все эти «если — то», «поскольку — то», «как — так и»), другая манера ставить вопросы (не прежнее убийственное «кто кого?»), другого рода сила, другого рода слабость. Иные и дружба и вражда; тут, куда ни глянь, какую страницу ни открой, рушатся альтернативы, до сих пор скреплявшие (и разрывавшие) наш мир, наше учение о прекрасном и об искусстве, тут будто какой-то совершенно новый напор ищет для себя выражения, с дрожью ужаса, и страха, и растерянности. И нет даже утешительной надежды на то, что это вообще возможно отлить в форму, по крайней мере в традиционном смысле.

«Это»? Но что? Состояние жертвы, осознавшей свою роль жертвы и отказывающейся вершить ритуал; жертвы, чей экстаз, однако, может оказаться саморазрушительным — ведь она не распознала своего палача, она его любила, считала его своим возлюбленным; жертвы, рванувшей прочь, вместо того чтобы принять предложение возлюбленного стать равной ему, стать его сотрудницей, но только по возможности анонимно, то есть в любом случае остаться объектом, вещью. Что могло ее так разрушить? — этот вопрос во фрагменте «Франца» задает себе брат, единственное мужское, единственное человеческое существо, к которому сестра может взывать о помощи. Насколько я могу видеть, это и есть главный, сюжетообразующий вопрос, на который, увы, — да, увы! — не способна дать ответ ни старая, ни новая, ни даже самая новейшая романтическая форма. Никто из них обоих — ни смертельно больная сестра, ни брат, хоть настолько понявший положение дел, чтобы остаться при ней и больше ее не покидать, — никто из них до самого конца так и не сможет дать ясный и четкий ответ, по крайней мере в тех словах, какими мы располагаем. И мы тоже скорее познаем ужас, чем узнаем ответ, или нас хотят тут как раз натолкнуть на то, что этот безымянный ужас и есть искомый ответ для нашей эпохи, что все мы — и мужчины и женщины — не сможем уже продвинуться вперед, не сможем очиститься и освободиться, если не испытаем этого ужаса, если захотим уклониться от него?

«Вот только рассказывать трудно», — говорит она однажды, будто задыхаясь, и то, что потом все-таки рассказывается, — что слагается, сплетается «из слов, которых не существует», и «из слов, которые существуют, потому что на них настаивают», — предстает как ткань из самых диковинных, порою бог весть из

¹ Название цикла романов, над которым собиралась работать Ингеборг Бахман и в который должен был войти роман «Малина». — Прим. перев.

какого далека протянутых нитей; это можно почувствовать, когда в беседе брата с сестрой всплывают две строчки из стихотворения Музиля «Изида и Озирис» — как пароль, как заклинание, а также и как заверение в безусловной взаимной поддержке:

И приникнул брат к ее постели,
и они сердца друг друга съели.

У Музиля это «брат из всех — из сотен, тысяч братьев»; и тот, кто помнит историю египетских близнецов, царских отпрысков Озириса и Изиды, кто помнит историю распространения их культа и знает, какое значение имело ритуальное «послание» частей тела человеческих жертв, — тот уже не будет тут ждать братско-сестринской идилии. И все-таки их близость, их способность по-братски, по-сестрински понять друг друга или ошибиться друг в друге — это факты настоящего времени, о котором и в котором ведется рассказ; а вот другая сфера, невыносимая, сводящая с ума, та, что двусмысленно именуется «временем Иордана», — она не переживается непосредственно, о ней в лучшем случае, и то не сразу, не всегда, вспоминают. Профессор Иордан, за которым Франца была замужем, — знаменитый психиатр, столп морали, высшая инстанция, тот масштаб, который она хотела сделать и своим; и это — во всех мне известных системах — та самая граница, у которой всякой женской эмансипации положено останавливаться; в этой аксиоме сомнений быть не должно. Мужчина, во власть которого она отдалась («И какой это был позор!»), «не выносил вида человека продленного, вышедшего за те пределы, которые он ему поставил...». «За что он так меня ненавидел, да нет, не меня, то другое, что есть во мне...» Он и ее, как всех других людей, расчленил, препарировал, она была невежественным объектом «дьявольского» опыта. «Ты говоришь — фашизм. Странно, я никогда не слыхала, чтобы это слово применялось к сугубо частной жизни», но «где-то надо же начинать...» «Да, он злодей... Правда, сегодня нельзя говорить: злодей, надо говорить: больной...» «Он, конечно, маньяк. Но такого еще поискать, который выглядел бы разумнее...» «Отгороженная от всего общества, я была наедине с этим мужчиной, как в джунглях, — посреди цивилизации! — и я видела, что он-то во всоружии, а я безоружна». А еще он заставлял ее просматривать заметки, которые он о ней делал, — страсть припадать к замочным скважинам, свойственная, впрочем, и многим онанистам от искусства.

«Если я клинический случай, он сам меня в него и загнал», — загнал в то, что она (и наверняка уж он тоже) называет «фокуса-

ми»; это комплексы, которые все более и более ею овладевают; для них, как и для всего остального в истории этой цивилизации, есть «прозвания», научные обозначения, которые она теперь, как и все остальное, что хотел ей навязать интеллект белого мужчины, отбрасывает от себя. «Я имею в виду страх. Захлопните все книги, абракадабру философов, этих сатиров страха, которые заклинаяют метафизику, но не знают, что такое страх».

Какое значение, спрошу я тебя теперь, в нашей системе отсчета имеет страх — не тот страх, о котором пишут в учебниках психиатрии, а голый, неприкрытый страх, с которым человек остается один на один, без сна в глазу, трясясь всем телом, — и при этом никто ему не верит? Какое место отведено этому вечно-му, неотпускающему страху в учебниках и руководствах по эстетике, где как-никак речь идет о самообладании и об овладении материалом?

Женщина по имени Франца осознает, что она подверглась колонизации. «Я существо низшей расы... а он из тех экземпляров, что нынче правят, гордятся успехами, что жестоки по нынешнему, когда нападают... Тем они и живут». Она могла бы это понять и раньше, но она долго была отстранена от его занятий, а когда ей пришлось стать его коллегой, сотрудницей, партнером — и соперницей, и конкуренткой, — то удар настиг ее неподготовленной. И вот заключительные фразы, сводящие воедино всех тех женщин, о которых я сегодня говорила, — пророчицу, поттессу, жрицу, идола, литературный персонаж:

«По-настоящему обокрасть можно лишь тех, кто живет по законам магии, а для меня все имеет значение... В Австралии аборигенов не уничтожили, но они сами вымирают, и клинические обследования не в состоянии обнаружить тому органические причины, это у них смертельное отчаяние, своего рода самоубийство, ибо они считают, что белые с помощью магии завладели всем их добром...»

Он отнял у меня все мое добро. Мой смех, мою нежность, способность радоваться, сострадать, помогать, мою животность, мое сияние. Он растаптывал каждое, самое малейшее проявление всего этого, и с тех пор оно уже не проявляется. Но зачем такое делать, я не понимаю...»

Магические ингредиенты ее мира суть и самые реальные. И когда она привлекает их для своего рассказа — в тех главах, где вызываются к жизни магические, архаические миры, Древний Египет, его гробницы, с приходом белых лишённые магии, — да даже и там, где описывается ее почти магическая смерть от испуга, смерть, причиной которой стал человек, сам больной и нуждающийся в смертельном испытании женщины, — смерть от боязни повторения уже бывшего; когда она пытается описать неразумную, смертельную свою печаль словами, чей магический смысл несомненен, она приближается к новой форме

расказа. «Белые, будь они прокляты» — это ее последние слова, и я, да, наверно, и ты тоже, дорогая А., — мы верим в силу подобных проклятий и должны сделать все, чтоб они не сбылись. Мы должны писать, да, но как же нам писать под этим палящим солнцем разума, в этом безжалостно перепаханном и обработанном, размежеванном и расшифрованном краю, нам, ограбленным, лишенным нашего добра, в том числе и слов, способных заклясть беду. Это тоже один из вопросов, к которому можно приблизиться, лишь вопрошая. Выиграть бы только время... Что говорит Кассандра сегодня — конечно же, осмеянная, неслышанная, для всех ненормальная, отверженная, обреченная смерти? Она говорит:

«Белые идут. Белые высадились на берег. И если сейчас их отбросить, они снова придут, и тут не помогут ни революции, ни резолюции, ни валютные барьеры, они вернутся, вооруженные своим духом, если иначе вернуться не смогут. И воскресни они в коричневом или черном мозгу, они будут все те же белые, все равно. И снова завладеют миром — вот таким обходным путем».

1983

Писатель и время

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

Мысли по поводу нескольких фотографий в советском журнале «Фронт» военного 1941 года, изображающих женщин и мужчин — партизан и солдат, ставших на защиту своей страны

В кого стреляет эта юная женщина? Кто он, тот, на расстоянии двух или трех сотен метров от нее и двадцати пяти лет от нас, под наведенным дулом ее винтовки?

Следующее фото. Три девушки. Небо, высокое, каким бывает только российское летнее небо в августе, спокойно застывшее, опираясь на острия их штыков. И грозный страх — оттого, что это прочное, надежное небо может быть изранено, продырявлено, изодрано в клочья, — свернувшийся у них за спиной. И внутренний резкий толчок, когда стало ясно, что это они, не кто иной, как они, должны заслонить собою страну. Позади принятое решение, прощание и короткие сборы в дорогу. Им — целиться во врага, который с песнями, с хохотом и гоняясь за курами проходил через их беззащитную деревню. Некогда было переодеться, да и обмундирования не хватает. Ничего, сойдет и одежда, служившая на уборке в поле. Жесткость схвативших по талии ремней. Непривычная тяжесть патронных сумок. Незнакомые слова родного языка — приказ.

И та же еще земля, но винтовка через плечо изменила все. Лесистые холмы, когда-то, в невообразимо далекие времена, шестью неделями раньше, обступавшие, разграничивая, поля и манившие в свободные дни на прогулку, сегодня — укрытие, первая линия обороны. Еще не погас след удивления во взгляде, устремленном на парня, распределявшего вчера кохозные бригады по участкам, а сегодня отдающего приказания. Ему не придется повторять своих слов дважды.

Все изменилось, даже собственное лицо. И оба других лица начинают походить на него; и на лицо женщины, за сотни километров отсюда несущей в ночном Ленинграде вахту на посту

противовоздушной обороны; и на лица девушек, доставивших к приемному пункту полные корзины яиц.

Но главные перемены для них впереди. С чем только они не столкнутся, чего только не испытают! Время даст трещину и упадет на «после» и «до», и нечего питать иллюзий, будто можно залатать этот разлом. Ничему не бывать таким, каким оно было прежде. Последний след мягкости отлетит вместе с этой надеждой.

Если женщины остались в живых — как хотелось бы и как мала вероятность этого, — им не вспомнится летнее небо тысяча девятьсот сорок первого года. Его не станет, словно и не было вовсе. Не будет ничего из того, чем обделило их лето. Пустое — думать, будто можно что-то из того наверстать, хотя бы одну единственную песню, день работы, мечту, объятие. Расстреляно, разбомблено. Жизнь сузилась до поля обстрела перед прицелом и мушкой, до точки, до белеющего там, впереди, пятна, этого ненавистного вражеского лица.

Но у московских стен и красных башен,
От имени народов всей земли,
Нас одолел народ с заводов и от пашен,
С которым те, кто немцем звался, тоже шли.

Однако противник здесь. Он в лицах этих женщин и мужчин, уже осужденный и отброшенный. И почему только ни один интервент не в состоянии читать по лицам народов, на которые нападает! Почему никогда не отшатнется перед их непоколебимой стойкостью! Вновь и с тем же неисправимым легкомыслием уплачивая вступительный взнос в школу агрессоров: презрение к человеку. Слепое поклонение военной машине, которую, похоже, и в самом деле можно усовершенствовать до бесконечности. Это и есть то самое, что они именуют «прогрессом». А за бронированными обшивками все более несчастный и жалкий человек, по приказу жмуций на кнопки.

По другую сторону — люди. Десять фотографий в московском архиве. Те, кто бился с немецким фашизмом в разгар лета сорок первого года.

Двадцать пять лет. В кого делится эта молодая женщина? Уже не в нас. Отчислены, отчислены навсегда из принудительной школы агрессоров.

Это мы и называем — освобождение.

Июль 1966

«Как известно, — сказал в связи с событиями вьетнамской войны генеральный секретарь ООН, — первой жертвой во времена войн и враждебности оказывается правда». Принесение в жертву правды, о которой здесь идет речь, имело бы последствия для всего мира. Последствия, которые в полном согласии с правдой можно было бы назвать чудовищными, невообразимыми, если бы все пригодные для характеристики этой войны слова — и соответствующие и живые — не были давно высказаны и, похоже, исчерпаны. Но все-таки есть смысл заставлять себя говорить, если даже от фактов, от дел и от того, что следует делать, слова колом застревают в горле.

Эта война, почти не прекращающаяся в течение четверти века, вот уже более двух лет продолжается как неприкрытая агрессия США. Так долго терпит весь мир, терпит каждый из нас это нестерпимое положение. И с ним было бы покончено скорее, если бы каждый человек ощутил его как нестерпимое. Всякий желающий мог бы получить представление о декларируемых США политических, экономических и стратегических причинах, вынудивших великую Америку бросить 400-тысячную военную силу и расходовать ежегодно 700 миллионов долларов в войне против небольшой страны, 30 миллионов жителей которой являются для американцев прямыми географическими антиподами на этом земном шаре. Ежевечерне на экранах телевизоров в наших квартирах разыгрываются документальные сцены с убийствами и пытками, на которые не отважился бы и фильм ужасов. И если мы свикнемся с этим кошмаром, то возрастет и грозящая опасность, потому что привычка к ужасам и оцепенение перед лицом террора — часть системы, породившей эту войну и предназначенной теперь обеспечить возврат тех сумм, которые на нее затрачиваются.

Почему же не сходятся эти расчеты?

Год назад можно было слышать, как американский летчик, которому в условиях походного лазарета в джунглях ампутировали под местным наркозом ногу, запинаясь, бормотал в микрофон обрывки фраз: «Напалм на детей и женщин... сущий ад, можете мне поверить. Скорей бы все это кончилось...» Сегодня в информационных сообщениях западных стран американский президент фигурирует в качестве «невольного пленника собы-

тий, которых он не желал». Это означает, что оба они, отдающий приказание президент и выполняющий их солдат, прикованы к одному механизму, хотя и в различных точках и с разной мерой ответственности. Это означает, что эскалация преступлений по отношению к другому народу с неизбежностью ведет к эскалации несвободы в своей стране; что политика, проводимая на основе катастрофически искаженной оценки действительного положения вещей, словно на закланной цепи вытягивает на поверхность именно то, что хотела бы затолкать поглубже, и делает неосуществимым то, что объявляет своей истинной целью. Это означает, что группа недалёковидных вояк, промышленников и политических деятелей толкает могущественнейшую страну «свободного мира» на циничное злоупотребление ее собственной силой, в результате еще более обостряя внутренние и внешние противоречия, с которыми хотела было покончить одним взмахом меча. Это означает, наконец, что каждый находящийся во Вьетнаме американский солдат воюет не на пользу, а во вред интересам собственной страны.

Моральное превосходство более слабого противника не компенсировать лавинами бомб и бактериологическим оружием. Несгибаемая воля народа к свободе — та сила, с которой великой Америке приходится считаться.

3

Упорствуя в своем варварском неразумии, американцы бьют по Вьетнаму, целя при этом во всякий народ, который не желает больше оставаться пассивным объектом истории, а с возрастающим политическим и национальным сознанием предпочитает сам распоряжаться собой. Во всякую живую человеческую мысль, которая не вмещается в конструируемую ими прагматическую технизированную картину мира. Целят, по сути дела, во всякого человека, сопротивляющегося обращению в послушное орудие, в покладистого потребителя, в товар.

Может, и верно, что, как говорят многие, Вьетнам — это испытание. «Военная лаборатория» называют его американские генералы, пользующиеся возможностью испытывать свою боевую технику.

Но я думаю, что испытание проходим скорее мы, а не вооружения. Вьетнам — проверка человечества на способность объединить всеобщую волю к жизни.

Выдержим мы проверку — не обернется эта война прологом к другой.

Январь 1967

К довершению всего, что нам за эти недели пришлось увидеть и услышать о происходящем в Чили, мы узнаем: хунта оказала честь слову «компаньеро», запретив его специальным декретом. Из разрушенного дома Пабло Неруды она выкрала последнюю рукопись поэта. Она «вычеркнула» из литературы имя шестнадцать лет назад умершей поэтессы Габриэлы Мистраль*.

Давайте же хорошенько усвоим этот урок.

Редко приходилось нам так, как в течение этих шести недель, страдать от того, что в нашем распоряжении только лишь слово, бессильное слово. А при этом нам довелось увидеть такое, от чего и вовсе можно было лишиться речи. Мы знаем, ничему, что бы мы ни сказали, не прозвучать громче женских рыданий, жалоб, проклятий и обвинений, раздававшихся в покойницкой Сантьяго. Мы знаем, никакому слову не дозваться хоть одного убитого. А их тысячи.

Однако тем, кто сегодня хозяйничает в Чили, обладающим всеми средствами власти и вооруженным жестокостью, позволяющей использовать их бесчеловечнейшим образом, мало этого. Им надо еще и преследовать слово и тех, кто призван его говорить: поэтов, живых и мертвых. Тут-то они и выдают себя с головой. Они в панике.

И мы видим, чего они жаждут больше всего остального, больше, чем незамедлительно и щедро предоставляемых Международным банком долларовых кредитов, — и чего они пусть никогда от нас не дождутся: привычного ко всему безразличия, молчания, забвения. Тем бережнее надо нам сейчас хранить запрещенное в стране Альенде слово «компаньеро», надо снять гуслый налет затасканности, легко пристающий к нему в свете повседневного употребления, и произнести его вновь, в полном сознании смысла: товарищ. Никогда еще не бывали стихи Пабло Неруды в руках такого множества людей, как в эти недели. Потеря одной из его рукописей равносильна для нас тяжелой личной утрате, ибо никакой написанной одним поэтом страницы не возместить ни чем-то иным, ни страницей другого.

Вслушаемся теперь в голос Габриэлы Мистраль (вычеркнуть которую не под силу какому-нибудь генералу) здесь, у себя, и осознаем, какая громадная опасность заключена в каждом правдивом, недвусмысленно ясном, говорящем о действительной жизни слове, — опасность для тех, кто ищет для своей насильственной власти опоры во лжи, в извращении истин, в молчании.

Ноябрь 1973

Дискуссия о книге «Образы детства»

Вопрос. Мне бы очень хотелось узнать, что послужило поводом к созданию такой книги. Вы писали по заказу или по зову сердца?

Криста Вольф. Вообще-то из прочитанного должно было стать ясно, что подобная книга не может возникнуть по заказу со стороны. Очень давно — в самом начале писательского пути — у меня зародилась мысль написать нечто такое. Конечно, не вот это самое, но что-то охватывающее те годы моей жизни или хотя бы пытающееся к ним подступить, они и сейчас — хотя я уже написала этот роман — кажутся мне по-прежнему очень труднообъяснимыми. Впрочем, можно, пожалуй, назвать и более конкретный повод. Он сформулирован в этой главе, в словах польского писателя, которые мне созвучны. У меня, как и у него, сложилось впечатление, что мы невероятно много читали, слышали, а отчасти и писали о том времени — я имею в виду годы фашизма в Германии, — однако, по сути, знаем о нем все так же мало и что вопрос «Как это могло получиться и как было на самом деле?», по сути, остался пока без ответа. Я, разумеется, понимаю, что и такая книга ответа не даст. Не настолько я самоуверенна, чтобы тешить себя иллюзиями.

Просто, по-моему, люди, пережившие то время и знающие, как сильно, в какой степени и каком смысле они — его продукт, обязаны высказаться по этому поводу. В меру своих возможностей. Вот вам и повод.

Меня слегка раздражает, что наши книги о том времени изображают героями, которые быстро перековываются, героями, которые, собственно, еще при фашизме приходят к вполне серьезным и правильным выводам — политическим и человеческим. Я никак не собираюсь оспаривать жизненный опыт этих авторов. Но мой опыт был иным. По своему опыту я знаю, что прошло очень много времени, прежде чем появились первые крохотные ростки понимания, а уж более глубокие перемены наступили еще позднее.

Я считаю, сказать об этом надо. А вот интересно ли это молодому поколению, которое ничего такого уже не застало, я не знаю. Да и не мне об этом судить. Но импульсом к написанию романа послужило именно ощущение лакуны: чего-то не хватает, а читателям — я думаю, в том числе и зарубежным — не мешало бы знать об этом побольше, они хотят понять, что, собственно, творилось тогда в душах людей.

Вопрос. Почему вы избрали именно эту тему? Разве не важнее писать о современности?

Криста Вольф. Вы полагаете, я здесь пишу не о современности? Видите ли, пока живы люди, у которых было такое детство, которые пережили эти годы детьми или подростками, все это не умирает. Наши современники с этим живут. И мне кажется — я даже твердо уверена, — что очень многое об этом времени мы до сих пор не рассказали, ни себе, ни другим; долгие годы меня не оставляло явственное ощущение, что свой вклад в восполнение этого пробела я еще не внесла, а должна внести, иначе не смогу писать о другом. Ведь кроме всего прочего, существуют и законы профессиональной морали. Если ты еще не высказался по некоему вопросу, к другому переходить нельзя.

Я уже не раз говорила и опять повторяю: по собственному опыту я знаю, что мои сверстники — а насколько я вижу, большинство собравшихся здесь моложе, гораздо моложе, — так вот, мои сверстники, то есть родители многих из присутствующих, очень мало, да и не слишком откровенно говорят о том времени между собой и со своими детьми. Кстати, это в некотором смысле тоже причина создания моей книги, и, по-моему, тут мы имеем дело с «современностью». Современность все же не сводится к одним только сиюминутным событиям. Зачем сужать понятие? Современность — это все, что побуждает нас, к примеру, сегодня совершать или не совершать такой-то поступок.

Вопрос. Вы сказали, что фашистское прошлое еще не преодолено — ни морально, ни духовно, — и тут я полностью с вами согласен. Никто толком не изучал возможности, позволяющие это именно молодому поколению, которое не застало всего этого, реальное представление о том времени. Опять-таки могу лишь одобрить и считаю замечательным, что вы рискнули сделать шаг в этом направлении. Однако меня тревожит один вопрос. Боюсь, что эссеистическая форма и довольно сложная манера повествования окажутся доступны в первую очередь тем читателям, которые все равно куда больше размышляют над этими проблемами. Я, конечно, отнюдь не ратую за какие-то там примитивные романы, но, если можно, скажите, пожалуйста, почему вы — хотя бы по сравнению с вашим первым романом — отошли от традиционной романной формы с фабулой, со сквозным действием, которая, по-моему, может привлечь более широкие читательские круги?

Криста Вольф. Вопрос, разумеется, понятен. Мне его часто задают. Что же вам ответить?

Реплика из зала. Знаете, всегда есть люди, которые считают себя ужасно умными, а остальных — дураками. И если им что-то понятно, то другим это, увы, не по мозгам. И не по мозгам это как раз «простым людям» (в кавычках). Стало быть, художник должен ориентироваться на то, что «простым людям» понятно.

По-моему, это в корне неправильно. Если в здешней аудитории люди все поняли, этого вполне достаточно. Не надо считать других глупее себя.

Криста Вольф. Спасибо. Я уверена, вы думали не так. Только, знаете, в самом деле, стоит мне выпустить новую вещь, первая реакция всегда: ох как трудно! Вы вот не помните, а я помню, насчет «Расколотого неба» тоже всюю твердили: ох как трудно! А прочтите сегодня — только посместесь.

Реплика из зала. А вы что, часто перечитывали?

Криста Вольф. Ни разу. Но нет смысла мусолить эту проблему, ведь я вообще не стремлюсь что-либо нарочито усложнить, независимо от того, сколько людей смогут в итоге следить за моими ассоциациями. Я перед собою такой задачи не ставлю, никоим образом. Наоборот, считаю, что нужно писать как можно проще. Только вот при определенных темах встает вопрос: а насколько просто все происходит?

Я начинаю по многу-много раз. Что до этой рукописи, то мне понадобилось больше года, чтобы вообще хоть как-то начать. У меня дома лежат десятки страниц, где я пробовала другие манеры повествования, но все они были забракованы. Ведь на первых порах сама толком не представляешь, чего именно хочешь. Только интонацию чувствуешь и атмосферу, вот... И еще пространство повествования, которое очень хочется заполнить. А потом начинаешь и пишешь, к примеру, линейно. Мне это показалось жидковато, в том смысле, что пространство не заполнялось. Линия была, но не пространство. Лишь малопомалу — времени на это ушло уйма — я обнаружила, что надо, например, включить в книгу и то, как возникала рукопись, и мне это пришлось не очень по вкусу. Или раздумья о памяти: как, собственно, человек вспоминает, что вспоминает, почему одно вспоминается, а другое нет. В итоге полемика о воспоминаниях вошла в круг задач, которые я себе ставила. Так оно и шло — три, четыре подобных «уровня»; и поездка в Польшу описывается насквозь по всем главам, поскольку мне важно показать, с каким ощущением приезжаешь в город, ныне польский, а прежде твой родной. Такое пережили очень многие из нас, и все же об этом почти не говорили, требовалось время, все эти десятилетия, по-моему, чтобы заговорить. Свою роль играет здесь ностальгия. Только благодаря этому множеству слоев, сросшихся воедино, я заметила, что у меня может получиться книга о современности.

Вот откуда взялась такая композиция книги. И упростить эту основу я больше не могла.

Вопрос. Фрау Вольф, очень здорово, что вы пытаетесь так рассказывать о прошлом, что позволяете читателю как бы вжиться в него, и устанавливаете связь с сегодняшним днем. Бла-

годаря этому к людям более молодым приходит понимание, как если бы это были их нынешние проблемы. А нашему поколению вы помогаете увидеть то время вроде бы со стороны: люди вновь переживают былое, но уже не как непосредственные участники. И с большим удовольствием слушал вас.

Криста Вольф. Спасибо. Вы знаете, если задуматься над вопросом, на что ныне способна литература, то ответить можно по-разному, и большинство ответов будут «правильными»: каждый писатель даст свой, непохожий ответ, и, по-моему, это очень хорошо и правильно. Мое отношение к литературе, потребность писать вытекают из того, что история, история нашего народа, нашего государства и все те события, которые я пережила в сознательном возрасте, очень-очень сильно коснулись и касаются меня лично как человека. Я думаю, нужно, а может быть, и полезно (для меня уж точно полезно, но не это главное) попытаться вновь шевельнуть те слои, те отложения, что тогдашняя эпоха оставила во всех нас. Я знаю, об этом можно судить по-разному, ведь правда? Кое-кто наверняка скажет: да брось ты, зачем, нам это мешает, и не нужно это сейчас. Старый спор. Вероятно, с каждой новой вещью придется выслушивать такое.

И все же я считаю, что литература должна показывать эти отложения, погребенные в нас, не в аккуратном, каталожном порядке, не «преодоленные», хотя нам хотелось бы видеть их именно такими. Не думаю, чтобы мы в этом плане «преодолели» времена фашизма, хотя в нашей стране преодоление шло совершенно иным путем и куда более основательным образом, чем, скажем, в Федеративной республике. Я говорю сейчас о другом: о конфронтации человека с его сугубо личным прошлым, с тем, что он сам делал и думал, что он не может спихнуть на соседа, что нельзя оправдать, ссылаясь на массы людей, которые поступали так же или еще хуже. Здесь неправомерны и социология, и статистика. Здесь речь идет о личной и общественной морали и об условиях, которые их обеих упраздняют.

В этом смысле прошлое не преодолено. Я замечаю это по вопросам молодежи, по молчанию моих сверстников и людей постарше. И заняться этими вопросами, этим молчанием может только художественная литература. Я говорю так вовсе не в упрек другим жанрам, например репортажу и хронике, они этого не делают, ибо ставят перед собой иные задачи. В самом деле, именно литература должна, по-моему, сдвинуть с места внутренние слои, недвижимостью которых люди охотно себя утешают, путая оцепенение с подлинным покоем, который рождается лишь из внутренней свободы, и, кстати, здесь — как вы совершенно справедливо подметили — мотором является современность. Три-четыре года назад, начиная писать эту книгу, я

и сама, конечно, не предполагала, что в семьдесят третьем нас всех ждет потрясение — чилийские события. Такое предвидеть невозможно.

Вопрос. Когда вы работали над своим материалом, который, безусловно, требует максимально независимого подхода к настоящему и прошлому, было ли у вас ощущение, что здесь то самое место, где только и можно писать об этом?

Криста Вольф. Признаться, в ходе работы — при том что с ней, разумеется, были связаны всевозможные эмоции, также и «отрицательные», скажем так: депрессивного характера, — у меня, однако же, было ощущение, что я как раз в подходящем месте. Ведь попытка разобраться с тем, что с тобою произошло, включает не только медитативный элемент. У меня не было ни малейшего желания отправляться с этим на необитаемый остров. Здесь, где меня касается все, самое подходящее место для воспоминаний. «Действовать» — громкое слово. Я понимаю, куда вы клоните. Вы хотите сказать: мы все не смогли воспрепятствовать тому, что случилось сейчас, например, в Испании; да, мы пока не можем воспрепятствовать кое-чему в мире, и у нас дома тоже. Но все равно мне кажется, сознательность растет, и в том смысле, какой я имею в виду, не только чисто политическая, идеологическая сознательность, которую мы считаем основополагающей, но и осознание собственной роли в данном процессе, а отсюда растет активность, выражающаяся и в увеличении потребности договориться об этом с другими и на этой почве достичь объединения. Вот как у нас сегодня: совершенно новая атмосфера. Да, у меня именно такое ощущение. Ощущение, что здесь вполне подходящее место — по разным причинам, в том числе географического характера, но не только. У меня такое ощущение, что здесь вполне подходящее место, чтобы выяснить, что произошло в мире и вокруг чего он вертится.

Вопрос. Как вы думаете закончить роман? На какой стадии прервете работу?

Криста Вольф. Могу ответить. Я уже говорила, в книге восемнадцать глав. Я не собиралась — да это и не соответствовало бы манере повествования — писать «роман перевоспитания», а значит, вести персонаж по имени Нелли далеко в глубь послевоенного периода. Кстати, я довожу ее до первого послевоенного года, до смутного времени. Ведь ее родной город оставлен, начинается «бегство», «драп», который, на мой взгляд, тоже пока не отображен в литературе, так как молодые мужчины были тогда на фронте, а пишущих женщин, наверно, не столь уж много. Наверно, не столь уж многие из пишущих испытали, как это было — бегство, долгие скитания по дорогам. А потом первые встречи с людьми из другого мира, с офицером-евреем из американских оккупационных войск или с узником концлагеря, с та-

кими вот людьми после мая сорок пятого. Рассказ доходит до начала сорок шестого года. Дальнейшие события только обозначены, кстати события бурные, что побуждало меня написать и о них, потому что нынешние рассказы о послевоенных годах зачастую не совпадают с тем, что пережила я. Я видела все совершенно по-иному, и это тоже вызывало у меня желание написать самой. Осуществимо ли это сегодня, спустя три десятилетия, нет ли — я не знала, но все же попыталась. Этот отрезок повествования, уводящий в глубь сорок шестого года, разумеется, опять-таки постоянно сопрягается с проблемами современности.

Вопрос. Коль скоро речь тут идет о теме юности или детства при нацизме, позвольте спросить вот о чем: вам не приходило в голову написать эту книгу от первого лица, от лица этой самой Нелли? Вести рассказ устами этой девочки, вжиться в нее... например, сцена спортивного праздника, которую вы изобразили все же глазами взрослого человека: масса народу, напряжение, пот и знамена со свастикой. Я не знаю, участвовала ли она в этом. Но тогда бы вы прямо через эту девочку, через этого ребенка показали, какие чувства она испытывала, верно?

Криста Вольф. Разумеется, я думала об этом. Я говорила уже, начинюв у меня много, и большинство из них в первом лице. Но именно это по причинам, в которых я тогда не отдавала себе отчета, которых толком не понимала, все время мешало мне как следует подойти к теме. Теперь-то я отлично понимаю, в чем тут дело. А потом мне пришло в голову другое: я же нигде не скрываю, не замалчиваю, что речь идет о произведении, так сказать, автобиографическом. Причем это «так сказать» здесь важно, ибо тождества нет. Зато есть впечатление собственной чуждости этому времени, такова особенность моей биографии, хотя, возможно, и другие люди моего поколения чувствуют то же. С некоего момента — не с конкретного дня, но все же с конкретного отрезка времени — ты уже иной человек; у меня уже нет ощущения, что все это думала, говорила, делала я сама. Вот это я хотела, вернее, была вынуждена выразить третьим лицом, поскольку иначе, как показал опыт, материал мне не открывался.

Тут спрашивали, каким образом кончится книга. Она кончится, когда третье лицо, Нелли, и второе лицо, «ты», тоже там присутствующее, совпадут и станут единством, тем «я», о котором надо рассказывать по-другому — другое и по-другому.

Но мною в самом деле двигала не только потребность уйти от «я» в третье лицо, которой я не отрицаю, а прежде всего ощущение жутковатой чуждости. Словно я обманула бы себя и читателя, если бы назвала это существо «я»... Таково одно из последних не единожды сломанной биографии, его-то мне и хотелось

подчеркнуть третьим лицом: в нас призраками живет множество лиц, и определить свое отношение к ним очень и очень непросто. Собственно говоря, здесь и коренится причина распада личности на «ты» и «она».

Вопрос. Думаю, эта книга заинтересует не только пожилых людей. Меня поразили сплав, ну, скажем... эссе и поэзии, а главное — емкость, насыщенность, обращение к сфере науки, к психологии. По-моему, такое новаторство привлечет и многих молодых людей. А спросить мне хочется вот о чем: вы руководствуетесь некими образцами или сами пришли к необходимости так сильно акцентировать эту проблему? Я лично, пожалуй, нахожу аналогии пока лишь у Гранина, и больше ни у кого. Как это с вами происходило?

Криста Вольф. Вы меня немножко смутили. Говорить «у меня нет образцов» глупо — это ведь не мое изобретение. А если я скажу, что приблизительно так работал, к примеру, Музиль, то получится, будто я взяла Музиля за образец. Но это неверно, хотя Музиль, по-моему, писатель очень интересный, как и многие другие. Мне кажется, эта манера письма возникла по известной необходимости, я долго ее искала. Однако вряд ли я буду писать так всегда. Уже сейчас у меня задуманы несколько историй, где элемента рефлексии меньше или нет вовсе, поскольку там он, по-моему, не нужен.

Вопрос. Меня интересуют ваши эксперименты, попытки рассказать эту вот историю. Почему вы их забраковали — потому что для вас, как автора, это были не лучшие способы освоить материал? Или же вы решали задачу, «как сегодня рассказать об этом детям»?

Мне кажется, многие из людей помоложе — прежде всего те, кто родились еще в тот период, в 1935—1945 годах, но фактически уже ничего о нем не помнят, — в самом деле не хотят знать о том времени, прячут голову в песок. Так было в моей собственной семье. Не знаю, насколько это представительно и в какой мере вообще изучено. Но вполне допускаю, что у таких людей разнообразие повествовательных уровней — например, ссылки на Чили — вызовет больший интерес, ведь эта книга рассказывает и о сегодняшнем дне и одновременно занимается проблемами прошлого. Можно так сказать?

Криста Вольф. Сначала относительно первого вопроса. Биолог спрашивает о смысле экспериментов. Конечно же, задача тут ни при чем; вообще неверно полагать, будто все пишется с оглядкой на читателя. Я, правда, не из тех, кто может утверждать (и не верю тем, кто утверждает): я, мол, вовсе не думаю о будущей публикации. Это неправда. Об этом не думаешь, но знаешь и всегда чувствуешь: опубликовать хочется, пишешь для того, чтобы опубликовать. И в этом смысле пишешь совсем не так, как

писал бы заметки в дневник о детстве или о чем-нибудь еще. Это во-первых.

Экспериментировала я не ради тех, кто будет читать, а ради материала. Как бы испытывала себя — ведь нужно выработать отношение к материалу, вот что главное. Я видела перед собою то, что там есть и что должно происходить, но отношения к этому еще не установила. И целью экспериментов было выработать его. Чутье точно говорит, когда берешь правильный тон и ведешь рассказ так, что готов сам себе поверить. Потом вдруг все опять кончается, пропадает, и надо искать снова. Вот здесь и заключена для писателя истинная трудность, если, конечно, писание не деградировало до рутинного процесса.

Во-вторых, что касается более молодого поколения. Да, действительно, трудно сказать. Я тоже не знаю, в самом ли деле именно те люди, которых вы имете в виду, особенно мало знают или хотят знать об этом времени. Возможно, школа отучила их от по-настоящему пытливого отношения к нему. Вполне возможно. Я заглянула в наши учебники истории, хотела выяснить, что говорится об этом времени, и обнаружила, что, слава богу, там — вот уж действительно большое наше достижение! — нет никаких подтасовок. Все изложено правдиво. С другой стороны, от молодежи я знаю, что она принимает эту информацию к сведению, как любой другой материал, а учителя — кстати, скорее всего, мои ровесники — не стремятся, чтобы она восприняла этот материал эмоционально, с более глубоким участием, чем всякий другой. Например, карта в учебнике истории для девятого класса, на которой отмечены все концентрационные лагеря. Я сама видела, как в Бухенвальде подростки тринадцатилетних четырнадцати лет, шагая по бывшему плацу, жуют, включают транзисторы. Что-то в них все же не разбудили; я говорю не о чувстве вины, а о сочувствии, сострадании. Вот об этом я себя и спрашиваю. Карта концлагерей, как я уже говорила, в учебниках есть, и все изложено правильно. Тем не менее я наблюдала, что эмоций эта карта вызывает не больше, чем все прочие карты в том же учебнике.

Да, мне в самом деле хотелось бы осложнить забвение. Можно, конечно, отнестись к этому неодобрительно, и я знаю, многие так и сделают: дескать, не успеет давняя история накопец порости травой, как непременно явится этакий юный верблюд и всю траву подчистую сожрет. Но моя задача в том и состоит. Я и есть верблюд, что сжирает траву, которой поросла давняя история, причем сжирает намеренно. Я к этому стремлюсь, я этого хочу. Ну, а хотя бы другие или нет — таким вопросом я в ходе работы задаваться никак не могла.

Вопрос. Вы показываете, что дефицит сострадания, присущий нашему поколению в детстве, позднее оборачивается страхом,

что все думают только о материальном достатке, что люди сегодня не способны к солидарности... Ваша проблема — искоренение страха, приобретенного тогда? Страх, результатом которого является забвенье? Страх вытесняется, если умеешь говорить об этом со своими детьми и молодежью так, чтобы они обязательно пришли в волнение и поняли, что нам было отнюдь не до смеха, когда в ту пору перед нами выступал Адольф Гитлер, наоборот, что-то в нас трепетало от восторга. Видите ли вы в литературном творчестве путь к преодолению этого страха и что предлагаете людям, которые не пишут книг, а значит, лишены возможности избавиться от страха таким путем?

Криста Вольф. Вы на редкость точно нацупали один из важнейших моментов. Да, верно. Для меня это путь преодоления страха. Или же — если страх непреодолим — способ осознать его и научиться жить, не попадая в его тиски.

Здесь я хочу остановиться подробнее, ибо возникновение страха — центральная проблема моей книги. В самом конце есть глава, которая так и начинается: «Целая глава страха...» — она еще раз всколыхнет и суммирует все те страхи, что ужаснейшим образом были нам внушены. Например, страх перед другими народами. «Русский» в качестве фигуры устрашения — как это вообще было возможно, как этого добились? И еще: каким способом истребляются такие вот конкретные страхи? Страх перед людьми — народами, группами — исчезает, когда с ними знакомишься. Это сравнительно — да-да, именно сравнительно — простой психологический процесс. С помощью коррективов можно выправить искаженный образ, выгравить страх. Для нынешнего человечества, погрязшего в уродливых образах страха, это процессе очень важный, быть может, спасительный.

Иначе обстоит дело со страхом словно бы бесосновательным, которому временами подвержены, по-моему, очень многие. Тут гораздо труднее найти, с чего все началось и почему держится так долго. И отчего при вполне определенных сигналах страх возвращается снова и снова. Отчего, например, многие из нашего поколения до ужаса боятся авторитетов? Когда им это привиди? Отчего столь многие у нас лишь со страхом встают против авторитетов, отчего им так трудно явить «храбрость пред лицом тиранов»?¹ Ведь есть же причины. Потому я и считаю, что это книга о современности, ибо она пытается заодно рассказать, что было прежде, до того как люди стали вести себя так, как сейчас.

Да, я понимаю, что писатель, художник и вообще человек, занимающийся искусством, находится в привилегированном по-

ложении. Ведь у него есть действительная возможность разобраться в конфликтах. Но сказать по правде, я думаю, такая возможность есть у каждого — было бы желание и потребность сделать это, в разговорах с самим собой и с другими. Только вот почему, почему мы так мало разговариваем друг с другом? Конечно, от страха. Но перед чем, бог ты мой? В большинстве случаев вовсе не перед кем-то, кто может нам как-то навредить. Это страх перед самим собой — вдруг сболтнем что-нибудь этакое, чего другой не забудет, из-за чего мы окажемся в его власти. Ему бы поскорей забыть, и дело с концом, но ведь не забудет, а раз так, лучше помалкивать, и вот мы сидим, рассуждаем о погоде, о скандальных происшествиях и никогда не говорим... я преувеличиваю, надеюсь, у многих есть с кем поговорить... но многие, по-моему, вообще никогда не говорят о том, что их действительно тревожит. И я считаю, это плохо.

Вопрос. Я очень многого жду от вашего романа! Речь идет о пережитом моими родителями, прежде всего об оценке их опыта, приобретенного в фашистском прошлом. Надеюсь, что лучше сумею понять разные вещи, в том числе касающиеся моего собственного детства и юности.

Криста Вольф. Я понимаю, что вы имеете в виду. Правда, сама по себе ваша выжидательная позиция несколько удручает меня. Во-первых, книга на все вопросы не ответит, да и я тоже не всесильна. Я наверняка не оправдаю ваших ожиданий. И вы знаете, именно детство (я только теперь заметила, когда писала, раньше я этого не знала, а если бы знала, может, и не стала бы писать), так вот, детство — штука ужасно интимная, и в нем много такого, чего приходится стыдиться, такого, о чем не говорят; думаю, и это тоже отчасти специфика поколений, так что образы вашего детства должны, наверно, описать люди вашего поколения. В этой книге если что и найдется — надеюсь! — то в отраженном виде, как отблеск, упавший на меня. Ведь на вашем месте я не была. Я была на своем, хотя сейчас и самой уже не верится. И на месте тех, кому нынче двадцать, мне тоже не бывать. Я стараюсь следить за всем этим, пристально, и очень заинтересованно, и увлеченно, но точно знаю: это не мое.

В общем, я очень надеюсь, что один из вас в двадцатипяти-тридцатилетнем возрасте или еще постарше напишет об этом для своего поколения. В самом деле, такого рода «материал» другому передать невозможно. Но вы совершенно правы: мне хочется, чтобы ваше поколение нашло в этой книге кое-что для себя — глядишь, и в том смысле, который вы как раз имели в виду. Надеюсь, но не уверена.

Вопрос. По-моему, опасения, которые вы сейчас высказываете, несколько преувеличенны. По-моему, честно и дотошно, очень дотошно разобравшись с этими проблемами, которые

¹ Неточная цитата из оды «К радости» Ф. Шиллера.

и впрямь не вполне преодолены, мы, в частности, все же сократим для нынешней молодежи «биологический процесс». Ведь вначале — на вопрос, почему вы не смогли обратиться к сегодняшнему материалу, — вы сказали, что этот материал для вас сегодняшний. Думаю, он актуален и сегодня как раз потому, что вы размышляете над ним из сегодняшнего дня, и в таком смысле, по-моему, важно, чтобы вы остались честной перед самой собой. Возможно, конечно, число ваших читателей немного уменьшится, зато остальные прочтут книгу внимательней и кое-что для себя приобретут. По-моему, это чрезвычайно ценно, и мне кажется, главное — говорить честно, и не только в определенных аспектах.

Криста Вольф. Да, вы правы, попытаться стоит. Я ведь и не говорю, что, дескать, молодежь вряд ли найдет здесь что-нибудь для себя — такое заявление отдавало бы притворной скромностью, было бы нечестным. На самом-то деле я очень надеюсь, что вы кое-что найдете. Только от сказанного выше все равно никуда не денешься: правда конкретна. И конкретная правда вашей юности не совпадает с конкретной правдой моей. Есть, конечно, модели опыта, свойственные юности вообще или определенному столетию, определенной нации или определенному обществу. Хотя бы в этом смысле я надеюсь, что обобщения найдутся.

И еще несколько слов на тему честности. Я и здесь, вероятно, слишком вас обнадежила. Как раз вчера в главе, над которой сейчас работаю, я написала, что возможность быть совершенно искренним — иллюзия. Я не хотела бы внушать подобные иллюзии. Людям не удается быть вполне искренними, я давно заметила, а сейчас это проступило особенно отчетливо. Полной искренности нет, по многим причинам, скрытым большей частью в нас самих. Я не склонна относить это за счет внешних факторов и меньше всего за счет некой общественной инстанции, которая якобы чинит препятствия. По-моему, пора усвоить, что это не главное; главное то, что можешь ты сам, перед самим собой. А это всегда получается лишь приблизительно. Так и у меня в книге, я уже сейчас знаю и поневоле мирюсь.

Вопрос. По-моему, у нашего поколения ваша книга всколыхнет целый пласт прошлого, ведь это поколение несет нынче на своих плечах ответственность за экономику и политику, за искусство и педагогику. Зачастую люди с годами становятся только еще безапелляционнее, потому что времени на разбирательства и дискуссии вроде бы нет. Было бы здорово, если бы чтение вашей книги заставило наших сверстников задуматься над такими проблемами.

Криста Вольф. Вы знаете, люди, о которых вы говорили, вероятно, не станут читать мою книгу. Не от злого умысла — на

это у них нет времени, просто они живут вне литературы. Но вы совершенно правы: мне не раз случалось бывать в компании людей примерно моих лет или чуть старше, которым достаточно двух-трех рюмок водки, двух-трех бокалов вина, чтобы выставить на обозрение совсем иные пласты своего «я» и запеть совсем другие песни, не похожие на те, какие они пели буквально только что. Должна сказать, я... да, я ставлю им это в упрёк, но и понимаю их. Ведь это результат того, что люди никогда не размышляли о себе, никогда не анализировали свои поступки, никогда по-настоящему не вникали в вопросы виновности. От этого легко избавиться: мол, у нас «история получше», а тем, другим, не повезло, у них там старые нацисты. Однако, я думаю, мы хоть и можем сослаться на более добрую традицию — кстати, это действительно огромное счастье и может подвигнуть на огромную творческую активность, — но лишь если не забывать все остальное, и в собственной жизни тоже; иначе толку не будет. Но многие предпочитают вытеснение.

Вот так и получается, что тридцатилетние — кстати, одна такая сцена есть в книге — поют у костра в социалистическом зарубежье возмутительные песни. И это одна из причин, по которым я пишу книгу. Только, знаете, нельзя переоценивать себя, рассчитывать на очень большой результат; литература... по-моему, она воздействует сильно, но таким подспудным образом, что измерить ее влияние весьма трудно.

Я подумала: в 1945 году, когда кончилась война, мне как раз сравнялось шестнадцать, и ведь потом еще год-два я глотала все старые книжки, какие попадали мне в руки. С жадностью и упоением. Я имею в виду не нацистские опусы в узком смысле, а туманные, напыщенные сочинения Биндинга, Кароссы*, Елувиха. Здесь-то и обнаружилось, что аппарат моего восприятия был явно поврежден. Не было ясности зрения. Не было четкого взгляда на литературу, но это лишь показывало, что и на действительность я смотрела сквозь туман. Что-то было серьезно повреждено.

А теперь вопрос: что значит «перемениться»? В добавление к предыдущему скажу, что мой ответ в принципе сводится к следующему: человек приводит в порядок сильно поврежденные аппараты восприятия и правильного отклика на реальность, учится жить в реальности, с реальностью и согласно реальности, иными словами, учится воздействовать на реальность своими поступками. А ведь все это не существовало даже как возможность. Целое поколение, и не одно, было глубоко поражено в основах психического бытия. И выправить это не так-то легко. Рано ставить точку, если и скажешь через два года: черт, а ведь Маркс-то прав.

Вопрос. Вы встречали в детстве людей, которые критически

отзывались об Адольфе Гитлере, о нацизме и о полной победе или рассказывали политические анекдоты?

Криста Вольф. Ни одного, ни одного! В том-то и дело. Ни одного! Потому я всегда и испытывала легкую досаду — при всех огромных заслугах, которые я признаю за книгами об этом времени, вышедшими у нас. Ни в одной книге я не нашла даже намека на свой опыт; там обычно было так: в один прекрасный день к молодому герою обязательно приходил некто и говорил: слышь, парень, что-то тебя не в ту сторону занесло. А я думала: похоже, я в самом деле безусловное исключение, ведь со мной ничего подобного ни разу не произошло, лишь однажды во время «драпа», который тоже описан в книге, лагерник, сидевший с нами у костра, сказал: где вы все только жили!

Этого вопроса я тогда вообще не поняла. Только запомнила, а поняла много-много позже.

Вопрос. На меня в этой главе произвело очень большое впечатление, что школьница, девчонка из Союза немецких девушек, несмотря на идеологические разногласия, не донесла на учителя. Здесь-то и проявилось отличие такой литературы от той, которую проходят в школе и которая повествует о том, как критичен был народ во времена фашизма. Ни слова о внутренней эмиграции, все каким-то образом участвовали в сопротивлении нацистам. С опасностью для жизни прятали коммунистов и евреев. В конце войны я была пятилетним ребенком, и вины на мне действительно нет. И все-таки... я говорил с людьми, одноклассниками, однокашниками моего возраста: мы занимаем весьма странное промежуточное положение между теми, кто до нас пребывал в восторге, и теми, кто пребывал в оном после нас, это либо люди постарше, либо помоложе. Мне весьма тягостно сознавать, что мои сверстники вообще восторгов не испытали. Наверно, тут есть и свой плюс, правда? А еще из-за этого ужасно стыдишься своей принадлежности к немецкой нации. Не могу вырвать это из себя, особенно за границей. Иной раз за рубежом, где-нибудь в трамвае, заговорит с тобой кто-нибудь по-немецки и скажет: я, мол, в войну был переводчиком. А на деле-то говорит: я на вас зла не держу. Ужасно сознавать, что в него стрелял мой отец. Ну, а в общем мне просто хочется сказать, что, смело облекая в слова подобные вещи, такая литература, в сущности, приносит пусть малое, но облегчение.

Криста Вольф. То, о чем вы сказали под конец, проблема «быть немцем», очень мне знакома. А сейчас я, возможно, скажу нечто для вас неожиданное: я начисто утратила это ощущение. Нет его больше, нет чувства стыда, что я немка. Я поняла это вот сию минуту, когда начала говорить, и сию же минуту догадалась, почему оно исчезло: благодаря моим советским друзьям, которые все были на войне — офицерами или фронтовыми жур-

налистами; или вот советский профессор-историк, к сожалению ныне покойный — об этом тоже упомянуто в моей книге, — с которым я много беседовала и о Гитлере, и о Сталине. Советские люди были первые из немцев, кому я вообще рассказала о том времени, и о своей тогдашней жизни, и о первых послевоенных месяцах, и о встрече с советскими войсками. Они самые первые захотели услышать об этом, первые сказали: ты должна все записать! Думаю, тесное общение с этими людьми мало-помалу и избавило меня от чувства стыда за то, что я немка. У меня его больше нет. Но я прекрасно его понимаю, помню по первым поездкам, например в Советский Союз, какого это стоило страшного душевного напряжения.

А теперь несколько слов к первой части вопроса. Итак, девочка не доносит на учителя музыки. Это «реальная» сцена. Учитель, потерявший сына, выругал нас и подверг себя огромному риску — сегодня я вижу, как он рисковал, — сказав: еврейские девчонки пели христианские гимны, а ты отказываешься петь еврейскую рождественскую песню? И эта девочка, моя подружка, убежденный вожак СНД, не донесла на него, ей и в голову бы не пришло доносить, потому что она ценила его как учителя музыки и считалась одной из лучших его учениц. Не так-то просто все было. И мне хотелось, очень хотелось попытаться немного размягчить стандартные клише.

Вопрос. Если я правильно понял, вы ставите перед собой задачу спросить: что, собственно, с нами произошло? То есть: как могло дойти до такого? Ваша книга, конечно, гораздо длиннее того отрывка, который вы нам прочитали. И все же на вопрос, что с нами произошло, как могло дойти до такого, я еще ни разу не получил ответа. И второй вопрос, который волнует меня даже больше первого: а не может ли это повториться?

Криста Вольф. По первой части вашего вопроса я сейчас мало что могу сказать. Вначале я говорила, что вовсе не рассчитываю ответить здесь на вопрос, как это могло произойти. Нет, не рассчитываю. Скорее, пожалуй, я ставлю другой вопрос: как мы стали такими, каковы мы есть? Вот к нему-то я, собственно, и пытаюсь подойти поближе. Думаю, по ходу книги кое-что прояснится. Ведь, по-моему, многое из того, что наше поколение делает сейчас или не делает, еще связано с детством. Если детство вправду важный период в жизни человека, тогда нечего прикидываться, будто в шестнадцать лет, когда кончился фашизм, мы разом стали «новыми людьми» и будто подобное детство может остаться без последствий.

А теперь ко второму вопросу: что ж, я думаю, здесь это повториться не может. Но, как мы видим, мир в целом постоянно находится под угрозой фашистских и фашистских влияний. А причины, почему *здесь* это повториться не может, носят, по-

моему, прежде всего исторический характер. Я не претендую на лавры пророка, но для этого здесь нет условий. А вот во многих районах мира, как мы видели, существуют условия, которые позволяют откровенному насилию и жестокости не только возникнуть и утвердиться в государственной форме, но и способны надолго их закрепить. Это действительно исторически обусловленные процессы.

Совсем другое дело ваш вопрос о субъективных моментах. В рукописи присутствуют намеки, что с тем, как ставятся под угрозу отдаленные люди — иногда за этим кроется лишь бездумность, а иногда и нечто большее, — я весьма и весьма знакома, в том числе и здесь, у нас. Предпосылок много: бездумность, неведение, несбывшаяся жизнь. В людях вдруг обнаруживаются черты, способные напугать, и в наших людях тоже.

Вопрос. Нужен ли вам аутентичный материал и зависит ли творческий процесс от того, насколько далеко отстоят от вас определенные события?

Криста Вольф. Тут мне понадобилась дистанция чуть ли не в тридцать лет — четверть века к началу работы: длина дистанции в данном случае зависит от тяжести поражения; тяжесть увечья, ранения, которую необходимо выразить, не позволяла — опять-таки в данном случае — взяться за перо раньше. Вот почему прошло много времени, пока я наконец начала. В иных случаях такой период может быть гораздо короче. Сроки диктует сам материал. Он ведь очень разный, вот в чем дело.

Вопрос. Вы говорили, прошлое до сих пор не преодолено. А преодолели ли оно вообще? Ведь если говорить о прошлом, то молодежь напичкана им до отказа. Они читают о нем, интересуются, хотя их тогда еще и на свете не было. Зато старшее поколение, которому, вероятно, и адресованы такие книги, ни малейшего интереса к ним не проявляет. Большинство вообще об этом не говорит.

Криста Вольф. У меня тоже нередко создается впечатление, что так оно и есть. Старшее поколение — еще старше меня, — которое, по сути, должно было бы принять на себя проблему вины, постаралось отойти от этого как можно дальше, этих людей крайне трудно вызвать на подобный разговор и даже думать об этом не заставишь. Мы ведь не знаем, что они думают. Наше поколение, слишком юное тогда, чтобы стать свиновым в прямом смысле, в смысле каких-то поступков, в полной мере испытало и прочувствовало всю тяжесть этой вины. Полагаю, что можно так сказать. А еще более молодые, эти, конечно, обращаются уже к нам, своим родителям и воспитателям, с вопросом: что, собственно, тогда происходило, как все было, что вы, собственно, видели, делали, думали? Ответить сложновато. А когда вы спрашиваете, преодолели ли это, я могу только сказать: невоз-

можно преодолеть шесть миллионов убитых евреев. И двадцать миллионов убитых советских людей. Через это не переступишь.

Реплика из зала. Так есть ли смысл писать об этом?

Криста Вольф. Мне бы следовало спросить об этом у вас. Для меня смысл есть. Я хочу жить дальше. Моя жизнь не кончается сегодняшним днем. Возможно, кое-кто из читателей полагает, что эта потребность вполне удовлетворена уже существующими книгами и писать об этом снова незачем. Тут судить не мне. Но я бы не рискнула утверждать, что, создавая книгу, достигаешь «преодоления».

Другой вопрос — и на него можно ответить по-разному, я уже говорила, — надо ли жить, все время храня в душе переживания, которые, в сущности, хочется забыть, есть ли в этом смысл, способствует ли это поддержанию творческой активности. Мой опыт показывает, что это необходимо, только так и можно остаться творчески активным. Причем здесь кроются опасности, тоже хорошо мне знакомые: когда занимаешься такой вот работой, в тебе высвобождается очень многое из прошлого. В этой книге много снов, а пока работаешь над подобным материалом, сны, конечно, снятся недобрые. Высвобождается страх, а ведь ты знать не знал, что он существует до сих пор да еще и связан с сегодняшним днем, и, кстати, только теперь и понимаешь, почему сегодня боишься вещей в принципе неопасных. Просто к определенным процессам, например соединенным с авторитетом, подключился страх. И если себе этого не уяснить, не научиться жить вопреки этому, страх останется.

Вопрос. Вначале вы сказали, что в первую очередь — я по крайней мере так понял — обращаетесь к своим сверстникам, которые пережили все так же, как вы, и оставляете открытым вопрос, точно ли так же поймет все это и молодежь, то есть люди, непосредственно этого не пережившие. Из прочитанного сегодня фрагмента можно понять, что, по существу, вы посредством ассоциаций пытаетесь подвести людей, которые все это пережили, к переосмыслению воспоминаний. В таком случае у меня возникает вопрос: верите ли вы, что на деле возможна передача информации, опыта от одного поколения к другому; ведь в различных жизненных сферах то и дело наблюдаешь, что молодежь обращается к прошлому с готовностью и стремлением дифференцированно воспринять информацию и все же именно там, где восприятие чисто умозрительно, понимания нет. Правильно понять можно лишь то, что усваиваешь ассоциативно, как воспоминание, как эмоцию. И в этом смысле еще раз вопрос: верите ли вы, что этот весьма широкий и разнообразный опыт вообще можно передать?

Криста Вольф. Довольно сложный вопрос.

Вопрос. Прежде чем вы ответите, назову ключевое слово — солидарность. Вы наверняка заметили, что, когда произошел переворот в Чили, молодежи понадобилось лишь несколько дней, чтобы осмыслить это и выразить свою солидарность.

По-моему, в книге вы затрагиваете, в частности, и такую проблему: солидарность — не есть ли она, с нашей точки зрения, скажем применительно к тому же Чили, главным образом рациональность? Доступно ли это нам эмоционально — с учетом географического расстояния, национального развития, народного колорита? И тем самым возникает вопрос: понятна ли нам теперь вообще проблема фашизма в том смысле, в каком пишете о ней вы? В целом же я считаю ваш роман книгой, которая, думается, скажет нам очень много; а о том, что подход здесь не только рациональный, весьма симптоматично говорит ваш сон из этой главы — сон о качелях. Такой сон может присниться вам, но не мне. А раз я подобных снов не вижу, я не могу относиться, например, к Чили столь глубоко эмоционально, мое отношение сугубо рационально.

Ваша книга, видимо, много оживит и всколыхнет в читателях. Тем не менее я спрашиваю: можем ли мы, более молодые, эмоционально понять фашизм? Ведь для вас это главное. Я имею в виду, умом все понимают, откуда он идет, экономически, политически, социальном, — тут все ясно, все вдоль и поперек известно; конечно, повторение делу не вредит, оно здесь даже необходимо. Но эмоционально это, по-моему, нам недоступно.

Вопрос. Мне бы хотелось добавить: проблема, на которую здесь сступают, — отсутствие эмоций в солидарности — объясняется, по-моему, не отдаленностью и тому подобными факторами, не различным национальным колоритом, а прежде всего еще и строгим «шлюзованием» движения солидарности.

Криста Вольф. Да, по-моему, тоже... Вы верно почувствовали в этой главе — да и вся книга такова, — что я пытаюсь превозмочь чисто рациональную передачу знаний и опыта, и не потому, что я против рациональности, нет, конечно, а потому, что и у меня есть такой опыт. За это время я, естественно, очень много размышляла о том, когда и благодаря чему не просто поняла что-то по-настоящему, но когда по-настоящему шевельнулось что-то новое — качественно новая возможность жить и действовать. Это неизменно были ситуации, когда в движение проходила некая эмоция. И мне кажется, что, если говорить о прошлом — особенно о данном этапе нашего прошлого, но и о других его периодах тоже, — мы слишком уж ретиво отсеяли, отфильтровали эмоции. Они стоят отдельно от знаний, человек с ними один на один. И дело тут в том, что осознание ошибки пережить легче, нежели стыд, и вообще настоящие знания приобрести не так трудно, как «настоящие» чувства. А знания без

эмоций и эмоции без знаний порождают странно однобоких людей, которых мы и видим вокруг.

Я говорила о наших учебниках истории, о том, как они подходят к фашизму. Однажды младшая дочь спросила у нас: «А кто, собственно, был этот Эйхман? Мы ужаснулись: как это она не знает! Но в учебнике истории его имя, в самом деле, не упоминалось. Значит, не было попытки — видимо, и в учебниках по немецкой словесности тоже — привлечь внимание молодежи к этому образцу так называемого «кабинетного убийцы», объяснить, какое историческое развитие может привести такого типа к власти и как подобное развитие вообще могло возникнуть на немецкой почве. Поляк Казимеж Брандыс* сказал: «Фашизм существует на земле повсюду, но немцы были в нем классиками».

Должна сказать, это одна из тех фраз, которые решительно подтолкнули меня написать эту книгу. Я сразу поняла, что он прав. Это правда. Диктатора вроде Гитлера можно представить себе где угодно — конечно, в соответствующем национальном антураже. Но Гиммлер и Эйхман — креатуры специфические, они сформировались и пришли к власти здесь, на вполне определенной почве, во вполне определенных условиях. Вот это, по-моему, необходимо как следует обдумать и попытаться прочувствовать.

На вопрос, в какой мере старшее поколение способно передать свой опыт более молодому, я не могу дать четкого ответа. Но прежде все-таки напрашивается другой вопрос: а в какой мере оно вообще пытается это сделать? Существующие возможности оно явно использует не до конца и вполне могло бы делиться опытом шире, чем сейчас, активнее, чем это делаем мы или поколение до нас.

Мне лично повезло. Я была еще довольно молодая, но вполне взрослая, когда встретила людей, которые вообще не были нацистами, и они рассказали мне о тех временах куда больше, чем рассказывали, могли рассказать газеты, или учебники истории, или их собственные книги, ведь многие из них были писателями. И для меня это имело огромное значение. Однако — я поняла это лишь сейчас, работая над книгой, — в результате между детскими годами (скажем, до шестнадцати) и новым этапом, когда, тривиально говоря, сформировалось «новое мировоззрение», пролегла ничейная земля; эти две эпохи, каждая из которых сама по себе достаточно понятна и ясна, разделены странно бесцветной полосой. Все это проблемы, связанные с эмоциональностью. И с тем, что человек в самом деле переживает и познает через эмоции. У нас, я имсю в виду: и в семье тоже, в воспитании господствует крайняя сдержанность чувств. Ради бога, поменьше эмоций! Ради бога, без экзальтации! Только не реветь, когда

на экране убивают людей, и боже упаси бросать из-за этого ужин!

Это характерная примета времени, причем она-то и мешает молодежи воспринимать ассоциации, а старшим — их передавать. В какой мере это можно побороть, я не знаю.

Вопрос. Думаю, ваша книга касается и меня. Мне в ту пору было двенадцать. Я с радостью жду выхода романа, прочитаю и, вероятно, смогу разобраться сам с собой. Ну, а в состоянии ли молодое поколение как-то способствовать преодолению прошлого... Вряд ли, ведь им пока нечего преодолевать.

Криста Вольф. На все вопросы я сегодня ответить не в состоянии, да и книгу сперва нужно дописать. Свою задачу я вижу не в том, чтобы искусственно поставить молодых людей, которым здесь, по счастью, преодолевать нечего, перед необходимостью в таком вот смысле разбираться с давними событиями. Это, мне кажется, бессмысленно. Наоборот, пусть радуются, что не пережили всего этого. Моя задача в другом. Думаю, очень многое из происходящего в мире происходит как раз потому, что нет у нас фантазии, нет воображения, чтобы мысленно поставить себя на место людей, с которыми сейчас что-то происходит. Но чем теснее благодаря технике становится мир, тем важнее развивать добродетель вчувствования в чужие переживания. И упражняться в этом можно, по сути, на любой более или менее хорошей книге, ведь литература, в частности, призвана именно тренировать воображение, развивать фантазию. А с точки зрения нашего предмета это означает: учиться воспринимать историю собственного народа, собственного класса как свою личную, чтобы в современной истории ты был способен чувствовать по настоящему и действовать по своему суждению.

Вопрос. Есть ли у вас чисто писательское отношение к современности или в вас как бы сосуществуют несколько лиц, которые реагируют на современность по-разному?

Криста Вольф. Мне бы очень хотелось быстро ответить: чисто писательского отношения к современности у меня нет. И это во многом была бы правда, поскольку те события и процессы или поступки, в которых я участвую, которые особенно сильно меня затрагивают, воспринимаются мной совершенно «не по-писательски». То есть не с позиций наблюдателя, без ощущений вроде: «Может, когда-нибудь напишешь об этом» или «Вот это фигура!». Чего нет, того нет. Если к переживанию примешивается «расчет» — оценка литературной пригодности, — то, по моему опыту, «материал» этот заведомо испорчен, непригоден.

Впрочем, не могу не признать: за писательство приходится расплачиваться. Бывают минуты и даже целые периоды относительного спокойствия, когда размышляешь об опыте недавнего

времени. И вот тогда ощущаешь, что, когда события происходили, ты воспринимал их все-таки иначе, будто и не собираясь писать. Просто диву даешься. В последнее время я часто думала об этом, поскольку некто, однажды написавший книгу и больше писать не собирающийся, назвал себя писателем и указал это как профессию. Возразить тут безусловно нечего. Да и речь вовсе не о том, чтобы возвысить писательское ремесло: мотивы писательства не «возвышенны» — речь не об этом. Речь о трезвом опыте, о том, что живешь по-иному, если — хотя бы и раз в десять лет — пишешь книгу, но все время видишь себя писателем. И совершенно другое дело, если живешь нормально, как все, как, в сущности, и любой писатель, и вдруг однажды, безразлично когда, пишешь книгу о какой-либо определенной проблеме, а потом никогда уже писательством не занимаешься, и впредь все это вообще не играет в твоей жизни никакой роли.

Не знаю, понятно ли я говорю. Со временем вырабатывается иное отношение к реальности и к себе, главным образом, по моему, к себе, порой даже как бы против воли, но неуклонно; так уж оно есть, никуда не денешься. Эта особая внимательность, неослабный нажим ответственности, постоянная активная заинтересованность — факторы очень мощные, и действуют они в одном направлении: хочешь не хочешь, но ты обязан описывать все, что узнаешь. С некоторых пор совершенно неважно, что ты трезво и реалистично оцениваешь свой вклад в литературу, стало быть, не переоцениваешь его. Неважно, хороший ты писатель или не очень, — просто сознание, что ты обязан все описывать, многое меняет.

Вопрос. Ваши книги, госпожа Вольф, всегда производят на меня очень сильное впечатление. И иной раз я спрашиваю себя: как вы действуете на других, как ощущаете воздействие ваших книг? Можете ли вы заранее прикинуть, чего ими достигнете?

Криста Вольф. Они воздействуют по-разному. Есть читатели, реагирующие примерно как вы, но есть и такие, которые говорят: этой особе пора в сумасшедший дом! Буквально так мне и было сказано. Это две крайности, довольно резкие реакции. А между ними — очень много дружелюбной поддержки, заинтересованности, ну и еще непрерывных размышлений, порой приводящих к тому, что читатель опять берется за книгу, которая раньше не очень ему нравилась или казалась слишком трудной. Но, по моему, примерно так бывает у каждого автора.

Из многих писем я знаю, что есть читатели, в первую очередь женщины, отождествляющие себя с определенными персонажами, испытывающие порой более сильную причастность, чем и сама испытывала ранее или могла бы испытывать сейчас. Это совсем неожиданные отклики. Неизвестно, почему именно эта книга, этот образ в этот миг сродни большому числу людей

и глубоко их трогают. Связано это с определенной общественной атмосферой и определенной ступенью развития, на которой как раз находятся многие люди, на которой был и автор, когда писал книгу. Это замечается задним числом.

Многие читатели пишут мне. Или я узнаю о воздействии вполне конкретных моих книг на людей разных возрастных групп, разного пола из бесед вроде сегодняшней. Только должна вам сказать, я стараюсь поскорее забыть об этом, держаться беспристрастно, в меру моих возможностей. Ибо во время работы было бы смерти подобно представлять себе, каково будет воздействие книги на различные читательские круги. Так нельзя. От этого вправду надо забывать, как будто — «как будто» в кавычках — никогда еще ничего не писал, как будто ни один читатель еще ни слова не говорил ни за, ни против; надо стараться каждый день заново обретать свободу, чтобы не стать пленником уже существующих читателей, которых, впрочем, не хотелось бы лишиться.

*Вопрос (Виланд Херцфельде *).* Большинство писателей, вернувшихся из эмиграции, не очень-то разбирались, где здесь виноватые, как относиться к людям, которые изрядно завязли в этой мерзости, а тем паче к молодежи, детям и подросткам. И я думаю, кое-что мы тут проглядели, не поняли, что в результате полной смены декораций на мировой арене — тогда она казалась полной, это сейчас мы видим, что до полноты ей ох как далеко, — эти люди не знали, как им реагировать. Когда я еще читал лекции, ко мне как-то раз подошла одна из слушательниц и сказала: послушайте, все, что вы тут рассказываете о борьбе против нацистов, и вообще, мне худо-бедно понятно. Но, знаете, есть и кое-что другое, себя-то ведь уничтожить невозможно... Вот и всплывает та самая проблема, о которой тут идет речь. Видите ли, сказала она, ребенком в нацистской Германии я все-таки часто бывала счастлива. О чем ни вспомнишь: о походе, о спортивном празднике, о семейном торжестве — все это, конечно, разыгрывалось на определенном фоне, и, как ни странно, лучшие воспоминания осеяны нацистским флагом. Теперь, как и всякий, я знаю, что провозглашалось под этим флагом, но мне это без толку: вспомню ли о подружке, как мы с ней впервые пришли домой поздно и получили нахлобучку... Да, мы путешествовали, я тогда замечательно проводила время, нам было весело ходить в походы и заниматься спортом, но при этом всегда был флаг со свастикой. Слушательница просто не представляла себе, как ей сделать страшными свои воспоминания о страшном времени. Ведь у нее было и множество чудесных воспоминаний или по крайней мере таких, которые не вписывались в концепцию людей, с самого начала не принявших фашизм.

По-моему, вот здесь-то мы, старики, и совершили ошибку,

решив: если мы дадим молодежи лучшие книги лучших антифашистов, то они получат тем самым оружие против собственных воспоминаний. Так толку не будет. Вот почему, мне кажется, эта книга — в деталях я еще не знаю ее, не знаю, чем она кончится, — выполняет очень важную задачу, а именно: помогает старикам лучше понять более молодых, невинных в гитлеровском фашизме, но вынужденных нести бремя вины, накопленной в гитлеровской войне, нести бремя злодеяний, ведь, конечно же, все, с кем они общались, так или иначе были нацистами или недостаточной противодействовали нацистам. По-моему, книга очень честная, и я думаю, она принесет пользу.

Вопрос. Вообще это — замечательное резюме. Но все же мне хотелось бы задать еще один вопрос, точнее, процитировать отрывок из наверняка многим известной статьи Фрида Кремера *: «Я считаю, коммунист обязан открыто дискутировать о самых трудных проблемах. У нас некоторые художники делают уступки официальной политике. Другие же пытаются идти своим путем и, таким образом, вступают в противоречие с официальными суждениями. По-моему, это очень серьезно». И вот я хотел бы спросить: знакомы ли вам такие трудности? Были ли у вас сложности с официальной политикой? Ожидаете ли вы, что новую книгу будут критиковать? Как вы встретите критику?

Криста Вольф. Так много вопросов сразу. Темы, предложенной вами, хватит на целый вечер.

Реплика. У нас время есть!

Криста Вольф. Правда? У вас есть время? Знаете, спроси вы меня об этом, скажем, четыре-пять лет назад, я бы наверняка ответила резко и горячо. Теперь же я несколько более осмотрительно, причем, думаю, не оттого, что я «в плену» так называемой «официальной политики», которую, возможно, имеет в виду Фрид Кремер... когда он дал это интервью, года четыре назад, по-моему? Это «когда» очень важно. Одно дело, если это сказано несколько лет назад, и совсем другое, если сейчас. Ведь сейчас и Фрид Кремер этого уже не сказал бы, не противопоставил бы столь категорично «официальную политику» и то, что стремится выразить искусство, ибо как раз за последние года четыре, как вам, вероятно, известно или не известно, простора все-таки стало побольше — впрочем, «простор», наверно, не вполне то слово; теперь нам дано больше возможностей вскрывать проблемы, изображать конфликты, которые прежде мы вообще не могли представить читателю или не могли представить так. Но никто ведь не мешает человеку писать. В этом смысле взаимоотношения искусства и политики нельзя рассматривать статично, вне истории — их анализ должен быть конкретно-историческим.

Это не снимает, однако, главного вопроса. Главный вопрос не в запретах «официальной политики». Запреты бывали и бу-

дут, просто, по-моему, такая постановка вопроса поверхностна и скучна. Нынче в связи с премьерой «Тассо» вы могли прочитывать, что Гёте написал свою пьесу в восьмидесятых годах, а поставить сумел лишь в 1807 году у себя, при веймарском дворе. И он отнюдь не возмущался все эти семнадцать лет кряду, не ходил туча тучей, повторяя: я не могу поставить «Тассо»! Разве это позиция — грош ей цена. Творческую позицию выработать и развить гораздо труднее. Чего проще сказать: ну, попомнят они меня, вот не стану ничего делать, и все тут! Гораздо труднее иное: сохранить творческую активность и остаться справедливым. Жду ли я критики? Конечно, жду. Причем критики всевозможной, в том числе, надеюсь, и конструктивной, которая метко попадает в точку, достойную критики. Но если такого не будет, критики все равно хватит, наговорят чего угодно, в какой-то мере я уже сейчас могу сказать, чего именно, ведь все время повторяется одно и то же. Но это неважно. Важно, что, встречаясь с людьми, ну, например, с теми, кто собрался здесь, в зале, или с маленькими кружками, с отдельными читателями, ты можешь выработать для себя и сохранить творческую позицию. А значит, не падаешь духом и, во всяком случае, не опускаешь надолго руки из-за всяких преходящих глупостей, которые нет-нет да и случаются, а порой бывают очень сильны и злокозненны. Мне об этом рассказывать не надо, я это знаю.

С другой стороны, сами-то мы живем не так уж долго. И если четыре-пять лет жизни злиться на препятствия, эти пять лет будут потеряны навсегда, и рано или поздно нужно это понять. Рано или поздно нужно понять, что ты обязан высказать вполне определенные вещи, ценность которых я, кстати, не завышаю; но высказать их необходимо независимо от того, какого мнения на сей счет придерживается тот или иной политик, та или иная газета. Безразлично и что думает об этом большинство читателей. Ну и в самом деле, отнюдь не худшие и не безвестнейшие из наших коллег в прошлом вынуждены были зачастую откладывать на годы и десятилетия то, что полагали очень важным и написали не вовремя: эпоха не находила этому применения.

Так вот, по-моему, раз уж мы не маленькие дети, личное наше дело — проявить известную независимость и до конца исходить то пространство, которое у нас тут есть и в котором я усматриваю прежде всего плодотворные, напряженно-внимательные взаимоотношения автора и читателей. Ну, а на невозможность вступить в результативные отношения с людьми, которых интересуется то, чем мы занимаемся, жаловаться грех, она у нас есть. Я, конечно, имею в виду тех, кто отнюдь не всегда поддакивает, но хочет знать, хочет соприкоснуться, имеет свое мнение и даже заявляет: нет, я по этому поводу думаю иначе. Ведь это их

право. Тогда-то и возникает ощущение, что сцепка состоялась, что не две гладкие поверхности скользят мимо друга, а какие-то шестерни цепляются одна за другую, что-то приходит в движение вместе с тобой — не впрямую, конечно, как и вообще всякое воздействие литературы.

И я считаю, к этому общественному мнению надо относиться уважительно. Я говорю сейчас не об «официальной политике», я говорю об общественном мнении. А общественное мнение развито у нас довольно неплохо — кстати, не в газетах оно выражается так, как того бы хотелось и как оно звучит на самом деле, а во многих других местах, например в читательской доле. Я никогда не чувствовала себя в изоляции, даже когда мое имя не упоминалось в газетах. А поэтому никогда не испытывала потребности изменить читателям. Это одна сторона. С другой стороны — и я не собираюсь эту сторону принижать, — время, когда господствуют и повсеместно провозглашаются в массе глупые, чуждые и враждебные искусству мнения, препятствует, конечно, творчеству, даже если пытаешься вооружиться против этого. Чересчур много сил расходуется на сопротивление, а их можно было бы употребить на творческое движение вперед. Тут легко стать не критичным к себе, ведь если вынужден постоянно защищаться от глупых нападок, то и критика правильная, справедливая, которую нужно бы принять, тоже в конце концов не достигает цели. Становишься не критичен к собственным коллегам: если человека все время критикуют, на твой взгляд бесосновательно, то не высказываешь ему и тех замечаний, которые у тебя есть, которые, наверно, не стоило бы замалчивать. Да и коллеги находятся в том же положении.

Этим я хочу сказать только, что время вроде такого, какое мы пережили, сковывало развитие искусства, приводило в уныние. Но я думаю, незачем проливать по этому поводу слезы и уповать на то, что борьба за реализм в искусстве когда-нибудь прекратится или будет легка.

Вопрос. Когда выйдет ваша книга?

Криста Вольф. Это зависит от меня одной — когда я сдам рукопись. По плану выход предусмотрен в конце 1976 года. Типографские работы требуют довольно много времени. Если, например, рукопись будет в издательстве в январе или феврале, то книга, по моим расчетам, выйдет в ноябре.

Вопрос. Вы сказали, что хотите содействовать преодолению нашего прошлого. Почему же тогда, привлекая примеры из современной истории, вы ссылаетесь на Чили, США и Вьетнам, почему не на социалистические страны?

Криста Вольф. Я уже говорила, что в других главах есть другие примеры. Все не так уж однобоко. Кстати, когда я писала книгу, наибольшее беспокойство вызывали фашистские и фаши-

стойдные тенденции именно в этих странах; меня же особенно интересовали и волновали как раз такие вещи, вот я и включила их в роман. А еще меня очень занимала и занимает поездка в США и то, что я рассчитывала там увидеть; эти события тоже факт моей биографии, и происходили они в это же время. Но я понимаю, что вы имеете в виду, и вы совершенно правы: существующие в наших странах проблемы, которые заставляют нас задуматься и внутренне держат в напряжении и которые мы стараемся прояснить, — их, конечно, надо отобразить. Вопрос только — когда, как и где. О себе, пожалуй, могу сказать, что я не собираюсь уходить от этого.

Вопрос. Есть ли в романе полемика с нашей политикой? В других пассажах, которых вы не читали?

Криста Вольф. Да, я уже говорила. Нет смысла сейчас выхватывать какие-то эпизоды и пересказывать их содержание. Но такие пассажи есть, ведь ясно же, воспоминания нельзя направить в одно какое-то русло. Здесь я сознательно сосредоточилась на главном направлении, но думаю, что в следующих книгах напишу и о более позднем времени. Возможно, они будут не такие, как эта, но многое из эпохи после сорок пятого столь же не «преодолено», и об этом тоже надо писать — я это отчетливо сознаю. Однако необходимо подготовить для себя лично определенные основы, а уж потом можно двинуться дальше.

1975

ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЮ

В начале сентября я получила письмо из Фрайбурга-в-Брайсгау. Автор письма, «один молодой человек», как сам он себя называет, отец троих ребятшек, работающий с детскими калеками и изучающий медицину, задает мне несколько вопросов.

Первый из них гласит: можно ли еще надеяться? — Существуют ли еще пути, ведущие прочь от грозившей нам опасности? — гласит второй. Третий: есть ли среди того, что до сих пор давало Вам силы жить, нечто такое, что способно выдерживать натиск нашего будущего? И заканчивает он восклицанием: прошу Вас, помогите нам все сделать ради того, чтобы между нашими странами царил мир! Действительно — все! И даже больше, чем все!

«Дорогой господин Д., — писала я тогда, в начале октября, — что я могу Вам сказать? Вот уже две недели лежит у меня Ваше письмо, и я опять и опять невольно думаю о нем; оно так безотлагательно, так важно, что я не могу уклониться от ответа, и

настолько личное, что и отвечать я должна так же. Хотя, впрочем, я не могу, да и не желаю, представить ту полную опись наличного имущества, какой оно требует от меня. Разве только некоторую часть. Была в моей первой реакции на Ваше письмо и доля протеста, который можно выразить примерно так: «Но почему? Почему я должна знать «пути, ведущие прочь от грозившей нам опасности», почему именно я обязана (уж о праве-то я и не говорю!) высказать некое мнение, которому другой человек приписывает больше значения, чем многим другим, высказанным за эти последние месяцы?»

Не знаю, кроется ли в моем протесте и попытка вернуться от ответа. Не думаю. Скорее в нем дает себя знать опыт моей жизни — а ведь о нем-то Вы и спрашиваете, — напоминающий, что в наш век очень многие из принадлежащих к этому культурному кругу, в том числе временами и я, поддавались и поддаются сильной, сверхсильной склонности прислоняться к авторитетам», что означало и означает — говорю я сегодня, двумя с лишним месяцами позднее, прерывая на время текст своего письма, — что означало и означает передоверять «авторитету» и свою мысль, и поступки, и ответственность за то и другое. Но автор письма наверняка не этого искал и, думаю, поймет мое нежелание хоть активно, хоть пассивно содействовать подобного рода процессам. «Но вот мы и обсуждаем, — писала я дальше, — собственно, уже сами вопросы. И если смотреть на это как на обсуждение, на совместное размышление, которое не должно обязательно привести к окончательным и неопровержимым ответам, тогда я, пожалуй, могла бы принять участие в таком рассмотрении Ваших вопросов.

Стоит мне вслушаться — и я ежедневно и по ночам ловлю себя на постоянном, почти не прекращающемся внутреннем монологе: «Возможно ли для Европы, для нас — спасение?» Если я скрупулезно, логически обдумываю это, отдавая себе отчет во всей доступной для меня информации об идущем с обеих сторон вооружении, и прежде всего в определяющих эти вооружения структурах сознания, тогда я отвечаю: нет. Или: по-видимому, нет».

Что, предоставить такие вот фразы какой-нибудь из радиостанций? Я опять откладываю свое письмо. В нынешнем году, было это в апреле, я испытала нечто, редко случающееся в жизни и запоминающееся навсегда, я как реальность пережила возникшее в сознании представление, когда читавший новости теледиктор произнес: «Заседающая в Лондоне комиссия экспертов пришла к заключению, что в случае дальнейшего развития современной политической линии Европе осталось просуществовать не более трех-четырёх лет». И тут наступила минута, во время которой происходило то, что должно случиться через три-четыре года.

Минута эта действовала на меня не только отрицательно, парализующе. «Ну разве не бесполезна теперь и всякая парализованность», — мелькнула мысль. Эта минута открыла путь гневу и чувству освобождения. Да коли они смеют оперировать в своих военных расчетах уничтожением этой нашей Европы, тогда уж и мы, фигурирующие в статистических калькуляциях шагов ядерного планирования кандидаты на мучительную гибель, можем позволить себе кое-какие вольности; тогда и наше подчинение логике, новейшая форма проявления которой — ракета, оказывается лишенным какого бы то ни было смысла, и никакие наши вопросы о причинах этой радикальной угрозы не могут быть достаточно радикальными; перед лицом, повоевному выражаясь, «положения», в котором мы оказались, не следует разве думать, предлагать и пробовать то, что, «собственно, никак не возможно»? Если «реальная почва фактов», стать на которую нас то и дело призывают, потенциально заражена, то так ли уж будет неверно, коли мы поищем другую? И если даже словесные пары, несогласимое значение элементов которых «нападение» и «защита» навсегда очертило, казалось, рамки истории, утратили державшее их напряжение и рухнули в бездонное слово «уничтожение», — то не должны ли мы попробовать изъясняться словами, которые все еще что-то означают?

Так думаю я сегодня. А господину Д. я писала дальше: «Цивилизация, способная планировать собственную гибель и ценою чудовищных жертв создавать необходимые для этого средства, представляется мне больной. И ракета, и бомба — вовсе не побочные продукты культуры; они закономерное порождение ее экспансионистского поведения тысячелетие за тысячелетием; они (отнюдь не неизбежная) материализация синдрома отчуждения, развившегося в индустриальных обществах, которые — с их ненасытным «больше! быстрее! точнее! эффективнее!» — подмяли под себя все другие ценности, а то и попросту проглотили многие из них, выкроенные по человеческой мере, а не по бесчеловечным масштабам чудовищных инструментов. Втиснули человеческие массы в призрачное объектное существование средства, с особым предпочтением опираясь на естественные науки и возводя представляемые ими факты в ранг единственной и безраздельной истины, по принципу: чего нельзя измерить, взвесить, подсчитать, верифицировать, того и не существует. Оно — не в счет! Так же, как повсюду, где «истинное», истинно важное, разрабатывается, планируется и изготовляется, не в счет и женщина, в течение уже трех тысячелетий. Половина людей из живущих в пределах единой культуры *по природе вещей* не причастна к тем достижениям, в которых она, эта самая культура, видит себя». А значит, не причастна, приходит мне в голову, и

и мыслительным и производственным экспериментам, имеющим непосредственное отношение к ее гибели. В самом деле, в исследованиях по разработке оружия нашего времени, в разработке техники и технологии для его производства, в планировании по его применению и в распоряжении им не участвует ни одна женщина. И если мужчины все свои упования и страхи пристегнули к объектам, которые сами и производят, если они, безнадежно перепутавшие цель со средством, подчинившие себя диктату технических процессов, сдавленные в неумолимых тисках разделения труда, вмонтированные в ригидные иерархии, выдрессированные на лишенное чувства «деловое» мышление и поведение, обречены на утрату самих себя, то как же бесконечно пропали тогда в этой пирамиде продуктивной целесообразности, если они не взбунтуются, женщины.

Где им найти, где нам найти еще какое-то дело, которое, давая средства к существованию, не затрагивает одновременно, не подрывает самих оснований нашей биологической жизни на этой земле?

Я слишком сбиваюсь в сторону? Случайность ли, что все противоречия нашей маниакально самоубийственной культуры явственно проступают в созданных ею системах вооружения? «Дорогой господин Д., — писала я, — немало уже было тех, что с болью, в муке противоречий и протестуя верно указывали на этот процесс. Голоса их, выражаясь мягко, не были услышаны. То, что утверждалось искусством со времен Гёльдерлина, Гёте и Бюхнера, а позднее опять, с особой настойчивостью, в нашем столетии; то, из-за чего художники наталкивались на непонимание, подвергались издевательствам, из-за чего запрещали, сжигали и сжигают их книги; за что их самих изгоняли, сажали, пытали и пытаются теперь, — все это, к несчастью, подтвердилось: мы собственными руками создаем то, что нас убивает; абсурдное — подлинно, фантастическое — реально, а формально-логическое мышление «здорового человеческого рассудка» — безумие. Прогнозы искусства сбываются, предсказания одержимой прогрессом науки обращаются против самих прорицателей. Потребности, которым они служили, которые они пробуждали и обхаживали, в том числе слишком много и «извращенных», вырвались на свободу и гонят их дальше. Куда — мы почти уже не решаемся спрашивать.

Насколько пагубными, роковыми оказываются теперь пробелы в нашем мышлении и способе восприятия, сколь роковым образом недостает нам всего, что воспрещалось и воспрещается видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус, осязать и произносить. А наша цензура и самоцензура, спрашиваю я себя, главное назначение которых — не дать нам увидеть себя такими, какие мы есть, цензура и самоцензура, подавляющие стремление к са-

мопознанию, подменяющие его чувством глубочайшего бессилия и (поскольку, не познав себя, невозможно себя и любить) всеобщей неспособностью к любви, — какая взаимосвязь, спрашиваю я себя, соединяет цензуру, самоцензуру и все остальные ограничения жизненно важных потребностей с господством насилия в нашей цивилизации? И с ложной верой в то, что все большее количество все более ужасного оружия означает и большую безопасность? Со страхом перед самосотворенным мифом о «враге», а значит, и с опасностью, кроющейся в попытках разрешить противоречия одной системы, затемняемые и покрываемые ссылками на противоречия и конфликты в другой, при помощи насилия, вместо того чтобы пойти на продуктивные изменения?

Я спрашиваю, дорогой господин Д., я спрашиваю. Когда просыпаются привидения...

Жизнь в абсолютно либо отчасти ложной, поддельной реальности означает также, что дурман и фантасмагорическое мышление становятся делом естественным. Но те, кто находится во власти дурмана и фантасмагорического мышления, похоже, невосприимчивы к доводам рассудка. Отчего бы это? Возможно, оттого, что пустота, идущая прибрежища в дурмане и фантасмагориях, вынужденная оглушать себя ими, испытывает нарастающий панический ужас перед необходимостью оказаться с собою лицом к лицу и начать долгий, нелегкий труд самовоспитания и самопознания, который может привести к тому, что отпадет нужда переносить на образ врага собственные страхи и слабости. И к тому, что человек ощутит самого себя, более того, ощутит себя «сильным», когда прекратится наконец демонстрация силы вооружения. Это было бы то, что называется «зрелостью»; в условиях нашей цивилизации ее обрести непросто. Проще клеймить инакомыслие за "отрыв от реальности". Я снова опускаю письмо. Думаю. Иду возражений, которыми могла бы воспользоваться.

Этот тревожный аспект неотвратимо проступает во всех моих работах последних лет: меня гнетет мысль о том, что наша культура, которая лишь с помощью силы могла достигнуть того, что она именует «прогрессом», через подавление внутри, через уничтожение и ограбление других культур, сузив, в преследовании материальных интересов, представление о реальности и низведя ее до утилитарного уровня эффективного средства, — что такая культура должна была прийти к той точке, к которой она пришла.

И, чуть ли не еще более мучительная, сама собой складывается фраза: «Гитлер добрался-таки до нас». То, что он сумел лишь почти, что не смог довести до конца, уничтожить Европу, то способна довершить ситуация, оставленная в наследство вто-

рой мировой войной. С трудом удастся мне отогнать эту мысль, снова вернуться к письму.

«Дорогой господин Д.». Что дальше?

«Дорогой господин Д., "Выйдем, мой друг! На простор!" — так начинает Гёльдерлин одну из своих элегий около 1800 года. Утопический призыв, который несколькими строками дальше он дополняет неприукрашенной реальной картиной: «Смутно сегодня вокруг, в дреме мостки, персулки, и мне уж почти/Чудится, будто всё здесь, словно бы в веке свинцовом». Точней не сравнишь. «И над нами, — читаем в другом месте, — смыкается небо стальное».

Должна ли и литература, спрашиваю я себя и Вас, начавшаяся когда-то в грандиозном Гомеровом эпосе с изображения битв, с описанием оружия, с культа героев и воспевания богоподобных предводителей войска, — должна ли и она соучаствовать в изгнании утопии из жизни? Способна ли она, продолжая традицию, заложенную великолепным описанием щита, которым владел Ахиллес, воспеть гимн во славу нейтронной бомбы? *А окажется все-таки*, что не хочет она этого и не может, закрепится ли тогда за этим оружием, за остальными вооружениями репутация, усиленно отстаиваемая их творцами и потенциальными применителями, — репутация истинно миротворческих средств?

Нет. Еще не окончательно выжили мы из ума. Дорогой господин Д., — писала я, — работая с неполноценными детьми, которых не вышколить в продуктивных изготовителей, Вы, должно быть, испытываете нечто похожее на то, что испытываю я, когда пишу «просто в надежде», как говорил Йоханнес Бобровский *. Происходит ли то же и с Вами? Под нажимом угрозы интензивнее думается, ищется, острее переживается жизнь среди людей. Тут уже не до шалостей вроде разочарованности в жизни и эсхатологических настроений. С полной ясностью, как человек, узнавший, что он неизлечимо болен, начинаешь понимать, как хочется жить и как необходимо научиться по-другому мыслить, и чувствовать по-другому тоже.

Пусть без скиптра в руке, но ведь это часть жизни —

Все то, чего алчем, да, похоже, пристойно и радость несет.

Гёльдерлин. Пристойно и радость несет? А что это? Нам это кажется чуть ли не из ряда вон, все то, что он под этим разумеет: «вкусить и увидеть красу из красот — сей страны изобилье». Не можем, однако, и мы помириться на меньшем. Все, что игнорируется и отрицается, мы должны создать: приветливость, достоинство, доверие, раскованность, спонтанность, очарование, аромат, звучность, поэзию. Непринужденность жизни. Все, что

улетучивается первым, когда недобрый мир грозит вылиться в прелиминарную войну. Истинно человеческое. Дающее нам силы отстаивать мир.

А нам, немцам, не остается ничего иного, как только особенное миролюбие, в полном смысле этого слова, включая понимание исторических процессов и историческое знание, критичность по отношению к себе и верно толкуемое чувство собственного достоинства, сочувственное внимание к нуждам народов-соседей и тактичность по отношению к тому, что (нередко именно по вине немцев) с особенной чувствительностью воспринимается ими, и — сегодня и впредь — уважение к внешним формам и устремлениям чужой культуры. Отзывчивость, если где бы то ни было на земле народам угрожает опасность, если они подвергаются истреблению, если люди умирают от голода.

Вот видите, дорогой господин Д., не получается у меня думать в крошечных интервалах времени. Только пробивая мысленно эту встающую перед нами черную стену, вырываясь «на простор», я могу выйти из-под гипнотической власти представления о том, будто нам уже нет спасения. Я едва решаюсь надеяться, что когда-нибудь, думая о нас, более счастливые потомки смогут отнести на наш счет сказанное Гёльдерлином: «А мы, уж насколько удалось, сделали все, что могли».

Мое письмо подходит к концу. Что сказать в заключении? Дорогой господин Д., я вполне сознаю спорность и уязвимость высказанных соображений, которые, согласна, все крутятся вокруг да около нашей беспомощности, словно в надежде на чудо: из ничего сделать нечто, бессилие обратиться в действенную силу. Но разве не именно это удастся сейчас движению защитников мира в Федеративной Германии? Разве не доказывает оно, что страх перед уничтожением может быть сильнее, чем страх перед властями, что уже, казалось бы, вынесенному ей вердикту “no future”¹ молодежь противопоставляет свою мечту о мире и жизни без насилия? Именно об этом всего несколько дней назад говорил специалист по истории движения в защиту мира Роберт Юнгк, выступая на «Берлинской встрече», собравшей писателей и ученых из обоих германских государств и ряда европейских стран, хотя еще несколько месяцев назад я сочла бы ее в этом составе, с такой направленностью и в этом месте попросту неосуществимой. Разве не говорит это о том, что и здесь и там предпринимается такое, что, «собственно, никак не возможно»?

Не знаменательно разве, что впервые народы, которые вот-вот будут подняты друг на друга, не испытывают взаимной ненависти? Не усугубляет ли это еще более трагизм предстоящего? Или же, напротив, возвещает надежду?

¹ «Нет будущего» (англ.).

«Благодарю Вас, дорогой господин Д., — написала я в заключение, — благодарю Вас за присланное мне письмо и крепкую руку».

Декабрь 1981

УСТАНОВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

Выступление на Международной встрече писателей «Берлин — город мира»

Время идет, один форум сменяется другим — кажется, все сказано на собравшую нас тему, и все-таки заставляешь себя, преодолевая внутреннее сопротивление, еще что-то говорить во избежание недомолвок. С тех пор как шесть лет назад мы совсем в другом составе сошлись по приглашению Стефана Хермлина здесь же, в Берлине, на «Берлинскую встречу», этот район города не только продолжал застраиваться, но был прежде всего вдоль и поперек перекопан. Я живу в центре. Долгие месяцы, куда бы я ни собиралась пойти, я видела окопы, пробиралась по импровизированным деревянным мосткам через канавы, на дне которых лежали изъеденные временем и ржавчиной спутки коммуникаций, которые предстояло менять. Случалось угодить в раскопки, вскрывавшие под сегодняшней улицей подвальные углы не существующих уже зданий и, этажом и эпохой ниже, почти целую кафельную облицовку мясной лавки. Обнажались порой слои, размежеванные обгоревшими балками, фрагменты обуглившихся стен. Город раскрывался в глубину пространства и времени, он мог быть предметом археологических изысканий, подобно Помпеям: под верхним слоем мостовых, где мы ходим, осели, так же как там, потоки пепла. Это был древний, самоуглубленный город, знававший как незаслуженные, так и оскверненные виной горести. Его сегодняшний облик, та ипостась, которая делает его одним из самых волнующих, утомительных, в то же время опасных городов Европы (и наиболее абсурдных — об этом говорилось вчера), выявляет исторический разлом так же, как вырытые канавы открывают взгляду материальные разрушения, причиненные городу историей, то есть войнами последних столетий. Стоит признать, что шесть лет назад этот город и память об этих войнах преследовали меня картинками, которые я боялась перенести на бумагу. Тогда господствовала доктрина взаимного устрашения — бессмысленное помешательство, которое, по моему убеждению, могло завершиться только последним кошмаром. Наши — и мои тоже — тогдашние заклинания буквально повисали в воздухе.

Сегодня мы связываем их с конкретными предложениями, многие из которых стали предметом переговоров, с тем новым мышлением, которое СССР выдвигает взамен болезненной фиксации на образе врага и с помощью которого он, к моему великому облегчению, приносит за стол переговоров реальность с ее конкретными противоречиями, ту реальность, уйти от которой едва ли не помогала сумасшедшая жонглерская игра с количеством ракет и боеголовок. Насколько мне известно, никогда в истории человечества еще не обсуждалась возможность безвозвратного уничтожения вооружений и их систем — явление, которое, как мне кажется, может пошатнуть в умах миллионов людей заслон, до сих пор мешающий им распознавать свои подлинные интересы и возможные пути их осуществления. Страх, создавший эти заслоны, материализовался как раз в этих системах вооружений; ракеты, пусть даже они служат для некоторых объектов торговли, — это воплощенный страх. Ведь если бы миллионы так называемых простых людей, не получающих от вооружений ни гроша, не испытывали этого страха, то, даже несмотря на высокую степень отчуждения, характерную для экономической системы капитализма, концернам пришлось бы изыскивать другие возможности получения сверхприбылей.

Мы, несущие на себе только непосильный груз гонки вооружений и не получающие от нее никаких прибылей, обязаны нечто противопоставить страху людей. Разумеется, речь не о том, чтобы пытаться переубедить тех, кто только притворяется напуганным. Есть у меня сомнения и относительно ученых и техников, одурманенных видением всеобщей безопасности, которое является всего лишь оборотной стороной лихорадки вооружений. Глубоко немецкий миф о Зигфриде, о герое, убивающем дракона и обмазывающем себя его кровью, которая делает его неуязвимым, за исключением того места на теле, между лопаток, до которого он не дотянулся и куда его потом поразит копьё, — этот миф учит нас: всегда существует место, где мы ранимы. Это живая точка в человеке; если прикрыть и ее, наступает смерть. Город, в котором мы живем, эти два города по имени Берлин невозможно оборонить военной силой. Они уязвимы. А что предлагают нам делать с этим городом те, кто возражает против нулевого решения проблемы всех размещенных в Европе ракет?

Чего они на самом деле боятся: советских ракет или новых советских идей? Солдат — или кинематографистов и писателей из СССР? Процессу, начавшемуся в Советском Союзе и связанному с именем Горбачева, присуща волнующая логика. Оказывается, радикальная, смело и последовательно проводимая политика мира, первым шагом которой становится разоружение, должна постепенно охватывать все стороны жизни общества, ибо прочный мир — это не отсутствие войны, а способность

к разрешению конфликтов, долгий и трудный процесс учения, который должны начать государства и общественные системы в своих отношениях к реальным противоречиям, к меньшинствам и инакомыслящим, чтобы вызвать доверие извне, иначе сказать, рассеять страх и добиться действительных успехов. В таком процессе и искусство, особенно литература, очевидно, снова начнут играть подобающую им роль.

Я за то, чтобы установить приоритеты. Я за приоритет разоружения и рада, что правительство ГДР поддерживает и помогает продвигать этот процесс — по внутреннему убеждению, я надеюсь, а не из тактических соображений. Опираясь на него, постепенно могло бы распространиться выдвинутое Горбачевым требование нераздельности политики и морали — еще одно из тех мечтаний, которые будут вымарываться из наших рукописей за наивность до тех пор, пока одна из мировых держав не превратит их в то, чем они, в сущности, всегда были: в проявления здравого человеческого смысла. Я наблюдала, как в течение пятилетия ряд подобных вымаранных фраз становятся заявлениями и требованиями большой политики, которые печатают в газетах. Меня это радует, но в то же время побуждает к дальнейшим размышлениям над тем, чего сегодня пока нет в газетах: ведь только когда отступит страх перед глобальным уничтожением — а до этого еще далеко, — начнется наконец настоящая работа. Тогда, не прибегая больше к инфантильному всеразрушающему насилию, мы действительно сможем заняться анализом агрессивного характера нашей цивилизации, который ведь не исчезнет вместе с оружием. И может быть, еще яснее, чем сейчас, нам будет видно, что это за цивилизация, все больше покрывающая свои расточительные энергетические потребности с помощью таких электростанций, которые сами могут стать первоисточником опасности. Читатели спрашивают меня в письмах: когда и где в истории человечества было, чтобы господствующие классы или привилегированные слои добровольно отказывались от своих привилегий, в том числе от злоупотребления земными благами и нерачительной их эксплуатации? Не кажется ли вам, пишут мне, что в вооружении и сверхвооружении находит выход страх богатых наций, которым придется поступиться удобствами своей жизни, своей роскошью, если на самом деле предстоит дать умиротворение этой планете, складывающейся из Северного и Южного полушарий. Да, мне так кажется, и я не в состоянии ответить на вопрос о степени вероятности того, что и в данном отношении возобладаст разум. Все это почти неразрешимые проблемы, очерченные мною здесь лишь потому, что я убеждена: долговечный мир можно обеспечить, только если знаешь зачем и для чего.

Май 1987

РЕЧЬ В СВЯЗИ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПРЕМИИ СЕСТРЫ И БРАТА ШОЛЛЬ ГОРОДА МЮНХЕНА

Уважаемые господа, эта премия не даст мне покоя с того дня, когда я узнала о ней, из-за имен, с которыми она связана. Много мыслей промелькнуло у меня в голове за последние недели, когда я искала отправные точки для этой речи. Я допытывалась у самой себя, изменилось ли мое собственное отношение к немецкому фашизму с того времени, как я описала его воздействие на мое детство. И мне стало ясно: наваждение этих двенадцати лет не ушло; дело обстоит так, словно оно продолжает двигаться на нас. Все больше становится скорбь о жертвах, слово «Освенцим» до сих пор усиливает свое злое излучение. Я чувствую, что мне все еще трудно представить до мельчайших подробностей определенные моменты жизни, но прежде всего смерть Софи и Ганса Шолль, и при этом перед моим внутренним взором возникают аппараты уничтожения, в которые затапливались жертвы. В минуты отчаяния сегодняшние формы безудержного разрушения и человеконенавистничества представляются мне все сильнее. Против этого я пытаюсь писать — в том числе и в книге, о которой сегодня идет речь.

Каждый должен в самом себе искать ответ на вопрос, с недавнего времени снова обострившийся: почему к этой эпохе немецкого прошлого никак не хочет установиться историческая дистанция, как она установилась к другим историческим периодам, в рамках которых тоже совершались убийства?

Это прошлое не прошло. Ворошить его — значит пробуждать боль, стыд, чувство вины. Я была вынуждена еще раз опуститься во время «отвращения достойнейших тиранов, которые когда-либо испытывали терпение нашего народа» (Ганс Шолль), еще раз столкнуться с картинами тех лет, а среди них с теми, чья кажущаяся нормальность с годами приобретала все более ужасные контуры. Снова вернулось и воспоминание о страшном испуге, который преследовал меня многие годы с того момента, как я поняла, для чего воспитывалось и предназначалось мое поколение, а следовательно, и я тоже. Никогда не могла я испытывать ничего похожего на «божью милость» в связи с поздней датой моего рождения, ничего похожего на освобождение от ответственности, но всегда лишь этот испуг перед возвращающей силой безумной системы человеконенавистничества. В пятнадцать-шестнадцать лет мы должны были пытаться возродиться заново — милость судьбы, бесспорно, но прежде всего обязанность ко второму рождению, которое продолжалась всю жизнь. Быстрее и легче могли мы разглядеть ошибочное учение, идеологию бездуховности, чем преодолеть нашу глубокую неуверенность, нашу доверчивость к власти, склонность к чер-

но-белому мышлению и к завершенным интеллектуальным построениям. Мне кажется, что у многих представителей моего поколения — по-разному сформировавшихся в зависимости от различных свобод и принуждений на Востоке и Западе — от их прежних стереотипов осталась тяга к растворению в массе и к подчинению, привычка к четкому исполнению своей функции, вера в авторитет, стремление к согласию с большинством, но прежде всего — страх перед выражением своего несогласия и сопротивлением, перед конфликтами с большинством и перед возможностью исключения из группы. Нам было очень трудно стать взрослыми, обрести самостоятельность и независимость, а также социальную позицию в самом хорошем смысле. Все это известно мне изнутри и до сих пор никем не описано — еще один невозмещенный писательский долг. И только в этом смысле как обострение совести, как импульс к тому, чтобы последовательнее вживаться в свои собственные взгляды, а также записывать их, я могу принять вызов часа, подобного сегодняшнему.

Со все возрастающим потрясением читала я письма и дневники Софи и Ганса Шолль, пытаясь погрузиться в обстоятельства их каждодневной жизни, пройти путем их убеждений, которые с детства, наряду с необычайно важным моментом религиозного воспитания, формировались под воздействием книг и писателей. И если временами у меня появлялись сомнения в том, могут ли для других иметь какой-то смысл мои попытки писать, исходя из собственных духовных ценностей, то эти сомнения смягчились, когда я осознала ту страстную привязанность к литературе, ту серьезность, с которой эти двое впитывали духовную пищу из книг — в те времена, естественно, по большей части запрещенных. Один кричащий пример обнажил для меня противоречие, в которое могут попасть литературные тексты, ложно истолкованные и оказывающие потому ложное воздействие. Я вспоминаю о том, как преподавательница немецкого языка укрепляла в нас, четырнадцатилетних, национал-социалистское мировоззрение с помощью стихотворения Гёте «Жить вопреки им — властям и стихиям»¹. Но Шолли те же самые строчки прочитали совсем иначе, сделав их одним из своих девизов. Ганс Шолль выцарапал их на стене своей одиночки.

Я полагаю, что до сих пор недостаточно хорошо известно глубокое воздействие на Ганса Шолля и Александра Шморелля их размышлений о России, параллели между Гёте и Достоевским, осознание того, что они должны защищать немецких писателей, немецкую культуру. Мне хотелось бы процитировать одну запись от ноября 1941 года, в которой Ганс Шолль передал

¹ Перевод Л. Гинзбурга.

свое видение послевоенной Германии: «Война сделает всех нас очень бедными. [...] В первое время голод и нищета не будут отпущать нас ни на шаг, пока в разрушенных городах, разрушенных странах, среди поруганных и наполовину истребленных народов люди будут отыскивать бриллианты, которые сохранились целехонькими в дерьме.

И все же мы хотим, чтобы не миновала нас чаша сия. Она должна быть испита до дна. Наши враги не должны быть разбиты наголову и не должны исчезнуть с лица земли. Они должны потерпеть поражение из-за своей собственной неспособности, они должны захлебнуться в своих собственных нечистотах.

Лишь таким образом станет невозможным ложное прославление истории».

Хотя враги, которых имел в виду Ганс Шолль, в военном смысле были полностью разбиты, но разве «ложное прославление» не имело места в определенных кругах? Не вспыхивает ли оно снова и снова и благодаря тому, что так и не удалось устранить до конца отождествление большей части немецкого народа с национал-социализмом? Не существует ли опасность, что оно привьется к части молодого поколения? Именно поэтому вызывают у меня опасение попытки смягчить, заблокировать и по возможности вычеркнуть из памяти тех, кто жил в то время, и в сознании их детей тяжесть совершенных преступлений, страшно, когда путают причину и следствие и относятся с подозрением и недоверием к однозначно антифашистскому историческому сознанию. Я могу сказать, что подобное историческое сознание с самого начала вырабатывалось в ГДР по инициативе государства, и безуспешно. Но по-моему, государство, во главе которого стояли и стоят многие бывшие борцы Сопротивления, с какого-то момента освободило своих граждан от необходимых раздумий об их доле вины за злодеяния коричневых лет, приписав это прошлое другому немецкому государству. Отдельные наблюдения над молодыми людьми заставляют меня опасаться, что изображения национал-социализма застыли в их сознании до некоего ритуала. В ГДР нет тенденции к затушевыванию немецкого фашизма. В последние годы преодолеваются в ГДР и односторонние попытки пропаганды лишь одной части немецкого Сопротивления, игнорируя другие направления. Теперь публично воздаются почести представителям Движения 20 июля*, членам «Белой Розы»*. И в этой связи хотелось бы спросить, можно ли то же самое сказать об отношении в ФРГ к большой группе участников коммунистического Сопротивления.

Почему я вообще говорю об этом? После своего возвращения из СССР, где Ганс Шолль и Александр Шморелль были солдатами, они начали налаживать связи с другими кружками и группами Сопротивления. Они встретили Фалька Харнака, брата

Арвида Харнака, члена явно коммунистически ориентированной группы Сопротивления «Красная капелла». В одной из листовок «Белой Розы», которая, возможно, была написана под впечатлением этой встречи, говорилось: «Не верьте национал-социалистской пропаганде, которая нагнала вам страха перед большевиками!» Вскоре после этого первые члены «Белой Розы» были выслежены, схвачены, убиты. Зародыш надежды на будущее был уничтожен.

Несчастлива страна, которая нуждается в героях, — эти слова Врехта постоянно приходили на ум как раз потому, что Софи и Ганс Шолль ощущали жизнь во всей ее полноте, были способны к дружбе и любви, наслаждались природой, ценили искусство, так же как и неброское течение повседневной жизни, работу вообще. Эти очень молодые люди должны были защищать богатую, полнокровную жизнь, к которой они были привязаны. Искателями смерти были другие, которые убили их, люди с тяжело поврежденной человечностью. Я боюсь, что индустриальные общества, в которых мы живем, многим людям навязывают способ существования, лишаяющий их именно этой радости жизни и способности любви, и искусственно вызывают у них такие взрац-потребности, которые легче всего могут удовлетворить политики, средства массовой информации и индустрия потребления. Полноценный гражданин не формируется таким образом.

И конечно же, я спрашиваю себя, каким образом могу я своим писательством пробудить другие, продуктивные потребности, которые возникают только у внутренне независимого, критически мыслящего и с сознанием своей ответственности действующего человека? Меня очень занимают причины деструктивных тенденций в нашей цивилизации. То, чего Гитлер хотел и не сумел добиться в полной мере — уничтожить Европу, — сегодня было бы достижимо; но еще больше мне хочется отыскать альтернативы этим тенденциям упадка, как бы скромны эти альтернативы ни были и какими бы утопическими ни казались. Сейчас много говорят о «новом мышлении», и возникает опасность, что это понятие станет расхожим. Мне хотелось бы отнестись к нему серьезно. У нас уже больше не будет так много исторических шансов, чтобы мы могли позволить себе отказываться хотя бы от одного. Для меня это новое мышление является в основе своей не экономическо-техническо-военным, вообще не прагматическим мышлением, а призывом еще раз основательно задуматься о целях и ценностях нашей культуры, с помощью духовно-этической концепции дать еще один шанс Старому Свету. Об этом уже тогда задумывался маленький кружок мюнхенских студентов вокруг Ганса Шолля.

Мне кажется, что сегодня мы переживаем сложный исторический момент, поскольку разрушение закостеневших фронталь-

ных позиций и образов врага вызывает страх и агрессивность у тех людей и в тех группах, которые находили опору именно в этом закоснении. И тот, кто пыгается стать посредником, должен быть готов к ненависти и злопыхательствам; но здесь не место говорить об этом. Человек должен осмотрительно, но без заблуждений всеми силами добиваться необходимых изменений в том обществе, где он живет, чтобы сохранить на этой Земле жизнь для следующего тысячелетия. Свою книгу я воспринимаю как голос в рамках обширного диалога, который необходимо вести вопреки всем сомнениям, возникающим у нас снова и снова.

В одном из последних писем Ганса Шолля я наткнулась на слова, которые меня взволновали. Он пишет: «Я все еще не могу преодолеть некоторой робости перед писаниной. В разговоре одно слово влечет за собой другое, и из вопроса и фразы скоро отчетливо возникает внутренний духовный остов другого человека. О кружке, который я здесь собрал, тебе уже кое-что известно. Я представляю, с какой радостью ты взглянул бы на эти лица. Вся сила, которую человек так растрчивает, снова в том же количестве возвращается в собственное сердце...»

Мы знаем, о каком кружке он здесь говорит. Эти слова запали мне в душу. Разве мы все не мечтаем быть столь же гуманными в общении друг с другом? Научиться в разговоре уважать «духовный остов» своего партнера? И встречать на лицах других людей отражение собственной радости?

Я благодарю вас.

Денежную сумму этой премии я передаю чилийке Кармен Глории Кинтана. 2 июля 1986 года во время забастовки в Сантьяго-де-Чили представители сил госбезопасности военной хунты Пиночета избили ее, облили бензином и подожгли. Ее спутник скончался от ран. Она сама находится в Канаде, чтобы — насколько это окажется возможным — восстановить свое здоровье.

Ноябрь 1987

ИССЛЕДОВАТЬ СУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ*

И. Ц. Изменения, происшедшие за последнее время в нашей жизни и в нашей литературе, в какой-то мере коснулись и вас лично. Опубликованы ваши повести «Кассандра» (правда, без ваших разъясняющих и дополняющих лекций, сопровождавших эту книгу в немецком издании; теперь, я думаю, они будут переведены), затем «Авария», и, наконец, спустя почти пятна-

дцать лет после опубликования выходит ваша, мне кажется, главная книга «Образы детства».

Ощущаете ли вы изменения, происходящие в жизни нашего общества?

К. В. Я. Разумеется, очень рада тому, что скоро выйдет роман «Образы детства». Мою новую книгу «Авария» у вас перевернули очень быстро, а что касается «Образов детства», то публикация этого романа еще несколько лет назад была здесь невозможна. Для этого я должна была сделать купюры, а я их делать не хотела. Мне даже составили нечто наподобие списка, и в него вошло довольно большое количество всяких сокращений, главным образом тех мест, где говорилось о Советском Союзе, Красной Армии, Сталине. Все эти сокращения вроде бы и не затрагивали самой сути книги, тема которой — история одного детства в Германии при фашизме, и все же это сместило бы важные для меня акценты, поэтому согласиться на купюры я не могла. Я не надеялась, что эта книга будет здесь напечатана, но изменения, которые произошли, сделали это возможным, чему я, конечно, очень рада. Но это частности. Неизмеримо важнее для нас все то, что у вас сейчас происходит. Мы (мой муж и я) пробыли в Москве неделю и не можем делать глобальных выводов, но если вы спрашиваете об атмосфере, почувствовали ли мы, как она изменилась, то можно сказать одно: почувствовали, и невероятно остро. За эту неделю нам удалось поговорить с очень многими людьми, не считая встречи с читателями в Библиотеке иностранной литературы. И естественно, с каждым мы говорили о перестройке, каждый высказывал свое отношение к происходящему. Мне кажется, изменение атмосферы в вашем обществе ощущается уже в том, что сталкиваешься с большим количеством самых разных точек зрения. Разные люди с разными судьбами по-разному воспринимают нынешние изменения. Одни принимают их с огромным энтузиазмом, другие скептически, третьи выжидают — словом, в смысле общения для нас эта неделя была в высшей степени интересной и насыщенной.

И. Ц. В своем выступлении на Международной встрече деятелей искусства в Берлине вы, именно в связи с нашими переменами, говорили о той роли, которую должно играть искусство, и прежде всего литература, в трудном процессе воспитания общественного сознания, чтобы люди учились правильно видеть и оценивать реальные проблемы, учились выслушивать и тех, кто думает иначе.

К. В. Что касается литературы, то она, я думаю, должна играть ту же роль, что играет всегда. У нас в стране до сих пор

положение таково: из-за того что публицистика очень плоха и слабо откликается на реальные проблемы действительности, многое вынуждена брать на себя художественная литература. Об этом говорится уже давно, но пока, мне кажется, мало что изменилось. Конечно, это «нагружает» литературу рядом проблем, которые должны стать предметом рассмотрения собственно публицистики. И я вижу огромный выигрыш для вашей литературы в том, что она сейчас может целиком обратиться к своей истинной задаче — исследованию сути человеческого бытия, ей не надо быть в такой мере публицистичной, писать о недостатках экономики, системы образования, о потерях при сборе урожая, то есть заниматься всем тем, чем она до сих пор часто занималась. Важно, чтобы литература действительно могла говорить об экзистенциальных проблемах человеческой жизни, тогда она больше будет способствовать перестройке общества в направлении гуманизации.

И. Щ. Вы, безусловно, правы, но у нас сейчас очень велика потребность в правде. Люди просто многое хотят узнать из того, что происходило, да и сейчас происходит, что долго скрывалось или было покрыто завесой лжи, и поэтому не только публицистика играет невероятно важную роль, но и очень силен публицистический элемент в литературе.

К. В. Но я об этом и говорю. Очень хорошо, что у вас сейчас публицистика наконец стремится сделать то, что должна делать, я надеюсь, так будет и впредь. Что же касается литературы, то она должна идти глубже, например попытаться исследовать те причины, по которым Сталин так долго мог находиться у власти, понять, почему его влияние на миллионы людей было столь велико, что многие и сегодня не хотят знать правду. Все эти проблемы нам очень хорошо знакомы, и именно они волновали меня, когда я писала «Образы детства». Это я и имею в виду, когда говорю о том, что может дать литература.

И. Щ. В ваших лекциях к «Кафсандре» вы цитируете фразу Леонардо да Винчи: «Познание, не затронувшее органы чувств, не породит никакой другой истины, кроме вредоносной...» Вы видите одну из задач литературы в этом «затрагивании чувств»?

К. В. Задачу всего искусства. Хотя эти слова, вероятно, в большей мере относятся к художникам и музыкантам, чем к литераторам. В литературе же (лично для меня это так) очень велико значение мыслительного процесса. Но я действительно считаю, что эмоциональное восприятие играет огромную роль. Наши общественные системы, наше индустриальное общество имеют

тенденцию подавлять эмоциональные элементы, в качестве замены предлагать людям суррогаты, например музыку, которая только «взвинчивает», а не воздействует на чувства, не воспитывает их. То же самое происходит со зрительными впечатлениями и даже с литературой. Да, для меня это ключевая фраза, и я вкладываю в эти слова, вероятно, тот же смысл, что и вы. Видите ли, от этого все равно никуда не денешься: воспитание чувств дело гораздо более трудное, чем воспитание рационального мышления. Люди в наше время — и благодаря школе, и вообще всей системе воспитания — стремятся мыслить рационально. Наша школа, например, вообще не ставит перед собой такой задачи — воспитывать чувства, она не дает возможности стать зрелым человеком. Она воспитывает разве что привычку подчиняться и слушаться. А этими качествами истинная зрелость чувств никак не определяется. Все на себя взять литература не может. Конечно, писатель, сам столкнувшийся с этими проблемами, в какой-то форме отразит их в своем творчестве, но это не первоочередная задача литературы.

И. Щ. В одном из ваших интервью вы процитировали очень важные для нас сегодня слова Брехта: «Мы слишком рано вернулись спиной к нашему недавнему прошлому. Наше будущее будет зависеть от расчета с этим прошлым». Тема осмысления прошлого, расчета с прошлым стала одной из ключевых в литературе ГДР и ФРГ. Это и тема романа «Образы детства». Но вы обратились к ней существенно позднее многих писателей вашего поколения — лишь в начале семидесятых. Почему так произошло?

К. В. Я принадлежу к поколению, которое в 1945 году как раз вышло из детского возраста — мне только исполнилось шестнадцать, — и потому это «крушение» (многие у нас до сих пор так говорят), которое прежде всего было полным поражением гитлеровской Германии, я пережила очень остро и очень тяжело. Мое детство прошло при нацизме, и я тогда находилась под влиянием всего того, что было мною впитано. Мне кажется, это вообще отличительная черта моего поколения, что мы многие годы очень остро переживали чувство вины за те преступления, которые были совершены немцами во время войны в других странах и в самой Германии. У меня достаточно рано возникло ощущение — и, надо сказать, оно сохранилось до сих пор, — что тем людям старшего поколения, поколения наших родителей, кто не был коммунистом, евреем, не эмигрировал, не сидел в тюрьмах и лагерях, не боролся в Сопротивлении, а был просто обыкновенным немцем, — что таким людям было очень трудно прийти к осознанию вины, вообще поставить для себя вопрос

о вине. Вероятно, потому, что они участвовали во всем том, что происходило, и если большинство не являлись прямыми виновниками, то, во всяком случае, были соучастниками. Наверное, и в самом деле очень трудно, если ты в какой-либо форме являлся соучастником преступлений, обращаться потом к тяжелым моментам прошлого, воспринимать их как часть своей жизни, как свою вину. Поколение, к которому принадлежу я, целиком взяло эту вину на себя, хотя мы были слишком молоды для того, чтобы быть поистине в полной мере виноватыми. Но я думаю, что это правильно. И более поздние поколения, сегодняшние внуки и даже правнуки современников Гитлера, должны ставить перед собой вопрос о вине. Тут невозможен чисто умозрительный, рациональный подход: ведь живут и потомки жертв, если у них вообще были потомки, и они тоже несут в себе то, что пережили их родители или родители их родителей. Мы живем в одном мире, а после такого периода в истории без глубокого анализа прошлого нельзя ни продолжать жить дальше, ни построить нового общества. Если этого не произойдет, не будет и радикального разрыва с прошлым; в обществе вновь возродятся прежние структуры, люди не обретут нравственной зрелости, не преодолеют инфантильности, старых клише, останутся в плену прежних представлений, наконец, они снова могут впасть в фанатизм, захотят сильной руки, начнут выдвигать фанатичные лозунги и фанатично им следовать. Они не обретут способности трезво оценивать реальность, и тогда эта реальность может стать дурной реальностью. Не удастся даже наладить экономику, но прежде всего без полного расчета с прошлым нельзя будет создать по-настоящему гуманной общности людей. И нельзя просто отбросить от себя прошлое, сказать: я осуждаю то, что было, но больше ничего обо всем этом знать не хочу. Нет, нужно искать отзвуки этого прошлого в себе самом, иначе ничего не выйдет. Вот это я и стремилась сделать в своей книге.

И. Ц. И для нас все это чрезвычайно актуально. Вероятно, общественное самосознание развивалось в чем-то сходным образом; скажем, в нашей «оттепленной» литературе конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, из которой у нас читатель узнал кусочки правды о репрессиях сталинского времени, так же более остро стоял вопрос о беде, а не о вине. А по мере того, как увеличивается временная дистанция, проясняется картина прошлого, вопрос о вине и об ответственности все больше выдвигается на передний план.

К. В. Вопрос о вине не может не возникать. Ведь все, что делалось, делалось не само собой, а руками людей.

И. Ц. Без чувства ответственности не может нормально развиваться общество. И наверное, самый страшный пример безответственности — Чернобыль. Вы принадлежите к художникам, которые всегда откликаются на острые проблемы современности, и ваша последняя повесть «Авария» — прямой отклик на чернобыльские события. В минувшем году в журнале «Юность» была опубликована документальная повесть Щербака о Чернобыле, в которой, в частности, фигурирует журналистка Любовь Ковалевская, еще до аварии напечатавшая статью, где говорилось о разного рода безобразиях на АЭС. Потом о ней даже стали говорить как о Кассандре. Разумеется, никаким провидческим даром она не обладала, просто, зная, что творится на АЭС, все последнее время боялась, что может произойти какая-нибудь катастрофа...

К. В. Знаете, в этом веке сбывались самые страшные предсказания, и потому, к сожалению, довольно легко стать Кассандрой, стоит лишь придумать что-нибудь очень скверное, к чему может привести некое развитие, — и твое «предсказание» осуществится еще при твоей жизни или после нее, хотя это слабое утешение. Вот об этом я думала, когда писала «Кассандру». Конечно, изменить ход истории не под силу никакой книге, но если уж мы говорим о роли литературы, то, может быть, необходим шок, и литература должна вызывать такой шок, ибо чувства у людей приглушены, они считают, что «как-нибудь» не будет войны. Правда, теперь все больше людей в Центральной Европе начали сознавать, что если мы положимся на «как-нибудь», то «как-нибудь» может разразиться война. Поэтому для нас ваша перестройка проявилась прежде всего в предложениях Горбачева по разоружению. Это действует на людей сильнее всего и касается всех — от членов правительства до самого последнего человека, если существует такой последний человек. Это то, что все приветствуют, что было воспринято как возникшая вдруг надежда. Мы уже не ждали и не надеялись на то, что простые и ясные мысли, пришедшие в голову самым обыкновенным людям, вдруг начнут играть роль в большой политике. Для нас это была первая волна перестройки и, в общем-то, самая важная.

И. Ц. Возвращаясь опять к теме фашизма... В одном из выступлений вы говорили о том (собственно, это достаточно отчетливо сказано в «Образах детства»), что до 1945 года вам ни разу не встретился человек, который произнес хотя бы одно слово против фашизма. И это пусть горькая, но правда. То же самое, вероятно, могут сказать о себе большинство из тех, кто принадлежит к вашему поколению. Но когда читаешь некоторые произведения литературы ГДР, созданные в пятидесятые — ше-

стидесятые да и в более поздние годы, читаешь публицистику, может возникнуть ощущение, что чуть ли не все были если не антифашистами, то в какой-то мере им сочувствовали, прятали евреев, коммунистов, помогали военнопленным. Естественно, тогда рождается вопрос: как же тогда стало возможным то, что произошло? И ваша книга «Образы детства» чрезвычайно важна для понимания именно «обыкновенного фашизма». Тем интересней она будет для наших читателей, что — никуда от этого не денешься — возникают параллели. Ведь и у нас росло обманутое поколение, и у нас дети не слышали ни одного слова против Сталина. Обманутое потому, что видело в сталинизме воплощение идей революции. Хочется в связи с этим напомнить ваши слова из «Аварии», показавшиеся мне ключевыми: «Неужели утопии нашей эпохи обязательно порождают чудовищ? И были ли мы сами чудовищами, когда слепо в них верили?»

К. В. Я очень хорошо понимаю, в какой напряженной эмоциональной ситуации находятся у вас мыслящие люди, но мне, человеку, приехавшему из ГДР, важно подчеркнуть следующее: когда мы сейчас говорим о нашем прошлом, не стоит стирать различия. Вопрос этот будут решать историки, возможно, для вдумчивого анализа понадобится время, не все станет сразу же понятным. Я вспоминаю недавнюю дискуссию, происходившую в ФРГ, где тоже обсуждалась эта тема. Дело в том, что правое течение в исторической мысли постоянно стремится выправить из общественного сознания чувство вины за то, что произошло в период фашизма. Приводятся доказательства, что немецкий фашизм не был особым явлением, что диктатуры существовали везде и всегда, что сталинизм не просто надо сравнивать с германским фашизмом, но следует даже поставить знак равенства между ними и, наоборот, германский фашизм многому учился у Сталина. Видимо, не случайно именно в тот момент, когда началась эта дискуссия, или незадолго до нее состоялось выступление Гельмута Коля в Израиле, где он говорил о «счастье позднего рождения» (несомненно, это попытка избавить свое поколение от ответственности, а мы с ним, кстати, принадлежим к одному поколению). Поэтому для нас тоже чрезвычайно важно, чтобы были проведены серьезные исследования с исторической, социальной и экономической точек зрения, выяснены причины сталинизма, как он возник, в результате чего, какие формы принял. Параллели, безусловно, существуют, например в психологии людей в периоды террора, но знак равенства — это совсем другое. Такая позиция не приведет ни к чему хорошему, особенно при теперешней политической ситуации в Европе и во всем мире. Это было бы искажением исторической правды. Кроме того, очень важно, что у вас необходимость переоценки прошлого

осознана сейчас самой партией, чего, конечно, не было в нацистской Германии и, к сожалению, быть не могло. Разумеется, мы знаем, что существовало Спротивление, и люди, участвовавшие в нем, заслуживают нашего глубочайшего уважения, но ни о каком решающем повороте и речи быть не могло, а у вас это произошло. Это означает, что у партии есть силы, которые оказались в состоянии мыслить разумно.

Несколько дней назад мы посмотрели фильм «Покаяние», где в фигуре этого страшного сатрапа слились в один художественный образ многие прототипы: и Гиммлер, и Берия, и Муссолини, разумеется, с разными добавлениями. Я не могла себе прежде представить, что это возможно сделать средствами кино. Но Абуладзе это удалось. Больше того, когда я смотрела фильм, то все время думала о том, что, вероятно, это возможно только в кино.

Г. В. Думаю, что такой силы образа вообще не было создано пока ни в одном романе.

К. В. Да, мне тоже трудно представить себе такую фигуру в романе. В «Покаянии» меня поразило то, как высвечены психологические структуры. Этот фильм заставляет задуматься над целым рядом вопросов.

И. Ц. Вы как-то сказали, что интерес для исследования представляют не только фигуры диктаторов — Гитлера, Сталина, — но и исполнителей, кабинетных палачей — Гиммлера, Эйхмана. В них — ключ к расшифровке механизма власти, административной системы, которую создает тоталитарный режим. Мне кажется, одна из задач нашей литературы — попытаться проникнуть в суть этой системы.

К. В. Литература должна это делать всегда, а в нашем веке особенно, потому что в этом столетии бюрократические системы приобрели способность отчуждаться, как это, например, описывает Кафка в своем «Замке». Он, наверное, был одним из первых, кто предвидел, что наступит время, когда аппарат власти станет таинственным и непроницаемым. Вот почему имеет такое значение это слово — «гласность». Именно благодаря гласности механизм власти как бы обнажается, приоткрывается народу — тому, кем правят. Это невероятно важный процесс, от которого зависит буквально все. Нам, как иностранцам, конечно, трудно пока судить о том, какие изменения произошли у вас в экономике. Но ясно, что первое и самое главное — это стремление говорить правду. Отсюда люди будут черпать импульсы и переносить их на другие виды своей деятельности.

Г. В. Хочу вернуться к той дискуссии с западногерманскими историками. Мы в своих выступлениях говорили о том, что, безусловно, существуют и параллели, и общие проблемы, но мы настолько мало знаем друг о друге, что почти нет взаимовлияния. По целому ряду общих проблем, которые возникают в мире, нет точек соприкосновения, оборваны взаимосвязи, в том числе и литературные. Поэтому было бы очень хорошо, если бы существовала обоюдная передача опыта. Можно привести такой пример: Браун еще десять — пятнадцать лет тому назад написал пьесу, которую «Берлинер ансамбль» готовит только сейчас. Называется она «Смерть Ленина», а не ставилась она до сих пор потому, что в ней действует целый ряд лиц, которым у нас не была дана объективная историческая оценка: Троцкий, Зиновьев и др. Когда Брауна спросили, зачем он вообще взялся за такую тему, это дело советских писателей, он ответил: «Я коммунист, следовательно, это и моя тема тоже». Такую пьесу, например, было бы интересно обсудить и у вас, и у нас. По той же причине было бы важно, чтобы у вас вышли лекции к «Кассандре», потому что многие проблемы, которые в них затрагиваются, стали сейчас здесь предметом дискуссии.

К. В. Еще несколько слов о Брауне. Он, конечно, не единственный, но, пожалуй, наиболее яркий пример тех творческих людей, которые у нас все эти годы, несмотря на то что порой это было очень трудно, не теряли веру в истинные идеалы коммунизма и критиковали все, что эти идеалы извращало. Сегодня мы, конечно, знаем, что и с помощью коммунизма нельзя создать рай на земле, что это такое же движение, как и другие, со своими ошибками и возможностями, и его не надо мифологизировать, превозносить или, как это часто теперь происходит, проклинавать.

И. Щ. Скажите, что вы думаете о корнях и причинах распространения ставших сейчас для многих столь притягательными национальных и часто, к сожалению, националистических идей?

К. В. Вероятно, тут надо учитывать и психологический момент: когда люди, во что-то на самом деле или якобы верящие, лишаются этой веры, они теряют почву под ногами, хватаются за первое попавшееся, а у многих народов, у немецкого тем более — тут мы многих опережали, — это национализм или шовинизм. В такой ситуации невероятно трудно сохранять спокойствие, руководствоваться разумом, а не эмоциями, которые мо-

гут завести бог знает куда. Выход один — надо настойчиво искать иные, настоящие ценности.

И. Щ. Неприятие молодыми многого из того, во что верили их отцы, отталкивание от тех нравственных ценностей, которыми жила старшее поколение, имеет целый ряд причин. Одна из них — демагогия и фальшь, царившие в официальной пропаганде. Это привело к довольно страшным вещам. Крайний пример — обращение некоторых групп молодежи к нацистской символике.

Г. В. Вероятно, этим они хотели бы вызвать у окружающих шок.

К. В. А какой смысл они на самом деле в это вкладывают — уже другой вопрос. Ответ может показаться чересчур простым, но, возможно, он и в самом деле прост: это внутренняя пустота, отсутствие идеалов, настоящей цели. Поэтому-то они и хватаются за то, что сильнее всего эмоционально окрашено. Что возбуждает наиболее сильные чувства и дает возможность встать в наиболее резкую оппозицию. Думаю, что это и есть основные причины. Знаете, с кем бы мы здесь ни говорили, тотчас возникал вопрос о молодежи. И нас, по существу, тревожат те же проблемы, что и вас: каким образом старшее поколение могло бы воздействовать на младшее, в какие нравственные ценности можно заставить их поверить. Сейчас, как мне кажется, общение между поколениями почти прервано, во всяком случае, связующие нити стали совсем тонкими. Фильм «Легко ли быть молодым?», который мы тут видели, подтверждает, что у нас с вами общие проблемы. Думаю, что это честный фильм. Ведь молодое поколение и в самом деле чувствует себя брошенным; сорока-пяти-шестидесятилетние сейчас опять заняты собой. Им приходится переоценивать свою жизнь, а кто позаботится о том, чтобы у молодых нашлись такие собеседники, которым они могли бы поверить?

И. Щ. Наверное, единственная возможность не утратить связи с молодым поколением — это, в том числе с помощью литературы, изменить нравственный климат в обществе. Только тогда станет возможным честный диалог между поколениями.

К. В. Я очень рада, что вы придаете такое значение литературе, сама я тоже этим грешу. Но я говорю не о той части молодежи, которая выросла в интеллигентных семьях или по собственной инициативе читает книги. Таких ведь небольшое число. Несмотря на многотысячные тиражи, серьезно читающих — меньшинство. Я имею в виду совсем иные общественные процес-

сы, которые могли бы захватить и тех, кто сегодня, например, целиком сосредоточился на рок-музыке. Я уж не говорю о всяких молодежных экстремистских группах, бандах... Как до этих достучаться — вот вопрос, которым должно задаваться общество, и вопрос крайне важный, потому что поджимает время. Нельзя медлить, нельзя ждать, чтобы выросло еще одно потерянное поколение. И то, что начинать нужно как можно раньше — с рождения, с детского сада, со школы, — это, думаю, азбучная истина. Вот только как начинать, каким образом? Как старшим, нынешним двадцатилетним, то есть родителям маленьких детей, воспитывать их, чтобы у них возникло ощущение, что они растут с возможностью внутренней свободы, с возможностью автономии, чтобы им не надо было обвешиваться всякими цепочками и заклепками для выражения своей слабой индивидуальности, одеваться так, чтобы провоцировать окружающих или просто обратить на себя внимание. Какой тут может быть путь? У меня нет готовых рецептов, я просто хочу подчеркнуть, что у вас и у нас эти проблемы явно выдвинулись сейчас на передний план.

И. Ц. Но то, что мы теперь говорим, старшее поколение всегда склонно говорить про младшее. Или вы считаете, что сейчас проблема разрыва между поколениями приобретает, как все в XX веке, особенно острые формы?

К. В. Да, мне кажется, что это так. Вы правы, каждое поколение говорит: мы были другими, мы были лучше, мы себе так-то не позволяли. Лично я стараюсь подобных вещей не говорить, ибо очень хорошо помню, что моя юность прошла в годы фашизма. Могу ли я считать, что мы были лучше? На это у меня нет никакого права. Я думаю, что совсем молодым сейчас приходится труднее всех. И повальное увлечение крайне резкой, шумной музыкой рока, которая по сути является подражанием ритму машин, — это ведь следствие нашего безумного века. И конечно, молодежь, даже если она не всегда это осознает, не может не реагировать на то, что в мире накопилось такое количество средств массового уничтожения и человечество может быть стерто с лица земли одним нажатием кнопки. Это молодые впитывают из воздуха, даже если они совершенно не читают газет и ничем вроде бы не интересуются. Просто у них возникает определенное отношение к жизни, рождается, пусть не всегда осознанное, чувство безнадежности, отсутствия перспективы. Именно это и выражает возникшая на Западе формула „no future“ — «без будущего». Мы проповедуем им высокие идеалы, твердим: читай Толстого, читай Гёте, у них найдешь идеалы. Но ведь Толстой и Гёте не сидели на пороховой бочке, и пороховая

бочка — это еще мягко сказано. Конечно, главное, что можно для них сделать, — изменить мир. А пока этого не произойдет, никакой по-настоящему честный разговор с молодыми невозможен.

И. Ц. Нельзя забывать и о той страшной психологической травме, которую нанес Чернобыль.

К. В. Да, это ужасная травма. Разумеется, физическая, но еще в большей мере психическая. Конечно же, большинство людей, и я в том числе, стараются вытеснить эти мысли из своего сознания. Человек может нормально существовать, только если не думает об этом постоянно. Осознавать все это каждую минуту своей жизни, просыпаясь утром и засыпая вечером, просто невозможно. Правда, по ночам иногда такие кошмары все-таки преследуют...

И. Ц. Но вы своими книгами как раз заставляете людей задуматься над тем, над чем они стараются не задумываться...

К. В. Прежде всего я стараюсь объяснить это самой себе. И здесь я вижу главное отличие литературы от публицистики. Я вовсе не ставлю перед собой цели воздействовать на читателя в духе голой дидактики, не собираюсь предстать перед ним с указующим перстом, нет, для меня это способ самой справиться с какими-то вещами. «Справляться», наверно, неточное слово, ну, иначе говоря, возможность жить и не сойти с ума. Не отупеть, вытесняя все из своего сознания, настолько, чтобы вообще ни на что больше не реагировать. Это ведь тоже своего рода болезнь. Или, наоборот, сделать предельно чувствительной и перестать реагировать уже просто из страха. Сохранять свое психическое здоровье на таком уровне, чтобы оставаться дееспособной, — вот что я пытаюсь делать. И это возможно, во-первых, благодаря общению с людьми, с детьми, с моими внуками, а во-вторых, благодаря работе. Вероятно, каждый ищет для себя какой-нибудь путь. Многие находят его в чтении.

И. Ц. В последние годы у вас в архитектуре и в искусстве заметно стремление отыскать «корни», опереться на историческую традицию. Это и для нас сегодня чрезвычайно актуально. Как вы относитесь к тому, что у вас явно усиливается интерес к Пруссии?

Г. В. Если говорить об этой исторической традиции, о Пруссии, то возникает целый комплекс вопросов. Было время, когда

все связанное с Пруссией замалчивалось, как будто этой исторической традиции не существовало вовсе, о ней вообще не упоминалось ни у нас, ни в ФРГ. Но постепенно этот пробел в истории стал ощущаться все острее, и поэтому лет десять назад Пруссия была как бы заново открыта. Тем более что Берлин — бывшая столица Пруссии. К тому же большая часть прежней Пруссии находится на территории ГДР, — поэтому в данном случае такое обращение к историческому прошлому было более чем естественно, и сейчас у нас даже стали подчеркивать, что мы к этому имеем большее отношение. Была организована выставка, посвященная Пруссии, а потом в Потсдаме — Фридриху II. Надо сказать, что, хотя германский милитаризм и уходил своими корнями в прусскую традицию, при Фридрихе II и даже до него одной из важнейших черт политики была терпимость. Не было религиозных преследований или преследований каких-либо национальных меньшинств. В Пруссии, кроме верности долгу, дисциплины, ну и милитаризма, существовали и другие традиции, вполне для нас приемлемые. Участники покушения на Гитлера 20 июля 1944 года тяготели к этим традициям и при всем своем консерватизме выступили против Гитлера. И потому очень важно, что этот пробел ликвидируется и эта историческая традиция стала предметом обсуждения.

К. В. Это не привело (во всяком случае, в ГДР) к идеализации Пруссии, так как у нас уже достаточно развито историческое мышление. И если говорить об истоках фашизма, я думаю, в ГДР уже не существует опасности, что молодежь вновь увлечется прусскими милитаристскими идеалами. Старый Фриц (так в шутку у нас называют Фридриха II) хоть и стоит опять на Унтер-ден-Линден, но вызывает у прохожих лишь усмешку — он не представляет опасности.

Г. В. Ситуация, сложившаяся ранее, была просто абсурдной. Польша восстановила свои бывшие немецкие города, их исторические центры в прежнем архитектурном стиле, а мы взрывали и сносили памятники архитектуры, потому что очень долго боялись, что эти памятники возвеличивают Пруссию и одновременно германский милитаризм. Слишком много было принято поспешных решений, за которые теперь приходится расплачиваться. Сейчас в Берлине восстановлен целый квартал, квартал Николаи*, который относится к эпохе Просвещения и связан с именами Лессинга, Гумбольдта, Николаи, в честь которого и назван этот квартал. Он отстроен фактически из ничего, даже руин там уже не было. Такое обращение к традициям можно только приветствовать.

К. В. Прежде всего я думаю, что это еще и признак реальной суверенности. Вероятно, это можно было позволить себе и раньше.

Г. В. Может быть, и так, но некие моральные качества, которые принято считать исконно немецкими добродетелями, — верность долгу, честность, усердие — сейчас чрезмерно восхваляются. Например, верность государству любой ценой, верность чиновничьему долгу. Ведь даже если эти прусские добродетели наполнить новым содержанием, все равно нравственная их ценность далеко не безусловна.

И. Ц. Вы, возможно, уже слышали, что у нас бушуют страсти вокруг градостроительства и памятников архитектуры. Именно архитектура вдруг стала горячей точкой.

К. В. Мы это можем понять, во-первых, потому, что в какой-то мере это знакомо и нам, правда, не в таких масштабах, а во-вторых, потому, что в переломный момент, в каком вы сейчас находитесь, очень важны поиски своей сути. Народ ищет свое лицо и потому смотрит в прошлое (будем надеяться, что не только в прошлое), смотрит на памятники, которые еще сохранились, на архитектуру и живопись. Настроения, которые вокруг этого возникают, могут быть и реакционны — это уже другая сторона проблемы, — но изначально это, на мой взгляд, нормальная реакция. Стремление найти себя, как выясняется, предполагает далеко не простой путь.

Г. В. Очень важно, что у вас началась более интенсивная реставрация памятников архитектуры. Наверное, это важнее, чем строительство нескольких небоскребов в современном стиле, совершенно не вписывающихся в исторические районы города. Помните в «Покаянии» линию с храмом? Такое происходило в социалистических странах. В Лейпциге на площади, где теперь выстроено новое здание университета, стояла старая церковь — памятник архитектуры. Она была взорвана, несмотря на протесты местных жителей. Теперь, вероятно, таких вещей не стали бы делать, но в свое время так поступали со многими памятниками, потому что их отождествляли либо с феодализмом, либо с чем-нибудь еще...

И. Ц. Теперь внуки пытаются спасти остатки того, что разрушили деды. Но многое ли из того, что было разрушено, может быть восстановлено целиком в прежнем виде? Это касается не только архитектуры. Читали ли вы «Плаху» Айтматова? Там ведь герой обращается к религии, к вере в поисках нравственных ценностей...

К.В. Я понимаю, что вы говорите не только о восстановлении памятников, но и о религиозных поисках. Это мне лично не столь уж близко. Тут каждый народ, каждое общество ищет свой путь. Это трудный вопрос, потому что поиски нравственных ценностей очень важны для каждого человека, а молодежи просто необходимы. Но должны ли это быть именно религиозные ценности? С другой стороны, где молодым взять иные?

Г.В. Я хочу сказать о другом, о традициях, которые чрезвычайно важны для вашей культуры и для культуры всей остальной Европы, — это традиции авангардистского искусства досоветского или раннесоветского периода. Эти традиции всегда были революционными, именно так их воспринимали левые во всей Европе. Я имею, например, в виду прогрессивные тенденции в кубизме, футуризме, в литературе и в изобразительном искусстве. За последние годы в ГДР было издано несколько великолепных монографий, посвященных художникам, творчество которых у вас известно далеко не в полном объеме, например Малевичу, Лисицкому. Что касается литературы — был издан ряд прекрасных сборников, познакомивших нашего читателя с ранней советской литературой. И этот капитал следовало бы снова пустить в оборот, потому что тот революционный подъем, который был присущ многим художникам накануне революции и в начале ее, сегодня находит отклик у молодых, стремящихся вернуться к истокам, чтобы еще раз начать все сначала, пока общество окончательно не застыло и не деформировалось. Два года назад в Западном Берлине была организована великолепная выставка с огромным количеством материалов, документов. На ней было представлено творчество раннего Маяковского, Хлебникова, работы художников — их современников. Эта выставка вызвала большой интерес, главным образом у молодежи. У нас сейчас возникло целое направление в молодой поэзии (поколение родившихся в середине пятидесятых годов), которое вообще отвергает так называемый нормальный язык как язык функционеров и средств массовой информации. Эти поэты заявляют, что должны говорить совсем иным языком, и пытаются теперь создавать его для себя заново. В своих поисках они в сильной степени опираются, например, на Хлебникова, потому что видят в этой традиции подтверждение своей правоты. В Германии этому соответствует ранний дадаизм. Мы стали свидетелями, как вновь зазвучали голоса, которые долгое время не были слышны, а теперь к ним прислушиваются молодые, создавая свой собственный язык.

К.В. Связанный, например, с музыкой. Я хочу только еще раз подчеркнуть, что есть много традиций, на которые могли бы

опереться молодые. Возможно, новое поколение окажется сейчас восприимчивым именно к традициям раннего советского искусства. Не знаю, сколь велика у вас в данный момент способность восприятия, у нас, надо сказать, она довольно-таки сильна. Если только молодежь не заикливается на ином, скажем, на религиозных поисках.

Г.В. Ведь и у Хлебникова, когда он создавал свой язык звезд, эти поиски носили если не прямо религиозный, то, во всяком случае, идеалистически-пророческий характер. Это тоже стремление к идеалу. И может быть, именно здесь будет найдена точка отсчета каких-то современных исканий...

И.Щ. Однако у нас, если вы помните, с середины пятидесятых годов до начала шестидесятых уже происходило нечто подобное, и тоже главным образом в поэзии. Обращение к Маяковскому характерно для тогдашних стихов Вознесенского, Евтушенко, собственно, они до сих пор не отказались от этой традиции. Но что касается сегодняшних молодых, то я не уверена, что у нас сейчас развитие может пойти в этом русле. Пока, во всяком случае, это не ощущается.

Г.В. Но ведь «Пощечина общественному вкусу», например, звучит сейчас остро современно.

К.В. Или пьесы Маяковского с их перенесением в будущее. Бессмысленно заново придумывать то, что было уже когда-то сделано, обрывать там, где можно было бы продолжить. Разумеется, сейчас у многих, особенно у молодежи, просто отталкивание от лжи, от пустой фразы, но художники, о которых мы говорили, как раз были искренни, и я думаю, что это становится ясно каждому, кто по-настоящему занимается их творчеством.

И.Щ. Видите ли, вопрос об этих традициях у нас очень непрост. Пожалуй, это тема для отдельного разговора, и что касается утраты интереса, даже отталкивания — я имею в виду молодого читателя, — то одна из причин — фальшивый, «хрестоматийный глянец», который наложила на Маяковского сталинская и последующие эпохи.

К.В. Нельзя одну полуправду заменять другой полуправдой. Вся правда очень трудна и сложна, и так же сложны были эти фигуры — Горький и Маяковский. Но ведь они такие живые! Они должны быть вновь открыты для молодых.

И. Щ. Как и произведения многих других русских и советских писателей, которые до недавнего времени у нас не печатались. Это и Платонов, и Пастернак, и Булгаков, и Гумилев, и Ходасевич, и Набоков; список не бесконечен, но очень длинен.

К. В. Булгаков — один из моих любимейших писателей...

И. Щ. Кстати, степень его известности настолько велика у нас в самых разных читательских слоях, что пятнадцатилетние сплошь и рядом разговаривают друг с другом цитатами из «Мастера и Маргариты».

К. В. Жаль, что он этого не знает.

И. Щ. Вообще уровень понимания литературы у нас очень вырос. То, что еще два-три десятилетия назад многим казалось сложным, даже сверхсложным, например поэзия Мандельштама, стало теперь доступно сравнительно широкому кругу читателей. Многие годы авторов прямо-таки заклинали этим самым читателем, который не любит, не понимает и т. д. Вам, думаю, все это хорошо знакомо, ведь вас нередко упрекали в том, что простой читатель не поймет ваших книг.

К. В. Мне по поводу каждой моей книги говорили: для кого вы пишете? Кто вас поймет? А я всегда отвечала: я пишу для вас, для тех, кто сидит здесь и говорит мне: мы все понимаем, но вот другие, простые читатели, вас не поймут. Но ведь все мы прекрасно знаем, что литературное произведение не может быть сразу понято всеми, для того чтобы говорить с миллионами, существуют средства массовой информации, а сложные явления действительности нельзя искусственно упрощать в литературе.

И. Щ. Интеллектуальному читателю, мне кажется, сейчас особенно интересны писатели, которые позволяют заглянуть в свою лабораторию (как в кино, когда отъезжает камера и видны становятся съемки). Вы, на мой взгляд, принадлежите именно к таким писателям, и такие ваши книги, как «Образы детства», «Авария», — яркое тому свидетельство.

К. В. Видите ли, у меня эта тенденция к аутентичности, не в смысле документальности, конечно — это ведь разные вещи, — возникла уже давно. И я пытаюсь, например, в повести «Авария» все, что я включаю в нее аутентичного — даже услышанные сообщения по радио, размышления об эволюции, факты из биологии и медицины, — переработать в субъективный материал,

который является ядром, сутью книги. В конечном счете это работа автора над собой. Повесть «Авария» — рассказ об одном дне, когда поступили первые сообщения о катастрофе, произошедшей в Чернобыле. Во-первых, это была работа по осознанию случившегося, возможность воспринять информацию, перебороть шок. А во-вторых, почти инстинктивная попытка поисков какого-то выхода, поисков ответа на вопрос: как человечество в ходе истории могло прийти к этому, как реагирует человек, который хочет жить, и какой выход может быть для будущих поколений? Это внутренний стержень книги, и это тоже аутентично. Если говорить о прозе, то для меня сейчас идеальный вариант структуры — создание некоей ткани, которая должна вобрать в себя как можно больше, но при этом и обладать внутренней цельностью, чтобы отдельные элементы не казались в ней чужеродными.

И. Щ. Сейчас у читателя большой интерес вызывает и аутентичность в прямом смысле, очень велика потребность узнать правду о прошлом, давнем и недавнем, отсюда обращение к письмам, воспоминаниям и т. д.

Г. В. В ФРГ вышел том переписки Пастернака с его двоюродной сестрой Фрейденберг. Должен сказать, что эта книга произвела на нас впечатление чуть ли не большее, чем «Доктор Живаго». И может быть, благодаря своей аутентичности она действует сильнее, чем некоторые романы.

К. В. Прежде всего потому, что из этих писем вырастают две фигуры, которые по своей силе превосходят многие художественные образы.

И. Щ. Тут возникает проблема — правда, в большей мере она имеет отношение к мемуарной литературе — это степень откровенности, с какой можно говорить о реальных людях (у нас, например, в прошлом году возникли споры вокруг опубликованных воспоминаний Трифонова о Твардовском).

К. В. На этот вопрос ответить однозначно очень трудно. Вероятно, ответ должен звучать так: если можешь писать — пиши. Но всегда есть опасность кого-то ранить. Я говорю не только о том, что люди, естественно, не хотят, чтобы они сами или их родственники были изображены с какими-то негативными чертами, которыми они обладали в реальной действительности, — это одна сторона. А другая сторона связана с тем, что тот, кто пишет, тоже всего лишь человек и, конечно, тоже может ошибаться и видеть многое субъективно, в том числе и других

людей. А в тот момент, когда он их описывает, он находится в гораздо более выгодной позиции: он может и написать, и опубликовать — живой о мертвом. Словом, дать ответ на этот вопрос можно лишь по каждому конкретному поводу. И для меня лично это всегда очень трудная проблема.

Г. В. Я думаю, это характерно для современной литературы, когда фиктивное, то есть вымысел, фабула и тому подобные «устаревшие» понятия, ставится под сомнение. Быть может, мы и в самом деле больше приблизимся к реальной истории, если она будет показана максимально нефиктивно. Для меня, например, «Дневники» Фриша в чем-то важнее или столь же важны, как его романы.

К. В. Во мне прежде всего всегда очень силен страх, что, прибегая к вымыслу, я могу исказить правду. Разумеется, это никоим образом не распространяется на всех пишущих. И все же мне кажется, что в основе каждого вымысла должен лежать этот страх или, скажем, тревога.

И. Ц. Много лет назад, в интервью с К. Симоновым, вы задали ему вопрос, который я теперь хочу переадресовать вам. Вы сказали ему: «Касаясь литературы моей страны и моего поколения: меня не покидает ощущение, что самые важные события — внутренние и внешние, — самые важные решения и конфликты, определившие наше развитие и уже почти три десятилетия подряд нас волнующие, весьма слабо отражены или почти совсем не затронуты в нашей литературе...» Придерживаетесь ли вы и сегодня этой точки зрения? Я имею в виду не только литературу о фашизме и войне, но и ту, что посвящена пятидесятым-шестидесятым годам, которые также были достаточно сложным временем.

К. В. Что касается разработки проблематики пятидесятих-шестидесятих годов, то, конечно, литература накопила определенный опыт. Кстати, если говорить о советской литературе этого времени, то я, разумеется, многого не знаю, но для меня очень важными были книги Трифонова. Читала я и некоторых других авторов, в том числе тех, кто уехал из СССР. Что же касается литературы ГДР, то и здесь за последние десять—пятнадцать лет было многое написано. Не вдаваясь в подробности, назову, если говорить об изображении пятидесятих годов, книгу Хайна «Смерть Хорна»*. Конечно, это не широкое полотно, это лишь эпизод из жизни маленького городка, где юный герой оказывается втянутым в сложный конфликт. Вы упомянули наш разговор с Симоновым, состоявшийся пятнадцать лет назад, и теперь,

когда мы стали на пятнадцать лет старше, можно сказать: в общих чертах история нашего поколения уже есть. Я не знаю, что и как будет добавлено к ней в ближайшие пять — десять лет, но, в общем, историю этого поколения уже можно было бы написать. Ее еще не написали, то есть если и написали, то в недостаточном объеме и недостаточно глубоко. И конечно же, не передана вся противоречивость времени, в котором мы жили. Кое-что написано, о многом рассказано, не все совпадает с моими представлениями, и это естественно. Воссоздание истории нашего поколения, на мой взгляд, очень важная задача, а следующее за нами должно написать свою. Важно было бы проанализировать взаимоотношения нашего поколения с предыдущим и последующим, написать его политическую историю, рассказать о сложном переплетении взаимосвязей, о том, какой характер все это носит сегодня.

И. Ц. Можете ли вы назвать произведения литературы не только ГДР, но и ФРГ, в которых в какой-то мере решались бы те задачи, о которых вы сейчас говорили?

К. В. В литературе ФРГ это, например, книги Бёлля, который до конца жизни исследовал историю развития западно-германского общества. Не все созданное им имеет одинаковую художественную ценность, но он всегда был очень острым наблюдателем и стремился правдиво фиксировать действительность. Это в той или иной форме делает и Грасс. Он тоже всегда отталкивается — в художественных ли произведениях, в публицистике ли — на события современности. У меня нет сейчас возможности называть всех, есть и такие, кто в последние годы отказался от живого отклика на реальность. Ну, а у нас в ГДР это «Чудодей» Штритматтера, правда, он был написан довольно давно. Хайна я уже называла. Очень важная для нас книга — «Хинце и Кунце» Брауна. Кроме того, существует еще целый ряд интересных для меня книг, написанных женщинами. Назову Моргнер, Шютц, Цеплин, Шуберт, Эрб (она, кстати, много переводила Цветаеву); тут можно было бы вспомнить еще немало женских имен, тех, кто честно рассказывает о повседневной жизни в республике, о сложной судьбе женщины. Я не люблю термина «женская литература» и сама долгое время писала, не слишком задумываясь над тем, что я женщина и что это создает особые трудности. Дело в том, что для нас, женщин моего поколения, действительно вдруг открылся целый арсенал возможностей. И мы долгое время были совершенно уверены, что использование этих возможностей и означает эмансипацию. Это и в самом деле была в какой-то степени эмансипация, но, конечно же, далеко не полная. Разумеется,

экономическое равноправие с мужчиной совершенно необходимо — это первый и очень значительный шаг; важно иметь возможность учиться в высшем учебном заведении. Но вот следующее поколение женщин громко заговорило о возникших острых проблемах, например связанных с тем, что дети слишком рано отрываются от матерей, ну и о многом другом, о чем я не имею сейчас возможности говорить подробно. А что касается меня, то (вероятно, это произошло где-то в конце шестидесятых годов) я вдруг начала осознавать — и это было как медленно нарастающий обвал, — что наша культура, я имею в виду нашу цивилизацию, начинавшуюся с греков...

И. Ц. Что это — мужская цивилизация?

К. В. Да, мужская цивилизация, и женщины могли занять в ней какое-то место, только приспособившись. Это самое большее, что им позволено. Никогда и речи не было о том, чтобы весь работающий мир или хотя бы часть его приспособивалась бы к потребностям женщины. Это только одна из причин, а главное — возникшая у меня убежденность (потому-то я и занялась этой темой, обратилась к ее истокам, к мифологии), что вся культура, которая существует уже две тысячи лет, достигала и невероятного расцвета и порождала невероятные ужасы, что вся эта культура начисто изгоняла женский элемент. Что она разрушила даже самые его корни. Вероятно, это была реакция на прежнее господство женщины в некоторых сферах. Всем этим я занималась не потому, что считаю, что теперь надо учредить новый матриархат или нечто в этом роде, — это было бы бессмыслицей, даже просто безумием. Я вполне убеждена, что надо знать истоки своей культуры, знать, чего ей не хватает, и прежде всего надо знать, откуда в нашей цивилизации эта страсть к разрушению, выражающаяся во всем, даже в развитии нашей техники. Может быть, наиболее яркий тому пример — Чернобыль. Агрессивность, страсть к разрушению — откуда они идут, их истоки, и что мы, женщины, можем против этого предпринять. И особенно скверно, что женщины мирятся со своим униженным положением либо, приспособившись к уже сложившимся структурам, сами вынуждены превращаться в мужчин.

И. Ц. Именно об этом и идет речь в книге Хайна «Чужой друг», кстати опубликованной у нас. Там ведь изображена именно такая женщина.

К. В. Да, у Хайна героиня действительно женщина, которая проделала весь этот путь почти до конца, то есть почти приспособилась, и из-за этого внутренне утонула как женщина. Она ведь

принадлежит уже к новому поколению женщин, которые использовали полученную ими возможность приспособиться к миру мужчин. Я очень хорошо знаю, каким нападкам подвергается женщина, защищающая свое право быть женщиной. Но я все равно (то есть мне это, разумеется, не все равно) буду отстаивать свою точку зрения. Конечно, не сразу, но постепенно я поняла, что надо заставить мужчин отказаться от роли вечного победителя. Их стремление к превосходству — это лишь компенсация неполноценности.

И. Ц. Получается, что пишущие женщины — единственные женщины, которые могут высказаться...

К. В. У нас — да.

И. Ц. Разве это не повсюду так?

К. В. Ну, если вы под пишущими женщинами имеете в виду и всех, кто занимается творчеством, историей, публицистикой, то это, пожалуй, верно. То есть пишущие женщины в широком смысле слова. А женщины в науке, коль скоро они не работают самостоятельно или не связаны с промышленностью, как мне кажется, меньше задумываются над этими проблемами.

И. Ц. Потому что они больше других вынуждены приспособиваться?

К. В. Да, они вынуждены приспособиваться, иначе они вообще не могли бы выжить. Этому им просто не позволили бы сделать.

И. Ц. Первые попытки освобождения женщины именно через литературу, вероятно, надо искать в романтизме. В последние годы вы и Герхард Вольф очень много занимались этим периодом и недавно выпустили совместный сборник статей.

К. В. Да, у нас в последние годы очень много писали о роли женщины в ту эпоху. Беттина фон Арним, Рахель Варнгаген, Каролина фон Гюндероде, они у нас сейчас, спустя сто шестьдесят — сто семьдесят лет после смерти, стали очень известны. Собственно, первым начал заниматься этой эпохой Герхард. Он написал статью о Гёльдерлине, и именно под тем углом зрения, под которым мы позднее стали заниматься романтизмом. По сути, речь шла о том, что послереволюционное поколение вступает в конфликт с обществом, которое отвергло революционные идеалы, ничего не оставило от идей Французской революции, кроме

лозунга «обогащайтесь!». Гражданин (citoyen) превратился в буржуа. А эти молодые люди все еще живут идеалами предыдущего поколения, не хотят отказываться от них и потому страдают от раздвоенности. Их мышление и их реальная жизнь не совпадают. И нам это, надо сказать, понятно и близко. Во всяком случае, благодаря этой внутренней напряженности, в результате давлений, под которыми они находились, им удалось создать значительные художественные произведения. Лично я начала заниматься романтиками после 1976 года, для меня это тоже было переломное время: у меня у самой было такое чувство, что я на грани краха. Это было время после лишения гражданства Вольфа Бирмана, когда мы, деятели искусства, разделились на разные лагеря и я не знала, как работать, за что зацепиться, к какой обратиться традиции, на что опереться. И вот тогда вспомнился именно этот период в истории немецкой литературы, который прежде меня не привлекал особенно сильно, романтики меня не так интересовали, как период «Бури и натиска» или немецкие классики. Надо сказать, что, несмотря на всю трагичность судеб романтиков, я черпала в них некую надежду. Мужество этих женщин, их работоспособность... Знаете, когда есть такие предшественники, и самой не хочется сдаваться.

1988

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

О 1 сентября 1939 года я не могу говорить только как об историческом событии. Я не уверена, что смогу выразить то постоянное беспокойство, которое вызвали во мне самые последние события современной истории.

Детские впечатления о тех днях претерпели изменения, так как впоследствии эти события стали освещаться по-другому. Смутно, очень смутно помню я, что сообщение в «Ландсбергер генерал-андайгер» о заключении договора о ненападении между Германией и Советским Союзом вызвали у меня, десятилетней девочки, путаные и, конечно же, не сформулированные мною тогда вопросы. Один из них о том, потеряла ли свою актуальность книга «Социализм, который предали». Эта книга стояла в шкафу у моих родителей, ее обложка вызывала во мне ужас. Я ничего не могу сказать о том, как родители восприняли сообщение о заключении договора. О мучительных конфликтах, в которые вверг немецких коммунистов пакт Гитлера — Сталина, я начала узнавать лишь с конца 50-х годов от немецких коммунистов, находившихся в то время в концентрационных

лагерях или в эмиграции. И приблизительно двадцать пять лет тому назад, прогуливаясь по Черноморскому побережью Грузии в Гаграх, я услышала от одного литовского писателя о дополнительном соглашении между двумя великими державами о Польше и Прибалтийских государствах. Ныне это соглашение уже не оспаривается, но его последствия парадоксальным образом становятся проблематичными именно для тех сил в СССР, которые начали обнародовать правду об истории, подавляемую долгие годы.

Я могла бы проследить связь между сегодняшним днем и рядом исторических событий, свидетельницей которых я была еще ребенком и совсем молоденькой девушкой, заинтересованной, обманутой и незрелой. Возьмем, к примеру, начало войны, нападение на Польшу, день, который запечатлелся во мне, подобно ксилографическому клише: аккуратные, далеко простирающиеся ряды солдат вермахта, которые, устремив неподвижный взгляд вперед и держа винтовку между коленями так, что концы стволов образуют прямую линию, отправляются на Восток. Я стояла и бросала коробочки от сигарет в проносившиеся мимо вагоны, а в ушах — истерический голос, который считался тогда историческим: «С 5 часов 45 минут сегодняшнего дня ведется ответная стрельба» (насколько нам известно, даже время было указано неверно). Немцы не были в состоянии военного опьянения. У нас дома настроение у всех было подавленное. Моего отца, чуть было не погибшего под Верденом в пулеметном огне, когда ему едва исполнилось восемнадцать, вновь «призвали». Уже через несколько дней он стоял в карауле в маленьком местечке на немецко-польской границе. По другую сторону границы стоял польский часовой. Встречаясь у шлагбаума, они каждый раз молча смотрели друг на друга, разворачивались и двигались в обратном направлении. В полпятого утра 1 сентября 1939 года отец получил приказ приподнять шлагбаум. Польского пограничника уже не было. Без какого-либо сопротивления соединения продвинулись на польскую территорию. Кто-то из особо нервных бросил ручную гранату в польский пограничный домик. Та отскочила от оконного переплета и в нескольких метрах от них взорвалась. Осколок задел бросавшего гранату. Это был один из первых раненых в этой войне. Все это впервые всего два дня тому назад поведал мне мой отец, девяностодвухлетний старик.

Между тем на «отечественном» фронте средства информации, и прежде всего «Радио рейха», старались подправить настроение и избавиться от равнодушия, индифферентности при помощи бравурных спецсообщений. Они действовали подобно наркотикам: появлялась легкая, но продолжительная горячка, возникало приподнятое настроение, охватывало чувство бла-

женства, упоения предстоящими победами. Эта эйфория развела у большинства обоснованный страх перед войной и еще больше усыпляла их и без того уже ослабленное чувство реального восприятия действительности. Она стирала из памяти людей ображаемые и настоящие «поражения» и «унижения», которые испытало после первой мировой войны их неустойчивое, а потому чрезмерно развитое и легкоранимое чувство национального достоинства. Эта эйфория поставила их судьбу, ее процветание или гибель, в полную зависимость от одного из безумнейших преступников.

По собственному опыту я знаю, как трудно бывает избавиться от практически неизлечимого массового гипноза. Но именно это стало одной из первоочередных задач к концу войны после распада единства существа немецкой нации. Сегодня в обоих немецких государствах видно, насколько удалось предложить второму и третьему послевоенным поколениям такие объединяющие нацию принципы, которые бы они признали. Успех зависит также и от того, в какой мере оба государства развили чувство проблемного сознания по отношению к своей собственной, уже сорокалетней истории и в какой мере они способствуют его дальнейшему развитию. Насколько я могу судить, поколение преступников и их приспешников в ФРГ вовсе не пришлось раскаиваться, испытывать стыд, скорбь — все грехи им были отпущены ввиду возможного их участия в холодной войне. Впрочем, для моего поколения в ГДР это стало важным мотивом для концентрации усилий. То, что мы наблюдали «там», было массовым отрицанием либо самих преступлений, либо отрицанием сопричастности к преступлениям. И все же я не предполагала, что спустя пятьдесят лет после нападения немцев на Польшу на немецкой земле будет возможно объединение сил, собирающих достойное упоминания число избирателей, в официально дозволенные партии под все еще звучащими лозунгами, произносить которые тяжело: «Силезия — немцам», «Немецкий рейх в границах 1937 года», «Члены Национального комитета „Свободная Германия“ — предатели». Неутешительно и опасно, опасно еще и потому, что зачастую правые силы в Федеративной республике полагают необходимым считаться с этими ультраправыми в вопросах политики и аргументации. Что же здесь, собственно говоря, происходит? Что, появился порочный альянс между неисправимыми дедами и необученными внуками? Достаточно ли быстро исследуются причины, которые гонят этих внуков в реваншистские и националистические организации? Ведь это означает, что они не разделяют цели, объявленные государством Федеративная республика.

Я оставляю этот вопрос открытым и обращаюсь к животрепещущим проблемам своей собственной страны, которые также

позволят судить, удачны или нет оказались предложенные здесь объединяющие нацию принципы. Я не считаю необходимым обстоятельно объяснять, почему в прошлом году меня очень взволновал разговор с «бригоголовым» из ГДР. Этот молодой человек постоянно носит при себе фото своего деда в форме штурмовика и весь винегрет великогерманских, общенемецких, антисемитских, реваншистских мыслей подкрепляет ссылками на деда и его «вождей». Подобные явления в ГДР, безусловно, немногочисленны, и все же это сигнал, и, помимо упоминаний в судебной хронике, его надо признать и официально проанализировать.

В годы до и после образования ГДР в нашей части Германии борьба с немецким фашизмом велась основательно и бескомпромиссно. Именно эта фаза послевоенного развития позволила нам, молодым тогда людям, постепенно осознать себя гражданами возникшей впоследствии Германской Демократической Республики, продолжателями революционных традиций в немецкой истории, а также разделить те принципы ГДР, которые отрицались или с которыми велась борьба в Федеративной республике при Аденауэре. Для нас было важно разработать в новом немецком государстве альтернативное решение проблем. Сегодня мы — по крайней мере некоторые из нас — видим, что мы чуть было не поменяли одно «учение-панацею» на другое. Ведь развить новые *структуры* в чувствах и мыслях намного труднее и скучнее, чем просто (хотя и это было не «просто») заменить старое содержание веры новым. Некоторые остановились на этом и застыли в вероисповедальной позе — это те родители, учителя, начальники, от которых сегодня отворачивается так много молодых. Они не в состоянии говорить друг с другом точно так, как родители этих родителей (это мне известно из многочисленных писем) не могут говорить о своей поддержке идеологии и конкретном участии в делах национал-социалистов. В свое время небольшая группа немецких антифашистов, руководившая страной, заявила, что ей удалось постепенно преодолеть последствия национал-социализма во всей стране и среди всего населения. Дату этого события указать невозможно. Я думаю, что противоречие между этим официальным притязанием и личным опытом молодых людей в повседневной жизни и в семье вызвало у них, выросших в ГДР, растерянность, в их душах зазяла пустота, возникло чувство горькой необходимости решать важные вопросы в одиночку. Литература взяла на себя заботу (зачастую при значительном сопротивлении официальной политики) заполнить образовавшиеся шаткие пустоты представлениями о конкретных реальностях, вызвать понимание противоречий, проникших в настоящее этой страны из прошлого. Все чаще приходилось нам как гражданам ГДР и как писателям иметь дело с теми противоречиями, которые произросли из неразрешенных

проблем в истории немецкой коммунистической партии и неизбежного перенесения в первое социалистическое государство на немецкой земле сталинских структур и образа мышления. Так как многие из нас не видели альтернативы, мы, авторы, в том числе и я, пытались добиться изменений в направлении к демократическому социализму в жестких, часто изматывающих спорах при помощи средств литературы. Порой она была единственным дозволенным средством. При этом было недопустимо, часто невзирая на раздражающие нас конфликты, рвать связи, которые мы установили и которые помогли обрести нам свое лицо. Реформы, начатые Михаилом Горбачевым в Советском Союзе, молниеносно увеличили в ГДР число людей, надеющихся на перестройку в своей стране, даже если она и должна была бы выглядеть иначе, чем в СССР, Венгрии или Польше, так как в истории и географическом положении ни в одной из этих стран нет подобного сложного переплетения данных реальностей.

Я не отклонилась от темы? Я говорю о связи недавнего прошлого с настоящим; я говорю о все еще сохраняющихся последствиях немецкого фашизма и войны, в которую он вверг Европу и которые наверняка еще долго будут давать о себе знать. Здесь мне кажется необходимым упомянуть западногерманские передачи, показывающие нам в последнее время толпы молодых людей, которые, размахивая своими новехонькими западногерманскими паспортами, бегут из нашей страны через венгерско-австрийскую границу. Я думаю, что кто-то из проживающих в ГДР должен открыто сказать об этом, и я хочу это сделать. Я хочу сказать, что меня глубоко ранит этот процесс, что мне не хватает всех этих людей. Всякое отождествление гражданином себя с государством всегда спорно, полно конфликтов и даже противоречий. Я очень глубоко сожалею, что обстоятельства в ГДР, по всей видимости, не позволили молодым людям отождествить себя с этим государством. Но именно к противоречиям должны быть в будущем не только терпимыми в ГДР, но они должны стать, во-первых, продуктивным средством познания имеющихся, но официально все еще отрицаемых проблем, во-вторых, средством их решения. Я полагаю, что этот необходимый процесс должен был начаться в средствах массовой информации ГДР другим, близким к реальности языком. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что в ГДР есть достаточное количество людей, молодых и постарше, догадывающихся о правде и мечтающих о возможности поделиться своими представлениями о социалистическом немецком государстве, а затем участвовать в их осуществлении. Так и только так может образоваться стабильная на многие годы ГДР. Такою я хочу ее видеть еще и потому, что она важна для реформ в Советском Союзе, от

которых для нас всех зависит так много. Я желаю этого среди прочего, нет, прежде всего, и потому, что стабильная ГДР является гарантией того, что день, по поводу которого мы сегодня собрались здесь, будет последним днем, когда в Европе одна страна напала на другую и развязала войну. Об этом следует подумать и тем, кто пытается путем разжигания эмоций, путем создания атмосферы нетерпимости разрушить диалог разума, так необходимый сегодня внутри и между государствами.

31 августа 1989

ВЫСТУПЛЕНИЕ В БЕРЛИНЕ НА МИТИНГЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ ГДР

Дорогие сограждане!

Любое революционное движение освобождает и слово. То, о чем так трудно было говорить до сих пор, вдруг легко стало слетать с наших губ. Мы сами удивляемся своим очевидно давнишним мыслям. Для нас становится ясным: демократия сейчас или никогда. Мы — за народовластие. В нашей истории были зародыши демократических преобразований, но они либо не получали дальнейшего развития, либо подавлялись в крови. Помня об этом, мы не хотим проспать заложенный в этом кризисе шанс разбудить все наши творческие силы.

Толкование слова ПОВОРОТ вызывает у меня затруднения. Оно напоминает мне парусную лодку. «Чистый поворот!» — кричит капитан, если поменялось направление ветра или ветер дует ему в лицо. И команда нагибается, как только «пузо» паруса начинает волочиться по палубе. Но верна ли еще эта картина? Верно ли это в нашей ежедневно изменяющейся, гонимой вперед жизни?

Я хотела бы остановиться на революционном обновлении. Революции исходят снизу. «Низ» и «верх» меняются местами в системе ценностей. И эта перестановка ставит социалистическое общество с головы на ноги. В движение приходят большие социальные группы. За последние недели в нашей стране завязался очень оживленный диалог. Мы еще никогда не говорили друг с другом так много, не говорили с такой страстью, гневом и печалью, с такой огромной надеждой. Мы стремимся использовать каждый день. Мы не спим, а если спим, то очень мало. Мы сходимся с людьми, о которых раньше не ведали, и с болью в сердце расходимся с теми, которых, как нам казалось, мы зна-

ли очень хорошо. Этот диалог был нам необходим. А теперь не можем слышать это слово? Но мы ведь еще не узнали по-настоящему, что оно должно означать. Недоверчиво взираем мы на неожиданно протянутую руку, всматриваемся в застывшее ранее лицо. Недоверие — хорошо, контроль — еще лучше. Итак, мы переворачиваем лозунги, которые подавляли и ранили нас, и отправляем их с обратной почтой. Мы боимся быть использованными, боимся злоупотреблений по отношению к себе. Но мы боимся и отвергнуть честно задуманное предложение. Это состояние душевного разлада испытывает сейчас вся страна. Мы знаем: нам следует заниматься искусством, мы не должны допустить перехода разногласий в конфронтацию.

Эти недели, эти возможности даются нам один-единственный раз, даются нами же самими.

Озадаченно наблюдаем мы за «поменявшимися курс». В народе их называют вертишейками. Согласно толковому словарю, они моментально приспособляются к изменившейся ситуации, ловко в ней ориентируются и умело используют ее в своих целях. Я полагаю, что это в основном они блокируют достоверность новой политики. Но мы еще не так далеко ушли, чтобы воспринимать и их с юмором, хотя в других случаях нам это уже удастся.

«Подпевалы — в отставку!» — читаю я на транспарантах. Есть и обращенный к полиции призыв участников демонстрации: «Переодевайтесь и присоединяйтесь к нам!» Полагаю, это очень великодушное предложение. В области экономики мы сделали открытие: обеспечение прав человека экономит бюджет государственной безопасности. Сегодня на одном из транспарантов я увидела почти невероятный лозунг: «Берлинцы, откажемся от привилегий!»

Язык не вмещается в рамки официального и газетного немецкого, он выскальзывает из них, вырывается на свободу и не хочет быть более «упакованным». Вспомните слова, выражающие душевное состояние человека. Одно из них МЕЧТА. Давайте же помечтаем с ясным и трезвым рассудком: представим себе, что у нас социализм и никто не покидает страну... Но в действительности толпы уезжающих все еще не исчезают, и мы спрашиваем себя: «Что делать?» «Что делать?» — доносится в ответ эхо.

Когда требования осуществляются, появляются права и обязанности. Нам предстоит создать следственную комиссию, конституционный суд, провести управленческую реформу. Впереди много дел, а делать их надо во внеурочное время. Чтение газет и участие в санкционированных митингах вовсе не оставят нам свободного времени.

Наша сегодняшняя демонстрация разрешена, она проходит без применения силы. Если все пройдет без эксцессов, мы лиш-

ний раз убедимся, что способны добиться и большего. А ведь мы этого хотим!

Предложение на 1 Мая: пусть руководство займет место среди демонстрантов.

В ГДР проходят невероятные преобразования: весь народ выходит на улицы, чтобы осознать себя народом. Это самое главное достижение последних недель и месяцев. Многие тысячи осознали себя единым народом, мы — народ! Это очень простое суждение, так давайте же не забывать об этом!

4 ноября 1989 года

Что остается

Только не надо бояться. На ином языке — он звучит у меня в ушах, но я им пока не владею — я когда-нибудь заговорю об этом. Сегодня еще рано. Но почувствую ли я, когда придет это время? Найду ли свой язык? И как в старости я буду вспоминать эти дни? Страх сплющил во мне что-то такое, что растет, когда испытываешь радость. Когда же я радовалась в последний раз? Сейчас мне не хотелось об этом думать. Мартовским утром, холодным, серым и уже не слишком ранним, мне хотелось думать о том, как я спустя десять или двадцать лет буду вспоминать этот недавно наступивший, еще не прожитый день. В панике, словно какой-то колокол во мне забил тревогу, я вскочила с постели, и вот я уже вижу себя на узорчатом ковре в своей берлинской квартире, вижу, как распахиваю занавески, открываю окно, выходящее на задний двор, заполненный контейнерами с мусором и строительным сором, но совершенно еще пустынный, словно навсегда покинутый детьми с их велосипедами, транзисторами, брошенный слесарями и строителями; не видно даже фрау Г. в неизменном фартуке и зеленой вязаной шапке, которая спустится позже, чтобы выгадать из мусорных контейнеров коробки, выброшенные из магазинов «Семена», «Парфюмерия» и «Интершоп», сделать их плоскими, увязать в стопки и на четырехколесной тележке свезти в утиль за углом. Она примется громко ругать жильцов, швыряющих пустые бутылки прямо в контейнеры, вместо того чтобы аккуратно составить в приготовленные для этого ящики, и тех, кто, возвращаясь поздно, чуть ли не каждую ночь взламывает входную дверь, потому что вечно забывает ключи, и жилуправление, которое все никак не соберется провести звонок снизу к ней в квартиру. Но больше всего достанется тем пьянчугам, что, выйдя из ресторана, располо-

женного в соседнем доме, нагло справляют нужду прямо в подъезде за взломанной дверью.

Каждое утро я позволяла себе несколько отвлекающих маневров: собрать со стола газеты и сунуть их в газетницу, мимоходом поправить скатерти, убрать рюмки, промурлыкать песенку («Нет, не выйдет ничего, и не говори: два плюс два — четыре, а никак не три»), прекрасно осознавая, что все, что я делаю, — просто предлог, а на самом деле меня, словно на аркане, тянуло в большую комнату, к окну в эркере, выходящему на Фридрихштрассе, через которое, правда, не пробивались утренние лучи, поскольку нынешняя весна не баловала солнцем, однако проникал утренний свет, которого мне хотелось накопить в себе побольше, чтобы питаться им в сумрачные времена.

Но ведь я же знаю, что волшебным усилием не приобретешь небесного дара, я ведь знаю: всякое питание, кроме жизненно необходимого для организма, умножается в нас без того, чтобы мы могли или должны были собирать его по кусочкам, это происходит само собой, и я боюсь, что все эти смутные дни ничего не умножат и потому неминуемо будут унесены потоком забвения. В жутком страхе, в панике я хотела теперь уцепиться за один из этих предназначенных к забвению дней, не важно, что я сумею ухватить, получится ли он банальным или значительным, откроется ли он тотчас или до самого конца будет сопротивляться мне. Итак, я, как каждое утро, стояла за занавеской, которая для того и была тут повешена, чтобы я могла за нею прятаться, и смотрела, надеясь не быть замеченной, на стоянку автомашин на другой стороне Фридрихштрассе.

Их там не было. Если я точно разглядела — разумеется, я нацепила очки, — все машины в первом и во втором ряду были пусты. Вначале, два года назад — теперь это была главная точка отсчета в моей жизни, — я ошибалась, принимая высокие спинки в некоторых автомобилях за головы, и удивлялась их неподвижности. Не то чтобы я и теперь никогда не ошибалась, но ту первоначальную стадию я уже прошла. Головы ведь различной формы, они подвижны, а спинки одинаково закруглены и статичны — огромная разница, ее я когда-нибудь могла бы описать подробно на своем новом, более жестком языке по сравнению с тем, на котором я все еще должна была думать. Как упрямо держит голос ту тональность, на которую однажды настроился, и каких усилий стоит изменить хотя бы нюансы! Не говоря уже о словах, подумала я, вставая под душ, — словах, выплескивающихся со старательной торопливостью, как только я открываю рот, словах, распухших от убеждений и предупреждений, тщеславия, гнева, разочарования и жалости к себе.

Хотела бы я только знать, почему они вчера стояли там до полуночи, а сегодня утром попросту исчезли.

Я почистила зубы, причесалась, автоматически, старательно попользовалась разными дезодорантами, оделась во вчерашнюю одежду: брюки, свитер, — я никого не ждала и смогу побыть одна. Что может быть лучше? Я еще раз подошла к окну, снова без всякого результата. Уже легче, сказала я себе, или я хотела уверить саму себя, что жду их? Может быть, вчера вечером я могла показаться смешной, и, вероятно, когда-нибудь мне будет стыдно вспоминать, как я в темной комнате каждые полчаса подкрадывалась к окну и смотрела в прорезь занавеси. Да, это было постыдно. Но все-таки с какой целью трое молодых мужчин много часов подряд терпеливо сидели в белом «вартбурге» прямо напротив наших окон?

Тут нужен вопросительный знак. В дальнейшем надо более вдумчиво относиться к знакам препинания, указала я самой себе. И вообще больше придерживаться безобидных соглашений. Ведь прежде это получалось. Когда? Когда за фразами стояло больше восклицательных, чем вопросительных знаков? Нет, простыми самообвинениями я на этот раз не отделаюсь. Я поставила греть воду. *Mea culpa*¹ — но это оставим католикам. Так же как и *pater noster*. Отпущение грехов не предвидится. Белая, почему в последние дни именно белая? Почему не помидорно-красная или голубая со стальным отливом, как за неделю до того? Слово различие в цвете или в модели машины имеет какое-либо значение. Как будто непостижимый план, по которому эти машины сменяли одна другую, занимая места в первом или во втором ряду стоянки, имел какой-то тайный смысл, который я могла бы, прилагая усилия, разгадать; или имело бы смысл размышлять над тем, что сидящие в этой машине — двое, трое крепких, в самом расцвете сил молодых мужчин в штатском, смотрящих на наше окно, — ищут у нас.

Крепкий и горячий кофе, яйцо нужной консистенции, добавим домашнего джема, черный хлеб. Роскошь, роскошь! — думала я всякий раз по утрам, когда смотрела на накрытый стол, — никогда не стирающееся чувство вины, которое у нас, знавших нужду, сопровождает и усиливает всякое наслаждение. «Последние известия» по западным «голосам»: энергетический кризис, казни в Иране, договор об ограничении стратегических вооружений — все вчерашние темы я не слушала, я смотрела на металлическую перекладину, которая предохраняет от взломщиков вторую дверь нашей квартиры, ведущую из кухни на черную лестницу. В одном из моих ночных кошмаров эта узкая, темная, загаженная, заставленная всякой рухлядью лестница, где никто не ходит, вдруг предстала совершенно очищенной и заполненной какими-то мерзкими людishками — во сне я на-

зывали их «сбродом» — слово, которое наяву никогда не услышали бы от меня наглые, быстрые, похожие на лемуров и лишенные всякого стыда твари, которые (в моем ночном кошмаре, как я всегда этого смертельно боялась) через эту вроде бы непроницаемую дверь сумели пробраться на нашу кухню и теперь толпились на пороге, прижимаясь к стальной перекладине, которая по-прежнему загораживала вход. Станным образом вместо того, чтобы с легкостью подлезть под нее, они просто прижимались к ней, в то время как сзади на них напирала все новые и новые фигуры, вышлевыаемые где-то внизу невидимой мне дьявольской пастью. Они казались картонно-плоскими, но невероятно подвижными и живыми. При этом, кажется, они что-то бормотали? Что мы не должны обращать на них внимания. Вести себя так, как будто их нет. Лучше всего, если мы вообще про них забудем. Нет, они не издевались, они говорили серьезно, и это больше всего разозлило меня в том сне. Но поскольку на сон нельзя было наложить запрет, нельзя выбросить из головы, я просто рассмеялась, чтобы доказать самой себе, что мне и это уже нипочем. Но смех был вымученный.

Только не надо бояться. Иной язык, думала я, продолжая заниматься самообманом, пока ставила посуду в мойку, стелила постель, медленно шла в большую комнату, чтобы наконец сесть за письменный стол, — другой язык, который начал расти во мне, но все же еще окончательно не сформировался, спокойно пожертвовал бы видимое невидимому, не описывал бы предметы по их внешнему виду: красные помидоры, белые машины, — ах, боже ты мой! — а все больше и больше стал бы проникать в самую суть. Этот язык будет захватывающим — во всяком случае, мне бы это хотелось себе представить, — но одновременно щадящим и полным любви. Никому он не причинит боли, кроме меня самой. И тут мне открылось наконец, почему я никак не могу двинуться дальше, оттолкнуться от этих записок, от отдельных фраз — я только притворялась, что повязана ими. На самом деле я просто ни о чем не думала.

Они снова были тут.

Часы показывали пять минут десятого. Они появились три минуты назад, я это тотчас заметила. Вначале я почувствовала толчок, а затем во мне словно дрогнули и пошли стрелки. И взгляд в окно был необязателен, он лишь подтвердил то, что я и так знала. Сегодня цвет машины был темно-зеленым и сидело в ней трое молодых людей. Интересно, менялись ли они так же, как машины? И чего бы мне больше хотелось: чтобы все время были одни и те же или разные? Я не видела их близко, ах, нет, одного все-таки видела — того, что пару дней назад, выйдя из машины, шел мне навстречу, но лишь затем, чтобы встать под нашими окнами в очередь за горячими сардельками и потом

¹ Моя вина (лат).

с тремя порциями на большой картонной тарелке и с тремя булочками в кармане серо-зеленой куртки вернуться назад. К машине. К синей машине с номером... Я поискала бумажку, на которой я записывала номера машин, когда могла их различить. У того молодого человека, или товарища, были темные волосы, начинавшие редеть у пробора, это я разглядела сверху. В какой-то миг я подумала, что, должно быть, первая заметила намечающуюся лысину, возможно, раньше, чем его собственная жена, которая, наверное, никогда не смотрела на него так внимательно сверху вниз... Я представила себе, как они втроем уютно сидят в машине (в машине ведь может быть очень уютно, особенно когда на улице дует ветер или накрапывает дождь), как они едят там сардельки, им тепло, потому что мотор потихонечку работает и греет машину. Кстати, чем они записывали сардельки? Может, они, как все трудящиеся, берут с собой на работу термосы с кофе?

Наши ощущения в таких ситуациях сложны. И точных слов у меня до сих пор еще нет, все они по-прежнему из внешнего ряда, меткие, но бьющие мимо цели, выхватывающие факты, но затушевывающие фактическое. Так беззаботно, как прежде, я уж больше не смогу болтать, но что же представляет из себя тот, кто ничем не озабочен? Что это значит — полон забот? Может быть, полон скорби? В немецком толковом словаре Германа Пауля я прочитала (все больше впадая в одержимость), что слово «скорбь» на средненемецком означало «сор, конфискацию, нужду», а на старом юридическом жаргоне — даже «арест». Конфискация... Да, все совпадало — жить обобраным и в скорби: «И раскаялся господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Это доктор Мартин Лютер, который хотел втолковать мне, что мы можем только одно: либо одобрять, либо отвергать, — можем быть либо другом, либо врагом. Язык твой говорит «да, да» или «нет, нет».

Все, что сверх того, — от лукавого. Ругательства доктора Лютера в адрес папы — прожорливая свинья, в адрес крестьян — бешеные собаки. Счастливый человек, кто может вырвать из себя своего заклятого врага. На моем языке названия животных будут относиться лишь к самим животным, никогда я не смогу перенести, как это делали другие, имена зверей, свиней и собак, даже хоряка, даже рептилий на тех молодых людей в машине. Чего мне не хватало, так это, наверное, чувства здоровой, уравновешивающей ненависти.

Я ведь не была с ними знакома. И ничего о них не знала. Даже формула «люди в кожаных пальто» была уже устаревшим клише, потому что кожаные пальто давно сменили нейлоновые куртки, но выдавалась ли им эта единообразная одежда для ношения вне стен их учреждения или же в конце года им выплачи-

вали компенсацию, и в каких размерах? Обо всем этом я ничего не могла сказать. А ведь сегодня знать условия, в которых работает человек, — это уже наполовину знать его самого. Меня, например, чрезвычайно бы интересовало, как у них распределяется повседневная работа — как они получают приказы, чему отдается предпочтение — слезка в машине, наверное, более излюбленна, чем пост у дверей. И вот что еще интересно — у тех, кто с обычными сумками через плечо патрулировал на улице, — было ли у них с собой в этих сумочках переговорное устройство? Ведь об этом ходили упорные слухи. Иногда у меня возникало подозрение, что в сумках не было ничего, кроме бутербродов, которые они по вполне понятным законам конспирации прятали. Профессиональная гордость — вещь очень тонкая. Во всяком случае, подойти к одному из них и вежливо спросить: «Простите, пожалуйста, вы не скажете, что у вас в сумке?» — было совершенно невозможно. В такой же малой степени можно было осведомиться у сидящих в машине, оснащены ли они подслушивающей аппаратурой и каков радиус ее действия. Однако и иные формы доверительности не были табу, просто в общении с этими людьми действовал определенный кодекс поведения, которому, однако же, нельзя было научиться — ты либо владел им, либо нет. Например, я все еще жалела о том, что в одну холодную ноябрьскую ночь не последовала душевному порыву и не отнесла им вниз горячего чая. Ведь так могло возникнуть понимание; лично мы же ничего друг против друга не имели, каждый из нас делал то, что обязан был делать, и вполне можно было вступить с ними в разговор, нет, разумеется, не о работе, боже упаси, просто о погоде, о болезнях, о семье.

Но теперь все, конец. Это — вечное мое постыдное стремление искать взаимопонимания с людьми всякого сорта. Чай мы тогда, поздно ночью, выпили сами, стоя у окна, на которое на следующий день я повесила эту занавеску. Но потом какое-то время спустя вдруг что-то меня толкнуло зажечь свет, снова подойти к окну и помахать им рукой. В ответ они три раза мигнули фарами. Да, в юморе им не откажешь. И мы легли спать немного успокоенные, с меньшей тяжестью на душе. Значит, все же с тяжестью? Да, но я никак не хотела в этом признаться. И теперь вот все-таки призналась. Быть может, это был первый необходимый шаг на пути к бесславному признанию. Разве не испытывают такого же чувства дети, когда разгневанный отец коротким «спокойной ночи!» дает им все же понять, что он настроен на примирение? И как, если не ребяческими, следовало бы назвать те бесконечные внутренние монологи, на которых я ловила себя и которые слишком часто кончались абсурдным вопросом: чего же ты, собственно говоря, хочешь? Да, мне еще предстояло набираться уму-разуму! Собиралась объясниться с учреждением,

словно оно — человек. Нет, убеждала я саму себя, эту раннюю стадию я уже прошла, для заверений и попыток объясниться не было адресатов, и я должна смириться с тем, чему так долго противилась: молодые люди там, внизу, для меня недоступны. Они были не моего поля ягоды, они были посланниками иного. Уже давно не приходило мне в голову пройти совсем близко от их машины и со свирепым видом уставиться на нес, чтобы встретиться со стеклянными взглядами сидевших в ней, в чью задачу входило выдавать себя за тех, кем они и являлись, и вызывать таким образом ярость, вернее, страх. Страх, заставляющий, как известно, одних пойти на уступки, других — совершить необдуманные шаги, которые в свою очередь могут явиться доказательством того, что за ними необходимо наблюдение. Кто-то — я ощущала это достаточно сильно — должен попытаться разорвать этот замкнутый круг.

Когда-нибудь на моем новом, свободном языке я смогу сказать и об этом, хоть это будет и трудно — поскольку все, что со мной происходило, было так банально: Тревога. Бессонница. Потеря веса. Таблетки. Ночные кошмары. Все это можно описать, но зачем? В мире ведь существовали и другие страхи. А у меня — волосы, которые вдруг стали вылезать клоками. Ну и что? Они уже давно отросли и стали еще гуще прежнего. Таблетки тоже лежали в ящике нетронутые. Вот разве что сны. Со снами ничего поделаться было нельзя, но где же в мире сегодня люди могут жить без ночных кошмаров? Нет уж. Каждый день я говорила себе, что привилегированную жизнь, как у меня, можно оправдать лишь попыткой время от времени переступить за черту того, что разрешено было говорить, отдавая себе отчет в том, что всякие нарушения границы караются. И все же, сказала я самой себе, осознав, что уже несколько минут неотрывно смотрю на телевизионную башню, которая помещалась в поле моего зрения, возвышалась справа над зданиями глазной и гинекологической больниц, все же к языковой границе я сумею приблизиться, лишь набравшись смелости объяснить, почему и в те дни, когда машины под окнами не было, а были лишь фантомы в сетчатке моих глаз, страх не отпускал меня и был не слабее, чем в дни откровенной слежки. Чтобы описать все это, я должна что-то придумать, не важно, на каком языке.

Так сколько же я давала себе времени?

Время — это слово было для меня одним из ключевых. В один прекрасный день мне стало ясно, что, может быть, именно это — больше, чем что-либо другое, — принципиально иное отношение ко времени и отличало меня от тех молодых людей — а они все еще сидели там, в машине. Для них время не имело никакой цены, они тратили его в бессмысленном дорогостоящем безделье, которое должно было

их постепенно деморализовывать. Но, как выяснилось, это не оказывало на них ни малейшего воздействия, напротив — меня осенила внезапная догадка, — все это их устраивало. Обими руками, прямо-таки с наслаждением выбрасывали они в окно свое время; или они считали работой то, что делали? Это вполне можно было себе представить. Нет, представить это было невозможно. Хотя они наверняка являлись вечером домой к женам с такими лицами, на которых ясно прочитывалось, сколь незаменимыми они были сегодня. Но вообще-то ходили слухи о том, что кое-кто из них за ужином в присутствии детей-подростков хвастался информацией, полученной за день, рассказывал о человеческих слабостях, подмеченных у объектов, о запуганных любовных аферах, например, которые могли бы кое-кому доставить много неприятностей. Но эти люди были надежны и немые как могила. И они действительно молчали, я в этом не сомневалась. Хвастающиеся отцы были исключением. На самом же деле все они прекрасно знали, что каждый из них в любую секунду в случае промаха может быть выброшен из системы.

И стоило мне об этом подумать, как становилось так же зябко, как в первый раз, когда эта мысль пришла мне в голову.

Телефон. Звонил близкий друг. Привет, сказала я. Да нет, не отрывает ни от какой важной работы. А почему, спросил он строго. Ну, произнесла я, на этот вопрос в двух словах не ответишь. Тогда спокойно объясни в нескольких, сказал он. А они пусть слушают, сказала я. Нет, я недооцениваю их технические возможности, возразил он. Уж один магнитофон для нас у них найдется. А экономия? — возразила я.

В ответ прозвучал тот смешок, который мы усвоили именно для таких обстоятельств, отчасти вызывающий, отчасти надменный. А что, если нас никто не подслушивал? Что, если мы попадали впросак со своей бравадой и переоценкой самих себя? Ну и пускай, какая разница? Голос у тебя какой-то странный сегодня.

Какой же?

Ну, не очень веселый, сказал мой друг. Или, может, просто по телефону так кажется?

Да нет же, как он может быть невеселый, раз ты звонишь...

Так мы говорили всегда — не о том, о чем хотели. Я вспомнила два-три случая, когда у меня все-таки вырвался прямой текст, потому что не было сил сдержаться, и как изменился тогда его голос. Как чувствует себя Г., спросил он. Хорошо, ответила я, меня пустят к нему после обеда. Ну, а мы, мадам? — спросил он. Когда мы увидимся? И я сказала тоже

прямым текстом: как можно скорее. Ладно, он будет в ближайšie дни в городе и накануне сообщит мне, когда ставить воду для кофе. И пусть весьма нами уважаемые лица ломают себе голову над тем, что значит этот код — вода для кофе.

Я не слишком любила такого рода шутки. Кофе, переспросила я, а я думала, что ты предпочитаешь чай. Ни в коем случае, сказал он. Ты же весь наш код перепутаешь, сказала я. И после короткой паузы он произнес тем же тоном:

У тебя гости, что ли?

Этих вопросов я тоже не любила, но сказала «да», не в состоянии лгать.

Ну и ладно, сказал мой друг. Значит, до скорого.

И тут я вдруг услышала саму себя, как я громко крикнула в трубку: послушай! Ведь мы же скоро уже старыми станем, ты что, не понимаешь этого?!

Он положил трубку. А я села за письменный стол и закрыла лицо руками. Да, вот так мы проводим короткое отпущенное нам время. Я не плакала. И вообще, если хорошенько вспомнить, очень давно не плакала.

Я еще ничего не сделала за сегодняшний день, но все равно в самое лучшее для работы время решила отправиться за покупками. Это была их победа, я тут обольщалась, потому что если и была мораль, которой я придерживалась, то это рабочая мораль, хотя бы потому, что с ее помощью, как мне казалось, я могла компенсировать собственные нарушения других моральных систем. Я не хотела сдаваться, как сдались эти молодые люди, которые вместо того, чтобы нормально работать, быть может из неистребимой потребности подчиняться, дали затянуть себя в такое почти неприкрытое безделье.

Да что ж это. Опять ломаю себе голову по поводу других людей? Нет, надеваю туфли, набрасываю пальто, ключ на два оборота, и, если бы это было возможно, я заперла бы и на три, как ни мало это могло помочь в серьезном случае, потому что по крайней мере один, нет, два раза прошлым летом те молодые люди или их коллеги, специально обученные профессиональному вскрытию дверей, посетили в наше отсутствие нашу квартиру, не беря в расчет помешательства на чистоте фрау Ц. Закончив работу перед уходом, она вытирает за собой мягкой тряпкой даже собственные следы, так что на следующий день след мужского башмака 41—42-го размера, отпечатавшийся на пороге комнат и на темном паркете посередине гостиной, неминуемо должен был вызвать у нее волнение. Но фрау Ц., которую не так-то легко было напугать, тщательно убрав эти следы, прежде чем уйти домой, по «старому испытанному способу», как она сказала, насыпала немного муки на коврик у входной двери, что сде-

лало следы на следующий день гораздо более отчетливыми. Кроме того, в ванной комнате в умывальнике лежали осколки настенного зеркала, и никакого естественного объяснения этому явлению найти было нельзя. Значит, мы должны были исходить из того, что молодые люди отнюдь не хотели сохранить свой визит в нашу квартиру в тайне.

Это называется брать на испуг, объяснил нам один наш знакомый, который говорил, что хорошо знает их методы, но испугались ли мы? Конечно, мы понижали голос, когда разговор заходил на определенные темы (а это бывало часто), или я громко включала радио, или мы вынимали телефонный шнур из розетки, когда к нам приходили гости, но все-таки мы полностью осознавали, что их поведение и наша реакция на него взаимодействовали так хорошо, как зубчики легко скользящей молнии. Почерпнуть из этого какие-то надежды было трудно. Надежду внушал, может быть, лишь тот факт, что я с прошлого лета уже не чувствовала себя дома в своей собственной квартире.

Я вышла на улицу. Они все еще тут? Да, они были на месте. Поедут ли за мной? Нет, они за мной не поехали. По мнению нашего опытного знакомого, мы находились на самой низкой ступени наблюдения — предостерегающей. Значит, указание исполнительным органам было дано следующее — очевидное, бросающееся в глаза наблюдение. Совсем другой ступенью было преследование одной-двумя машинами (до шести машин, какие затраты!), а еще более высокой — тайная слежка, к которой прибегали тогда, когда наблюдаемый объект подозревался в серьезных преступлениях. Значит, к нам это не относилось? Наш опытный знакомый пожал плечами. Ведь могло быть и так, что объект подвергся сразу двум видам наблюдения.

За мной, собственно, можно было осуществлять и пешую слежку. Но в витрине парфюмерного магазина я не обнаружила за своей спиной никого подозрительного и с тихим изумлением почувствовала, что стала дышать свободнее. Один знаток русской литературы уверял меня, что у Ахматовой в течение двадцати лет был личный сопровождающий. Вот об этом я и думала, когда, никем не преследуемая и не сопровождаемая, как нормальный человек, спускалась вниз по Фридрихштрассе и спрашивала себя, чем я заслужила эту привилегию. Догадка о том, какой строгой и абсолютной может быть свобода в самой внутренней сущности при не оставляющем никаких просветов внешнем преследовании, засветилась во мне. А ведь они мне даже пыточных инструментов еще не показали, подумала я. Но почему вдруг такой образ? А вот почему: вечером в «Берлинер ансамбль» давали «Гали-

лея», это было написано большими черными буквами на белом полотнище, и никто ничего не запрещал, потому что то была пьеса из прошлого времени, когда еще имела значение чистая диалектика, так же как и слова «положительный» и «отрицательный», и когда имело смысл говорить правду и скверно было ее замалчивать, не говорить о подлой лжи, которая заставляла лжеца испытывать муки совести. Остатки этого восприятия сохранились вплоть до наших дней. Историю мук совести, подумала я, можно было бы включить в рассуждения о пределах того, что можно высказать: какими словами можно описать безъязыкость бессовестного, как язык, спрашивала я себя, обращается с тем, чего нет, что не нуждается ни в прилагательных, ни в существительных, потому что не обладает никакими свойствами и даже субъект отсутствует, продолжала я развивать эту мысль, но была ли она верна? Разве не искала я всего лишь предлогов, чтобы лишить своего сочувствия все-таки не лишенных некоторых свойств этих молодых людей так же, как они лишили меня своего? Как ты ко мне, так и я к тебе. Око за око, зуб за зуб. Мой новый язык, думала я, споря с самой собой, должен уметь говорить и о них тоже, он должен справляться с любым языковым бессилием.

По Вейдендамскому мосту я всегда шла с удовольствием. Бедный ББ* со своей верой в неверие, которое он называет «наукой», с его решительными попытками разделения, которыми он, как топором, прорубает себе просеку в чаще стран и городов, убежденный, что вдоль нее мир распадется на две половины! Но за ним тотчас снова встает непроходимый лес, а перед нами открывается пропасть. Галилей, хитрый, пуганный, спасается от инквизиции и спасает свое учение. Церковь, которая грозит уничтожить его, все же дает ему оружие, с помощью которого он сумеет выстоять: это вера в смысл правды. Он только должен справиться со своим страхом. Значит, это в чистом виде вопрос стойкости характера, смог он или нет выступить против лжи. А мы, тоже пуганные, но к тому же еще и неверящие, выступали только против нас самих, потому что ложь, раболепство, злоба и клевета прорывались из нас самих, так же как желание подчиняться и раболепствовать. Только одни знали об этом, а другие не знали.

Перегнувшись через перила моста, я смотрела на уток, чаяк, на баржу с черно-красно-золотым флагом. Дул, как это чаще всего здесь бывало, ветер. Висевший на самой середине моста прусский орел из литого металла насмешливо посматривал на меня; проходя, я слегка коснулась его рукой. Всякий раз, проходя по этому мосту, я вспоминала бесконечные свои хождения два года тому назад по этим улицам, когда я постыдно стремилась к покою почти любой ценой, не могла вынести даже воспо-

минания о радости, о счастье и когда по телевизору показывали фильм, в котором звучал проблеск надежды, в которую однажды верила и я, я внезапно могла заплакать и — никогда не забуду той минуты — я стояла у аптечной витрины, меня, как молния, пронзило сознание, что это просто боль не дает мне покоя. А прежде я этого не понимала. Бешеная, яростная боль завладела мной, поселилась во мне, превратила меня в другое существо.

По времени это совпало с появлением молодых людей у наших дверей, которые, конечно, не могли подозревать, что мы никогда не увидимся: в то время как они вынырнули из подполья, я погрузилась в свое собственное и вдруг обнаружила себя в каком-то незнакомом мне месте. Одна рука схватила меня за сердце, другая коснулась моих глаз. Я была где-то на чужбине. Многие недели я бродила по безымянным улицам безымянного города. Наступила зима, слякоть, снег с дождем, сырость и холод пробирали до костей, словно, кроме них, ничего не осталось в моем теле. Но все-таки оно еще хранило слабое воспоминание о прежних радостях, хлебе, вине, любви, о запахе детей, о лицах, городах, картинках каких-то ландшафтов. Теперь его пронизывала такая безутешность, что мне казалось, каждый должен чувствовать холод, которым веет от меня. Ни о чем не думая, я сделала несколько шагов вдоль низкой каменной балюстрады, которая прерывается устьем дорожки, втекающей в двери стеклянного павильончика, прозванного в народе «бункером слез»*. Там происходило превращение граждан различных стран, и мой тоже, в транзитников, туристов, выезжающих и выезжающих, и там в рефлектирующем свете зеленых кафельных стен, проникавшем сквозь очень высоко расположенные узенькие окошки, переодетые в полицейских или в таможенных служащих помощники мастера, правящего этой страной, реализовывали свое право держать или выпускать. Это здание должно было являть собой нечто чудовищное, соответствовать внешним обликом своему предназначению, а не просто быть строением из камней, стекла и металлических конструкций, окруженным тщательной подстриженным газоном, ходить по которому было, конечно же, запрещено. И я узнала ненависть по отношению к этим ухоженным объектам, поняла, что все они принадлежали хозяину, который неограниченно правил моим городом, — беспощадному преимуществу момента.

Тут только я догадалась, что прежде в чреве этого города горел тайный огонь, я еще не знала его имени, но с того дня, как он был потушен, как были затоптаны все маленькие огоньки, всякая тайная искорка от него, я уже безнадежно подпала под действие его магии. Но пока еще я должна была жить вместе с остальными в потерянном городе, несвободном, безжалостном городе, опустившемся на самое дно подлости. По ночам я

слышала тяжелые шаги робота, который клал мне на грудь свою железную руку. Город превратился в не-город, без истории, без видений, без волшебства, испорченный алчностью, властью и насилием. Время его протекало в кошмарах и бессмысленной суете — как у тех мальчиков в машине, что все больше и больше становились символом города.

Теперь мне просто необходимо было поговорить с живым чешковском. Я вошла в маленькую винную лавку под аркой городской электрички; продавщица, немолодая женщина с тонкими, наполовину седыми, наполовину крашеными волосами, казалось, только меня и ждала. Она тотчас стала расхваливать розовое шампанское, которое, как она считала, отнюдь не все клиенты могли оценить. Довольная, она подала мне с полки вторую бутылку.

Как давно она здесь работает? Да всю свою жизнь. Здесь или тут поблизости. Она старая берлинка.

Конечно, ей есть что вспомнить.

Стоит только начать. Самые курьезные вещи происходили у нее на глазах. Ей нравилось слово «курьезный», она повторила его. Я спросила себя, в состоянии ли я выслушивать какие-либо курьезные истории, но все же притворилась, что меня интересуют воспоминания продавщицы, которые могут быть достаточно страшными; такими они и были, но вот что меня удивило: женщина сама это знала. Она была исключением. Сначала я поняла это по ее тону, а потом осознала: она в самом деле все еще привязана к своей еврейской подруге, с которой они дружили в молодости, ездили в городской электричке с Александерплац на Курфюрстендамм — она в универмаг, где работала ученицей, а подруга (ее звали Эльфридой, подумайте: еврейка и Эльфи!) в банк, складывать цифры. Ей там скучно было работать. Когда это было? В тридцать пятом — тридцать шестом... Не смотрите большими глазами. Дружок Эльфи, какой-то эсэсовский чин, предлагал ее вывезти, но она: нет, только вместе с семьей, а иначе не поеду. Тот тип с ума по ней сходил. Ясно, это не могло хорошо кончиться, но мы все задним умом крепки. Он вроде бы что-то для нее организовал, кажется, Голландию, но все сорвалось — про них узнали. Во всяком случае, в один прекрасный день — мы как раз заворачивали за угол Иоахимсталерштрассе, где он всегда в своей машине ждал Эльфи, чтобы хоть взглядом с ней обменяться, — его машина стояла там, где обычно, но проходя мимо, мы увидели в ней четырех в плащах и шляпах, а друг Эльфи сидел рядом с ними за рулем и смотрел в одну точку, и я сказала Эльфи сквозь зубы: не оборачивайся! Смотри вперед и иди спокойно! И мы выдержали. Ну, а о том типе мы больше никогда не слышали. Может, он понял, что все иметь нельзя. Тридцать марок с вас за шампанское.

Больше женщина ничего не хотела рассказывать, ее надо было расспрашивать. Эльфи? Ее забрали, конечно. В сорок втором, когда из Берлина вывозили последнюю партию евреев. Вместе со всей семьей. У меня больше такой подруги, как она, не было, с возрастом становишься ведь разборчивой, верно? И вот всю жизнь из головы не выходит: ее одну еще можно было спрятать, но целую семью?

Все это безумие, сказала она уже мне вслед. Когда я о прошлом думаю — чистое безумие.

Мне не хотелось сразу возвращаться домой, и я постояла у витрины книжного магазина, глядя на нее невидящим взглядом, обошла газетный киоск и решила пойти в новый большой магазин делать покупки — это испытанное успокоительное средство, правда, на сей раз и оно не помогло, но я купила там облепиховый сок для Г., он сказал, что его постоянно мучит жажда. Женщины, которые стояли в очередь в кассу, были слишком толстыми и вид имели довольно непривлекательный. Я по привычке стала искать какое-нибудь несердитое лицо, но не нашла. Вдруг какая-то молодая женщина, совершенно невзрачная с виду, пропустила вперед пожилую, у которой не было сил долго стоять. Значит, все-таки возможно, подумала я. Должно быть, возможно. И тем не менее меня не покидало ощущение своей отделенности, чужеродности, но я знала, что не могу за него цепляться. Даже если те, кто стоял передо мной в очереди, ничего не знали, ни о чем не догадывались и — что еще хуже — ничего не хотели знать. Чтобы и до них добраться, нельзя было бить ближе цели, лучше выше, дальше, заглядывая в будущее.

Ты, как всегда, права. Мне стало тошно от себя самой. Теперь зайти на почту, взять деньги. Тот, кто хорошо меня знал, сразу бы увидел, в каком раздраженном состоянии я находилась. Все мне действовало на нервы, все было слишком долго, хотя мне следовало бы спросить себя, куда это я так торопилась, к чему такая спешка. Это глубоко запятанная двойная жизнь. Это притягательность неопределенного, от которой можно стать зависимой, как от наркотика. И то, что я постоянно чувствовала потребность все высказать. При всем том я давно уже заметила своего старого знакомого, и он меня тоже, в этом я была уверена. На какую-то долю секунды наши взгляды встретились, но Юрген М. не хотел узнавать меня и на тысячную долю доли секунды быстрее, чем я, отвел взгляд. Все это было мне знакомо. Как хорошо я знала эту завесу, которая закрывает глаза другого, эту рыбу чешую, которая затягивает белок в глазах друга, эти облака, замутняющие хрусталик. Мы никогда не видели, никогда не знали друг друга. Ну и ладно. Так даже лучше.

Подойдем к другому окошку. Будем долго возиться с бумажками, которые надо предъявить девушке в окошке, заглядывать в совершенно ненужные формуляры, чтобы только не столкнуться с ним на выходе. Но тот, другой, на сей раз это Юрген М., может быть спокоен. Я подыгрываю ему. Я выхожу первая и не думаю оборачиваться.

С каких это пор я уже не подхожу к старому знакомому, не будучи уверенной в том, что он хочет со мной встретиться? С каких это пор я никому первая не протягиваю руку? Сама не завожу разговор? Отхожу в сторону? И вот вопрос: сколько людей при виде тебя перешли на другую сторону улицы, перевели взгляд на ближайшую витрину, пересели на другое место в ресторане, повернулись к тебе спиной на собрании — пока ты наконец не догадалась и не стала вести себя соответствующим образом. Как часто ты думала: это «случайность», пока не поняла, что это «намерение»? При этих мыслях я не могла не ухмыльнуться, потому что всякий раз радуюсь, когда обнаруживаю, что статистика на серьезные вопросы ответить не может.

Потеря небольшая, подумала я. Значит, Юрген М. не был потерей, почему же меня раздражало, что он избегал меня? Почему я каждый раз раздражаюсь? Какой тут механизм неисправлен?

Разберемся по порядку, без спешки. Итак, Юрген М. Когда же я видела этого Юргена М. в последний раз? Давным-давно, ясно. Кажется, повод был не неприятный, кажется, открытие чего-то. Я поддела его, сказав что-то насчет его пестрого галстука. А он с насмешливым поклоном подал мне бокал с шампанским, который только что снял с подноса, взял себе другой, и мы чокнулись. Какая встреча, давно не виделись. Как мне понравились картины, спросил он, и я сказала: и так и сяк. Да, верно, это было на открытии выставки в Маршталле, и, кажется, общая атмосфера была не такая уж скверная: встретились люди, которые давно не виделись, и расспрашивали друг дружку про жизнь, словно прожили предыдущие годы в разных странах. Как всегда, когда это удается сделать, я придерживалась правил игры и спросила Юргена М., чем он сейчас занят. Я? — переспросил он. Ну, так, кое-чем. Собственно, насколько я могу вспомнить, он больше ничего и не сказал, этот Юрген М., друг моей университетской приятельницы, которому друзья прочили блестящее будущее. Юрген М. был философом. Кажется, он обратил на себя внимание несколькими острыми публикациями. Тогда, я припомнила, он был стройнее, носил прическу на пробор и уже давно не был другом моей подруги, сначала я потеряла из виду его, потом ее. Публиковался ли он в специальных журналах? Вышла ли когда-либо книга, о которой он беспрестанно говорил? Потерпел ли он крах, разочаровавшись

в мире и в себе, и поэтому избегал встреч с прежними друзьями? Так, может, мне надо было сейчас подойти к нему?

Кто-то шел за мной и насвистывал так резко, что звук отдавался в переходе к городской электричке и перекрывал шум уличного движения. Да что же он свистел? Вроде бы знакомое: «Мы поклялись Карлу Либкнехту, и Розе Люксембург мы протягиваем руку». Я заплакала. Хоть бы перестал. Перестанут, к сожалению, и, наверное, совсем уже скоро. Мужчина, насвистывавший песенку, был лет сорока, в костюме из черного в широкий рубчик вельвета, какие носят плотники, но без блестящих пуговиц; он шел, насвистывая, и не обращал внимания на то, что люди оглядываются на него, а потом исчез за дверями маленькой кондитерской.

Интересно, как выглядит его жена? Я не могла себе представить. Обычно я не могу себе представить, глядя на некоторых женщин, их мужчин, на сей раз все было наоборот. Этот человек, значит, представлял собой исключение. Что касается Юргена М., то я без всякого труда могла представить себе рядом с ним женщину, одну из заурядных привилегированных дам, поскольку от моей подруги, которая была трудным, но все же особенным человеком, он мог уйти только вот к такой заурядной женщине. Или это моя подруга его оставила? Нам всем показалось странным, что они расстались, прожив вместе столько лет.

Черт возьми, какое мне дело до этого Юргена М.? Стоил ли он вообще того, чтобы им заниматься? Разве не он когда-то в такое же напряженное время, как сейчас, написал мерзкую статью против своего профессора? Это было похоже на меня — не помнить того, что однажды решила: никогда с ним больше не разговаривать. Заговорить с ним, да еще шутить по поводу его дурацкого галстука, да еще удивляться, с какой услужливостью он протянул мне свой бокал! Он просто обрадовался, что я с ним вообще заговорила. Но теперь все еще раз повернулось, обстоятельства были скверными, куда уж хуже, и Юрген М. мог себе позволить не узнавать меня. Больше того, он даже не мог со мной заговорить. Может быть, он даже знал, что...

Нет, давай все по порядку. Без паники. Что он должен был знать? Что мог такой человек, как Юрген М., знать, кроме скудных публичных заявлений и щедрых слухов? Но вообще-то этого могло быть для него совершенно достаточно. Ведь кто-то, кроме моих близких, должен быть информирован о существовании молодых людей под моими дверями. Например, тот, кто их туда направил.

Ну вот, опять эта моя навязчивая идея, я тотчас это осознала и все же с наслаждением ухватилась за нее: должен был существовать кто-то, кто все про меня знает, кроме по-настоящему важного. На чем-то письменном столе, в чьей-то голове дол-

жна была скапливаться информация обо мне, собранная и молодыми людьми в машине, и теми кто прослушивал телефон и проверял почту. А что, если это была голова Юргена М.?

Во всех этих соображениях мне мерещилось какое-то правдоподобие, ибо моей второй непроизвольной мыслью было: значит, у него есть то, что ему надо. Эта вторая мысль удивила меня. С каких это пор я имела что-то против Юргена М.? С каких это пор мне казалось, что я знаю, что ему надо? Как это во мне незаметно для меня самой накапливалось нечто против Юргена М.? Да, я знала, что Юрген М. был референтом. До или после той истории с профессором? Этого я уже не помнила. У него была репутация человека открытого, и это в самом деле было так, он был открытым, но все, что он говорил тогда на вернисаже, действовало на меня как оправдание его ранних или более поздних поступков. Я припоминаю, что многим тогда его выступление понравилось. Наконец-то нашелся человек, который сказал правду. Как я припоминаю, ему здорово аплодировали, а я с тяжелым чувством решила побыстрее уйти домой, но он перехватил меня у самых дверей и потащил пить пиво. В результате все это вылилось в долгий вечер. Я не знала, что Юрген М. пил. Когда он начал говорить, не контролируя себя, я сделала ошибку, спросив его: почему ты пьешь? Тогда он бросил на меня такой взгляд, словно я его ударила. Чтобы быть в хорошем настроении, мадам! — сказал он. Этот человек ненавидел меня. Что я тебе сделала, спросила я растерянно, и первая же фраза прорвала дамбу, которой Юрген М. окружил себя, и из него полились неудержимые признания, которые мне пришлось выслушивать, хотя я слушать не хотела, потому что знала: после этого он не только станет ненавидеть меня, он сделается мне опасен. Но я находилась во власти его ярости и собственного любопытства, и так я узнала что Юрген М. уже многие годы следит за мной и за моей жизнью. Что он знает каждое слово, произнесенное или написанное мною, и главное — каждое слово, которое я отказалась произносить; что он так хорошо знает обстоятельства моей жизни, как только может знать их человек посторонний; что он вдумывался, вживался в меня с интенсивностью, которая меня ошарашила, и что он считал меня — и это доводило его до белого каления — добившейся успеха и счастливой. И прежде всего высокомерной. Высокомерной, глупо переспросила я, почему? Потому что я, кажется, верю, что можно все иметь, не продавая за это душу. Но послушай, произнесла я, только чтобы избавиться от стеснения, мы ведь не в средние века живем, слава богу! В тот вечер я как назло подавала ему реплики, которых он как будто только и ждал, и, кажется, завела его. Не в средние века! Вот оно что. Значит, я заявляю, что в это верю, и, может быть, и в самом деле верю, а не просто, как он ду-

мал, ношу это перед собой, как лозунг, чтобы, спрятавшись за ним, позволять себе все, что угодно. Но это все твоя игра, сказал Юрген М., это все пляски на канате, не срываясь вниз. Но теперь, когда мы говорим наедине, он мне наконец откроет глаза. Не в средние века, значит, живем? Ошибаетесь, мадам. Как раз в средние. За исключением внешних деталей, ничего не изменилось. И не изменится. И если ты, обладающий знанием, хочешь подняться над незнающими, надо, как и в прежние времена, продать душу. Уж коли я хочу знать всю правду, кровь при этом тоже льется, хоть и не собственная. Не всегда собственная.

И тогда я внезапно поняла (теперь я это вспомнила): он у них в руках. И еще вспомнила, что мое высокомерие (тут он был, быть может, прав, он ведь был неплохим психологом) заставило меня тихонько спросить: почему ты их не пошлешь? Он побелел, как стена, широко раскрыл глаза и, приблизив свое лицо к моему, так что на меня сильно пахнуло пивом, отчетливо и трезво произнес два слова: я боюсь. Затем он снова принялся разыгрывать пьяного, и я встала, постучала костяшками пальцев по столу и вышла. После этого я несколько лет не видела Юргена М., забыла эту сцену, которую он никогда не забудет, ну, а теперь ему больше нет нужды узнавать меня, он сидит в большом доме со многими телефонами, ради собственного удовольствия собирает обо мне все сведения и каждое утро благодарит судьбу за то, что она определила его на такое место, где он может удовлетворять свои желания и одновременно приносить пользу обществу.

В точности, как и я, на своем месте.

Как слепая, я шла через Вейдендамский мост по другой стороне, в противоположном направлении и представляла себе папки, в которых скапливаются все сведения про меня. Но ведь прежде надо еще отобрать материал, найти формулировки и, возможно, продиктовать секретарше. Или надо было представить это себе, как Юрген М. утром ровно в восемь входит в свой кабинет и первым делом — это небольшое тщеславие я позволила себе в своих фантазиях — берет тонкую папку с моей фамилией. В ней сообщение о минувшем дне, Юрген М. с удовольствием вчитывается в него. Ага. Вчера — то есть, значит сегодня — в девять сорок пять у нее был телефонный разговор. Абонент: следовала фамилия моего друга. Затем шла запись нашего разговора, над которой теперь мог позабавиться Юрген М. Ухмыльнуться. Подумать с презрением: код «кофе», «чай» — ах вы, жалкие дилеттанты! Юрген М., если я его правильно оценивала, был специалистом в своем деле, и при его уме, читая в одно прекрасное утро двести тридцать седьмое сообщение своих подчиненных, он должен был непременно ужаснуться бессмысленности своей деятельности, потому что, сколько бы он ни листал ту или иную папку, вглядываясь в ту или иную строчку, в

стенограмму ли, в запись ли разговора, и если он спрашивал себя, что же ему теперь стало известно об объекте такого, чего он раньше не знал, то он должен был еще раз себе признаться: ничего. Он, конечно, многого добился, этот мой доброжелатель, довольно многого, но он не мог знать, чего именно, потому что этого его шпионы услышать не могли и его магнитофоны записать не сумели, этого даже самой мелкой сетью не уловишь, и когда я себя спрашивала, что же это за таинственное «нечто», то и у меня этому никакого названия не было. Недовольная собой и не одобряя того, что я сейчас собиралась сделать, я пересекла автостоянку, направилась к бутылочно-зеленой машине (она все еще там стояла), и о чем я только думала — ведь было только четверть двенадцатого — прошла совсем близко от них и застала всю троицу за завтраком. Тот, что сидел за рулем, держал свой пакет с бутербродами на коленях, сидевший с ним рядом грыз яблоко, а третий, на заднем сиденье, самозабвенно приложился к бутылке с лимонадом. Он не подавился, когда перед ним возникло мое лицо, невозмутимо продолжал пить, но у всех троих, как по команде, вдруг сделались стеклянными глаза. Быть может, объясняла я самой себе, когда направлялась через стоянку якобы к почтовому ящику, словно мне надо что-то в него бросить и даже нахально имитируя жест вбрасывания, может быть, они обучаются этому стеклянному взгляду в своей школе. Ведь, кроме общественных наук, они должны овладеть какими-то практическими навыками. И, может быть, на второй год обучения в их учебном расписании раз в неделю значится: отработка стеклянного взгляда.

Ну, а если это не Юрген М., а кто-то совсем другой? А, знакомый голос. Что ж, здравствуйте, дорогой внутренний цензор, давненько вас не было слышно. А кто это, по твоему мнению, должен быть, если не Юрген М.? Какой-нибудь непредвзятый объективный чиновник, который вовсе тебя не знает. Мне бы этого даже больше хотелось. Хотелось — хорошо сказано. Представь себе. Человек, у которого нет ко мне никакого личного интереса. Который мне ничего не хочет доказать. Не хочет непременно заставить меня сдаться.

Как Юрген М.? Приди в себя!

По опыту я знала: внутренний диалог следует предпочесть долговому внутреннему монологу. Поэтому я объяснила своему цензору, что подстегивает Юргена М.: он жадно стремится доказать мне, что не только писатель может знать все о каком-нибудь человеке, — он тоже может, своим способом. И он тоже может, как всякий мастер, стать хозяином и творцом своих объектов. Но поскольку его объекты из плоти и крови, а не на бумаге, как мои, он настоящий творец, истинный хозяин.

А ты, заявил нежеланный голос, который мог быть весьма

бестактным, ты что, хочешь с ним в соревнование вступить? Ты что, хочешь принять его вызов? Показать ему, кто настоящий хозяин? Вот тут-то он и выиграл, твой миленький Юрген.

Но что же мне тогда делать, спрашивала я себя, открывая в подъезде дома почтовый ящик, доставая газеты и письма, что же мне тогда делать? Подняться вверх по лестнице, подойти к зеркалу в прихожей, которое еще не было разбито. То, что я была такой бледной, еще ни о чем не говорило, просто небольшая одышка, но тут голос пожелал мне всего хорошего в моем средневековье, и я назвала это подлостью. Кстати, в том молодом человеке, что пил в машине лимонад, не было разве чего-то трогательного? Нет, я ни в коем случае не должна превращать недостойное действие в нечто обыденное. Разве еще идет речь о достоинстве? Еще? Все ведь только начинается.

Но кто скажет нам, что такое достоинство?

Я начала просматривать почту по своим обычным правилам, вначале убедившись, что среди адресатов нет ни одного неприятного, никого, кто напугал бы меня. Потом я внимательно рассмотрела все конверты на свет, пока не проявился тот блестящий клеевой край, который возникает благодаря вторичному заклеиванию. Случалось — гораздо реже, правда, — что заклеенный край конверта морщился сильнее обыкновенного, и лишь в очень редких случаях я обнаруживала письмо с внутренней стороны приклеенным к конверту. Таких проколов им допускать не следовало. Где-то, вероятно, должно находиться огромное здание (или, может быть, как раз во всех районах имелись небольшие), куда ежедневно вагонами доставлялась почта, сортировавшаяся на длинном конвейере ловкими женскими руками, и по непостижимым для нас правилам отбора направлялась на другие этажи, где другие женщины держали ее над паром — или уже существовали более эффективные методы, — очень и очень осторожно вскрывали письма и направляли в святая святых, где квалифицированные силы обслуживали копируемые устройства, которых так не хватает в наших библиотеках и издательствах. То была целая армия сотрудников, которой никогда не посвящались газетные очерки, не имевшая своего праздника в году, вроде дня шахтера, учителя или медицинского работника, и армия эта, конечно, все росла, но должна была мириться с тем, что работает тайне. Слова «тайные цифры» накрепко зашили в голове, и я записала их на бумажке. Деятельность большой группы населения отражается в тайных цифрах. Я увидела перед собой целые толпы людей, погружающихся во тьму. Их судьба показалась мне незавидной.

Просмотрев заголовки, я отложила газеты в сторону. Три письма я еще не вскрыла. Я знала, от кого они, хотя ни на одном из них не было ни марки, ни обратного адреса: отправитель, мо-

лодой поэт, обычно сам опускал их в мой почтовый ящик. Я его ни разу не видела. Судя по его стихам — последние были написаны во время летной военной подготовки, — я представляла себе тихого щуплого юношу с грустными голубыми глазами, который страдал, не умея защититься, и выжил потому, что писал стихи, но я читала их с неохотой, ибо не могла ему помочь, я писала уклончиво, иногда я злилась на него, но еще больше на саму себя. Он ведь мог быть моим сыном. Мне казалось, что я предвижу все, что его ждет. Он был обречен. Те молодые люди, что стояли у моих дверей, — в его дверь они ворвутся без колебаний. Это было различие между нами, принципиальная разница. Это было ров. Надо ли было мне его перешагивать?

Ну вот, теперь мы подошли наконец к настоящим вопросам, сообщил мне знакомый голос. Эти вопросы всегда можно распознать по тому, что они, кроме боли, приносят определенное удовлетворение.

Господин всзнайка, как всегда, все знал заранее.

Но разве не было дней, когда меня тянуло к таким вопросам?

Ну и что? Сегодня уж точно не такой день.

Мой собеседник заявил, что знает об этом. Это, вероятно, один из тех дней, когда проявляется моя слабость. Я тотчас запретила ему говорить об этом. — О'кей, о'кей. В конце концов он мне не судья. — А кто же? — Спутник, прозвучал лаконичный ответ, который я могла прокомментировать лишь с сарказмом: личный спутник. Намек не произвел на него впечатления. Разозленная, я спросила, кто его назначил на эту роль, на что последовал невозмутимый ответ: ты сама и назначила, дорогая подруга. Если, конечно, не забыла.

Я сама. Эти два слова еще долго гудели у меня в ушах. Я сама. А кто это? Какое из разнообразных существ, из которых складывается «я сама»? То ли, что хотело узнать себя? То ли, что хотело щадить себя? Или то третье, что всегда пыталось плясать под ту же дудку, что и молодые люди у моих дверей? Так какую же из трех ты, дружок, имеешь в виду? И тут мой спутник умолял, огорченный, но всегда готовый помочь. Именно это и было мне нужно: поверить в то, что я очень скоро вытолкну из себя ту, третью, что я этого на самом деле хочу и что я, если говорить честно, готова скорее выгнать этих молодых людей у себя под окнами, чем присутствие во мне той, третьей.

Так почему уже в течение некоторого времени всякая необходимость выбора, которая вставала передо мной, стала выбором между плохим и еще худшим? Разве присутствие молодых людей у дверей нас не учило видеть все еще острее?

Отвлекающий маневр. Теперь мне наконец надо было открыть второе письмо, от одного из моих самых близких друзей.

Он, как уверял другой мой друг, уже давно является их постоянным сотрудником и специально занимается мной. Если это было правдой, то они могли избежать затрат на почтовую и телефонную слежку, на все встроенные микрофоны и мальчиков под нашими окнами: этот друг превосходил бы их по своей эффективности. Юрген М. мог смело выбросить в корзину все докладные и магнитофонные пленки и подшивать только донесения моего друга. Но с точки зрения этого учреждения и они не могли представлять для меня опасности. В самом глубоком смысле для меня вообще не могло быть ничего опасного. Разве что Юрген М. мог наслаждаться, узнавая мои самые сокровенные мысли, а кроме того, это значило бы, что тогда вообще ни на одного человека положиться нельзя, и тяга к темной стороне жизни, которую я вновь сильно ощутила, стала бы еще сильнее, и она сделалась бы слишком соблазнительной, неотвратимо привлекательной, хотя «жизнью» то, куда меня тянуло, уже нельзя будет назвать. Но как называлось то, что не было жизнью? Нет, пока мне не хотелось читать письмо.

Успокойся. Давай все по порядку. Без паники.

Они все еще стоят?

Да, стоят и останутся сегодня на весь день, ты ведь знаешь.

Для чего им это, если он им и так все рассказывает?

Нет, ты выслушай спокойно. Упрямство, конечно, вещь неплохая, но трезвая голова лучше. Хорошо: возьмем, к примеру, нашего друга. Предположим даже, что он должен выполнять их поручения.

Должен?

Должен! Это все твое проклятое высокомерие! А что остается делать? Излить нам свою душу? Чтобы мы с ним никогда даже и словечком перемолвиться не могли?

А что же еще?

Святая простота! А вот что: выполнять свое задание только для видимости. Не сообщать ничего, кроме того, что им и так известно. Не давать им никакого материала ни против тебя, ни против себя. Словом, плясать на канате.

Циркачи, произнесла я горько про себя и обращаясь к самой себе. В таком случае он больше мне не друг.

Нет, ты как была от жизни далека, так далека и останешься. Как ты думаешь, с чьей помощью он может вырваться из их рук?

Но не с...

Вот именно. Только с твоей помощью.

Если он вообще этого хочет.

А почему он не должен хотеть? Ты ведь знаешь его биографию.

Мой друг писал мне из Г., где он был на каком-то конгрессе, о том, как ему хотелось бы сейчас оказаться у меня на кухне, вы-

пить со мной чаю, поговорить по душам. Может, это скрытый намек на то, что на кухне у нас нет микрофонов?.. Да как же мне не стыдно!

Я села за письменный стол и написала своему другу, что у меня как раз сейчас тяжелый момент. В голову приходят мысли, которые пугают меня саму. Но мы поговорим об этом, когда он вернется, и мы сможем выпить чаю на моей кухне.

Кто знает, подумала я, и мой внутренний собеседник разозлился на меня за мою подозрительность, и я спросила: а что же, я должна просто так пустить его в свою кухню, и он ответил: да, просто так, без всяких подозрений. Но мой друг и так ничего не заметит, я буду вести себя совершенно естественно, это я умею. И даже до какой-то определенной степени открыто.

И мой назойливый внутренний голос молчал, молчал и молчал.

Оставалось еще одно письмо, самое приметное из всех, длинный белый четырехугольник. В его внешнем виде я не искала никаких подозрительных признаков: если они и были, я ничего не хотела об этом знать. Это было официальное письмо. Я рассеянно вскрыла его ножом для разрезания бумаги. Секунды, которые ушли на это, были заполнены какими-то далекими ассоциациями. Пушкин. Только что вышедший том его писем. Его бешеная ярость, когда он обнаружил, что царская цензура перехватила одно из его писем жене. Его пафос: значит, даже доверительный обмен мыслями между супругами для них не свят! Его преувеличенная реакция: он долго не мог писать жене. И мой невольный смех, когда я это читала, мое чувство превосходства: ох уж эти мне сверхчувствительные поэты девятнадцатого века!

Сколько уже времени прошло с тех пор, как я перестала писать доверительные и интимные письма. Я уже не помнила, когда началось время якобы писем — когда я пишу откровенно, как будто доверительно. Не помнила. Я знала только одно: для таких писем я уже не годилась, — и связь с далеко живущими адресатами потихоньку обрывалась. Испытывала ли я еще сожаление по этому поводу? Ужас! Разве это не стало для меня само собой разумеющимся? Да, это им удалось, подумала я.

Учреждение, на бланке которого было написано письмо, являлось весьма важным. Письмо было кратким. Человек, написавший его, служил по этому адресу и хотел представиться мне порядочным человеком. Из письма я должна была понять, что он и в трудные времена остается честным, что он и в трудные времена хочет служить мне опорой. И не более того, подумала я, наполовину с облегчением, наполовину с разочарованием и, без сомнения, несправедливо по отношению к адресату. Все-таки он мне писал — и на служебном бланке! — что это просто было бы

смешно, если бы ему не удалось «вписать» меня в план мероприятий его учреждения; слово «вписать» он употребил в кавычках, как знак того, что он и сам с иронией относится к своему предложению. Может, он думал, что мне нужны деньги? Нет, этого он не думал. Мои советы, писал он с присущей ему тонкостью, мое сотрудничество могли принести только пользу его конторе, он так и писал — «моей конторе». И просто не может быть, чтобы он не сумел уговорить меня. При случае он расскажет мне, что с ним было «после всего» — это были единственные слова, которые вырвались у него спонтанно. Но я ведь знаю: худое споро, не сорвешь скоро.

Пауза. Передача окончена. Если ты думаешь, что он еще может причинить мне боль... Кстати, ты прав: он может причинить мне боль. Опять может.

От письма исходил тонкий аромат отказа от самого себя. Это было для него так характерно. И это письмо он пишет мне, только чтобы доказать обратное. И еще спрячет его в надежном месте, как доказательство своего мужества и солидарности. Но — пригласить, никуда не пригласит. И в план мероприятий не впишет. И совета моего спрашивать не будет. Список, который запрещает ему это, где стоит и мое имя, он аккуратно подложит к этому своему письму в ту же папку.

Ну и ладно. Отправим его к крошкам от печенья.

Второй раз за сегодняшний день зазвонил телефон. Женский голос. Почему он такой взволнованный, спросила я себя, прежде чем узнала, с кем говорю. Голос был взволнованным потому, что его обладательница боялась осложнений, которые могут возникнуть сегодня вечером. Это была коллега К. из Дома культуры, которая, к моему удивлению, пригласила меня к ним сегодня на встречу с читателями. Она звонила, чтобы спросить, не смогу ли я прийти за час до начала.

Конечно, ответила я, но зачем?

Чтобы блокировать всякую возможность неприятных эксцессов.

Она так и сказала: «блокировать». Слова, интонация заставила меня покрыться потом. Какие еще нежелательные эксцессы, спросила я бодро.

Фрау К. уже пожалела о сказанном, она явно дала отбой. Да ничего особенного. Так сказать, в общем плане.

На это ответить было уже нечего, кроме как: хорошо, приду пораньше. Я положила трубку. Что-то было тут неладно.

Начало первого. Они все еще стоят?

Они были там.

Ладно, надо что-нибудь съесть. В такие дни лучше не быть одной.

Одной? Да я почти уже ничего не могла подумать или ска-

зять, чтобы на меня не набросился мой цензор. Если ты не перестанешь жаловаться и жалеть саму себя...

Хорошо, хорошо. Ты, кстати, прав. Ты же знаешь, что я без всякой предвзятости приглашу его к себе на кухню. Я ничего не забуду из того, что я о нем думала. Но я верю, что он привязан ко мне. И кто же выгадит его из всего этого, если не тот, к кому он привязан? Если он и в самом деле хочет выбраться. Если он действительно завяз. Но кто-то же должен быть от них. Ты разве забыла, сколько флангов он им открывает? Да иди ты к черту с твоей ханжеской моралью.

А может, сегодня еще не самый скверный для меня день?

Я разогрела вчерашний суп из говядины и механически принялась за еду, слушая те же новости, что передавали утром. Со двора теперь доносились детские крики, а с пятого этажа соседнего здания им вторили какие-то шлагеры: сейчас появится фрау Г. в своей зеленой шапке и громко выскажется по поводу шума. Она так и сделала.

Я вновь подошла к письменному столу, но постаралась не смотреть в окно. (Они все еще были там.) Я села и принялась делать пометки в своей пухлой записной книжке, заноса то, что было упущено в последние дни. Когда-нибудь я окажусь в комнате — я представила себе скупо обставленный кабинет обычного учреждения, — и мне будут задавать вопросы. Вопросы различного уровня, при этом и самые безобидные, но я решила, что не отвечу ни на один и буду этого твердо придерживаться (все фантазируешь, подруга). Потом, после одного, двух или двадцати часов — разве мы не слышали о допросах, которые с краткими промежутками длились несколько дней? — мой следователь выгадит эту толстую зеленую записную книжку, в которую я аккуратно заносила все, что делала сегодня, вчера, позавчера, что читала, слышала, кого видела, даже какая была погода. Ну вот, скажет мой следователь, ведь вплоть до вопросов третьего и четвертого уровней он будет очень вежлив и только уже при вопросах пятого уровня вдруг сделается груб, но я буду к этому готова и выдержу его грубость, может быть, даже легче, чем вежливость (ой, подруга, подруга). А теперь, скажет он, поговорим начистоту. И начнет читать мне мою собственную записную книжку с моими собственными словами и ответами на каждый вопрос, который я только что с такой гордостью отвергала. Ну так что же, господин всезнайка, можешь ты объяснить мне, почему я все-таки делаю эти записи, разве не из гордости, храбрости, высокомерия?

Делаешь, потому что думаешь: они не посмеют.

Молчание.

Теперь мне надо было подойти к телефону, набрать номер и слушать гудки. Я тебя что, разбудила, сказала я с какой-то чересчур виноватой интонацией. Нет, ответила моя младшая

дочка. Но она как раз завтракает. — А чем конкретно? Перечисление было длинным: вот, значит, что она называет «завтраком». — Другие могут питаться этим два дня. Зато потом она два дня может ничего не есть. — Вот это-то и плохо. Она спросила о самочувствии своего отца и выслушала отчет. And what about yourself, ma'am? — О, marvellous¹, сказала я, и она произнесла: клёво, — в ответ на что я потребовала от нее пользоваться нормальным языком, что она с негодованием отвергла. Ну, как вам будет угодно, фройляйн. Но чем же вы заполняете ваши усталые дни? — Oh dear², пожалуйста, без бестактностей! — Но теперь серьезно: ты хочешь выпасаться? Аye, аye, Sir³. — На воздухе бываешь? — Аye, аye, Sir.

Знаешь, что, сказала я, если я когда-нибудь порву с тобой отношения из-за твоей душевной черствости, то ты изойдешь горючими слезами. Лэди, сказала моя младшая дочь, вы меня ужасно расстраиваете.

Мы положили трубки одновременно. Стало легче. Я взглянула в окно. Они все еще стояли. Ну и пусть. Я решила сделать маленькую передышку. Задернула в спальне занавески и легла на кровать. То была одна из самых приятных минут этого дня. Ни один чужой человек, ни один чужой взгляд и, быть может, ни одно чужое ухо не следили за мной в этой комнате. Я наслаждалась немислимым блаженством лежать одной, не предъявляя к себе никаких требований. Не думать, не работать. Ничего не выяснять, ничего не хотеть знать. Спокойно лежать на спине, закрыв глаза. Дышать. Я дышу. Я ни о чем не думаю. Я спокойна.

Я вдруг увидела высокий светлый свод над темным диском. Может, то была сцена? Все мои мысли устремились к этому своду. словно тени, летели они к нему, как большие, ленивые летучие мыши. Они долетят. Глупости. Далеко не заберутся. Разобьют себе головы. Свод ведь из мрамора. Разве ты этого не видишь? Вот они уже, как миленькие, возвращаются снова ко мне. Нет, так я от них не избавлюсь.

Но как же избавляются от мыслей? Только думая. Думая снова и снова. Продумывая. Додумывая до конца. Если бы существовал прибор, который мог бы собрать всю надежду, еще существующую в мире, и, как лазерный луч, направить ее на этот свод из мрамора — растопить и проломить его!

Ну вот, теперь и ты думаешь, как они. Приборы, лучи, насилье. Теперь и ты продлеваешь небольшое количество их сегодняшней власти в будущем. Значит, они и тебя поймали.

А ты думаешь, я этого не знаю? Думаешь, я считаю будто

¹ А как вы, мэм? — Великолепно (англ.).

² О дорогая (англ.).

³ Да, да, сэр (англ.).

я совершенно другая? Сама чистота, правдивость, дружелюбие и любовь? Думаешь, я не знаю, что им нужно? Знаю. Они хотят, чтобы я стала как они, это та единственная радость, которая еще осталась им в их бедной жизни: сделать других себе подобными. Думаешь, я не чувствую, как они ощупывают меня, отыскивая уязвимое место, благодаря которому они могут унижить меня? Я знаю это место. Но не скажу никому, даже тебе, даже в мыслях не признаюсь.

Так как же ты представляешь себе свое будущее?

И вновь взлетели большие, похожие на тени, летучие мыши, поднялись огромной стаей.

Разве ты не знаешь, что некоторые слова надо иногда запрещать себе произносить? Чтобы не становиться слабой, чтобы не стать мягкой и податливой.

Значит, в будущем надо быть жесткой.

Противоположность мягкости не обязательно жесткость. Противоположность мягкости — негибкость, твердость. Звучит фантастично. Ну, а в какой из твоих многочисленных карманов ты прячешь свой страх?

Какие пустяки, немножко страха. С этим надо жить. А кто не может, пусть уходит. Ну, а тот, кто хочет нагнать на меня страху всеми этими картинками, что внедряет мне в голову, — и в эту минуту круглый свод исчез, я увидела помещения с решетками, — и тот, кто хочет доконать меня таким образом, тот тоже уходит. И уходит очень быстро.

Ага. Если это было предупреждение — я принимаю его.

Потом я все-таки уснула. Картинки, которые я видела под конец, были четко очерченными деталями мужского тела, — тела, которое я знала, то были яростные любовные сцены, удивившие бы меня в состоянии бодрствования. Со всей безжалостностью сон демонстрировал мне, как разрывается родовая оболочка эмбриона и как я слышу сказанные в язвительном тоне слова: в рубашке родился. Просыпаясь, я поняла их смысл, но зачем язвительность? К чему раны, которые приходится наносить самой себе?

Ответа нет. Предупреждение остается в силе. Я оделась, сварила крепкий кофе и села за письменный стол, пыточный стол. Неужели все еще стоят? Нет, их больше не было. Бутылочная зеленая машина исчезла. Они прекратили. Они наконец убедились, что...

На четыре машины дальше влево стоял белый автомобиль, в котором сидели двое. Все, как полагается.

Было пятнадцать часов.

Через правое окно в эркере я могла видеть всю Фридрихштрассе до станции городской электрички, а сквозь левое окно до Ораниенбургских ворот. В обе стороны тянулся людской по-

ток. Тысячи ничего не подозревающих соотечественников, час за часом преодолевающих там на улице расстояние между мной и белой машиной, которых несло домой или к рабочему месту, к любимым или к делам. И всюду с ними была их нормальная, обычная жизнь.

И до тех пор, пока я не буду готова поменяться с кем-нибудь из них, мое высокомерие непоколебимо, и все главные уроки были у меня еще впереди. Или это у них впереди? Отчуждение, которое отделяло меня от толпы, думала я, отделяло толпу от самой себя.

Так я еще не думала, но, кажется, уже пришло время думать так или совсем иначе. По-другому и другое. Толпа не всегда как нечто непогрешимое, как судья, как вышестоящее, как те, кто знает лучше, к кому я не должна относиться с неуважением, обижать, игнорировать, как масса, которая в сомнительном случае всегда права. И вот она шагала мимо моих окон, ничего не знала, была ни права, ни не права, поскольку являлась всего лишь конструкцией. И разве не в том было дело, что речь шла вовсе не о ней, а об отдельных людях, которые не могли говорить «да» или «нет», автоматически поднимать руку или отказывать в своем одобрении, бросать по указке сверху первый камень или не подтверждать приговора. Разве не шла речь о каждом из тех, кто находится там внизу, например о девушке, что сейчас пробиралась мимо той белой машины и стоявшей рядом черно-желтой, пересекавшей теперь полосу газона, отделяющую стоянку от тротуара, затем остановившейся у светофора и перешедшей через улицу. Девушка, каких тысячи, не высокая, не худая и не толстенькая, с очень коротко подстриженными волосами и смуглым лицом. Зеленая куртка, сумка через плечо.

Стоило только взглянуть в одного отдельного человека, и вот уже страх исчезает.

Теперь мне надо было собраться, сложить сумку для Г. и влезть в туфли, потому что ровно через полчаса в больнице начнется прием посетителей. Вдруг в дверь позвонили. Очень некстати, сказала я самой себе, чтобы скрыть перед самой же собой страх. Кто это мог быть? Сегодня? Ко мне? Самое лучшее вообще не открывать. Я прокралась по коридору к дверям, прислушалась. Закрыться на цепочку? Глупости. Вот именно так это и начинается.

Сначала я подумала, что это галлюцинации. Но снаружи стояла девушка, которую я только что видела внизу под своими окнами. Очень короткие темные волосы. Загорелое лицо, куртка. Сумка через плечо.

Кто послал ее? Она взглянула на меня, и мне стало стыдно. Держась как можно непринужденной, я пригласила ее войти. Вместе с этой девочкой вошло нечто изначально очень знакомое

и одновременно совершенно чужое. Какой же она была юной — двадцать, двадцать два? Девушка назвала свое имя, которое показалось мне отдаленно знакомым, и у меня возникло тяжелое чувство, что она больше никогда не покинет мою квартиру. Я не вытащила, проходя мимо, телефонный шнур из розетки, что было бы разумно, и я рискнула усадить эту девушку в моей комнате за круглый стол и выслушивать ее рассказ там, где, вероятно, были вмонтированы микрофоны. Несколько коротких вопросов и ответов, и мне стало ясно, что имя этой девушки связано с некоей историей в некоем университете, с доносами, допросами, шантажом, что именно ее тогда исключили из университета, поскольку она оказалась из тех, кто на шантаж не поддавался.

Действительно, я вспомнила эту историю, о которой говорили, но ведь это было когда? Год назад? Два года? Да. Но потом другая история, объяснила девушка мимоходом и явно не для того, чтобы этим хвастаться, вылилась для нее в год тюрьмы, поэтому она не могла прийти раньше. Как будто два года назад мы с ней договорились о встрече. Ну вот наконец возникла та атмосфера, к которой я была готова с момента появления девушки. «Тюрьма» — это было то слово, которое ставило под сомнение наше родство. По этому поводу нечего было сказать, не о чем было спрашивать. Девушка порылась в своей сумке и вытащила несколько листочков, рукопись, которая, собственно, и была поводом для ее визита, и я тотчас прочитала эти листки, хоть и сказала ей с самого начала, что мне надо уходить.

Прочитав короткий текст, я спросила девушку, кому она еще, кроме меня, его показывала. Сестре, другу и мужу.

Вот теперь я встала и вытащила телефонный шнур из розетки. Радио я включать не стала, чтобы девушка не считала меня трусливой или видящей призраки. Значит, она замужем. Да. Ее муж не оставил ее в трудный момент, но то, что она делает, его не интересует.

В такое время, как это, промелькнуло у меня в голове, просыпаются все наши слабости или наши сильные стороны становятся слабостями. Я не могла назвать хороший текст плохим и должна была ободрить девушку, написавшую хорошо. Я сказала, что написанное ею — хорошо. Точно. Каждая фраза правдива. Но она не должна никому это показывать. Потому что эти несколько фраз снова приведут ее в тюрьму.

От радости девушка помягчела, ее отпустило, она начала говорить. Ну вот, подумала я. А мальчики там, внизу, пишут. Девушка рассказывала мне о своей трудной жизни и уже явно собиралась раскрыться окончательно, как я наконец сообразила, что должна ее остановить, невозможно было выпустить ее на

улицу в этом раскрученном состоянии, и мне пришлось спросить ее, как было в тюрьме, выслушать, что тяжелее всего был холод. И очень высокие нормы на чулочной фабрике. И почечные боли. Там ведь едва топили.

И все это в моей теплой комнате, и я с чулками на ногах. Теперь я должна была, насколько возможно, внушить этой девушке страх. Должна была сказать ей, что и большие таланты гибнут в немецких тюрьмах, дюжинами, что это неправда, будто талантливому легче сопротивляться холоду, унижениям и истощению, чем неталантливому. И что и через десять лет люди захотят читать то, что ею написано. И что она не должна браться голой грудью на амбразуру.

Так что же ей беречь себя? Но ради чего?

Разве она не любит своего мужа?

Он женился на ней, чтобы дать ей защиту. Он не предал ее. Но она подвергает его опасности, он ведь служит. А любви нет.

Детей она не хочет?

Раньше да, хотела. Теперь нет. Кстати, там, когда она пожаловалась на почечные боли, ей сделали операцию на матке.

Молчание.

Девушка говорила, что все понимает. Что не хочет погибнуть. Просто ей хотелось написать правду. И поговорить об этом с другими. Здесь. Сейчас.

Нет, подумала я, эту девочку не удержишь. Мы не можем ее спасти, не можем испортить. Она должна делать то, что должна, а нас предоставить нашей совести. Она ушла. Я смотрела в окно, как она перешла улицу, протиснулась между машинами, прошла мимо белого автомобиля, не обратив внимание на стеклянный взгляд молодых людей, пересекла стоянку и исчезла из моего поля зрения.

Адреса у нее я не взяла.

Я снова всунула шнур в розетку, собралась, заперла дверь и вышла. В больнице тем временем уже начали пускать посетителей.

Моя машина стояла примерно через семь машин от белой, которую я не удостоила взглядом. Я села, включила мотор. Девочка не задала мне мелочного вопроса: а что останется? Она не спросила, о чем же ей вспоминать потом, в старости?

Я поехала той дорогой, по которой она могла пойти, и все время смотрела на прохожих на тротуаре, едва не устроила аварию, когда я, как мне показалось, обнаружив в толпе темноволосую голову с короткой стрижкой и не обращая внимания на поток машин, попыталась остановиться у водосточной решетки, но яростными гудками была согнана с места и потеряла из виду темноволосую голову. Значит, адреса не взяла. Что ж, мы это чисто сделали.

И пока я ехала дальше, уверенно и безупречно, соблюдая все правила движения, во мне происходило нечто странное. Что-то случилось со мной, с моим зрением, точнее, со всеми органами восприятия. Нет, я по-прежнему не нарушала правила движения, не в этом было дело, я просто видела все не так. То есть я видела не то, что видела, хотя дома, улицы, люди ни в коей мере не сделались для меня невидимыми. Да что же это с нами происходит, услышала я собственные мысли, и в них все повторялась эта фраза, а другой у меня не было, и вообще не хватало слов, не хватает их мне и сегодня. Попытаюсь только объяснить, что порвалась связь между мной и городом, если предположить, что «город» может вбирать в себя все, что люди делают друг другу — плохого и хорошего. Не то чтобы я вдруг испугалась, что схожу с ума. У меня не было ни страха, ни вообще какого-либо чувства, я уже и с самой собой потеряла связь, что мне были муж, дети, братья и сестры — величины одного порядка в системе, которая была самодостаточной. Был лишь голый ужас, и я не знала прежде, что он выражается в утрате всяких чувств. Я без труда выбралась из потока машин, с одобрением взглянув при этом на саму себя со стороны, свернула к больнице, сразу же, точно это было само собой разумеющимся, нашла свободное место на стоянке и нисколько не удивилась, что в здание, которое из окна виделось острым и плоским, словно вырезанным из картона, теперь вдруг оказалось можно войти, что в нем была хоть и грязная, но лестница, надписи со стрелками, указывающими на разные этажи и отделения, мимо которых я теперь быстро и уверенно поднималась на второй этаж, отделение С1, палата номер 17. Я привела в порядок выражение лица, чтобы оно соответствовало выражению лица женщины, навещающей своего мужа в больнице, постучалась, открыла дверь, вошла, кивнула молодому человеку, который лежал на первой кровати, подошла ко второй, снова посмотрела на себя со стороны, увидела, что улыбаюсь, склонилась над лицом, лежащим в подушках, и поцеловала его.

При этом я продолжала смотреть на себя со стороны.

Я спросила, что нужно было спросить, получила ответы, которые знала заранее, поставила рядом на тумбочку облепиховый сок, убрала пустые бутылки и грязное белье в сумку, делала все очень естественно, не избегая таких слов, как «огорчаюсь», «тоскую», ведь тот, кто ничего не чувствует, может пользоваться любыми словами. Я была чрезвычайно заботлива, расспрашивала подробности о подъемах температуры, о характере болей, выясняла мельчайшие детали на пути к выздоровлению. Нет, настоящей опасности не было, об этом я знала, хоть и нервничала вчера всю первую половину дня. Потому я и сказала — и это было правдой, — что я волновалась, и в тот же момент поняла, что эта правдивая фраза должна вызвать недоверие, хоть он не

сразу его выскажет. Он только спросит: ну а вообще? Так он и сделал.

Ну а вообще?

Вообще? Ничего особенного. Все относительно спокойно. Нет, не много звонят. Это как раз хорошо. Никаких происшествий. В самом деле. Сплю. Конечно. Просто прекрасно. В самом деле. И ты не должен обо мне беспокоиться.

Почему ты сегодня все время говоришь «в самом деле», спросил он.

Разве? Разве я так говорю?

За одну минуту ты дважды сказала «в самом деле», заметил Г.

Оставь меня в покое, произнесла я. После этой фразы надо было помолчать. Ничего, поплачь, произнес Г. спустя какое-то время. Я отодвинула стул и села к нему на постель. Не стоит, сестры ругаются, сказал он.

Ну как ты, спросила я еще раз с самого начала. Последовали те же ответы на другие вопросы. Он был бледен, и какая-то черточка в его лице показалась мне незнакомой. Пальцем я провела по знакомым чертам. Он был в опасности. Вчера все утро я боролась с представлением об ужасной возможности жизни без него. Все прошло хорошо, сказала я. Теперь все будет хорошо.

Да?

В самом деле.

Я потом тебе все расскажу. Ничего не бойся. Я тоже больше ничего не боюсь. Все ведь дело только в нас самих, знаешь. Не смейся, если тебе больно смеяться. Потом еще вдоволь надо мной посмеешься. Ты еще, слава богу, сможешь долго надо мной смеяться. Знаешь, вдруг так легко стало, не знаю почему. Тебя даже обнять еще нельзя.

Ну ладно. Мне уже пора.

В машине я пела. «На дереве кукушечка сидела, трамтара-ра-там». Нет, они с нами не справятся. Я включила радио, громко подпевая шлягеру, ехала по Лениналее, кажется, слишком быстро, потом решила перекусить в гриль-баре и уже повернула руль, чтобы попасть на стоянку на противоположной стороне улицы. И только после этого в моей подкорке прорезалось: тут поворот запрещен. Но ведь не сразу же...

И сразу же свисток. На другом углу постоянный полицейский пост, и вот теперь, повинувшись жесту, я должна была послушно достать права и приветливо, с чувством содеянного греха, протянуть их. Лучше всего сразу признаться, ничего не украшивать, но привести причины, которые уже слегка укрощенный страж закона мог бы превратить в смягчающие обстоятельства. Штампа он мне не поставит, этот момент он уже упустил, в худшем случае десять марок, а если втянется в разговор,

то и вовсе пять. Ну что же полицейскому Б. делать с нарушителем, который по доброй воле признался, что часто здесь ездит, и ничего не может сказать в свое оправдание, кроме как «отключилась», да еще если ко всему прочему этот нарушитель — женщина. Он мог только вернуть права с почти шутливо звучащим предупреждением: имейте в виду, тут поворота нет — и, приложив к фуражке руку, пожелать мне счастливого пути.

Но так дальше продолжаться не могло.

И не продолжалось. В бистро были крайне неприветливые кельнеры, обслуживали медленно, мне надоело ждать, я встала и ушла, не поев. По опыту я знала, что чувство голода самое большее через час пройдет. На одной из темных, готовых к сносу улочек за Александрплац я кое-как построила машину и отправилась искать этот Дом культуры — не в ту сторону. Когда я его наконец нашла, прошло еще полчаса из обещанного мною устроительнице вечера часа. Настроение упало, но все-таки какая-то частица живости еще во мне оставалась. Именно с этой живостью я протиснулась через толпу, которая блокировала входную дверь, с улыбкой заверила молодых людей, перед ней толпившихся, что меня-то уж им придется пропустить, что они — также с улыбками — сделали. К закрытой двери было прилеплено большое объявление: все билеты проданы. Слева и справа по обе стороны дверей стояли молодые люди. Поди ж ты. Нельзя сказать, чтобы они выполняли свои функции незаметно. Молодые люди вежливо просигнализировали внутрь, что надо открыть дверь. Она незамедлительно отворилась. Четверо или пятеро молодых девушек и женщин и двое молодых людей встречали меня в вестибюле. Западня, подумала я в свойственной мне манере все преувеличивать и пожимая всем руки в смятении, может, более интенсивно, чем было нужно. **КЛУБ СОЛИДАРНОСТИ**, прочитала я табличку на двери справа и тут же пошла следом за усердной молодой девушкой по направлению к надписи, сделанной крупными буквами: **НАРАЩИВАНИЕ — БЛАГОСОСТОЯНИЕ — СТАБИЛЬНОСТЬ**. Нарачивание, благосостояние, стабильность — машинально еще раз прочитала я. Где это я оказалась? Я почувствовала желание углубиться в этот вопрос, но подавила его, момент был неподходящим, это надо было признать.

Кабинет заведующей отделом культурных мероприятий представлял собой просто свалку старой конторской мебели и превосходил по ирреальности все виденные мною когда-либо служебные помещения. Три древних плаката, развешанные по стенам, никак не создавали той культурной атмосферы, которую вероятно, желала установить коллега К. Она сообщила, что ужасно рада видеть меня, но при этом показала мне ужасно взволнованной. На ней был травянисто-зеленый пуловер, и ме-

жду грудей аккуратно помещался кованый медный щит величиной с кулак. Я спросила себя, не зовут ли эту даму и в самом деле Брунильдой *, но что мне было с того, если это и впрямь было так. Тут она начала говорить нервно и до того быстро, что щит на ее груди зазвенел. Что это с ней? С растущим удивлением, потом с растущим пониманием я смотрела на ее пальцы,двигающиеся по крышке стола, видела, как ее взгляд сверлит самый дальний угол комнаты, и поняла: этой женщиной владел страх. И единицей измерения этого страха был звон щита на ее груди. Он звонил тихонько, когда она упоминала своего шефа, тот, вероятно, не счел нужным прикрыть ее перед «высокими инстанциями», при упоминании которых ее щит начинал звенеть громче. Но все же ей удалось успокоить и эти инстанции, а они, вероятно, ее сильно осаждали, уговорить отнестись к этому мероприятию с молчаливым терпением, поскольку отменить его уже было невозможно. Но громко, предвещая бурю, гудел щит на груди у фрау К., когда она начинала говорить о людях, толпившихся у дверей, которых нельзя было пустить. Только этого противозаконного скопления ей не хватало.

Мне этого тоже не хватало, но я ничего подобного не произнесла. Напротив. Я мобилизовала весь свой опыт, который был не столь уж незначительный, и принялась задавать фрау К. вопросы, которые, с одной стороны, должны были ободрить ее, а с другой — дать мне соответствующую и как можно более полную информацию. Потому что тут существует некий механизм, суть которого трудно объяснить непосвященному; я предполагаю, что в каждой стране могут вестись такие разговоры, подтекст которых может стать ясен лишь в том случае, если сравнить его с десятками сходных разговоров на ту же тему.

Так что же с высокими инстанциями? — Высокие инстанции опасаются, что может что-нибудь случиться. — Что, например? — Например, провокационные вопросы из зала. — Ага. Значит, планка допускаемых вопросов опустилась еще ниже. Не бойтесь, фрау К., с этим я справлюсь. В конце концов, я не новичок.

Значит, я не была новичком! Честно говоря, именно сегодня я чувствовала себя новичком.

А еще что? — Ну, иностранные корреспонденты. — Какие иностранные корреспонденты? — Те, что могли пробраться, хотя... — Хотя что? Разве это не открытое мероприятие? — Конечно. Хотя...

Короче говоря, приняты меры предосторожности. Предосторожности?

Теперь уже забил тревогу хорошо знакомый мне колокольчик. Я вступила с фрау К. в переговоры, которые велись с моей стороны упорно, тактично, умно и дружелюбно и таким образом

сломили силы сопротивления заведующей отделом, недавно переведенной из Тюрингии в столицу, в это змеиное гнездо. После долгих отнекиваний и звона щита она подала мне жестом, который сделал бы честь капитуляции любого войска, список приглашенных участников. Список мне льстил. В самом деле, никто не был забыт.

Я сказала фрау К., что чувствую себя польщенной. Но что означают шесть номеров, за которыми не стоит ни имен, ни фамилий, ни места работы? В ответ фрау К. только молча уставилась на свой письменный стол. Только шестая, думала я, почти утешенная. Если вспомнить вечера, где целая четверть... Но о «прогредесе» в связи с некоторыми мероприятиями предпочтительнее не говорить. Сейчас единственное, что можно сделать, — не утратить чувства юмора.

Поэтому я спросила фрау К., будет ли, кроме этого импонирующего списка, и нормальная публика. Этим я ее почти обидела. Разумеется, она впустила «людей с улицы». Эти ее слова почти полностью восстановили мое чувство юмора. Пусть в старости останется хоть что-нибудь, чем можно будет жить.

Но теперь фрау К. надо было в спешном порядке спуститься вниз, чтобы уговорить публику, собравшуюся у входа перед закрытыми дверями, разойтись. А если впустить еще нескольких, открыть заднюю дверь, ведущую на лестницу? Это предложение фрау К. из противопожарных причин отвела как неуместное. Оставшись одна, я полистала свою рукопись, вытерла пот со лба и слегка подушилась. Разве тут, как во всех старых берлинских домах, не было черного выхода? Может быть, он рядом с дверью в туалет, куда я могла бы сейчас незаметно пробраться? Причем так же незаметно спутать дверь в туалет с выходом? То, что такое со мной в первый раз, в конце концов, не было аргументом. Когда-то ведь приходится начинать.

Но в этот момент уже вернулась фрау К. Удалось ли уговорить их разойтись? К сожалению, нет. У фрау К., которая с момента нашей встречи дрожала разными частями тела, на сей раз задрожал подбородок. Как бы там ни было, она объявила мне, что готова начать вечер. Там, внизу у входной двери, с нею что-то случилось. Она шла впереди меня, как идет человек, решившийся на все. Если зеленый и считается цветом надежды, то ее зеленый пуловер сигнализировал что угодно, но только не надежду. У самых дверей в зал выяснилось, что она и не собирается меня представлять. Я должна была просто выйти на сцену. Люди сами сообразят, что уже началось, сказала фрау К. Ах боже мой, подумала я. Такого со мной еще не бывало.

В зале царил тишина. По узкому проходу между рядами стульев я пробралась на сцену, где стоял голый деревянный стол с лампой, простой стул. Шагнув через высокую ступеньку я по-

дошла к столу и села. Две-три пары рук заоплодировали. Они явно не принадлежали к тем шести, что значились в списке. А может, наоборот, это именно они и были. Я объяснила, какой отрывок собираюсь прочесть, и начала.

Текст я знала наизусть. Фразы выделялись сами собой, голос то повышался, то понижался, становился то мягче, то тверже. Так, как надо. Все механически, никто не заметит моего состояния. Дамы и господа, по какой бы причине вы сюда ни пришли, вас корректно обслужат. Гонорар, который вы мне назначили, скромн, но я его полностью отработаю. Мне бы только вот что хотелось знать: надо ли им было платить из своего кармана или соответствующее учреждение выдало им марку пятьдесят за входной билет. Должны ли они ради своей профессии продемонстрировать интерес к культуре или даже и этого не требуется? И каковы полученные ими инструкции? Аплодисменты в конце, и если да, то какой силы? Или проявление недовольства? Гневные рабочие кулаки теперь ведь не в моде.

Наращивание благосостояния стабильность

О да. Вас обслужат. В один прекрасный день вас, коллеги, обслужат. Кстати, почему именно вас? Почему я так уверена, что тот молодой парень впереди слева, у которого пот выступил на лбу, он не вытирает его, от вас? Не вытирает потому, что не хочет привлекать к себе внимание? Ему в самом деле интересно или он просто делает вид? А вон за ним девушка с длинными волосами — она где служит? А может, эти двое сюда не присланы, а как раз относятся к тем, кто «с улицы»? К тем, для кого я должна была выступать совсем по-другому? Только почему должна *была* — просто должна. Пусть бы только ради этих двоих. А может, их здесь два-три десятка, а я о них не думала. И почему мне не пришло в голову, что это могло быть полезно и для других, тех, кого сюда прислали? Где написано, что они из жезла, что и их нельзя заставить слушать.

Ладно. Теперь я постараюсь.

Я уже не делила публику по какому бы то ни было принципу. Каким бы образом ни отражался мир в этой сотне голов — я хотела на этот час внедрить в их головы свой собственный. У меня ведь не было никаких возражений, даже ни малейшего предубеждения против любого из моих слушателей. И хоть я и не могла покаяться, но я слишком хотела верить в то, что и те шесть — или сколько их было — забыли на время если не свое задание, то, во всяком случае, перестали относиться ко мне предвзято. Что с нами будет, если мы будем плевать человеку в раскрытую ладонь, которую он тебе протягивает.

Я видела, с каким бы удовольствием коллега К. использовала паузу, возникшую перед выступлением первых участников дискуссии, чтобы закрыть вечер, который она так стойко отказа-

лась открыть. Еще ничего не произошло, но каждую секунду, например сейчас, когда в первом ряду поднялся молодой человек, тот самый, что так потел, могло произойти. Но молодой человек только хотел спросить, когда выйдет моя новая книга, и хитрее ни один из шести не мог бы начать дискуссию, поскольку отпущенное на нее время уходило на информацию о книгоиздании. «Деловая атмосфера» — могло бы стоять в отчетах, которые, будем надеяться, лягут на стол в соответствующем месте. Дискуссия проходила в деловой атмосфере.

Но никогда нельзя слишком рано радоваться. Утрачивать бдительность. В последнем ряду встала молодая женщина из тех, против кого я совершенно безоружна, и ввела в разговор слово «будущее» — а против этого слова мы все безоружны, и оно в состоянии изменить атмосферу любого зала и взволновать любое собрание. Молодой женщине — учительнице? студентке консерватории? чертежнице? — никогда не достало бы смелости выступить публично, если бы она не пришла сюда только ради того, чтобы задать неотложный вопрос: каким же образом из этой нашей действительности может вырасти для нас и наших детей пригодное для жизни будущее?

Она говорила ровным тоном, не протестовала, не жаловалась, ни на что не намекала. Она только хотела знать. И все в зале восприняли ее слова как сигнал, и каждый отреагировал на него по-своему. Медный щит коллеги К. отчаянно загремел, но это ей уже никак помочь не могло. И если бы даже на стене вдруг появилась огромная светящаяся надпись: **НАРАЩИВАНИЕ — БЛАГОСОСТОЯНИЕ — СТАБИЛЬНОСТЬ**, уже и это не помогло бы, поскольку теперь, в этом зале, уже возникли истинные вопросы, которыми мы живы, а лишившись их, можем умереть.

Нечто в этом духе я и сказала, постаравшись защитить молодую учительницу, которая, вероятно ничего не подозревая, сидела среди подозревающих, я объяснила всем, что поводом для ее вопроса явилось мое выступление. И тотчас устыдилась своего маневра, ибо во многих местах в зале поднялись руки, раздались голоса, которые не только повторили вопрос молодой женщины как свой собственный, но совершенно бесстрашно и ни с чем не считаясь углублялись в него. Что же делали эти люди? Они ведь подвергали себя опасности. Но по какому праву я считала их глупее себя? По какому праву собиралась защищать их от самих себя? И я замолчала и только слушала, слушала так, как слушаю нечасто. Я забыла о себе, а люди забыли про меня, а потом все забыли и время, и место. Зал был полуосвещен, и вместе с четкими формами исчезла и формальность. Исчезла дурацкая привычка говорить за других, каждый говорил и выговаривался сам и при этом делался уязвимым. Иногда я просто

вздрагивала, насколько уязвимым. Но произошло чудо: никто не нападал. Многих словно охватила какая-то лихорадка, словно им никогда не исправить этого, если они сейчас же, сию минуту, при этой, может быть, последней возможности не внесут свой скромный вклад в странно близкую и все время удаляющуюся науку о будущем. Кто-то тихо произнес «братство». С ума сойти, подумала я, другой вскочил, затряс кулаками и схватился за голову от такой наивности, но тут ему со всех сторон спокойно указали на потребительскую стоимость этого утопического понятия, и тот сел, качая головой, а другому, который явно любил слушать самого себя, было сказано, чтобы он говорил по существу. Атмосфера в зале становилась все более свободной, люди словно находились в ожидании какого-то праздника. Прозносились громко названия книг, одни записывали, другие разговаривали со своими соседями, кто-то обращался к той молодой женщине, что первой задала вопрос.

Но куда же смотрела коллега К.? Разве она не несла ответственности? Но вот она уже звенит, можно подумать, что шпорами. Ее пуловер еще зеленее, еще краснее щеки. Неужели она дрожит? Да. Дрожь, пробегавшая по ее телу, заставила вибрировать голос, который тем не менее звучал решительно. Сейчас как раз настал подходящий момент. Каждая встреча должна ведь когда-нибудь кончиться. Поэтому она объявляет вечер закрытым и думает, что говорит от имени всех. Обычная благодарственная формула. Цветы: герберы, пять штук, увязанные с аспарагусом. И желает всем благополучно добраться до дому.

Но люди продолжали сидеть. Фрау К. ошиблась? Разве не наступил наконец подходящий момент? А с другой стороны, чего еще ждали эти люди? Этого никто не знал, но когда во втором ряду встал пожилой человек, похожий на плакатного ветерана труда, возникло такое чувство, словно все ждали именно его. Он же, как, вероятно, самый старший среди присутствующих по возрасту, хотел взять на себя смелость вручить мне маленький подарочек. Из какой-то древней холщовой сумки он вынул плоскую коробку, завернутую в гляцевую бумагу, и вручил ее мне. Вот теперь уже можно было смеяться, хлопать, вставать с мест и постепенно покидать зал. Кто-то подошел ко мне с книгами, чтобы я поставила автограф, в том числе молодая женщина, которая задавала вопрос насчет будущего. — Чем она занимается? — Да просто медсестра. — Почему «просто»? — А что тут интересного?

И здесь вечер должен был бы уже закончиться. Но оказалось, что финал еще впереди. И начался он с появления двух молодых людей, прежде незаметных среди публики, которые теперь вошли в зал: неопасного вида молодой человек и милая молодая девушка с курчавыми белокурыми волосами. Когда я надписываю

вала им книги, молодой человек назвался. Это был тот самый мальчик, что уже в течение нескольких месяцев опускал в мой почтовый ящик свои стихи. Вот и удачно, что таким образом удалось наконец встретиться.

И тут молодой человек спросил: а вы знаете, что тех, кто стоял у дверей, разогнала полиция?

Чувство, словно во мне с огромной скоростью куда-то рухнул лифт, было мне хорошо знакомо. Полиция? Но почему? Откуда ж я могла... Коллега К.!

Коллега К. была тут как тут. Да, к сожалению. К сожалению, было необходимо прибегнуть к защите полиции. Потому что это собрание вело себя крайне агрессивно.

Оба — мальчик и девочка — сказали тихо: это неправда. Не правда. Коллега К. была другого мнения. Ее, например, обругали, когда она попыталась по-хорошему уговорить их разойтись.

По-хорошему, хором произнесли мальчик и девочка.

Так, значит, спросила я коллегу К., вы знали о вмешательстве полиции и, возможно, его организовали?

Все происходило совершенно законным порядком. Ей позвонили из участка и заверили, что соответствующая машина наготове.

Когда?! Когда ей позвонили из участка?

Около половины седьмого. Перед началом вечера. Но ведь можно было предвидеть, что произойдет.

Ну а что, что произошло, спросили мальчик, девочка и я.

И тут словно из-под земли рядом с дрожащей и звенящей коллегой К. возник человек не выше ее ростом, но явно на один-два оклада выше: сам заведующий клубом, ее шеф. Сейчас он был вынужден раскрыть свое инкогнито. И так, что произошло? Кстати, он когда-то давно начинал учиться на юридическом. Но даже и без этого. Каждый разумный человек назовет то, что произошло, нарушением неприкосновенности жилища. Для защиты против подобного у нас существует, пусть это кое-кому не нравится, полиция. Это чтобы внести ясность. Ну а вообще полиция никакого насилия не применяла, хоть и вполне была бы вправе.

Мне, сказала девочка, один из них сказал, что они с нами в одну минуту бы разобрались, в машины бы затолкали — воздуж бы чище стал.

Ну и что же, что сказал?! — произнес заведующий клубом с чувством превосходства.

Но что делала полиция?

Они просто вытолкали людей, которые толпились в вестибюле.

Ну, видите, вы же сами говорите. Полиция миролюбивым образом восстановила право неприкосновенности жилища. Да

и вообще, знает ли уважаемая писательница, что ее поклонники насильственным образом ворвались в здание?

Насильственным образом! — произнес мальчик. Просто у дверей стоять было скучно, и мы дурачились. И кто-то крикнул, что хорошо бы отмычку. У кого-то она нашлась, и мы легко открыли дверь, и несколько человек вошли. Все было совершенно мирно, даже весело, просто хэппенинг. Не думайте только, что кто-нибудь хотел ваш вечер сорвать.

Что я думала, не имело никакого значения. Я увидела, что коллега К. хоть и знала о вмешательстве полиции, но о взломе входной двери ей было неизвестно и теперь она явно испытывала облегчение. Я спросила себя, а чем же занимались те двое типов у двери, когда ребята передавали отмычку. В этой истории с самого начала что-то было неладно — я задумалась. Этот звонок в полседьмого, когда про отмычку никто и не думал... Или? Я слишком рано радовалась. Юрген М. или кто бы там ни был получит свое донесение, наверно, даже три, четыре сочных рапорта, которые вполне удовлетворят его и обогатят мою папку. И разве нельзя себе представить, что мой старый друг Юрген М., который поставил у наших дверей своих мальчиков, решил поспособствовать обогащению моего дела. Вероятно, хоть и верится с трудом.

Мы пошли.

Минуточку. Заведующий клубом хотел все же еще раз подтвердить, что вечер в целом удался и что неприятные эксцессы за его пределами никак не задевают уважаемую писательницу. Самое лучшее побыстрее забыть о них. Коллега также с этим согласилась, звеня щитом и дрожа подбородком. Уставившись на своего шефа, она сформулировала фразу, которую собиралась написать в своем отчете: вечер прошел нормально, в открытой, доброжелательной атмосфере, публика осталась довольна.

Все верно, сказал шеф.

Сопровождаемая мальчиком и девочкой, я вышла из зала. Кто-то вдогонку передал мне цветы, которые я забыла на столе. Оба проводили меня до машины; так будет спокойнее, сказал мальчик. Говорили мы мало. Те, кто стоял у дверей, повторяли они, в самом деле вели себя совершенно мирно и никого не провоцировали. Просто разговаривали друг с другом. Они вот, собственно, только там и познакомились.

Это хорошо, заметила я.

Вы, наверно, устали?

Есть немного.

Обсуждение прошло хорошо?

Да. Знаете, речь шла о будущем. Что остается.

Что остается.

У меня вырвался смех. Я знала, что сейчас мне смеяться нель-

зя. И усилием воли мне удалось перестать. Тем временем молодые люди выяснили, что им по дороге. Ну, до следующего раза, сказала я, села в машину и поехала. Я чувствовала только смертельную усталость.

А если бы они и в самом деле запихнули кого-нибудь из этих мальчиков в свои машины и увезли? А если бы... Это называется обезвредить. Спиной к стене.

В это время движение на Ораниенбургерштрассе утихает, а Тухольскиштрассе и вовсе была пуста. Я вела машину совершенно автоматически и поставила ее в первом ряду большой стоянки напротив наших окон, прямо рядом с машиной, где по-прежнему сидели двое и курили. При дневном свете их машина, навверное, была синей. Темно-синей. Ну и пусть. Пусть сидят. Днем и ночью, летом и зимой.

Было пять минут двенадцатого.

В квартире темно и тихо. Я прошлась босиком по всем комнатам и всюду зажгла свет. На кухне я достала вазу и поставила цветы. С экрана диктор пожелал мне спокойной ночи и исчез. Перебрала пластинки.

«Exculatate Jubilate»¹. Что мне до этого. Что до боли любимой. «Я чужим пришел»*. Чужим пришел, чужим и уйду.

Ничего не хотелось слушать.

Теперь пробежать взглядом по всем книжным полкам, взять лешенку, посмотреть даже верхние ряды, выгащить одну, положить другую. Ничего не годилось. Меня покинули все, даже самые близкие. Остались, кажется, только отдельные строчки: «С моим убийцей-временем...»* Только это, пожалуй. С моим убийцей временем наедине.

Пойти в ванную, уставиться в зеркало, которое я не могла разбить, потому что его уже разбили те, другие. Механизм уже заведен. И уже залиты бетоном коридоры, по которым будут гнать нас. А теперь вернуться в комнату, включить радио. Открыть коробку конфет, что подарил мне тот старик. Прочитать записочку, которая к ней приложена. Оказывается, он священник и посылает мне божье благословение.

По радио передавали какие-то шлягеры, а я сидела и ела одну конфету за другой, пока коробка наполовину не опустела.

Что же теперь?

Зазвонил телефон, часы показывали двенадцать. Моя старшая дочь узнала от своего приятеля о том, что произошло на вчераше. От одного из тех, кто стоял снаружи у дверей. Он попросил ее сказать мне, что с их стороны не было никаких провокаций. В самом деле. Все были очень веселы и вовсе не хотели причинять мне неприятности.— Я знаю.— Голос у тебя какой-то странный.— Нормальный голос.— Знаешь,— сказала моя умная старшая дочь,— иногда надо просто взять саму себя за волосы

и пересадить на парочку лет вперед.— Вот у нее, значит, какие рецепты. Но почему она в такое позднее время в мировой истории не спит и названивает по телефону?— На это она, кажется, может не отвечать? Как чувствует себя отец? Получше?— Да.— Ну видишь! Всего в жизни не бывает. Они у тебя что, опять перед домом стоят?— Стоят.— А тебе это мешает жить?— Нет, не мешает. Мне мешает, когда мои собственные дочери за мной шпионят.— Ну тогда все, пока, сказала дочь. Я только хочу сказать, что они правы, что тебе не доверяют.— Я это как раз начинаю понимать, сказала я.

Только я повесила трубку, телефон зазвонил снова. Человек, с которым я была едва знакома, звонил мне, чтобы сказать, что он стоял вместе с ребятами у дверей Дома культуры и никаких провокаций там не было.— Уже знаю, ответила я. Как себя чувствую?— Хорошо.— Действительно?— Сейчас уже лучше.— Запишите мой номер телефона, сказал человек, которого я наконец вспомнила: Вы можете звонить мне в любое время, и ночью тоже.

— Боже мой, персональная служба доверия,— сказала я.

— Смейтесь, смейтесь на здоровье,— произнес человек.— Это лучше, чем что-либо другое.

Я записала телефон. Потом потушила всюду лампы, кроме той, что стояла на письменном столе. Что ж, на сей раз они меня добились. Попади, случайно или нет, в точку. И может быть, я когда-нибудь смогу назвать эту точку на моем новом языке. Когда-нибудь, думала я, я смогу заговорить легко и свободно. Пока еще слишком рано, но ведь так будет не всегда. А может, мне просто сесть за этот стол, под эту лампу, взять бумагу, ручку и начать. Что остается. В чем суть моего города и почему он будет разрушен до основания. И что нет иного несчастья, кроме одного — не жить. И самое горькое — не прожить *свою* жизнь.

Июнь — июль 1979

Ноябрь 1989

¹ «Восклидайте, ликуйте»* (лат).

В художественно-публицистическом творчестве Кристи Вольф просматриваются несколько основных направлений. Раньше всего — еще в начале пятидесятых годов — она выступила как литературный критик и до сих пор не покидает этого поприща. По ее многочисленным рецензиям, статьям и интервью можно увидеть, как менялись ее увлечения и пристрастия и какие явления современной литературы особенно привлекали ее внимание. Очень характерно то, что многие авторы, о которых она писала, были ее близкими знакомыми или друзьями (Анна Зегерс, Генрих Бёлль, Франц Фюман, Макси Вандер) или продолжают оставаться таковыми (Макс Фриш, Гюнтер де Бройн, Эрих Фрид). Другое важнейшее направление ее эссеистики — литературное осмысление собственного жизненного и эстетического опыта. Особенно показательны в этом плане такие развернутые манифесты, как «Уроки чтения и письма» и Франкфуртские лекции.

Со второй половины шестидесятых годов, по мере разрастания конфликтов с современностью, К. Вольф все чаще обращается к прошлому в поисках исторических аналогий, близких себе по духу предшественников и, наконец, для нахождения новых форм духовных контактов со своими читателями, ибо в условиях жесткой цензуры обострилось и восприятие печатного слова и читатели легко отличали обычную социологическо-литературоведческую «лапшу» от изящного метафорически-экзистенциального «лакомства». Литературоведческая эссеистика К. Вольф создается без всякого снисхождения к читателю, без установки на популяризацию, на пределе духовных возможностей. Таковы ее работы о Ф. Шиллере, Г. Клейсте, Георге Бюхнере, Каролине фон Гюндероде, Беттине фон Арним, Ингеборг Бахман и других писателях. В отличие от профессионального литературоведения, сохраняющего большую или меньшую ценность для специалистов, подобная эссеистика становится общенациональным достоянием, составляет неотъемлемую часть самой литературы.

И наконец, особое направление в публицистике К. Вольф занимают речи, статьи и интервью по самым актуальным и животрепещущим проблемам современности — будь то ее мнение по поводу той или иной акции в сфере культурной политики своей страны или размышления о глобальных проблемах человечества, какие мы видим, например, в повести

«Авария». Эта повесть, равно как и роман «Образы детства» или недавно опубликованная повесть «Что остается», позволяет увидеть и самое главное: провозглашенная писательницей «субъективная аутентичность» не только не исключает, но, скорее, предполагает наличие публицистических элементов в ее художественной прозе. Публицистика, таким образом, представляет собой не только важную часть всего творчества Кристи Вольф, но и затрагивает сердцевину ее художественного метода, что в свою очередь весьма сближает ее с такими крупнейшими писателями современности, как Генрих Бёлль и Макс Фриш.

Основные издания публицистики К. Вольф на немецком языке: «Уроки чтения и письма» (1972); «Продолжение опыта. Статьи, интервью, эссе» (1979); «В авторском измерении. Статьи, эссе, интервью, речи». Т. 1—2 (1986); «Речи» (1988).

Основные издания произведений К. Вольф на русском языке: «Расколос небо». Роман. 1964; Избранное. М., 1979; Избранное. М., 1988; «Образы детства». Роман. 1989.

О себе

29 *Жид Андре Поль Гийом* (1869—1951) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1947).

«*Время чудес прошло*» — цитата из стихотворения немецкого писателя Стефана Хермлина (р. 1915) «Пора чудес» (1947).

30 *Франк Анна* (1929—1944) — дочь еврейского коммерсанта, погибшая в фашистском концлагере. В 1940—1942 гг. семейство Франков скрывалось от гитлеровцев на чердаке одного из домов в Нидерландах, где Анна вела дневник, впервые обнаруженный и опубликованный на нидерландском языке под названием «В заднем фиголе». На русском языке «Дневник Анны Франк» был издан в 1960 г. с предисловием И. Эренбурга.

31 *Леман Вильгельм* (1882—1968) — немецкий писатель; речь идет о «Буколическом дневнике 1927—1932 годов», в котором Леман, переживший ужасы фашизма в самой Германии и публиковавший там под видом описания природы антифашистские по духу произведения, негромко, но отчетливо призывал к восстановлению гуманности и доброты. В 1964 г. (когда написана статья) К. Вольф еще не слышала этого тихого призыва, во Франкфуртских лекциях и в повести «Летний этюд» ее позиции уже гораздо ближе к В. Леману.

33 «*Наши творцы эпического...*» — цитируется «Дневник 1946—1949», где Макс Фриш (р. 1911) многократно варьирует проблему эпического.

34 *Эйхман Карл* (1906—1962) — нацистский военный преступник.

45 *...без волжского города Горького...* — К. Вольф с 1955 г. многократно бывала в Советском Союзе; в одной из первых поездок она почерпнула и сюжет для «Московской новеллы», завершенной в 1959 г. (действие новеллы отнесено к июню 1959 г.).

53 ...*священный ясень Иггдрасиль*...— в скандинавской мифологии *древо мировое*, древо жизни и судьбы — гигантский ясень, воплощающий собой структурную основу мира.

54 ...*читала книгу о Кристине Торстенсен*.— Речь идет о повести «Героическое самопожертвование» (1911) Р. Биндинга (см. ниже), посвященной дочери шведского полководца Леннарта Торстенсена (1603—1651), принесшего лагерю протестантов многочисленные победы в Тридцатилетней войне. Упомянутый эпизод мог относиться к 1645 г., когда начавшаяся в войске Торстенсена эпидемия заставила его отступить из Богемии.

Биндинг Рудольф Георг (1867—1938) — немецкий писатель, автор популярных в Германии после первой мировой войны аристократически-сентиментальных романов с национально-патриотическим уклоном.

Елузих Мирко (1886—1969) — австрийский писатель хорватского происхождения, автор многочисленных произведений на исторические сюжеты; роман «Цезарь» (1929) был переведен на 13 языков и принес автору мировую известность.

Йост Ганс (1890—1978) — немецкий писатель и политический деятель, в 1933—1945 гг. был президентом Имперской палаты письменности и Немецкой академии изящной словесности. Начав с экспрессионистского литературного бунта против буржуазного общества, Йост пришел к откровенной пропаганде «национал-социалистской революции» в печально известной драме «Шлагетер» (1933).

Гримм Ганс (1875—1959) — немецкий писатель, перетолковавший традиции Р. Киплинга в духе немецкого колониализма; особую роль в утверждении национал-социалистских идей сыграл его роман «Народ без пространства» (1920—1926).

61 *Роб-Грише Ален* (р. 1922) — французский писатель, один из основоположников «нового романа», создавший в том числе его теоретическое обоснование («За новый роман», 1963).

63 *Бюхнер Людвиг* (1824—1899) — младший брат немецкого писателя Георга Бюхнера (1813—1837), немецкий врач и ученый, первый издатель рукописного наследия Г. Бюхнера. Новелла «Ленц», посвященная трагической судьбе талантливого писателя «Бури и натиска» Якоба Михаэля Рейнхольда Ленца (1751—1792), была написана в 1835 г. и опубликована в 1839 г.

Оберлин Иоганн Фридрих (1740—1826) — пастор в Вальдерсбахе, подробно описавший двадцатидневное пребывание Я. М. Р. Ленца у него в ноябре 1777 г. после серьезного душевного расстройства.

65 *Гейзенберг Вернер* (1901—1976) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.

71 *Беньямин Вальтер* (1892—1940) — немецкий писатель, литературный критик и философ; жил в Москве в 1926—1927 гг.

78 *Дорогой С.* — Герхард Шнайдер, немецкий литературовед, составивший сборник «Открытия. Писатели о своем первом произведении» (1974), в котором и было опубликовано эссе К. Вольф «О смысле и бессмыслице наивности», построенное в форме беседы с Г. Шнайдером.

82 *Пауль Герман* (1846—1921) — немецкий филолог-германист, один из крупнейших «младограмматиков»; К. Вольф ссылается на «Немецкий словарь» Пауля, в котором основной акцент делается на историческое развитие значений слов.

84 ...*всадник, прыгающий через Бодензее*.— Речь идет о старинной швейцарской легенде: всадник, разыскивая лодку для переправы через Боденское озеро, не заметил, как пересек его по припорошенному снегом льду; узнав о том, что он проскакал через все озеро, он падает замертво от охватившего его задним числом страха. Впервые эта легенда получила литературное воплощение в балладе Густава Шваба «Всадник и Боденское озеро» (1826).

86 *Почему вы пишете?* — Статья представляет собой ответ на международную писательскую анкету французского журнала «Либерасьон», где и была впервые опубликована.

О современниках

88 *Бахман Ингеборг* (1926—1973) — австрийская писательница, трагически погибшая в Риме во время пожара. Эссе К. Вольф, написанное в 1966 г., впервые опубликовано в качестве послесловия к изданию: Бахман И. Ундина уходит. Лейпциг, 1973.

95 ...*мотивы из сказки Фуке*.— Речь идет о сказке немецкого романтика Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843) «Ундина» (1811). Новелла И. Бахман «Ундина уходит» опубликована в 1961 г.

98 *Разговор с Константином Симоновым*.— Встреча и беседа К. Вольф с К. Симоновым происходили на даче К. Симонова под Москвой 21 июля 1973 г. К. Вольф опубликовала беседу в журнале «Нойе дойче литератур» в 1973 г. (№ 12). Разговор писателей был записан на магнитофонную пленку переводчицей Л. И. Герасимовой, и эта запись была использована для подготовки русского варианта публикации. Печатается по изданию: Симонов К. Сегодня и давно. М., «Советский писатель», 1978, с. 604—613.

Гамбургское восстание — жестоко подавленное восстание рабочих под руководством Эрнста Тельмана 23—25 октября 1923 г. в Гамбурге.

101 *ВОКС* — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.

Вайзенборн Гюнтер (1902—1969) — немецкий писатель. Упомянутая делегация во главе с немецким писателем Бернхардом Келлерманом (1879—1951) приезжала в Москву в 1948 г.

Клаудиус Эдуард (1911—1976) — немецкий пролетарский писатель.

- 116 Г.—Герхард Вольф, муж К. Вольф, писатель и литературный критик.
- 117 ...упомянули имя *Ингеборг Бахман*.—И. Бахман (см. коммент. к с. 88) и М. Фриш были в близких отношениях и в описываемое время тяжело переживали их разрыв.
- 118 ...узнала об отставке канцлера *Федеративной Республики Германии*.— Речь идет о Вилли Брандте (р. 1913), канцлере ФРГ в 1969—1974 гг.
- 119 «*Волшебная гора*» — роман Томаса Манна (1924).
- 121 *Тео Овербек, Пауль Шустер* — герои романа Г. де Бройна «Присуждение премии» (1972).
- 130 ...группы *Шульце-Бойзена — Харнака*.— Харро Шульце-Бойзен (1909—1942) — немецкий антифашист, один из руководителей подпольной берлинской антифашистской организации «Красная капелла»; Арвид Харнак (1901—1942) — немецкий ученый-экономист, один из руководителей «Красной капеллы».
- Фрэнгер Вильгельм* (1890—1964) — немецкий искусствовед.
- 140 *Савиньи Фридрих Карл фон* (1779—1861) — немецкий юрист, историк римского права, один из основоположников так называемой исторической школы права; в молодости был связан узами дружбы с некоторыми романтиками.
- 141 *Кройцер Фридрих* (1771—1858) — гейдельбергский философ и историк, предмет трагической любви К. Гюндероде.
- 145 *Йозеф Атилла* (1905—1937) — венгерский поэт.
- 147 *Грисхабер ХАП* (Хельмут Андреас Пауль Грисхабер, р. 1909) — немецкий художник; речь идет об известном цикле цветных гравюр «Базельский танец смерти», опубликованном в ГДР в 1966 г.

Истоки одной повести: Кассандра Франкфуртские лекции

Четыре лекции о Кассандре были опубликованы впервые в 1983 г. в ФРГ (полностью) и в ГДР (с купюрами) и создавались параллельно с повестью «Кассандра», напечатанной в том же году (перевод на русский язык напечатан в журнале «Иностранная литература», 1986, № 1). Лекции о Кассандре являются одним из высших литературных достижений К. Вольф; ее нравственная позиция и эстетика (субъективной аутентичности) получили здесь необычайно емкое выражение. К. Вольф — единственная из писателей ГДР, приглашенная для чтения лекций в университете во Франкфурте-на-Майне, где до нее выступали П. Целан, И. Бахман, Г. Бёль.

- 177 *Штайн Петер* (р. 1937) — немецкий театральный режиссер, под руководством которого с 1970 г. западноберлинский театр «Шaubюне» выдвинулся в число лучших театров Европы.
- 180 ... концепции американца *Великовского*.— Речь идет о книге Иммануэля Великовского «Миры в столкновении», изданной на немецком языке в 1978 г.
- 186 *Эванс Артур* (1851—1941) — английский археолог, начавший раскопки минойской культуры на острове Крит.
- 193 *Бахофен Иоганн Яков* (1815—1887) — швейцарский историк, профессор в Базеле; в книге «Материнское право, исследование гинесократии древнего мира по их религиозной и правовой природе» (1861) впервые научно обосновал понятие матриархата.
- Томсон Джордж Дервент* (р. 1903) — английский историк и филолог, автор ряда важнейших трудов по истории античности.
- Ранке-Грейвз Роберт* — английский ученый-историк; имеется в виду его двухтомное исследование «Греческая мифология. Источники и толкование», изданное в ФРГ в 1960 г.
- 210 *Кири Сара* (р. 1935) — немецкая поэтесса; в 1977 г. уехала из ГДР.
- 215 *Фляйсер Мария Луиза* (1901—1974) — немецкая писательница с трагической судьбой. Роман «Авангард» был опубликован в 1963 г. «Коммунистический поэт» — Бертольт Брехт, осуществивший скандальную постановку драмы Фляйсер «Пионеры в Ингольштадте» (1928), бывший с ней в близких отношениях, но женившийся в 1929 г. на Елене Вайгель. «Защищаясь от Брехта» (слова Фляйсер), она вступила в связь с ультраконсерватором, затем (в 1935 г.) вышла замуж за торговца. Трагедия К. Вольф жизненного поведения Фляйсер, на мой взгляд, не бесспорна: ведь она жила уже в XX веке и — строго говоря — была не столь уж беззащитна. Случай Фляйсер слишком индивидуален, чтобы возводить его в модель.
- 222 *Керети Карл* (1897—1973) — венгерский филолог-классик и теолог.
- 225 *Лоуренс (Лоренс) Дэвид Герберт* (1885—1930) — английский писатель.
- ...фрагмент «*Франца*». — Впервые прозаический фрагмент «Франца» из рукописного наследия Ингеборг Бахман опубликован в 1979 г.
- 238 *Шахермайер Фриц* — немецкий историк и философ; К. Вольф цитирует его книгу «Минойская культура древнего Крита» (1964).
- 243 *Яни Ганс Хелли* (1894—1959) — немецкий писатель.
- 279 *Мюллер Хайнер* (р. 1929) — немецкий драматург; «Квартет» опубликован в 1981 г.

- 291 *Мистраль Габриэла* (наст. имя Лусилла Годой Алькаяга, 1889—1957) — чилийская поэтесса и политический деятель; лауреат Нобелевской премии (1945).
- 303 *Каросса Ганс* (1878—1956) — немецкий писатель.
- 309 *Брандыс Казимеж* (р. 1916) — польский писатель.
- 312 *Херцфельде Виланд* (1896—1988) — немецкий пролетарский писатель и издатель.
- 313 *Кремер Фриц* (р. 1906) — немецкий скульптор.
- 321 *Бобровский Йоханнес* (1917—1965) — немецкий писатель.
- 328 *Движение 20 июля* — неудавшийся заговор немецких офицеров с целью убийства Гитлера 20 июля 1944 г.; участники заговора были казнены.
- «Белая роза» — название подпольной антифашистской группы мюнхенских студентов, которую организовали Ганс и Софи Шолли.
- 330 «Исследовать суть человеческого бытия». — Беседа, которую провела И. Щербакова с Кристиной и Герхардом Вольф летом 1988 года. Текст печатается по журналу: Вопросы литературы, № 9, 1988, с. 152—173.
- 342 *Николай Фридрих* (1733—1811) — немецкий писатель, литературный критик, издатель.
- 348 *Хайн Кристоф* (р. 1944) — немецкий писатель; повесть «Чужой друг» (1982), роман «Смерть Хорна» (1985) и несколько рассказов изданы на русском языке.
- 370 *Б. Б.* — Бертольт Брехт, так его называли в творческих кругах.
- 371 ...*стеклянного павильончика, прозванного в народе «букером слез».* — Речь идет о пропускном пункте, ликвидированном в мае 1990 г.
- 393 *Брунгильда* — богатырша-воительница из древнескандинавского эпоса.
- 400 «*Восклицайте, ликуйте*» — строка из «Духовной арии» В. Моцарта.
- «*Я чужим пришел*» — строка из кантаты Ф. Шуберта «Зимнее путешествие» на стихи немецкого поэта Вильгельма Мюллера (1794—1827).
- «*С моим убийцей-временем...*» — строка из стихотворения И. Бахмана «Течение».

А. Гугнин

- Абуладзе Тенгиз Евгеньевич 337
 Аденауэр Конрад 355
 Айтматов Чингиз 343
 Аленде Госсен Садьвадор 291
 Анаксагор 267, 268
 Арагон Луи 28
 Аристотель 149, 265—268
 Арним Беттина фон 17, 351
- Бальзак Оноре де 59
 Бахман Ингеборг 16, 20, 88—90, 92—94, 96—98, 117, 118, 226, 246, 247, 249, 281, 282
 Бахофен Иоганн Якоб 193
 Бёль Генрих 16, 108, 127, 128, 349
 Бенцтин Ганс 13
 Беньямин Вальтер 71
 Бергман Ингмар 186
 Берия Лаврентий Павлович 337
 Бернс Роберт 107
 Бехер Иоганнес Роберт 5, 14, 31, 34, 43, 108
 Билер Манфред 13
 Биндинг Рудольф Георг 55, 303
 Бирман Вольф 5, 13, 352
 Блох Эрнст 8
 Бобровский Иоганнес 10, 23, 321
 Боде Вильгельм фон 131
 Бодлер Шарль 143
 Брандыс Казимеж 309
 Браун Фолькен 5, 338, 349
 Бредель Вили 5, 9
- Брезан Юрий 10
 Брехт Бертольт 5, 29, 35, 39, 65, 107, 149, 183, 278, 329, 333, 370
 Бройн Гюнтер де 5, 16, 18, 120—127
 Бройниг Вернер 13
 Булгаков Михаил Афанасьевич 346
 Буш Эрнст 102, 108
 Бюхнер Георг 15, 17, 18, 63, 64, 118, 131, 319
 Бюхнер Людвиг 63
- Вайзенберг Гюнтер 101
 Вайнерт Эрих 5, 108
 Вайскопф Франц Карл 9
 Вальтинос 174—178, 181, 208
 Вальтер Иоахим 9
 Варнгаген Рахель 351
 Великовский Иммануэль 180, 181
 Вознесенский Андрей Андреевич 345
 Вольтер (Мари Франсуа) Аруэ 32
 Вольф Аннетта 8
 Вольф Герхард 7, 8, 10, 351
 Вольф Катрин 8
 Вулф Вирджиния 16, 239
 Вулф Томас Клейтон 28
 Вундсрих Ганс Георг 244
- Галилей Галилео
 Геббельс Йозеф 177

Гегель Георг Вильгельм Фридрих 23
Гейзенберг Вернер 65
Гейм Стефан 13
Гейне Генрих 107
Гельдерлин Фридрих 17, 23, 131, 319, 322, 351
Геродот 226
Гесиод 226, 271
Гёте Иоганн Вольфганг 11, 107, 149, 266, 268—272, 280, 282, 314, 319, 327, 340
Гиммлер Генрих 309, 337
Гиппократ 269
Гитлер (Шикльгрубер) Адольф 23, 213, 230, 300, 303, 305, 309, 320, 329, 334, 337, 342, 352
Гоголь Николай Васильевич 117
Гомер 153, 160, 166, 173, 180, 195, 202, 206, 216, 227, 233, 247, 265, 266, 278, 321
Гораций (Квинт Гораций Флакк) 149
Горбачев Михаил Сергеевич 324, 325, 335, 356
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) 46, 116, 345
Гофман Эрнст Теодор Амадей 20, 107, 145, 146
Грабнер Хассо 13
Гранин (Герман) Даниил Александрович 298
Грасс Гюнтер 349
Гримм Ганс 55
Грисхабер ХАП (Хельмут Андреас Пауль Грисхабер) 147
Гройлих Эмиль Рудольф 9
Гумбольдт Вильгельм 342
Гумилев Николай Степанович 346
Гюндероде Каролина фон 15, 17, 131, 140, 141, 351

Давид Курт 10
Джойс Джеймс 282
Достоевский Федор Михайлович 67, 68, 69, 70, 129, 133, 327
Евтушенко Евгений Александрович 345
Елузих Мирко 55, 303

Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) 125, 127
Жид Андре 29

Зегерс Анна 5, 9, 13, 16, 17, 18, 28, 39, 108, 129—138, 140, 142
Зегерс Херкулес 130, 131, 136
Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич 338

Йожеф Атилла 145
Йонзон Уве 11
Йост Ганс 55
Йохо Вольфганг 13

Кант Герман 5
Канторович Альфред 11
Каросса Ганс 303
Кауфман Ганс 18
Кафка Франц 116, 147, 172, 186, 337
Келлер Готфрид 118
Келлерман Бернхард 101
Кёниг Мария Э. 11, 244
Кереньи Карл 222, 224—228
Кинтана Кармен Глория 330
Кириш Сара 210
Клаудиус Эдуард (Эдуард Шмидт) 9, 101
Клейст Генрих фон 15, 17, 131, 271
Ковалевская Любовь 335
Колль Гельмут 336
Конфуций (Кун-цзы) 130
Корф Ганс Август 8
Краус Вернер 8
Кремер Фриц 313
Кройцер Фридрих 141
Куба (Курт Бартель) 9
Кюрманн 112

Леман Вильгельм 31, 32
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 70, 118
Ленц Якоб Михаэль Рейнхольд 17, 63, 131
Леонардо да Винчи 243, 332
Лессинг Готхольд Эфраим 107, 342
Лёст Эрих 11
Лисицкий Лазарь Маркович 344

Лоуренс Дэвид Герберт 225—227
Лукач Георг 11, 131
Лютер Мартин 364

Майер Ганс 8, 11
Малевич Казимир Северинович 344
Мандельштам Осип Эмильевич 346
Манн Томас 35, 95, 125, 222—225, 227, 228
Маркс Карл 158, 219, 303
Маршак Самуил Яковлевич 107
Маяковский Владимир Владимирович 105, 344, 345
Мемфорд Льюис 239, 241
Мистраль Габриэль (Лусила Годой Алькаьяга) 291
Моргнер Ирмтрауд 349
Музиль Роберт 284, 298
Муссолини Бенито 337
Мюллер Хайнер 5, 13, 279

Набоков Владимир Владимирович 346
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) 70
Неруда Пабло (Нефтали Рикардо Рейес Басуальто) 291
Николаи Кристоф Фридрих 342
Нойманн Карл 131
Нолль Дитер 108

Оберлин Иоганн Фридрих 63

Пастернак Борис Леонидович 346, 347
Пауль Герман 82, 364
Пиночет Угарте Аугусто 330
Платонов Андрей Платонович 346
Поликлет 207
Пруст Марсель 282

Радвани Ласло 130
Раддац Фриц И. 11
Райлинг Изидор 129, 142
Ранке-Грейвз Роберт 193, 207
Рейган Рональд 213

Ремарк Эрих Мария 107, 108
Рембрандт Харменс ван Рейн 129—134, 136
Рентмайстер Цилли 207
Роб-Грийс Ален 61, 62
Рубинович Давид 30, 31, 32, 34

Савиных Фридрих 140
Сафо 227, 278, 279
Симонов Константин Михайлович 98—108, 348
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 23, 201, 305, 331, 332, 336, 337, 352
Стендаль (Анри Мари Бейль) 282
Сунь Ятсен 130

Твардовский Александр Трифонович 347
Тельман Эрнст 99
Толстой Лев Николаевич 282, 340
Томсон Джордж Дервент/193, 216, 223, 224
Траклъ Георг 143, 144, 148
Трифонов Юрий Валентинович 347
Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович 338

Ульбрихт Вальтер 11

Фалес Милетский 267
Фейхтвангер Лион 107, 125
Фёрстер Виланд 145
Фидий 162
Фихте Иоганн Готлиб 7
Флобер Гюстав 282
Фляйсер Мария Луиза 16, 215, 278, 281
Фольмер 211, 212
Фонтане Теодор 55, 125, 280, 282
Франк Анна 30
Фрейденберг Ольга Михайловна 347
Фридрих II Штауфен 342
Фрингс Теодор 8
Фриш Макс 16, 20, 33, 109—111, 113, 115, 116, 245, 348

Фрэнгер Вильгельм 130
 Фуке Фридрих де ла Мотт 95
 Фюман Франц 5, 6, 8, 12, 13, 16,
 18, 142—148
 Фюрнберг Луи 9.

Хавемани Роберт 13
 Хайн Кристоф 348, 349, 350
 Харих Вольфганг 11
 Харнак Арвид 130, 329
 Харнак Фальк 328
 Херманн Стефан (Рудольф
 Ледер) 30, 102, 108, 323
 Хёрниг Тереза 10
 Херцфельде Виланд 312
 Хлебников Велемир (Виктор Вла-
 димирович) 344, 345
 Ходасевич Владислав Фелициа-
 нович 346
 Хрущев Никита Сергеевич 11
 Хухель Петер 13

Цвейг Стефан 230
 Цветаева Марина Ивановна 349
 Цеплин Роземари 349

Шахермайер Фриц 238
 Шекспир Уильям 208
 Шеллинг Фридрих Вильгельм
 23
 Шеффер Филипп 130

Шиллер Иоганн Фридрих 7, 11,
 82, 107, 271, 272, 273
 Шлиман Генрих 187, 202, 214,
 238
 Шморель Александр 327, 328
 Шолье Ганс 8, 326—330
 Шолье Софи 8, 326, 327, 329
 Шпанов Николай Николаевич 99
 Штайн Петер 177
 Шторм Теодор 55
 Штриматтер Эрвин 5, 9, 349
 Шуберт Хельга 349
 Шульц Макс Вальтер 9, 10, 12
 Шульце-Бойзен Харро 130
 Шютц Хельга 349

Щербак Юрий Николаевич 335

Эванс Артур Джон 186—188,
 190, 191, 195, 202, 238
 Эйслер Ганс 99
 Эйхман Карл 34, 309, 337
 Энгельс Фридрих 193, 214
 Эрб Элке 349
 Эсхил 151—154, 156, 158—160,
 166, 174, 175, 177—179, 194, 203,
 208, 209, 275

Юнг Роберт 322

Яни Ганс Хенни 243

СОДЕРЖАНИЕ

Через иллюзии к реальностям: заметки о творчестве Кристи
 Вольф. А. Гуггин 5

О себе

Кое-что о моей писательской работе. Перевод И. Щербаковой 25
 Дневник — орудие производства и память. Перевод И. Щербаковой 29
 Несостоявшиеся романы. Перевод И. Щербаковой 39
 * Самоинтервью. Перевод Л. Фоминной 41
 * Уроки чтения и письма. Перевод Г. Бергельсона 45
 Настоящее и будущее. Перевод И. Щербаковой 76
 О смысле и бессмыслице наивности. Перевод И. Щербаковой 78
 Почему вы пишете? Перевод И. Щербаковой 86

О современниках

Допустимая правда. Проза Ингеборг Бахман. Перевод И. Щер-
 баковой 88
 * Разговор с Константином Симоновым. Перевод Л. Герасимовой 98
 Перечитывая Макса Фриша, или О повествовании от первого лица.
 Перевод С. Сергеева 109
 * Встречи. Перевод А. Карельского 116
 Присуждение премии. Гюнтер де Бройн. Перевод С. Сергеева 120
 Дорогой Генрих Бёль. Перевод С. Сергеева 127
 Диссертация Нетти Райлинг. Перевод С. Сергеева 129
 Слои времени. Перевод С. Сергеева 134
 Франц Фюман. Перевод А. Гуггина 142

Истоки одной повести: Кассандра. Франкфуртские лекции.
 Перевод Н. Федоровой (лекции 1 и 2) и А. Карельского
 (лекции 3 и 4) 149

Писатель и время

Двадцать пять лет. Перевод С. Сергеева	287
Испытание — Вьетнам. Перевод С. Сергеева	289
Чилийский урок. Перевод С. Сергеева	291
Образцы опыта. Дискуссия о книге «Образы детства». Перевод Н. Федоровой	292
Ответ читателю. Перевод С. Сергеева	316
Установить приоритеты. Перевод Е. Задорожной	323
Речь в связи с присуждением премии сестры и брата Шолль города Мюнхена. Перевод А. Гугнина	326
* Исследовать суть человеческого бытия. Перевод И. Щерба- ковой	330
Размышления по поводу 1 сентября 1939 года. Перевод Н. Огу- речниковой	352
Выступление в Берлине на митинге, организованном творческой интеллигенцией ГДР. Перевод Н. Огуречниковой	357
Что остается. Перевод И. Щербаковой	360
Комментарии. А. Гугнин	402
Указатель имен	409

ЗАРУБЕЖНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

ВЫШЛИ В СВЕТ:

- А. Р. Вильямс (США)
 А. Моруа (Франция)
 Я. Гашек (Чехословакия)
 Э. Хемингуэй (США)
 Ж. Р. Блок (Франция)
 Ф. С. Фицджеральд (США)
 Т. Кайко (Япония)
 Г. К. Честертон (Великобритания)
 М. Иванов (Чехословакия)
 А. Карпентьер (Куба)
 Ч. П. Сноу (Великобритания)
 Э. Э. Киш (Чехословакия)
 Н. Христозов (Болгария)
 Л. Новомеский (Чехословакия)
 М. Твен (США)
 А. де Сент-Экзюпери (Франция)
 Й. Рыбак (Чехословакия)
 Ф. Мориак (Франция)
 М. Фриш (Швейцария)
 Ф. Гарсиа Лорка (Испания)
 Л. Мештерхази (Венгрия)
 Дж. Рид (США)
 Г. Гессе (Швейцария)
 К. Оэ (Япония)
 И. Тауфер (Чехословакия)
 Ж. Бернанос (Франция)
 Г. Бёлль (ФРГ)
 Ж. Сименон (Франция)
 Дж. Б. Пристли (Великобритания)
 Т. Вулф (США)
 Г. Грин (Великобритания)
 Э. Кош (Югославия)
 Ф. Вольф (ГДР)
 Дж. Г. Байрон (Великобритания)
 А. Мальро (Франция)

Дж. Оруэлл (Великобритания)
Э. Канетти (Австрия)
Дж. Болдуин (США)

Готовятся к изданию:

К. Чапек (Чехословакия)
Р. Акутагава (Япония)

Криста ВОЛЬФ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Составитель *Евгения Александровна Кацева*

Редактор *Л. Н. Григорьева*. Художник *В. Б. Гордон*. Художественный редактор *В. А. Пузанков*. Технические редакторы *Н. И. Касаткина, Е. Н. Левина*. Корректор *М. А. Таги-заде*. ИБ № 18333. Сдано в набор 21.03.90 г. Подписано в печать 19.12.90 г. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура баскервиль. Печать офсетная. Условн. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отг. 43,89. Уч.-изд. л. 26,69. Тираж 15 000 экз. Заказ № 424. Цена 3 р. 90 к. Изд. № 47303. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по печати. Москва, П9847, Зубовский бульвар, 17. Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Криста ВОЛЬФ



Сегодня искусство — вероятно, единственный приют и одновременно единственное поле испытаний для представлений о цельности человеческой сути. Поэтому писательство для меня — некий эксперимент над собой. Сумеют ли люди в будущем в сегодняшних развитых индустриальных странах, организованных по принципу разделения труда, люди, чьи потребности извращены или удовлетворяются эрцазами, обратиться снова к своим корням, осознают ли всю полноту возможностей человека, и в том числе искусства, — этого я не знаю. Мне самой жизненно необходима связь с другим измерением во мне, необходима для того, чтобы не утратить чувства — мое место здесь. Вот потому я и пишу.

Почему вы пишете?